ISSN 0130 – 6545

2.1979

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Натюрморт с айвой

Цветные иллюстрации номера — работы румынского художника Александру Мохи

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

2 февраль 1979

Содержание

ЯРОМИРА КОЛАРОВА — О чем не сказала Гедвика *(Повесть. Перевод с чешского С. Пархомовской)* 3

ЖАН КАРРЬЕР — Ястреб из Маё *(Роман. Перевод с французского Тамары Ивановой)* 42

ЭРИХ КОШ — Рассказы *(Перевод с сербскохорватского Т. Вирты)* 99

Из норвежской поэзии

КАРЛ ФРЕДЕРИК ПРИТЦ. МАРТИН НАГ *(Переводы Ларисы Васильевой и Петра Вегина. Вступление Ларисы Васильевой)* 119

ПАМЕЛА ХЭНСФОРД ДЖОНСОН — [illegible] *(Роман. Окончание. Перевод с английского С. Митиной)* 125

Критика

И. ЗОРИНА — Момент сближения (О второй советско-американской встрече писателей в Нью-Йорке) 195

ГЕЙНЦ ПЛАВИУС — Слово Анны Зегерс *(Перевод с немецкого М. Федорова)* 206

М. ШНЕЙДЕР — Памяти друга (К 80-летию со дня [illegible] Лао Шэ) 211

Культура и современность

Заметки на полях

Алексей Бурмистенко — Может ли свобода быть безответственной? 215

Публицистика

Проблемы культуры, проблемы жизни

Л. ДЕЛЮСИН — «Театр теней» и реалии маоизма 221

Экран и время

А. КАРАГАНОВ — Кризис политического кино? 226
БОРИС ГАЛАНОВ — «Берлинале» 77—78: репортаж из «Цоопаласта» 237

У наших друзей

М. Новикова — По страницам журнала «Всесвит» 246

Антирубрика

Заочный круглый антистол юмористов 250

Шведский юмор

ЛАРС ЮЛЛЕНСТЕН. ТАГЕ ДАНИЭЛЬССОН. ПЕККА ЛАНГЕР *(Перевод со шведского Катарины Мурадян)* 253
ДЖЕЙМС ТЭРБЕР — Собака, которая кусала людей *(Перевод с английского Алексея Смирнова)* 256
ЛАСЛО ТАБИ — Об одном критике *(Перевод с венгерского Елены Тумаркиной)* 259

Наши гости

А. Николаевская — Джилиан Кларк, Мейк Стивенс, Джеральт Джонс (Великобритания) ✦ Дж. Дорри — Мухаммед Садик Рухи (Афганистан) 260

Среди книг

Издано в СССР

А. Зверев — Слова, брошенные во тьму ✦ М. Салганик — Зеркало Хосе ✦ Жан Бланкофф — Бельгийские классики на русском языке. 263

Издано за рубежом

Вацлав Садковский — Странствия Ярослава Ивашкевича ✦ Ю. Гусев — Трудный путь к зрелости ✦ Современность истории (Интервью Робера Мерля) 269

Из месяца в месяц 274

Авторы этого номера 286

На обложке: картина румынского художника АЛЕКСАНДРУ МОХИ «Девочка с козочками».

На стр. 98, 205, 220 — книжные иллюстрации польских художников.

© «Иностранная литература», 1979.

ЯРОМИРА КОЛАРОВА

О чем не сказала Гедвика

ПОВЕСТЬ

Перевод с чешского С. ПАРХОМОВСКОЙ

Милиционер:

26 декабря в 0 часов 12 минут при очередном обходе мною была замечена подозрительная личность, сидевшая на каменной ограде без перчаток, без шапки или какого иного головного убора. Решив, что означенная особа в нетрезвом состоянии и может замерзнуть, я окликнул ее. Она вздрогнула, подняла голову, но заметила ли меня, не знаю, потому что казалась незрячей. Тут я разглядел, что это подросток женского пола, посиневший от холода. Волосы светлые, глаза карие, на носу очки в черной оправе.

Девочка была очень худа, легко одета, несмотря на сильный мороз, и ни на один из моих вопросов не отвечала. Я препроводил ее в отделение, чтобы она обогрелась, а заодно и поела. Девочка никак не сопротивлялась, только молчала всю дорогу и по прибытии в отделение. Она выпила две чашки чаю, съела две порции гусятины, кусок хлеба и сдобную булку, из чего можно было заключить, что она сильно проголодалась. И тут же уснула прямо у стола. Мы уложили ее на служебную койку и запросили местный детский дом, не исчезла ли какая из их воспитанниц. Ответ был отрицательный, но при описании примет дежурная воспитательница высказала предположение, что, возможно, это Гедвика Покорна, возвращенная родителям в конце августа текущего года. При опознании предположение подтвердилось и после консультации с директором детского дома было решено девочку вновь определить туда до выяснения дела. Проснувшись, она продолжала молчать, ничем не выражая ни своего согласия, ни отказа, и только тупо смотрела сквозь нас, будто ничего не видя. Воспитательница заверила, что девочке будет оказана необходимая медицинская помощь и что они в свою очередь тоже наведут справки, по какой причине и каким образом вышеупомянутая Гедвика Покорна возвратилась из Праги в наш город и почему сидела на ограде неподалеку от детского дома.

Директор детского дома:

На наш запрос родители Гедвики ответили, что она ушла не попрощавшись, вероятно сразу после сочельника. Утром 25 декабря ее уже дома не было. Мать сообщила, что в возвращении девочки не

© Jaromira Kolárová, 1975.

заинтересована, ибо за полгода та не привыкла к дому и постоянно проявляла неблагодарность, о чем свидетельствует и ее побег в канун рождества.

Гедвика до конца августа, то есть почти до двенадцати лет, жила в разных детских учреждениях, у нас она находилась со школьного возраста. Особых трудностей с ее воспитанием у нас никогда не возникало. Она легко приспосабливается к обстановке, довольно пассивна, охотно подчиняется детям, даже младшим по возрасту. В коллективе ее любят, потому что она всеми восхищается, а себя ставит на последнее место.

Успеваемость у нее ниже средней, прилежание и память хорошие, но она совершенно лишена честолюбия. Принимая во внимание ее здоровье, к занятиям мы ее особенно не принуждаем, считаем, что с несложной работой она справится успешно.

Ее здоровье постоянно доставляло нам хлопоты. Гедвика — альбинос, кроме того, у нее пониженное зрение, при искусственном освещении видит плохо. Очень восприимчива к инфекциям, однако серьезных болезней у нее не обнаружено, доктор считает, что всему виной ее альбинизм. В милицейском протоколе отмечено, что девочка очень худа. Гедвика всегда была такой и, несмотря на усиленное питание, заметно в весе не прибавила. Ест хорошо, любит сладости.

По решению суда Гедвику вернули матери. Мы руководствовались тем, что даже самый лучший детский дом не может заменить ребенку семью. Родители Гедвики разошлись еще до ее рождения. По неизвестным причинам мать ребенком не интересовалась, отец же девочку навещал регулярно и носил ей подарки. Возможно, именно его посещения и отталкивали мать. Отец Гедвики — один из тех, кого считают тунеядцами в нашем обществе. Он вел беспорядочную жизнь, и это в конце концов привело его к принудительной госпитализации.

Мать Гедвики вышла за него замуж очень молодой, вероятно по неопытности. После развода она закончила среднюю школу, вскоре вышла замуж вторично и родила еще двоих детей. Обследование ее новой семьи показало, что родители примерно заботятся о детях, хорошо обеспечены и положительно относятся к нашему решению.

Когда родной отец Гедвики был лишен прав отцовства, препятствий для возвращения Гедвики к матери не оставалось. На первое заседание суда мать по неизвестным причинам не явилась, но на втором выразила желание взять ребенка в свою новую семью. Ее муж также был согласен с решением.

Гедвика любила отца, но, принимая во внимание ее характер, можно было рассчитывать, что она привяжется и к матери, и к ее младшим детям. Мы были уверены, что она очень быстро освоится в новой семье. Как я уже говорила, Гедвика — ребенок общительный, легко привыкает к коллективу.

Ее бегство из дома меня чрезвычайно удивило. Я тут же приехала в детский дом и провела с ней целый день. Она не отвечала на мои вопросы и все время смотрела куда-то в сторону, как-то, я бы даже сказала, пренебрежительно. От еды она сначала не отказалась, но стоило мне посмотреть на нее как она тут же перестала есть и уставилась куда-то в пространство.

Даже обстоятельный медицинский осмотр не дал никаких результатов, не было обнаружено никакого заболевания или следов насилия. Во время осмотра Гедвика на вопросы врача и сестры не отвечала. В школу ходит, письменные работы выполняет, но учителям не отвечает, никто не может добиться от нее ни звука.

Я считаю, что лучше всего некоторое время выждать, может быть, воспитательницам и детям удастся сломить ее молчание, в противном случае ее придется поместить в психиатрическую больницу.

Сотрудница отдела социального обеспечения:

Гедвика — и молчит? Это же просто уму непостижимо, такой птенчик, такая крошка, от одного ее вида сердце сжимается, ручонки у нее как ощипанные крылышки.

Как сейчас ее вижу. Вдруг как вскрикнет: «Аисты, аисты!» — и к окошку прильнет, и плечики поднимет, если бы открыто было окно, кажется, упорхнула бы вслед за ними.

Я до сих пор слышу ее голосок: «Аисты, аисты», а потом: «Гриб, ой, красный гриб», и тут же: «Яблочко, я чуть не сорвала его; а вон заяц, живой заяц, представляете, это же заяц»,— и так всю дорогу от Остравы до самой Праги.

Я думала, жара ее сморит, да где там, сама бы я тут же вздремнула, а она знай свое: «Домик, посмотрите, какой красивый домик, как бы я хотела жить в таком домике», и вдруг: «Пруд!», и тут же: «Кладбище!», и что-то еще и еще, в конце концов люди на нас даже оглядываться стали.

Сами знаете, какой народ любопытный, но я сделала каменное лицо, чтобы не лезли с расспросами.

Гедвику я раньше не знала, а она ко мне сразу потянулась: такой котеночек, скажешь ей ласковое слово, она примостится у тебя на коленях и мурлычет. Просто не представляю, кто мог ее так обидеть.

Я уже на пенсии, но что из этого, работаю сиделкой и еще в Национальном комитете, в отделе социального обеспечения, нас мало, работка, как говорится, не сахар. Раньше я думала, что тут особых нервов не требуется, это вам не уход за больными, но ничего подобного, выходит, все одно, что тело, что душа, сколько беды ни видишь, а всякий раз переживаешь.

Я сама вызвалась отвезти девочку, у меня в Праге внучек, озорник, каких мало. Ему еще и двух годков не исполнилось, а он уже все лопочет, не баба говорит, а бабушка. Это невестка его научила, хорошая она женщина, мы с ней ладим, может, еще потому, что живем далеко друг от друга. Вот я и подумала: отдам девочку, побуду со своими, еще и к Градчанам схожу, я так люблю смотреть на них от реки. В Остраву-то я замуж вышла, теперь уже привыкла, но в Прагу меня все равно тянет, хоть и грязно там, и разрыто все до невозможности. Сто пятьдесят крон на дорогу — это для меня расход немалый, но ребенка-то ведь все равно кому-нибудь пришлось бы отвозить.

Поехали мы дневным поездом, места заняли хорошие. Гедвика устроилась поудобнее, расправила платьице на коленках, она такая худенькая, просто сердце сжимается. Мой бы сказал, что она чисто паучок, одни ножки торчат.

Была б она моя, я бы ей ресницы и брови чуть подвела, детям, правда, это не делают, но все на нее пялятся, и оно, конечно, ей не очень приятно. И я сама старалась не смотреть, но ее ресницы меня словно притягивали, в жизни я не видела таких глаз. Белые ресницы на пол-лица, а глаза красновато-коричневые, хорошо еще, что бедняжка носит очки, не так заметно.

Я ее спросила, рада ли она, что домой едет, а она своими глазищами на меня уставилась и молчит, только смотрит.

Она какая-то замедленная, мой бы сказал — туповатая, ответа из нее сразу не выжмешь.

— Не знаю,— вымолвила наконец, но, право же, над таким ответом раздумывать было нечего.

Когда я поближе ее узнала, то поняла, что не такая уж она тупая, как кажется, просто сперва выжидает, что вы от нее хотите услышать, понимаете ли, у нее просто никакого собственного мнения нет.

Да, так о чем же это я говорила? Ага, поехали мы, значит, дневным поездом, и поесть нам было негде, перед отъездом я всегда волнуюсь, но как только сяду в купе, успокаиваюсь. После первой же станции я предложила перекусить, у меня были с собой отбивные, я их до последней минуты в холодильнике держала, чтоб не испортились.

Гедвике дали в дорогу сверток. Казалось бы, что тут плохого, но у меня даже слезы на глаза навернулись. Взяла я этот пакет, вынула из него два бутерброда с сухой колбасой, два треугольничка сыра, два яйца, на крону печенья и несколько зеленых яблочек, и так жалко мне ее стало. Было в этом детдомовском завтраке что-то такое грустное, казенное, что и словом не выразишь!

А как эта худышка уплетает, вы себе и представить не можете: и отбивную взяла, и пирожок, без всякого смущения, а когда чай пила, то было видно, как каждый глоток по ее горлышку катится. Кожа у нее прозрачная и совсем не загорелая, хотя уже август был на исходе, но не бледная, а скорее розоватая, губы ярко-красные, придет время — она, может, и похорошеет, если малость окрепнет и ресничек подкрасит. Некоторым такие необычные даже нравятся.

И за едой она без устали тараторила, чирикала, как воробышек:

— У нас в детдоме сегодня тоже были биточки, биточки с картошкой, салат из огурцов и фруктовое пирожное.

— Ты любишь пирожные?

— Ужасно. А больше всего трубочки. Папа мне иногда и по четыре штуки покупал.

— И ты съедала?

— Все четыре сразу.

Она улыбнулась и вдруг погрустнела.

— Он теперь в больнице, но меня к нему не пускают.

— Да, верно, ведь детей пускают только с пятнадцати. Значит, через три года. Но к тому времени он уже выздоровеет.

Я знала из ее бумаг, что у него дела плохи, но разве можно ребенку все рассказывать, она еще слишком мала, чтобы знать правду.

— Папа приходил бы ко мне каждое воскресенье, но что делать, ведь он охранял пана президента.

К счастью, нас никто не слышал, от жары все клевали носом над книжками или газетами, а в детдоме меня познакомили с ее документами, прежде чем отдать на мое попечение.

Бог ты мой, чего только этот негодяй не наплел! А еще бедняжка показала мне карточку, он содрал ее с какого-то удостоверения, и на ней все как на ладони: мордочка узенькая, губки бантиком, на лбу кудряшки, какой там мужчина, скорей на бабу похож.

Девочке я его похвалила, конечно, ишь какой франт, говорю, а она вздохнула: хоть бы волосы у нее, мол, были как у него.

— У тебя тоже красивые волосы,— постаралась я ее утешить,— теперь, между прочим, в моде гладкие прически.

— Вот если бы у меня были черные, как у Саши. Саша ужасно красивая, а как загорает — до черноты.

Вспоминала о какой-то Гите и еще о ком-то, угощала меня леденцами, которые на прощанье насовали ей ребятишки. У нее был маленький чемоданчик, весь потертый и перепачканный, в нем она прятала сувениры, всякие мелочи, подаренные подружками, я и смотреть

не стала, мое мнение такое, что и дети могут иметь свою личную жизнь. Может, это неправильно, но мне и за собственными детьми противно было подглядывать, и, слава богу, выросли, Енда не обманул моих надежд, а Катка, та, правда, любит повеселиться, но и ей мне приходится доверять, куда денешься.

— Гедвика, девочка моя дорогая,— говорю я ей,— я знаю, папу ты любишь, и это прекрасно, но ты пойми, что мама твоя разошлась с ним не от хорошей жизни, лучше ей эту карточку не показывай, спрячь ее подальше.

Она уставилась на меня своими удивительными глазами, ох, чего мне стоило выдержать ее взгляд, лучше не спрашивайте, потом долго смотрела на фотографию и наконец спрятала ее в чемоданчик под разорванную подкладку. Захлопнула крышку и положила на нее руки.

А минуту спустя уже снова весело выкрикивала, чирикала обо всем, что видит вокруг, прижималась ко мне и грызла зеленые яблоки. Только в конце пути вдруг сказала:

— Знаете, чего мне хочется? Чтоб дорога не кончалась, чтоб мы все ехали и ехали, и все дальше и дальше.

И в голосе — такая печаль! И еще страх. Конечно, она боялась, что ж тут удивительного, бедная девочка впервые в жизни должна была встретиться с родной матерью, своей собственной мамой, вы понимаете? И для взрослого это не пустяк. А у меня в голове — будто метлой повымели, никак не могу придумать, что бы ей такое сказать, как бы подготовить ее к этой встрече.

— Ничего не бойся, Гедвика, мои нас наверняка встретят, я сыну телеграмму послала.

Она села в уголок, положила голову мне на плечо.

— Теперь уж не спи, видишь, какой лес, Прага совсем близко.

Потом она умылась в туалете, и я переодела ее в нарядное платье.

— Вот видишь, как тебе к лицу, они полюбят тебя, не волнуйся.

Она слегка улыбнулась, вцепилась в мою руку, как клещами, и уже не отходила ни на шаг. Сын ожидал на перроне, я с облегчением вздохнула: шутка ли, чужой ребенок да еще чемодан, сумка тяжелая и сетка, ведь с пустыми руками не приедешь, а народу везде тьма-тьмущая.

На машине мы доехали до самого места, в Остраве-то у нас район получше, но и тут ничего, дом хороший, скорей всего кооперативный, на лестнице светло-голубые резиновые дорожки, на площадках фикусы, видно, за порядком жильцы здесь следят.

Когда мы поднимались, слышно было, как Гедвика дышит, коротко и быстро, будто затравленный заяц. Ее волнение передалось и мне.

Я позвонила. Дверь открыла она, то есть ее мать. Молодая, стройная, хорошо одетая, ну, в общем, такая женщина, на какую посмотришь и сразу подумаешь: до чего же ты сама толстая, вспотевшая, растрепанная, одетая невесть как.

— Добрый день,— сказала она,— будьте любезны, переобуйтесь.

Наклонилась и подала нам тапочки.

Мы переобулись. При этом я боялась даже взглянуть на Гедвику, чтобы узнать, чувствует ли она то же, что и я, так же ли у нее замирает сердце или она еще маленькая для этого?

Вы понимаете, через двенадцать лет видит свое родное дитя и говорит: будьте любезны, переобуйтесь, представьте себе, будьте любезны, переобуйтесь! Может быть, оно и лучше, чем душещипательная сцена, может, так она прятала свое волнение, я вовсе не хочу ее обижать.

Гедвику она оставила в прихожей, а меня провела в комнату, я

всегда гордилась тем, как мы нашу квартиру обставили и какая у меня чистота и порядок, но тут я поняла, что живу-то, собственно, в настоящей дыре. Все в комнате сияло, как будто бы здесь был другой воздух, другой свет, другие краски. Да, мышонок попал в красивую норку.

— Она здорова? — спросила ее мать.— У меня ведь двое детей, Катержинке еще и трех не исполнилось.

Я кипела от злости:

— Гедвика ведь не из больницы приехала, вот вам бумаги, медицинскую карту из поликлиники перешлют, распоряжение уже сделано.

— Сколько я вам должна?

— Нисколько, за все платит государство.

Я сказала это нарочно с нажимом, потому что она, хоть и придвинула мне стул, сама продолжала стоять, не предложила даже кофе, а ведь хорошо знала, что мы в дороге без малого целый день, а Гедвика выехала еще раньше. Я, конечно, и без ее кофе обойдусь, но приличия соблюдать все же надо.

— В таком случае благодарю вас,— сказала она,— ничего другого мне не остается.

И открыла дверь.

Гедвика стояла в прихожей на том же месте с чемоданчиком в руке. Она чуть меня не повалила, бросилась мне на шею и — в слезы! Ее мокрую мордашку я до смерти не забуду.

— Веди себя хорошо, Гедвика.

Оторвала ее от себя, на лестнице вытерла слезы, ей и себе, я просто вся обревелась, но что было делать, ведь не у чужих же я ее оставляла, а у родной матери, должно же все-таки что-нибудь дрогнуть в этой красивой холодной даме, Гедвика хорошая девочка, и мать, конечно, привяжется к ней.

— Что с тобой? — спросил сын.— Я ведь жду. Может, рюмочку тебе поднесли, ты так шатаешься?

— Поехали быстрее,— сказала я, и Енда засмеялся. Я вообще-то в машине ездить боюсь, а тут — только бы поскорее уехать и не думать об этом, ведь в конце концов это всего лишь работа, другие после работы отдыхают, дело сделано, ребенок у матери, и я могу быть свободна, заслужила свой отдых.

Но в тот раз никакой радости от поездки к сыну я не получила, в ушах у меня все звенело: «...будьте любезны, переобуйтесь».

Мать:

По своей воле! Да, я взяла ее по своей воле, сама согласилась, но что мне оставалось делать, если муж занимает такое положение? Многие нам завидуют, ждут не дождутся, чтоб он оступился! Мы не можем себе позволить судебный процесс, да еще из-за ребенка.

Какие там законы, для нас нормы совсем другие, чем для остальных. Разве я могу подать заявление об алиментах в Национальный комитет? Отец Гедвики не платит ни кроны, но муж мне не разрешает ничего предпринять. Он убедил меня, что не стоит позориться из-за каких-то двух-трех сотен крон.

Муж мой — прекрасный человек, он никогда ни в чем не упрекал меня, сказал только, что за глупость приходится иной раз расплачиваться более дорогой ценой, чем за подлость. Но ведь за мою глупость расплачивается он, и это мучит меня, все же совесть у меня есть.

Гедвика обошлась мне за три с лишним месяца в 3 тысячи 263

кроны, у меня все записано, я могу показать, на эту сумму я обделила детей мужа. Я уж не считаю стоимости платьев, что перешила ей из своих, или шерсти от моего свитера, тут только прямые расходы. Я кажусь себе воровкой, ведь мужу приходится расплачиваться за мои грехи.

Мне было шестнадцать, и я попалась сразу же, как только мать перестала за мной присматривать. Жаль, правда, что я боялась ей в этом признаться. Это была моя ошибка, муж знает, я ничего от него не скрыла, и он меня великодушно простил.

Мама решила, что лучше мне быть разведенной, чем матерью-одиночкой, она была права, я вышла замуж, но с этим негодяем никогда не жила, хоть он приходил к нам и угрожал, из-за него нам даже пришлось переехать на другую квартиру. К счастью, его арестовали, а потом он оставил меня в покое, но все равно отравил мне лучшие годы жизни, и только мой муж вознаградил меня за все это.

И теперь он должен содержать чужого ребенка — я просто от стыда сгораю.

От такого ребенка благодарности не дождешься, красивое пальто ей не понравилось, а вся еда, какой мы ее пичкали, впрок не пошла, она ни грамма не прибавила.

Все равно из нее ничего не получится. Она родилась семимесячной, весила не больше килограмма, и мама еще тогда сказала: ты лучше на нее не смотри, чтобы сердцем к ней не пристать, все равно она не жилец на этом свете.

Мне ее сразу не отдали, нянчились с ней в инкубаторе, а потом я и сама не смогла ее взять, надо было закончить школу, да и к тому же не хотелось, чтобы отец имел повод ходить к нам, не хотелось иметь с ним ничего общего. Теперь он получил по заслугам, мне его нисколько не жаль — что посеешь, то и пожнешь.

Да, Гедвику я приняла, ведь другого выхода не было. За все то время, что она прожила у нас, я делала ей только добро, муж мой — ответственный работник, человек занятой — и то иной раз находил время поговорить с ней, но она ничего не ценит. Не понимает, чем мы жертвуем ради нее, с ее приходом у нас все переменилось, я не могу мужу в глаза смотреть. Своей дочери от первого брака он регулярно помогает деньгами и будет платить, пока она учится, а тут еще должен содержать чужого ребенка.

А кто может поручиться, что в Гедвике не проявятся дурные наклонности? Ведь она уже сейчас плохо влияет на наших детей, которым мы стараемся уделять как можно больше внимания.

Я думаю, что принуждать Гедвику оставаться у нас бессмысленно, если после всего, что мы для нее сделали, она ушла, даже не простившись.

То, что она все время молчит, пусть вас не тревожит, придет время — она заговорит, эта девочка себе на уме, в тихом омуте черти водятся.

Пржемек:

Прощаться мы не прощались, терпеть этого не могу. Я принес ей тогда фантики от шоколада и положил на тумбочку. И совсем я в нее не влюбился, все это трепотня, мы с ней дружим, просто дружим, нам, детдомовским, надо друг за дружку держаться.

А чего ее защищать? Ей это вовсе ни к чему, ребята ее любят, она не гордая, все им отдает, такая добрая, что и смотреть тошно.

Мы ее прозвали «коровой», это точно, но совсем не в обиду, у нее

просто глаза и ресницы как у коровы, ну что в этом плохого? Называли же мы Итку поросенком, и она не обижалась.

Почему она молчит — не знаю, скорее всего ей говорить неохота, и не надо ее заставлять, может, у нее горло болит или язык прикусила. В школе ей могут ставить отметки по письменным, уроки она делает и контрольные пишет. Все к ней пристают, почему молчишь; оставьте ее в покое, и дело с концом.

А кто за нами шпионил? Гита, не иначе. Ее зло берет, что она со мной говорит, а не с ней. Как это я проболтался? А что я такого сказал? Что она говорила? А почему бы ей не говорить? Ведь язык-то у нее не отсох.

Она сказала, что покончит с собой, если ее пошлют обратно. Не знаю, что ей там сделали, она ничего не рассказывала, честное пионерское, она только сказала... нет, не могу. Вы станете к ней придираться.

Я знаю, что это для ее же пользы, иначе вы от меня не добились бы ни словечка, я не ябеда, это девчачье дело. Ну, она сказала, что все взрослые — это, ну, есть такое слово на «к», не коровы, хуже, и что она никогда с ними разговаривать не станет. Что будет разговаривать только с ребятами.

Когда я вырасту? Ну, я понимаю, что все мы скоро вырастем, конечно, но, может, у нее до тех пор это пройдет? Только не отправляйте ее отсюда, вы же ее не отправите, я так не люблю прощаться. Надо же, все мои фантики у нее выбросили.

Гедвика:

(То, о чем она не сказала.)

У меня мама красивая. Ужасно. Ни у кого нет такой красивой мамы. Папа правильно говорил, у нее глаза как звезды. Я буду называть ее Звездочка. Мама Звездочка.

Если отважусь. Голос у нее как шелк. Она сказала: будьте любезны, переобуйтесь, не снимите туфли, а будьте любезны, переобуйтесь. Подала мне тапочки, большие такие, наверное ее. Свои мне дала, добрая.

Но почему я стою в прихожей? Может, это карантин? Сколько же он продлится? Тут еще кто-то ждет. Ну и уродина. Ноги как у цапли, платье висит как на вешалке, господи, да ведь это же я. Это не дверь, а зеркало. Я отражаюсь в нем вся целиком, ужас какой, волосы белые, очки черные, она меня не полюбит, это уж точно.

Кто-то высунул нос. Наверное, братик. Я даже пока не знаю, как его зовут. Какой маленький! Интересно, знает ли он, кто я?

— Хочешь автомобильчик?

— У меня их во-он сколько.

Не хочет, значит. А у меня для него больше ничего нет.

Ее муж. Господи, что это на нем надето? Халат, что ли? А как смотрит! У меня просто ноги подкашиваются. Будто хочет стереть меня с лица земли, а может, меня и нету уже?

Но я есть, я вижу себя в зеркале, я такая же, как и раньше.

— Папа, а нельзя было выбрать что-нибудь получше?

Хлоп, он так его шлепнул, что я чуть не упала, за что он лупит его, ведь он ничего страшного не сказал, у нас ребята еще и не такое говорят, но воспитательница не осмелилась бы поднять руку даже на Броню, хотя та изведет кого хочешь.

Ушли наконец. Он втащил его в комнату, бедняжку. Мой папа лучше. Если бы у него не такая важная работа, он не был бы все время в отъезде, и мама бы с ним осталась.

Вот и тетя, которая меня привезла. Она что, уже уходить собирается? Осталась бы хоть на денек. Хотя бы до утра.

— Тебя кто-нибудь обидел?

— Нет, что вы.

Только бы мама Звездочка не обиделась, я больше не буду плакать. Почему она оглядывается? Она, видно, тоже его боится. Но теперь у нее буду я, я защищу ее.

Сначала, говорит, надо вымыться. Ладно, вымоюсь. Но куда она несет мой чемоданчик? Где я его потом найду? Какая ванна маленькая, я в ней еле помещаюсь.

— Как следует намылься, и волосы тоже. Вшей у тебя нет?

— Конечно нет.

Могла б посмотреть. В карантине осматривают. Пусть бы потрогала мои волосы. Мне так хочется, чтобы она потрогала их. У нее такие руки красивые. Ногти как драгоценные камни. А у меня все время ломаются.

Она задернула занавеску в ванной, чтобы от душа не брызгало на пол. Занавеска как дым. Что-то на ней есть, а что, не могу разглядеть. Кажется, цветочки.

Мыло лезет в глаза, я тру себя щеткой. Хочу быть такой чистой, чтобы ей понравиться, пусть даже кровь пойдет. У нее кожа как бархат, так и хочется погладить.

Она ушла. Как же теперь закрыть душ? Если бы я видела кран, но при таком свете я почти ничего не вижу. Была бы здесь Гита! Она всегда помогала мне в ванной, всегда брала за руку: пойдем, слепыш, не споткнись.

Позвать ее, что ли. Но как? Крикнуть бы: мамочка Звездочка, но не получается, слова застряли в горле.

Ну не кричать же «пани», или «сестричка», или еще как-нибудь. Наша заведующая говорила, что у меня и сестренка есть, но я ее еще не видела.

Я попробую, попробую крикнуть в воду, вода шумит, мамочка, под шум воды мне не стыдно, мамочка, слова на вкус, как мыло, мамочка!

— Готово? — Голос у нее вдруг стал грубым.— Воду закрой сама.

— Да, ладно.

— Ты что, никогда в жизни душа не видела?

— Видела, мы всегда мылись под душем все вместе, только порознь с мальчиками, а потом вытирали друг друга.

— Ну, поживей!

Ей, кажется, не понравилось то, что я сказала. Наверное, это очень глупо.

Она дала мне полотенце и мохнатую простыню, главное — не перепутать. Постараюсь, у меня темные, а у них светлые, это я отличу.

— Поживей, поживей, ты как в замедленном фильме.

Я смеюсь, а она нет.

— Возьми эту пижаму.

У меня ведь своя есть, но в карантине это, наверное, не разрешается. Пижама велика. Брюки до самых подмышек, ну и вид у меня!

— Расческа есть?

— Да, в чемоданчике.

— А ну-ка, мигом.

Легко сказать. Очки я нащупала, но они запотели.

Она куда-то спешит. А как пахнет, как чудесно от нее пахнет. Мне и видеть ее не надо, я по запаху ее найду, как пес.

Чемоданчик ей тоже не нравится.

— Я вам связала салфеточку, не знаю, понравится ли, а детям привезла куклу и автомобильчик, и подковку для ключей для...

Ну как его называть? Она мне не подсказала. Только вздохнула.

— И это называется расческа?

Нормальная расческа, всего несколько зубьев сломалось, когда Саша причесывалась.

— Один хлам!

Салфеточка ей, кажется, не нравится, я плохо вяжу. Гита хотела мне связать, но воспитательница сказала, что так нельзя, что маму больше обрадует моя собственная работа, пусть даже не очень умелая. Глупая она, что ли, в нормальном мире все, наверное, иначе, чем в детдоме.

Я расчесываюсь. С моими волосами это раз-два — и готово. Каких-то пять волосков. Вот у мамы волосы красивые, густые и золотистые, как мед. И наверное, сладкие.

К счастью, она забыла про зубы. Щетку я оставила в детдоме. Все время о ней думала, чтоб не забыть. Гита теперь будет мазать ею туфли. А может, пришлет.

— Садись поешь! Или не хочешь?

Наверняка она приготовила для меня что-нибудь вкусненькое. Интересно, есть ли в Праге трубочки?

— Яйца оставь на утро, на ночь это тяжело. Колбасе ничего не делается, она копченая, выбрасывать жалко.

Колбасы жалко? Посмотрела бы она, как ребята ее под стол швыряют. Хлеб черствый, масло растаяло, в горло не лезет. Почему она на меня смотрит?

— Не хотите кусочек? Или карамельку?

Не сказала ничего, только отвернулась. Наверное, не хочет. Карамельки мне дала Гита. Саша подарила открытки, а Пржемек принес в спальню фантики от шоколада. Раньше не хотел дать ни одного — и вдруг принес целую кучу и убежал. Пржемек не любит прощаться, это все знают.

Только бы пить так не хотелось! Если попью, захочу в уборную. А как я ночью эту уборную найду? И печенье мне в горло не лезет.

— Чай пить будешь?

Мне кажется, она хочет, чтоб я отказалась. Скажу «нет».

— А куда я тебя положу, это никого не интересует.

Не знаю, почему кого-то должно интересовать, где я сплю. Спят ведь в спальне, нас там было восемь.

— В кабинете муж не разрешит, в спальне ты тоже спать не можешь, с детьми еще нельзя, пока поставлю тебе раскладушку здесь. Утром быстро уберем.

— Да, я уберу, я умею.

За постель я всегда получала самый высокий балл, стелить я умею. Хоть бы печенье так не крошилось, мама на меня смотрит. Я, кажется, задохнусь.

Попить можно, когда они уснут. Хотя бы из ладошек, чтобы не разбить чего-нибудь в первый же день.

— Послезавтра пойдешь в школу, есть у тебя платье получше?

— Я в нем приехала. В школу мы ходили в пионерской форме.

Мое платье ей тоже не нравится. Оно красивое, только мне не идет. Мне ведь ничего не идет. Наверное, мама Звездочка будет стесняться ходить со мной по улице. Наверное, пошлет меня одну. Или с тем мальчиком, которого шлепнули и который вдруг стал моим братом.

— И постарайся правильно говорить, а то в школе над тобой будут смеяться.

— Надо мной и так смеются.

Это ей тоже не нравится. Если бы она спросила, я бы ей рассказала, что меня из-за ресниц прозвали коровой. Пржемек мне нарисовал в альбом корову с длинными-предлинными ресницами и с ромашкой во рту. У ромашки не хватало лепестков и было написано: «Любит, не любит».

Этот альбом я больше никому не давала, там много пустых листов.

— Как странно, что вы — моя мама. Вы такая красивая.

Она вздохнула.

— Боже,— сказала,— это невыносимо.

Не поняла я что-то. До меня не сразу доходит, это все говорят.

Она делит мои вещи на две кучки. Зачем?

— Это сдашь в утиль, все равно в школе потребуют. А чемоданчик выбросишь, его и в руки-то взять противно.

— Нет, нет, пожалуйста, не надо.

Почему противно, мне его папа принес, там у меня разные подарки, и альбом, и карамельки, и фантики от шоколада, и каштан, который мне Пржемек в прошлом году сбил с дерева, и папина карточка, она спрятана под подкладкой.

Она подошла ко мне, она совсем рядом, такая теплая и красивая, мама Звездочка положила руку мне на голову, свою красивую руку положила на мою глупую голову, я так счастлива.

— Гедвика, ты ведь большая девочка, как тебе не стыдно? Выбрось, доставь мне такую радость.

— Да,— говорю я,— да.

Хочу сказать «нет», но слышу, как говорю «да, да, да».

Я, кажется, умру, если выброшу, непременно умру, потому что там мое сердце, в этом чемоданчике, но пусть я умру, она сказала: «Доставь мне такую радость» — и я доставлю ей такую радость и умру, я бы хотела умереть сейчас, пока ее рука лежит у меня на голове.

Она убрала руку.

В ведре загремело, это посыпались подарки. Она рвет мой чемоданчик, интересно, что скажет, если выпадет папина карточка?

— Ну вот. А теперь спи спокойно.

— Да. Спокойной ночи.

Спокойной ночи, мама Звездочка, я хотела бы спать с тобой, но я уже большая, ты так сказала.

Она погасила свет. Темнота в Праге зеленая. Зеленая, как вода. В ней можно утонуть.

А тишина в Праге шумная, что-то упало, что-то заскрипело, где-то течет вода, едет машина, слышно радио, а за окном все время стоит зеленая тьма.

На раскладушке лежать неудобно, это потому, что кости у меня торчат, была бы я толстая, как Саша, лежала бы, как на перине.

Что теперь делают ребята? Я даже не знаю, который час, наверное, они тоже спят. Пошушукаемся, говорила Гита, когда забиралась ко мне в постель. У Гиты привычка укрываться с головой, она так взбивает одеяло, что воспитательница думает, будто она там лежит, а Гита в это время болтает со мной. Рассказывает свои секреты, наверное, она их выдумывает, ну и что, она очень хорошо выдумывает.

Если бы не было так холодно. И если бы не хотелось так пить. Попью потом, когда все уснут. Можно даже потихоньку порыться в ведре, найти папину карточку, альбом и все остальное. Но куда спрятать? Пока негде. Наверное, потом мама выделит мне ящичек.

Если бы не такая темнота. Ой, как я ударилась локтем. Ой-ой-ой, как больно, еле сдерживаюсь, чтобы не закричать. Вода течет какая-то теплая, ужасно противная.

Как это ведро открывается? Ага, надо нажать на педаль, такие у нас в детдоме тоже были, гигиенические называются. Только бы в темноте не схватить какую-нибудь гадость: гнилое яблоко или червяка, мне ведь может и померешиться.

Как же так, здесь ничего нет, когда же она все вынесла, в ведре пусто, совершенно пусто.

Она сказала: доставь мне такую радость, но какая от этого может быть радость? Она, видно, хочет, чтобы я забыла про детдом... Теперь у тебя будет настоящий дом, сказала заведующая. Наверное, в настоящем доме нельзя иметь вещи из приюта. Осталась бы хоть фотография, на которой папа снят с густыми красивыми волосами, теперь они у него уже поредели. Вот бы съесть сейчас пирожное-трубочку, так нет же, карамельки и те пришлось выбросить, как жаль, уж лучше бы Саша их себе оставила.

От этой зеленой тьмы я вся взмокла, подушка мокрая, щеки тоже, хоть бы в носу не чесалось, не знаю, куда я задевала платок.

Как вставать, почему вставать, ведь я еще и не спала и уже вставать?

— Да, сейчас же.

Я вспомнила, что эта красивая дама в розовом халатике — моя мама, халатик вязаный, весь кружевной, мне бы так не связать ни за какие коврижки, чему ж удивляться, что она мою несчастную салфеточку выбросила, зачем она ей?

— Ну-ка, бегом умываться, да пошевеливайся.

Иду, мамочка, бегу, куда же я очки девала, очки надо найти, на стол или на стул положила, неужели сунула под раскладушку?

— Ради бога, быстрее и не мельтеши перед глазами!

Видно, она куда-то спешит. Хорошо, что уже день, по крайней мере можно все как следует рассмотреть, какая красивая уборная, и коврик здесь есть, и календарь, вот у нас мальчишкам бы влетело, если бы воспитательница нашла у них такую бесстыдницу, у которой почти все видно. Это, наверное, месяцы написаны, но не по-нашему, а картинок сколько, все надо рассмотреть. Опять кто-то стучит. Это мне.

Только бы не он, он с ходу может и мне влепить. Да, да, уже иду.

К счастью, это мама с девочкой на руках, какая хорошенькая девочка, ну просто прелесть! И на ней такой же кружевной халатик, как у мамы, только подлиннее, как же он называется, ага, секс-форма, так девчонки говорили, кажется, это не очень прилично. Может, и у меня будет такая секс-форма, если я буду хорошо себя вести.

— Как тебя зовут, девочка?

— Ее зовут Катержина, беги скорей умываться!

В ванной включен свет, я снова ничего не вижу, что же на этой занавеске, ага, рыбки, точно, рыбки. Здесь висят мое платье и пижама, она все выстирала, бедная мамочка, еще вчера все мне выстирала своими красивыми руками.

Опять стучит. Гоняет, как зайца.

— Ну, поживей, поживей, вот платье, вытирайся хорошенько. Чем ты вытираешься, это же детское, твое полотенце и простыня вот тут, сколько раз тебе повторять!

Для рук полотенце тоже темное, в настоящем доме все очень сложно, но, может, потом я привыкну. Катержина — красивое имя, о Катержине я книжку читала, как я рада, что смогу с ней поиграть.

Платье еще теплое, мама его выгладила, и оно приятно греет.

— Живей причесывайся! И посиди минуточку в комнате, пока папа позавтракает.

Вот хорошо, что не надо завтракать с ним. Здесь все как в сказке или как в замке в Градце, куда мы ездили на экскурсию, только еще лучше.

А телевизор какой! Такого я еще не видела, может, даже цветной. А она мне позволит смотреть? В детдоме из-за глаз запрещали.

Гиту бы сюда, она бы все рассмотрела, пощупала, попрыгала бы в кресле, потрогала бы ковер босой ногой. Это только я такая дура, ничего не трогаю и стою как вкопанная.

Ой, что же это?!

— Ты что, другого места не нашла, встала у самой двери! Я тебя не толкнул?

— Нет. Мне мамочка велела здесь подождать.

Смотрит на меня, сегодня он не кажется таким высоким, улыбается, нет, скорее ухмыляется, у братика это от него.

— У нас принято говорить не мамочка, папочка, а мама, папа. И не бойся, никто тебя не съест.

Вышел. Гора с плеч. Открыл другую дверь, а книг там, господи боже ты мой! Все прочитать — свихнуться можно. Там, наверное, кабинет. Что-то взял на столе, возвращается, лучше я отойду к стене.

— Ну как дела в школе? Какие отметки?

— Да так, на тройки вытягиваю.

— Ну ты эксперт, не иначе.

Смеется. Что бы это значило? Экспресс — знаю. А эксперт?

Мама пришла, позвала завтракать. Что с ней? Она какая-то сама не своя.

— Познакомились?

Я рассказала ей, что он говорил. Ей понравилось, смеется. Она еще красивее, когда смеется.

— У него много работы, он ведь заместитель директора, не надо ему мешать.

Зачем мне ему мешать, хорошо, что он уйдет, без него как-то уютнее.

Моего нового братишку зовут Марек. В детдоме у нас тоже был один Марек, но по фамилии. Я хотела бы с ним подружиться.

Опять дала мне яйца, хоть бы детдомовская еда поскорей кончилась, а то она будет кормить меня ею до самой смерти. Дала бы мне лучше пирога, как детям. Может, и даст, если я потороплюсь.

— Не глотай так, подавишься!

Марек скорчил такую рожу, что я поперхнулась от смеха, размахиваю руками, кашляю, задыхаюсь, мама стукнула меня по спине. Ничего не сказала, только насупилась.

Крутые яйца я не люблю, а фаршированные еще бы съела, нам на пасху однажды давали на закуску, а в детский праздник повариха сделала нам из яиц лягушат и посадила их на мясной салат. Пржемек начал квакать, и мы все вслед за ним заквакали, если бы не День защиты детей, нам бы здорово влетело.

Катя крошит пирог, а у меня слюнки текут, но если я не справлюсь с яйцами, мне их наверняка и на обед дадут.

У них смешная сахарница из пластмассы, переворачивается, и из трубочки высыпается немножко сахару, интересно знать, он что, всегда высыпается одинаковыми порциями, как это устроено, что сахар знает, сколько должно высыпаться.

— А ты, оказывается, хохотушка! На, выпей!

Марек смеется. Кофе ужасно невкусный, но мама смотрит строго, и хотя я давлюсь, выпить придется, раз она этого хочет.

Кто-то звонит, это телефон в прихожей, слышно, как она с кем-то разговаривает.

Марек постучал себя по лбу, вылил мою чашку в мойку и быстро пустил воду.

— Такая большая, а глупая.

Катя рассмеялась, у нее зубки как жемчужинки, у нас в детдоме таких маленьких не было, я не знаю, что ей сказать, погладила ее, а она забралась ко мне на колени и таскает меня за волосы, даже больно немного.

— Ты что, сдурела, ведь у нее уже полная горсть твоих волос?

С Мареком шутки плохи, он силой раскрывает Катержинке кулачок.

— Не трогай ее,— прошу,— она ведь маленькая,— и вытираю слезы.

— А вас там били? — спрашивает Марек.

— Нет.

— А есть давали?

— Давали.

— Только хлеб и воду?

— Нет, все: суп, мясо с гарниром, салат и пирог.

Похоже, он не верит.

— И шницель?

— Да, и шницель с картофельным салатом или с картошкой и огурцом.

Он положил подбородок на руки. Катя снова крошит пирог. Тесто, по-моему, песочное.

— Ты правда чокнутая,— говорит Марек,— чего же ты там не осталась?

Мама была права, ребята стали смеяться, как только я раскрыла рот. Но учительница их сразу одернула. Я и сама понимаю, что тут в Праге говорят иначе, чем в Остраве, но никогда в жизни я так говорить не научусь.

Учительница толстая, как поросенок, но, кажется, хорошая, раз ребят одернула, а потом спросила, как у меня со зрением, почему я в очках.

Я ответила, что плохо вижу, только когда горит свет, и весь класс чуть не лопнул со смеху. Таких ребят я в жизни не видала. Ну что тут смешного? Она посадила меня на первую парту, как и в детдоме.

Но девчонка с этой парты ужасно разозлилась, ей, видно, хотелось сидеть с подругой. Отодвинулась на самый край и отворачивается, чтобы не видеть меня. Я и не удивляюсь. Что во мне хорошего?

Мамочка сшила мне платье, она такая проворная, за один день успела, из своего перешила, умеет и на машинке строчить, раз, и готово. Так что платье у меня красивое, темно-зеленое с белым воротничком на кнопках, а самое главное, что оно чуточку пахнет, совсем немножко, но я это чувствую, и мне кажется, что она тут, со мной, что обнимает меня. Только оно колется в рукавах и в плечах, но я ей не скажу, ей было бы обидно.

— А у нее блохи!

Ну и ребята!

— Вахова, прекрати, пожалуйста,— одергивает ее училка,— имей в виду, каникулы уже кончились.

— Она все время чешется, я с ней сидеть не буду.

Это она обо мне. Но ведь у меня нет ни блох, ни вшей, нас воспитательницы все время проверяли, потому что всегда все сваливают на детдомовских.

Если бы я могла куда-нибудь скрыться, но здесь спрятаться некуда, и, конечно, все уставились на меня, а мне так хочется почесаться, жутко хочется, эта материя очень колючая.

— Давайте я с ней сяду. Я блох не боюсь.

Снова все прыснули, но тут уж я не выдержала, бросилась вон из класса. Училка поймала меня у двери.

— Как вам не стыдно,— теперь она, кажется, и вправду рассердилась,— как вы встречаете новенькую, что она о вас подумает. Сейчас же замолчите!

Из репродуктора над доской доносятся какие-то звуки, но ничего не разобрать, в ушах шумит, и очки запотели.

— Никто не запретит мне оставить вас после уроков в первый же день. Блеха[1], ловлю тебя на слове, теперь ты хоть будешь у меня на глазах.

Она посадила меня на то же место, а мальчишка этот садится со мной и корчит мне рожи, наверное, хочет меня рассмешить, как Пржемек, но я не могу успокоиться, не могу успокоиться и не плакать.

Его фамилия и вправду Блеха, ну и откормленная это блошка, даже смешно.

Ребята окружили меня и суют конфеты, вафли и шоколад, все это тает у меня в руках, я боюсь запачкать платье, ем, чтобы их не обидеть. Все наперебой говорят мне что-то, ты с ней не водись, плюнь на нее, она дура набитая, а ты кошка, раз не видишь при свете, а только в темноте, меня выводят из класса на улицу, я плачу, и смеюсь, и жую конфеты.

— Гедвика!

Мама. Мама Звездочка. Эта красивая дама — моя мать. Она пришла за мной в школу. Но почему она хмурится?

— Вытри рот!

Я вся перемазалась.

Мама пришла с Мареком и с Катержинкой. Я прибавляю шагу, но все равно возле мамы уже нет места.

— В другой раз ни у кого ничего не бери, ты не объект для благотворительности.

Объект, это слово у мамы от него. Оглядываюсь.

Мяу, мяу, кис-кис-кис, дразнит меня Блеха, ну и пусть, кошка ведь лучше, чем корова.

— Его фамилия Блеха, правда смешно?

— Что в этом смешного? Его папа доцент.

Что такое доцент? Это больше чем заместитель директора?

Бедная мамочка, сколько у нее со мной забот. У меня нет брюк и вообще ничего подходящего для дачи. А оставить меня одну дома она не может. Я сказала, что могу поехать в старом спортивном костюме, но она его уже выбросила.

Теперь шьет мне брюки.

Я никогда не была на даче, даже не знаю, радоваться мне или нет. Марек сказал, что там такая тоска, как в морге! Откуда он это берет, ведь он только во втором классе!

Наверное, сошьет мне и куртку, мне бы хотелось куртку с капюшоном, с белой оторочкой. Только пойдет ли мне? Скорее всего нет. Брюки шьет из его штанов, противно будет даже носить. Они не только будут кусаться, а совсем меня съедят. И цвет какой-то противный.

Мареку и Катержинке шьет из нового, а мне из старых штанов. Если бы они хоть пахли, как ее платья. И к чему ворчать, что у меня

[1] Блоха *(чешск.)*.

ничего нет, лучше не выбрасывала бы. И чемоданчик был бы. А на их дачу я плевать хотела. Потому что там будет он, целых два дня там будет, с утра до вечера.

Лучше бы он приходил поздно, как можно позже. Или вообще не приходил. Сколько раз я надеялась, что он не придет, но он всегда приходит.

Наконец мы все сложили, каждый что-то несет. И у Катержинки маленький чемоданчик вроде того, что был у меня. Катержинкин она не выбросила, ясное дело.

Он открыл в машине багажник и стал складывать вещи. Красивая машина, Пржемек сказал бы, какой марки, сколько лошадиных сил и какая скорость, но по мне все машины одинаковы, я знаю только шестьсот третью «татру».

— У нас и машина есть?

Я не у него спрашивала, но он захлопнул багажник и говорит:

— Да, у нас, мы пахали...

Не понимаю, при чем тут «пахали»? Я вообще часто не понимаю, что он говорит. Он пристегнул меня ремнем рядом с собой, теперь я никуда не денусь. Мама с детьми села сзади. Я хочу быть снова маленькой, такой маленькой, как Катержинка.

Поехали... Хорошо-то как. На машине я никогда не ездила, только на автобусе. Смотрю вперед, машины едут перед нами и навстречу. Люди идут, перебегают дорогу, а он злится и ворчит, вижу красные кисти рябины, и красные яблочки, и домики вижу, и совсем розовое деревце, если бы я ехала со своим папой, я попросила бы остановиться и рассмотрела бы деревце как следует, что это может быть, ведь уже сентябрь, наверное, роза, не иначе как роза.

Как хорошо! А какое было бы счастье, если бы здесь был мой настоящий папа, в Праге мне еще ни разу не покупали трубочек, потому что пирожные, мол, портят фигуру. Но какая у меня фигура? Я хотела папе написать в школе, время нашлось бы, но нет денег на марку. Попросила у мамы, сказала, что хочу послать в детдом открытку, но мама ответила, что незачем, это не те связи, чтобы их поддерживать.

Я думала, что дача — это деревянный домишко, но это оказался белый дом с садом, а вдоль дома красные розы, их столько, что дома почти не видно, и все как в сказке.

— Хоть тут не мешай!

Магнит во мне, что ли, какой-то, всех я к себе притягиваю, все на меня натыкаются. Блошка говорит, что я ужасно медлительная, пока, мол, ты, Киса, споткнешься, я уже нос расшибу. Он называет меня Киса, а я его Блошка, но вовсе я в него не влюбилась, потому что он ниже меня ростом и потом Пржемек остается Пржемеком. Если бы у меня были хоть какие-нибудь деньги, я могла бы купить цветную открытку с видом Праги и послать ее Пржемеку, он сразу бы понял, от кого, можно и не подписываться.

Здесь и бассейн есть, вода синяя-синяя, а в ней листья, один лист слетел и бултых в воду.

— Ой, лягушка, лягушка!

Он посмотрел на меня и покачал головой. И все мне сразу стало неинтересно.

— Ну, куда ты полезла, господи!

Откуда же мне знать, что здесь нельзя ходить по траве, а надо прыгать с камня на камень, мне же не объяснили.

— Марек, пожалуйста, займись ею, папе нужен покой, ты это отлично знаешь, а я побуду с Катержинкой.

Марек закатил глаза, это ему некстати, у него здесь, видно, друзья. Да и зачем ему мной заниматься, я ведь не маленькая.

— Пошли!

Иду за ним. Как здесь красиво. С одной стороны луг, с другой — лес. Лес поднимается в гору, а луг внизу. И целое облако пуха от каких-то цветов.

— Тоска зеленая... Ни к чему не притронься, никуда не ступи, этот буйвол с каждым листочком носится.

— Буйвол? Какой буйвол?

Я наклоняюсь к нему. Он такой маленький и такой ладненький, как я рада, что у меня такой братишка.

— Не доходит? Да папа же.

— Папа? О родителях, Маречек, так говорить нельзя, родителей нужно уважать.

Он смотрит на меня разинув рот, долго пялит свои глазищи и вдруг падает, катается по земле и хохочет, ох, как хохочет. И скатывается по склону вниз, сначала я испугалась, но он все катится и смеется, я бегу за ним, ноги сами меня несут, передо мной синева, синее небо, я лечу, как во сне, мне хорошо, но вот-вот я грохнусь.

Нет, не упала, Марек садится на берегу ручья, он так хохотал, что описался, я делаю вид, что не заметила, авось высохнет, лишь бы этот ответственный работник снова не съездил ему по физиономии.

Сажусь рядом с ним, вода течет и булькает. Гита как-то написала в сочинении, что ручеек бормочет, схватила пару, но была права, вода говорит, разговаривает с камешками и травой.

— Все только для него,— говорит Марек,— остальные ноль без палочки, лишь бы не шумели, не сорили, не трогали, если бы он мог, то запретил бы и дышать.

Наверное, надо бы его остановить, слишком он мал, чтобы говорить такое, всего-навсего во втором классе, а рассуждает, как взрослый. И вздыхает, как взрослый.

— Смотри, рыбка.

Я не вижу. Она, видно, очень маленькая, и вода рябит.

— Ты бы хотела быть рыбкой?

— Еще съели бы меня.

Он не засмеялся. А мне хотелось, чтобы он снова засмеялся.

— Уплыть бы от него или улететь. Если бы не мама.

Тут уж я ничего не понимаю. Живет в настоящем доме и такой разнесчастный, все у него есть, а так вздыхает, и велосипед весь хромированный, и ролики, и четыре больших конструктора.

— Ты видела «Красавицу и чудовище»? По телеку показывали, папа уехал, вот я и смотрел. Этот зверь был заколдованный, а красавица так его любила, что он превратился в человека. Мама, наверное, тоже думает, что он превратится.

— Кто превратится?

— Ну что с тобой говорить!

Он наклонился к воде. Брызгает на меня, залил очки, но я его вижу, снял туфли и влез на камень.

— Осторожно, Маречек, не упади.

Что он имел в виду? Красавица, конечно, это моя мама Звездочка, а зверь? Ведь он человек, противный-препротивный, но все-таки человек.

Марек уже в воде. Он это нарочно сделал, чтобы ничего не было видно. Но я бы все равно не рассказала.

— Посиди на солнышке, высохнет.

Упрямец, нарочно идет по лесу. Здесь тихо и пахнет грибами, сильно-сильно пахнет грибами.

Вот. Господи, какой красивый. Такой красный, в горошинку, мне

бы такой зонтик. Рядом поменьше — кругленький, еще не раскрытый. И еще рядом — совсем белые.

— Не топчи!

Как даст мне ногой по руке, больно, даже кожа содралась на костяшках, сама виновата, не надо было туда руку совать, но мухомор жалко, он такой красивый.

Трясу рукой, лижу ссадины, но боль не проходит, а Марек исчез, еще бросит меня здесь и я заблужусь. Марек, Маречек, Марек!

Принес полную горсть ежевики, крупной, как вишни, и сладкой-пресладкой.

— Ты бы еще башку туда сунула, я бы двинул — как мяч отлетела бы.

Мы смеемся. Как хорошо, когда есть братишка, к тому же такой смышленый. Он прыгает передо мной и поет: «Зеленая трава, футбол, вот это да!» Я пою вместе с ним, петь я, между прочим, умею, в детдоме всегда пела соло, потому что могу взять самую высокую ноту.

И вдруг в сад вышел он. Я вмиг замолчала. Он так на нас посмотрел, что я онемела. Марек идет спокойно и поет, а я не могу, во мне все сжалось, даже шевельнуться не в силах, он смотрит, как удав на мышь или на кролика.

Хуже всего во время еды, как посмотрит, у меня живот сразу схватывает, кусок застревает в горле, ложка из рук валится, суп течет по подбородку, отрезать ничего не могу — все потому, что он смотрит.

— Вас в детдоме есть не учили? Или ты пропустила тот урок?

Что ему ответить? Я вообще не знаю, что ему отвечать. Разве в школе учат есть? Маленьких, наверное, учат, но я этого уже не помню. Катержинка ест красиво, но иногда ей не хочется и она говорит: мама, кормить.

Была бы я маленькая.

Пусть бы он меня побил. Но он только смотрит или говорит что-то ни к селу ни к городу, а мама всегда краснеет, вся становится красная, краснеет из-за меня, и я готова провалиться сквозь землю.

Снова я с носом, и доесть не успела, как она уже все собрала и унесла. В детдоме нам все давали сразу, повариха мне приносила еще одно сладкое, а иногда тайком отводила на кухню и давала выскрести кастрюлю из-под крема или мусса или накладывала полную тарелку маленьких пирожков и всегда смеялась, что она, мол, только пар нюхает, а толстеет, а я, что ни дай, не поправляюсь.

Хуже всего, что я ни маленькая, ни взрослая. Катержинке и Мареку дали бананы, а он и мама пьют кофе из маленьких чашечек. В детдоме нам только один раз на рождество дали банан, он был украшен звездочками из шоколадного крема, вкуснота невозможная, я облизывалась до самого Нового года. Кофе вкусно пахнет, и дым от сигарет мне нравится, мой папа тоже курил и пил кофе, а для меня всегда брал четыре трубочки. Тетя, которая меня привезла, говорила, чтобы я маме ни о чем не рассказывала, но как мне попросить денег на марку? И как узнать адрес той больницы? Наверное, это знает пан президент, но ему я боюсь писать; если каждый будет ему писать, он даже прочитать все письма не сумеет.

Наверное, лучше бы я была взрослая. Писала бы спокойно, кому хотела, меня бы пустили к папе в больницу, и маме я могла бы что-нибудь купить, только что, ведь у нее все есть. Я купила бы ей в кондитерской большой торт, и она пила бы с ним кофе, а может, и закурила бы.

— А посуда? Грязную вы что, выбрасывали?

— Нет, что вы.

Кто же это посуду выбрасывает? Не понимаю, как мама могла за него выйти. Да еще оставляет меня с ним одну.

Уж лучше лечь спать после обеда, чем видеть его змеиные глазки. Королевский удав. Буду называть его удавом. Марек называл его зверем. Красавица и зверь. Но удав лучше, Звездочка и удав.

Знал бы он, о чем я сейчас думаю. Так бы меня стукнул, что от меня бы только мокрое место осталось. У Пржемека была такая присказка: стукну раз — прямо в глаз, стукну второй — голова долой.

Я прыснула, не выдержала, а он говорит маме (она уже детей уложила и мыла посуду), какая индифферентность. Просто невообразимо, какая индифферентность. А она покраснела.

И вдруг ни с того ни с сего крикнула:

— А что же мне делать, скажи бога ради! Скажи!

И слезы полились по ее щекам.

— Терпеть не могу истерик.

И ушел в сад, одно слово — удав!

Мама Звездочка всхлипывает, вся дрожит от плача, я никогда не думала, что взрослым может быть так же горько, как и нам.

— Мамочка, мы с Мареком тебя в обиду не дадим, не бойся.

Она оттолкнула меня и еще сильнее заплакала, лицо опустила на руки и все повторяет: «Кому я что сделала, кому я что сделала?».

Я легонько поглаживаю ее красивые волосы, сердце у меня разрывается, оттого что она плачет, но я счастлива, что осталась с ней одна.

У меня есть бабушка. Но не настоящая, потому что настоящие бабушки старые и ходят в платочках. Моя бабушка почти молодая, носит белокурый парик, красит веки и губы. Платье у нее как у дамы, из-под него выглядывает кружевная комбинация, а в общем — тьфу!

Наверное, я ее любить не буду.

Она осматривает меня издали и вблизи, даже очки надела.

— Гм, гм, ну, допустим.

Что допустим?

И следит за мной, куда бы я ни ступила.

— В кого она, как ты думаешь?

Это она говорит маме, а имеет в виду меня. Но почему я должна быть в кого-то?

— Теперь уж делать нечего — не проверишь. Я голову бы тогда дала на отсечение, что не протянет.

Она думает, что я полная дура, но я, между прочим, прекрасно все понимаю, хотя обо мне говорят, будто о какой-то вещи.

А у меня, кстати, есть свой папа, он приедет ко мне и поведет меня в кондитерскую, будет пить кофе, а я уплетать трубочки, и я все ему расскажу, вот бабке досадно станет.

И мама не хочет ее слушать, это даже очень заметно.

— Оставь, пожалуйста, помолчи.

— Удивляюсь тебе, дочка, я бы этого так не оставила. Дело твое, но тебе это может дорого обойтись! Мало ли что еще он выкинет, этот тип!

Мама велела мне выйти, но все равно я слышу каждое слово. Бедняжка, у нее из-за меня одни неприятности. Какая же она несчастная с такой злой матерью, а у меня мамочка добрая, красивая и добрая.

Порадую ее. Пойду выброшу мусор. Только удастся ли поднять крышку бака. Если бы Блошка был во дворе, я попросила бы его придержать крышку. Он низенький, но сильный.

— Блоха, Блошка!

Сразу примчался. Ну и гремят же эти баки!

— Подожди!

— Что это? Ты мне чуть пальцы не прищемил.

— А чего ты их туда сунула?

— Подними! Подними-ка повыше.

Папино письмо. Точно. Но от конверта остался лишь обрывок. там написано «Гед...», это мне письмо, а они его выбросили, не отдали мне, порвали письмо от моего папы и бросили, они только и знают, что все выбрасывать.

— Мне надо найти все письмо. Обязательно!

В баке только маленькие клочки бумаги. На одном написано «был», а другой чистый.

— Что с тобой, Киса? Не плачь.

— Это от папы. Они мне не отдали и выбросили.

Он открыл крышку и стал искать вместе со мной, слезы заливают мне стекла очков, я почти ничего не вижу, мне не хочется плакать, но слезы текут сами. Не волнуйся, утешает меня Блошка, мы все найдем.

Он лезет в бак, он просто играет, глупый мальчишка, а мне нужно знать, что пишет мне мой папа, что он мне пишет.

И вдруг меня зовет мама. Зачем я ей понадобилась?

— Только не болтай, Блошка, никому не рассказывай, прошу тебя.

— Я все найду, не бойся.

Из бака торчат только его ноги, знала бы мама, что я играю с Блохой, она была бы довольна, ведь его папа доцент. Но я ей все равно ничего не расскажу.

— Ты соображаешь, что делаешь? С мальчишкой роешься в мусоре, надо же!

— Чего от нее можно ждать?

Бабушка на меня кидается, вот буду называть ее бабища, бабища размалеванная, намазанная, противная, подстроить бы ей что-нибудь, но мне ничего в голову не приходит, Пржемек бы сразу смекнул, можно было бы подсунуть ей в туфлю кнопку или привязать к поясу мышь, вот бы крику было, или положить живую мышь в карман, или хоть червяка, вот бы визжала!

— Ты чего смеешься, Гедвика? Видно, у нее не все дома.

— Тебя это удивляет?

У, бабище!

Катержинке принесла носовые платочки, один лучше другого, с разными зверушками, Мареку книжку, может, он мне даст почитать, он еще во втором классе, а у него уже своя полка с книгами. А мне отвели один ящик в кухне и столик, который надо все время складывать, чтобы места не занимал.

Про меня бабища, конечно, не подумала, ну и пусть, все равно я бы выбросила, если б она мне что-нибудь принесла.

А вообще она ничего, бывают хуже, на, говорит, это тебе, положи в копилку, а откуда у меня копилка?

Надо бы ей эту монетку вернуть, но что делать, ведь мне так нужны марки. Когда я вырасту и буду сама зарабатывать, я ей вышлю, а теперь никак не могу.

Теперь вся надежда на Блошку, но, может, ему надоело копаться в мусоре или мама позвала домой. Его маму я знаю, она работает в поликлинике, куда моя мама ходит с Катержинкой; такая же толстенькая, как Блошка, на щеках у нее ямочки и носит жакет из оленьей замши. Блошка сказал, что замша не из оленя делается, а из газели.

Вот молодец, Блошка, будто услышал, что я зову его на помощь. После ужина звонок, входит он и спрашивает, не унесла ли я случай-

но его тетрадь по математике, он, мол, ее обыскался. И при этом подмигивает. Как хорошо, что постель еще не постелена и я еще не в пижаме, которая висит на мне как на вешалке. Пока мы ищем вместе тетрадь, он подсовывает мне письмо, уже склеенное, и шепчет: тут куска не хватает, но все равно понятно.

Тетрадь мы, само собой, не нашли, и он как ни в чем не бывало говорит моей маме, у меня, мол, склероз, ведь я отдал ее Махачеку. И снова мне подмигивает, надо будет его завтра спросить, что такое склероз, может, что неприличное. Но думаю нет, потому что и мама смеется.

Она даже провожает его до дверей и просто сияет от удовольствия.

— Это очень хороший мальчик, Гедвика, я очень рада, что вы сидите вместе, отец у него доцент, а мать — врач.

Это мы уже слышали, только не знаю, какое это имеет отношение к Блошке и ко мне. Конечно, даже самый никудышный доктор, который берет мазок из горла, не может быть противнее, чем наш ответственный. Даже зубной.

Сижу в уборной, хотела подождать, пока все уснут, но уже терпения не было, только бы Блошка не разболтал, какой же тут плохой свет, чернила в письме местами размазаны, в глазах туман.

«Гедвика, девочка моя.

(Господи, папа, как давно я тебя не видела...)

Я узнал, что тебя отправили к маме. Замечательно, мама — это мама. Твоя мама хорошая женщина. Я завидую, что ты можешь быть с ней.

(А ты не можешь? Почему ты не можешь, папа? Почему мы не можем быть вместе даже с Мареком и Катержинкой, а этот надутый Удав — ну его, все равно в кресла садиться нельзя и по ковру ходить тоже нельзя, мы обойдемся и простыми вещами.)

Дела мои, девочка, плохи, я... и хотят сделать из меня сумасшедшего, но им это...

(Держись. папа, из меня тоже хотят, для них все сумасшедшие.)

Я хотел тебе что-нибудь послать, но ничего у меня нет, жди к рождеству. Я один-одинешенек, и мне очень тоскливо... ли ты обо мне иногда? Напиши мне хотя бы!»

Снова мне стучат, ни минуты покоя.

— Сейчас.

Опять у меня покраснеют глаза.

— А воду у вас в Моравии не спускали. что ли?

Дурак какой-то! При чем тут Моравия? Только вода у меня сейчас в голове.

Деньги на марки есть. Но где написать? Лучше всего в школе. Только бы не пронюхали про письмо, вот было бы крику. Во все они нос суют.

Спрячу его в наволочку. Может, не будет шелестеть? Сложу в несколько раз.

Снова кто-то идет.

— Гедвика, ты спишь?

— Нет еще.

— Дай мне те пять крон, что бабушка подарила, я куплю тебе носки. А то потратишь на ерунду.

— Хорошо.

Я всегда соглашаюсь, говорю «да, пожалуйста, хорошо», никак не отважусь сказать «нет». Я знаю, надо защищаться, но у меня не получается.

Я купила бы марки, и почтовую бумагу, и открытки для ребят. Это вовсе не ерунда, я им еще ни разу не написала.

Я снова плачу, и снова мне холодно. Я тоже одна-одинешенька, папа. И мне тоже тоскливо. Ты хоть писать можешь кому хочешь, а я и этого не могу, мне вообще ничего нельзя.

Ну и силен Блошка — все устроил как надо. Он, дескать, должен со мной заниматься, я ведь из сельской школы, такое, мол, дано ему поручение. Дома у них не так красиво, как у нас, но мне там нравится гораздо больше. Все здесь можно, можно даже прыгать на диване.

Его мама похожа скорее на девчонку, чем на врача, совершенно спокойно говорит при нас разные ругательные слова и пепел с сигареты стряхивает куда попало, в цветочный горшок или на тарелку, а иногда и в пепельницу. И еще при этом смеется.

Блошка ее незаметно выпроводил.

А теперь садись, говорит, Киса, и пиши что хочешь.

Я сижу и не знаю, что писать, и все время думаю, что все равно ведь нет денег на марку. Как же я пошлю?

— Киса, ты уже целый час сидишь и только глаза таращишь.

— У меня было пять крон на марки, а она забрала.

Я сказала «она», не хотелось говорить «мама», потому что моя мама Звездочка — хорошая и желает мне добра.

— Мама не хочет, чтоб я писала папе, и ребятам из детдома не велит писать.

— А ты? Сама-то ты что? Хочешь или не хочешь?

— Я бы хотела, если бы...

— Если бы да кабы, да во рту росли грибы, ты прямо напрашиваешься, чтобы тебе на голову сели. Подумаешь, марка! Какие дела! Есть о чем говорить. А от тебя скоро мокрое место останется, если будешь все время реветь. На, жуй и пиши!

Он открыл коробку с конфетами и говорит, что, мол, видеть их больше не может. Вот это конфеты, одни обернуты, а другие в серебряных корзиночках, я бы спрятала, было б куда, они с ликером, Саше понравились бы. Она больше всего любит с ликером. Эти вот с миндалем, а вот эту коричневую надо попробовать, немножко горьковатая и сверху посыпано какао, а эта пахнет кофе. Надо бы остановиться, но остановиться я никак не могу, а внутри этой орешки.

«Милый папочка!

Я живу хорошо и желаю тебе того же. Мама добрая, Марек умный, а Катержинка красивая. Марек тоже красивый. Он меня не обижает, у него большая ответственность, и он любит иностранные слова. В школе у меня дела не очень, но мне помогает мой одноклассник Блеха. Как я хочу, чтобы ты приехал ко мне! Прийти к нам мама, наверное, не разрешит, но Блеха все устроит. Он все может. Ответ шли на его адрес, он напечатан на конверте, только вместо его мамы надо писать Зденеку Блехе. Домой мне не пиши, они все равно выбросят, как и твою карточку. Если у тебя есть другая, то пришли, пожалуйста, пришли и приезжай».

Я чуть не подписалась «Киса» вместо «Гедвика». Немного измазала письмо шоколадом, но это неважно.

— Готово? Ну, наконец-то. Вот, возьми заодно и открытки. Этим, как их, воспитательницам, тоже ведь надо послать?

И правда, как же это я не додумалась! Заведующая всегда ко мне хорошо относилась, и воспитательницы тоже, и поварихе надо послать, она была самая добрая.

— Пожелай им заранее веселого рождества.

Он смеется. Какое рождество, до рождества еще далеко.

Не хочется, чтобы Блошка смотрел, когда буду писать открытку Пржемеку. Но ему хоть бы хны, делает вид, что его не интересует, кому я пишу. А что бы он сказал, узнай, что я пишу мальчику, знать бы, разозлится он или нет.

Я Блошку не всегда понимаю, он для меня слишком шустрый. То воображает и валяет дурака, а то вдруг делается совсем серьезным и все понимает. Откуда он узнал, что мне все время хочется сладкого?

— Блошка, а не попадет тебе из-за меня?

— Не бойся, Дашенька у меня приручена.

Дашенькой он называет свою маму, Дашенька, щеночек ты мой. А она смеется и ерошит ему волосы или валит его на диван, и они поднимают возню — Блошка называет ее щенячьей.

— Не понимаю, чего ты все время такая запуганная, ну что особенного — папе написать, если ты его любишь, а они пусть сами в своих делах разбираются.

Легко сказать.

— Слушай, а в психиатрическом отделении только сумасшедших лечат?

— Ты что, у кого теперь нервы в порядке?

— А он выздоровеет?

— Отчего же нет? Хочешь еще конфету? Возьми себе все.

— По-твоему, он пишет как сумасшедший?

— Нет, нормально, пишет вполне нормально.

— А тебе не влетит, если ты получишь письмо?

— Как-нибудь выкручусь, почту я чаще всего сам вынимаю.

Он смеется. Они вообще очень смешливые. Мы вместе идем опускать письма и открытки в ящик. Несет их Блошка, меня могут наши увидеть.

По улице я с ним ходить не очень люблю — он намного ниже.

— Вырасту, Киса, не волнуйся.

Он что, мысли мои читает, что ли?

— Девчонки развиваются быстрее, но я тебя еще перегоню.

Он снова хохочет, а я краснею. Хорошо, что я в пальто.

— Когда же я тебе деньги отдам?

— Когда будут.

С утра льет и льет. На улице пасмурно, дома горит свет, я почти ничего не вижу. Надо делать уроки, но как, если перед глазами все расплывается.

Помочь бы маме стряпать, но она не любит, когда я помогаю, говорит, что мешаю. Катержинка ей не мешает, ей можно мять кусок теста и класть его рядом с пирогом в духовку.

Пирог яблочный, с изюмом, мама уже такой пекла, очень вкусно, но дают кусочек — на один зуб.

Жду не дождусь обеда, есть очень хочется. Дождь идет и идет. Поиграть бы с Мареком, да ему мешать нельзя, он разучивает что-то на пианино. Он-то обрадовался бы, помешай я ему, а то стучит по клавишам, будто вода капает. Я могу подобрать любую песенку, но мне не разрешают, чтобы пианино не расстроить.

Не дождусь я, как видно, обеда.

Удав ходит злющий, лучше не попадаться ему под руку. Разве я виновата, что у него прострел? Мой папа тоже болен, а ему мама чай не заваривает и не пляшет вокруг, ему я даже и написать не могу.

Не знаю, что теперь будет с письмом, ведь с Блехой я не разговариваю. Разозлилась на него. Конечно, я сама виновата, не надо было доверять ему тайну.

Но мне же хочется поговорить о папе, с мамой нельзя, Марек еще маленький, Катержинка и вовсе. Вот я и рассказала Блохе, что папа не мог приходить домой, потому что должен был охранять пана президента и подавать ему черный кофе с трубочками, так как никто другой не мог ему угодить.

Блеха уставился на меня, глазел, глазел и даже не засмеялся, а только сказал: ты, Киса, дурака не валяй и об этом никому не рассказывай, а то засмеют.

Я спросила, почему не рассказывать, и он ответил, что это наверняка неправда и что это мой папа выдумал.

Мой папа, между прочим, не врет, зачем ему врать? Он ведь взрослый и не станет выдумывать, как Гита.

Я повернулась и пошла, а Блеха — за мной, мол, это все нервы, Киса, нервы, он тут не виноват.

Он тоже хочет из него ненормального сделать, все они говорят, что мой папочка — чокнутый, он мне и сам об этом в письме написал, а Блеха прочитал, когда кусочки склеивал, вот теперь и строит из себя умника.

Я в его дружбе не нуждаюсь, у меня есть и мама, и братик, и сестричка, и на кой мне эта дурацкая блоха.

Наконец дали суп, вкусный, с печеночными кнедликами, но когда я ем суп, у меня всегда запотевают очки, приходится их протирать все время, а тут куда-то платок подевался, салфеткой нельзя, она грязная, а Удав пялится на меня.

Шлеп — и очки в супе, мама покраснела, конечно, а Марек смеется, он одергивает его, слава богу, я их вытащила и дую на пальцы.

А маленькая Катержинка ни с того ни с сего как скажет: «Наш папа старый дурак!»

Слышно, как мама глотнула, как с моих очков капнуло, а у Марека звякнула ложка.

Он встал, шумно отодвинул стул, он все растет и растет, становится огромный, наклоняется надо мной, мне страшно, я ведь ничего не сказала, это маленькая Катержинка, она услышала от Марека, Марек болтает невесть что, я ему уже говорила, что нельзя так, но теперь молчу, молчу, молчу, а страшная гора падает на меня и придавливает, я и хотела бы вымолвить что-нибудь, а голоса нет, кажется, он меня ударит, закрываю лицо и голову, только бы очки не разбились.

Он поворачивается и выходит, я не вижу этого, но пол дрожит под его ногами, хлопает дверь, и мама срывается за ним и кричит: дорогой мой, дорогой.

Кричит ему «дорогой», такому мерзкому старикашке, Марек заткнул Кате рот, лупит ее, бедняжечку, а она продолжает твердить то же самое.

Влетит мне, я знаю, ведь я не умею защищаться, а на детей из детдома всегда все сваливают, хочу вымыть очки, а мама уже здесь, вот она, хватает меня за руку, тянет, куда она меня тянет, к нему, что ли, мамочка, нет, нет, мамулечка!

Я упала, лежу у его ног, а она кричит: проси, проси немедленно прощения!

Какая она несчастная, я это слышу по голосу, какая несчастная, она в отчаянии и не знает, что делать, все это я слышу, она боится его и вся сжалась от горя.

— Простите, извините, простите,— это лепечу я, это в самом деле я, этот плаксивый голосок мой, он поднимает меня своими клешнями, куда же, господи, он меня поднимает?

— Проси маму, чтобы строго тебя наказала.

Просить бы не надо, но я прошу наказать меня, в горле будто кнедлик застрял, а я ведь суп и не начала есть.

— Громче!

Что-то захрустело, я вздрогнула, он раздавил мои очки, когда они упали на пол.

— Идиотка!

Во всем я виновата, он разбил мои очки — и я же идиотка. Мама велела мне стоять на коленях, я стою в кухне в углу, а они обедают, я их не вижу, только слышу, как звенят приборы, как мама режет пирог, а мне даже маленького кусочка не достанется.

Я стою и смотрю на кафель перед собой, упираюсь в него лбом, но он холодный, холодный как лед, и коленям тоже холодно, мурашки ползают по мне вверх и вниз, интересно, где они встретятся?

Хоть бы есть не хотелось, но голод засел во мне и растет, выгрызает во мне целую пещеру, от меня останется только одна кожица, как от гусеницы, которую выедают личинки наездника.

Мне плохо, а Катержинка смеется, Марека не слышно.

— Куда это ты с пирогом?! Сиди, пока не съел!

Я знаю, Марек хотел сунуть пирог мне, они тоже это понимают, я это чувствую, и это согревает меня немного, мне уже не так холодно, на меня будто повеяло теплом. Когда мы в лагере разжигали костер, спине было холодно, а лицу жарко, да еще дым щипал глаза.

Катержинка смеется, а он говорит: смотри, Катержинка, изюминка упала, ну-ка, ам, открой ротик, ам-ам.

А я стою на коленях.

Марек проходит мимо, я слышу его шаги, теперь он ростом с меня, потому что я на коленях, наклоняется ко мне, к самому уху.

— Все равно он дурак, все равно.

Марек все-таки сунул мне кусочек пирога, совсем маленький, какой только уместился в его ладошке, на языке у меня растаял сахар, очень вкусно, но я ничего не могу проглотить, в горло не лезет.

Красный цвет я вижу хорошо, он у меня на руке, кап, кап, кап, это из носа капает кровь, пускай, мне ничуть не больно, и так я постепенно умру.

А мама будет жалеть, что не дала мне пирога, и Марек будет плакать, и у Катержинки, когда она увидит, потекут слезы, а Блошка придет и скажет: Киса, не валяй дурака, вставай. Но я буду мертвая и ничего не услышу, и приедет ко мне папа, и ему будет грустно, и он не будет знать, что делать с трубочками.

Никто к ним не притронется, потому что у всех будет сжиматься горло, и они не смогут ничего проглотить, и у всех потекут слезы, у всех, кроме меня, а я больше не буду плакать, я буду сладко спать.

Ну и номер я выкинула, вдруг заболела. У меня температура, и меня отправили в карантин, чтобы не заразила детей. Карантин у бабушки. Не люблю я ее, но больше не называю бабищей, не такая она уж плохая, бывают хуже.

— Теперь ты ее мне на шею вешаешь,— сказала она, когда мама привезла меня к ней на машине,— ты меня никогда не слушаешь. Как вспомню, что тогда стоило только окно открыть, так, кажется, сама себя выпорола бы.

Что она этим хотела сказать, не знаю, но, видно, я ей не очень-то кстати.

— Ты тут не капризничай, Гедвика,— сказала на прощанье моя мама,— я не знаю, за что раньше хвататься. А ты, мама, записывай все расходы, я потом с тобой рассчитаюсь.

Меня уложили в постель, потому что мне было плохо, мама по-

ложила руку на одеяло и тут же убрала ее и улетела, как мотылек, сначала исчезла ее красивая рука, а потом и вся она, и я осталась у бабушки.

Вот если бы она тогда не удерживала Удава, он бы ушел и мы были бы все вместе, я могла бы написать папе, чтобы он приехал. Но она: «дорогой, дорогой», этот Удав ей дороже, чем мы, что только она в нем находит.

— Мучение с тобой,— вздыхает бабушка. Но не очень-то она мучается, вечно где-то в бегах, а я остаюсь одна.

Очков еще нет, сначала надо сходить к глазнику, но это хорошо, хоть учиться не надо. Все равно неохота.

Мне кажется, будто я легонькая и плыву по воде, а не лежу, это так приятно, напротив меня окно, я люблю это окно. В нем виден свет, и он такой прекрасный.

Этот свет я могу превратить в темноту, стоит посмотреть на стену. Это очень занятно — когда темнота превращается в свет, а свет в темноту.

Когда остаюсь одна, я включаю радио, слушаю разные передачи, песенки и музыку тоже, пою или просто думаю. Пржемек сказал бы, что я выдумываю велосипед, но я ничего не хочу выдумывать, мне очень странно, что говорят, поют и играют такие же люди, как я, что они научились так красиво говорить, и петь, и играть, а я ничего не умею.

Время от времени заглядывает бабушка и спрашивает: ну, как, не лучше тебе? А я не знаю, что ей ответить. Что ей хочется больше услышать.

Она дает мне бульон с яйцом и кашу с медом, и то и другое противное, но говорят, я от этого выздоровею. Еще она приготовила мне бисквиты с заварным кремом, я такого в жизни не ела, это была очень вкусная и забавная еда, мы весь вечер смеялись.

Потом я проговорилась, что про себя называю маму Звездочкой, потому что у нее глаза как звезды, и бабушка отошла к окну, стала смотреть на улицу и сморкаться, мне показалось, что она плачет.

— Пойми, Гедвика, твой отец испортил ей жизнь.

— Но ведь он ее любит.

— Может, и любит по-своему, но он испортил ей жизнь в самом начале, и ты должна это понять и забыть о нем, как и она.

Ну, конечно, я должна все понимать. Я бы даже хотела о нем забыть, чтобы доставить маме радость, но что, если у меня ничего не выходит. Я снова и снова вижу, как он стоит на улице, переминается с ноги на ногу, прячет шею в воротник, а потом вдруг поднимает голову, смеется и подходит ко мне.

Как он мог испортить ей жизнь? Можно испортить рисунок, или зуб может испортиться, но как может испортиться жизнь?

— А как он испортил ей жизнь?

— Этого ты не поймешь, мала еще.

Для одного я мала, а для другого не мала, все зависит от того, устраивает ли их это. А я только делаю вид, я, между прочим, знаю, к чему бабушка клонит. Мы с девчонками это вычислили по метрикам, почти никто не родился так, как полагается.

Подумаешь, он сделал маме ребенка немножечко раньше, ну и что? Ведь этот ребенок я. Разве плохо, что я есть на свете? Мне на свете нравится, если бы только я не болела и не было бы Удава. Нет, я не хочу, чтобы он умер, пусть живет на здоровье, но пусть идет жить в другое место, в свою семью. Марек мне рассказал, что у Удава есть еще одна жена и дочка, которая учится на врача, так почему же он не живет со своей дочкой-врачом?

Взрослые все так запутывают, что у меня от этого в голове полный кавардак, разве тут разберешься?

— Вы думаете, моя мама меня любит?

— А ты как думаешь?

— Я? Не знаю.

— Понимаешь, Гедвика, вы должны сперва привыкнуть друг к другу, правда? Марек и Катержинка еще маленькие, о них надо больше заботиться, а ты в ней уже так не нуждаешься.

Не нуждаюсь, это правда. Вообще в ней не нуждаюсь. Ведь я заболела, потому что она поставила меня из-за Удава на колени. А теперь совсем забросила.

Когда я болела в детдоме, ко мне приходила сама заведующая, а ведь у нее тоже нет времени и тоже есть свои дети.

— Поспи-ка лучше, Гедвика.

Все спать да спать, днем и ночью. Очки бы хоть были, чтобы телевизор смотреть.

От имени всего класса, что от имени всего класса? Да это Блеха, конечно, это его голос. Он пришел, а ведь мы поссорились.

Но он пришел не один, с ним кто-то еще, как плохо без очков, надо же было этому Удаву раздавить мои очки?!

— Привет! Привет, Покорна.

Покорна, вдруг я стала Покорна.

А, узнала, это та зануда, что за ним увивается, малявка Йоузова. Ясное дело, они подружились, пока я не хожу в школу. Ну и ладно!

— Мы пришли тебя проведать от имени всего класса.

— Мы принесли тебе цветы и конфеты.

— Спасибо.

Надо бы еще что-нибудь сказать, но мне ничего не приходит в голову. Мне никогда не дарили цветов. Йоузова протягивает букет, а Блошка сует коробку с конфетами. Жаль, что не наоборот.

Ах, вот что! Будто от всего класса?! Но ведь эти конфеты получает его мама от больных, такие же точно купила ей моя мама, когда шла с Катержинкой на осмотр. Скорее всего это та же коробка, переходящая.

— Ты чего смеешься, Киса?

Я уже снова Киса, дело в шляпе.

— Ты без очков чудная какая-то, правда, Блеха?

— Почему? Обыкновенная.

Как он ее! Молодец, Блошка, совсем на меня не сердится.

— Эй, Йоузова, попроси у пани вазу.

Соображает, что к чему.

Йоузова фыркает, но идет. Хоть бы бабушка ее там задержала.

— Тебе письмо, Киса.

Он быстро сунул его под подушку.

— Ты читал?

— Нет.

— А откуда узнал, что это мне?

— А кто мне может писать из Опавы?

— Тебе не влетело?

— Не бойся. И давай выздоравливай. Температура еще есть?

— Нет.

— А чего ты ревешь?

— Я не реву, это слезы сами катятся.

Смеется, как я рада, что он смеется!..

Йоузова входит с цветами, могла бы и не спешить.

— Это астры,— сообщает Блошка,— говорят, последние, но недельку еще постоят.

Он все сам затеял, и как здорово все подстроил, а класс тут ни при чем. С Йоузовой они друг другу подходят, она тоже маленькая, ресницы у нее черные и громадные черные глаза, как у совы. Мне такие глазищи, я бы на всех чихала.

— Сказать тебе, что мы проходили?

— Мне сперва надо к оптику, я разбила очки.

— Вот это здорово,— хохочет Блошка,— разобьешь очки — и не надо учиться, прекрасный способ, я бы разбивал их все время.

— Но ведь мы учимся для себя.

Ну, конечно, Йоузова не может не выставляться.

— Корова ты, вот кто.

Это он сказал Йоузовой в смысле дура, точно так же, как Пржемек говорил мне. Тот однажды принес апельсин, очистил его, разделил на две части и сказал: «Я — осел, а ты — корова, ешь скорей и будь здорова». Пржемек всегда говорил в рифму.

Йоузова надулась, она шуток не понимает.

— Давай выздоравливай, Киса. А что мы прошли, догонишь, никуда не убежит.

Я все время слышу его смех. Они уже давно ушли, а я все еще его слышу.

— Симпатичный мальчик,— хвалит его бабушка,— и девочка хорошая, в наше время это редкость.

Мы с ней вместе едим конфеты, и мне совсем хорошо, под подушкой папино письмо, может, мне удастся его прочитать. И с Блошкой я помирилась.

Сегодня счастливый день. Гостевой. Пришло письмо от папы, и Блошка меня навестил. Только бы бабушка поскорей ушла.

— Мне надо пойти по делу, Гедвика. Ты потерпишь одна часок?

— Конечно.

Ох, как долго она одевается. Еще медленнее, чем я. Наконец хлопнула дверь. Скорее, скорее за письмо, без очков придется попотеть.

«Гедвика, Гедвичка, милая!

(Я будто слышу тебя, папа.)

Я понимаю, что твоя мать не разрешает, чтобы ты мне писала, это бесчувственная женщина.

(Что он пишет? Ведь он всегда ее хвалил, может, я читаю неправильно, нет, правильно, он, видно, и в самом деле того.)

Она всегда была холодная как лед, и сюда я попал из-за нее, это она и ее мать меня погубили.

(Они чокнутые, эти взрослые, все, как один, чокнутые. Такое письмо можно было и не писать.)

Но ты, Гедвичка, не огорчайся, меня скоро произведут в генералы, только вот выздоровею. Я возьму тебя к себе, и нам будет хорошо.

(Папа, боже мой, папочка. Если бы только буквы перед глазами не расплывались. Хоть бы Блошка был здесь, но что бы он мне посоветовал, ведь я в прошлый раз с ним из-за этого поругалась.)

Здесь хотят сделать из меня ненормального, потому что я человек важный и знаю много секретов, но это им не удастся. Скоро я за тобой приеду на «татре-603», потерпи немножко».

Как жаль, что нету очков, мне кажется, что это писал не он, может, Блошка меня разыграл и отомстил мне, наверное, они с Йоузовой сейчас где-нибудь за углом хохочут.

Хотя нет, не может быть. Этого бы Блошка никогда не сделал, наверное, папа шутит, чтобы меня развеселить, а я соображаю медленно и ничего не понимаю. Про охрану тоже, наверное, шутка,

Блошка — голова, он сразу сообразил, он в классе самый умный, Йоузова лучше учится, но куда ей до него.

Тогда он надо мной не смеялся, когда мы поругались, он только бежал за мной и говорил: все это нервы, Киса, нервы.

Но ведь это невозможно, чтобы мой папа был ненормальным, ненормальными могут быть другие, почему именно он, мой папа?

Только как же он может стать генералом, ведь он такой неприметный? Меньше, чем я, и тощий, как комар, у него и медали на груди не поместятся, и носить их сил не хватит.

Он всегда пил кофе с ромом и мне давал понюхать, пар затуманивал стекла очков, и он вытирал их галстуком, он все время носил один и тот же, уже весь в пятнах. Деньги вечно искал по карманам, складывал их столбиками, и иногда хватало только на две трубочки, а то и на одну, и папа говорил: мне кофе не надо, возьми себе две.

Он приедет на «татре»! Но где же он ее возьмет? Кто ему даст?

Какая же я дура, папа шутит, чтобы позабавить меня, а я реву. Хоть бы бабка письмо не увидела, а то она тут же маме расскажет.

Вот и все, вот и горит, и буковки пылают и смеются, подмигивают мне, не бойся, Гедвика, это я просто так.

Но что же с папой на самом деле?

Мы снова идем в школу, мама и я. Марек шагает впереди, делает вид, что не с нами. Катержинку мама везет в колясочке, она в комбинезоне, отороченном шигейкой, в белой шапочке, и каждый, кто проходит мимо, говорит, какая красивая девочка.

Я некрасивая, и белой шапочки у меня тоже нету. Мне холодно. Туман такой, как будто я без очков. Очки уже есть, я была у врача и у оптика. Так радовалась, что выберу себе красивую оправу, ведь я теперь живу в настоящем доме, оптик выложил их на прилавок целую гору, но мама выбрала именно ту, за которую не надо доплачивать. В этой, мол, ты мне больше нравишься.

Ну, как я могу в таких очках нравиться?

Не пойму, рада я или нет, что снова иду в школу. Скорее нет, потому что день пасмурный, включат свет — и я снова не буду видеть, что написано на доске.

Когда раньше я приходила после болезни в школу, мне всегда казалось, что ребята ушли далеко-далеко и мне их не догнать. Они будто становились другими, и училка говорила: Покорна, Покорна, опять у тебя пробел в знаниях. Зимой у меня было больше пробелов, чем занятий. Пржемек смеялся: у тебя, мол, сыр сплошь из дыр.

— Ну что за дурацкий вид? Выпрямись, пожалуйста!

Она злится, что должна идти со мной в школу, никто ее не просил, могла остаться дома с Катержинкой, я бы справку от врача и сама отдала.

— У тебя просто ужасный вид.

Это я тоже знаю, в зеркале я еще могу себя разглядеть.

Брюки коротки, туфли жмут, карманы в пальто где-то под мышками. Она связала мне жилет, каждая часть другого цвета, я в нем, как драный попугай.

— Поторапливайся, смотри, где Марек.

Когда она со мной говорит, у нее в голосе столько нетерпения.

Мы с Катержинкой ждем возле учительской. Дети носятся вокруг нас. Это не из нашего класса. Они строят рожицы Катержинке, а меня никто не замечает. Может, я невидимка, вот было бы здорово.

Звонок. Коридор затих.

Мама увела Катю, а я иду с нашей классной. Ни разу я еще не

ходила с учительницей по коридору после звонка. Тишина такая, что кажется, вот-вот придавит.

— Послушай, девочка, ты, наверное, даже не понимаешь, как тебе повезло. Тебя взяли такие люди, у них свои родные дети, и все-таки они взяли тебя в семью, а как ты их благодаришь? Ни учебой не радуешь, ни поведением, все-таки надо немного стараться.

Что она болтает? Какие свои родные? А я? Я что, не родная, что ли?

— Все молчишь. Думаешь, кого-то переупрямишь? Ты уже не маленькая, могла бы взяться за ум.

Подошли к классу. За дверью ребята рычат, как тигры. Настоящий зоопарк.

— Ты хоть понимаешь, какая это жертва для них?

Жертва? Почему? Эти учителя как кроссворд с загадкой.

Открыла дверь. Все вскочили со своих мест и замолчали.

Но я заметила, как он кривлялся на кафедре. Я очень хорошо это видела. Он подпрыгивал и смеялся, хохотал как ни в чем не бывало, как будто меня и не знал, как будто меня и на свете не было, как будто мне не было грустно.

Подбежал к своей парте и остановился, стоит и улыбается. Йоузова рядом с ним. Воспользовалась случаем и села на мое место.

— Посажу-ка я тебя лучше к окну, Покорна. Только надо будет пригнуться, ты, кажется, еще вытянулась.

Дети смеются. Я сажусь и нарочно не смотрю на него, а он все равно смеется, пересмешник.

Рядом со мной сидит Барбора-балаболка, терпеть ее не могу. Сидит на первой парте, потому что не может ни на минуту заткнуться, второгодница. Ее болтовни я не выдержу, и вообще все несут какую-то чушь, а о важном молчат.

Что значит жертва, кто мне объяснит? Какая это для мамы жертва? Ведь я ей тоже родная, как Марек и Катержинка, но я уже большая и могу помогать ей, беречь ее.

Не могу же я снова стать маленькой, чтобы она меня любила. Я люблю ее и большую. Пусть папа что хочет пишет, это моя мама Звездочка, и у меня есть настоящий дом.

— Покорна, не отвлекайся, ты ведь столько пропустила!

Встаю и снова сажусь, мне неприятно вставать, садиться, извиняться. За окном такая отчаянная тоска, что кажется, когда на переменке откроем его, она ввалится внутрь.

На магазин самообслуживания села ворона. Как ей удается удержаться на кончике громоотвода? Если бы я была вороной, то не торчала бы на крыше, а расправила бы крылья и полетела.

Полетела бы к нам в детдом, села бы там за окошком, Саша бы испугалась, а Гита бы сказала, что эта ворона похожа на нашу Гедвику, потому что я, конечно, превратилась бы в белую ворону, раз я альбинос. Или стала бы белой голубкой и постучала бы к мальчикам в спальню, в окно бы не заглянула, ведь это нехорошо, только постучала бы и фррр — улетела.

— Ты сердишься, Гедвика?

Это Блошка меня догнал. Теперь он кажется еще меньше. А щеки красные и толстые, как у младенца.

Молчу. И он молчит. Только камешки ногой подбрасывает. Один отлетел ко мне. Подбиваю его носком.

И так мы перебрасываемся камешком — я ему, он мне.

— Ты хотел бы быть птицей?

Он посмотрел на меня, как будто я с луны свалилась. И снова стукнул ногой по камешку. Перебросил мне.

— Тебе грустно, Киса?

Я не сумела отбить.

Он остановился.

— Мама как назло встретила почтальоншу. Пришлось рассказать.

— Она не читала?

— Ну что ты? Чужое письмо! Только сказала, что лучше бы не писать, что тут необходимо хирургическое вмешательство.

Он стал красный, как помидор.

— Какое?

— Хирургическое. Просто прервать старые отношения, раз у тебя есть новые родители. Но я с ней не согласился.

— А ты можешь?

— Что?

— Не соглашаться?

Чему он удивляется? Мне еще никогда не приходило в голову, что можно не соглашаться со взрослыми. Не соглашаться с воспитательницей, или с вожатой, или не согласиться с Удавом.

— И ты ей это сказал?

— Само собой. Я сказал ей: послушай, мама, неужели ты думаешь, что меня от тебя можно отрезать? Или от папы?

— А она засмеялась?

— Нет, только посмотрела на меня.

Мы зашли за угол. Порыв ветра налетел на нас, на этом месте меня всегда ветер сбивает с ног. Здесь Блошке поворачивать.

Но он идет со мной дальше. Пусть Йоузова злится.

— Мама говорила, что трудно взять в семью такого большого ребенка. Даже на пробу, и то это — нервный шок для обеих сторон.

— Как на пробу?

— А как тебя. Возьмут ребенка на пробу, и если он им не придется по вкусу, назад отдадут. Мама сказала, какая нелепость, иначе она бы и меня могла через неделю отдать, но некуда.

Он уже снова хохочет, так я и знала. Ничего не понимает, а смеется. А мне больно, больно от его дурацкого смеха, все у меня болит, мне так плохо, так плохо, если бы я могла улететь, но приходится ходить по земле, и очень даже медленно, быстрее никак не получается.

— Послушай, Киса, ты меня неправильно поняла, слышишь?

Я не хочу, чтобы он шел за мной, смотрел на меня, не хочу, чтоб со мной говорил, ни с кем не хочу говорить и никого не хочу видеть, мне надо уйти, уйти от всего этого подальше.

Господи! Очки! Целы, какое счастье!

— Ну и дура ты, Киса. Встань, ты что, встать не можешь? У тебя кровь течет, ты вся в земле, пошли, я отведу тебя в поликлинику, надо сделать противостолбнячный укол.

— О себе беспокойся!

Остаться бы здесь лежать и не вставать никогда больше, я лежала бы тут, как камень, и на меня капала бы вода, а потом снег, а потом снова дождь, и выросла бы надо мной трава и цветы, и ничего бы мне не было нужно, только бы лежать и чтоб никто меня не видел.

Но все равно от этого никуда не денешься, я знаю, теперь я это точно знаю. Я случайно слышала, как она разговаривала с одной тетей, но тогда я была еще глупая и ничего не понимала, и учительнице она сказала, что меня взяли из детского дома. Скрыла, что я ее дочь, ведь я ей родная, а она это скрыла, своего собственного ребенка взяла на пробу.

Встаю, надо встать, камешки врезались мне в ладонь, локоть болит, колено жжет, на брюках дырка. Но мне плевать.

— И вид же у тебя.

— Ну так иди к Йоузовой.

Теперь он обиделся. Точно. Ну и пусть. Обойдусь. Они у меня тоже на пробу. Все.

Иду, прихрамывая, и высасываю кровь из ладони. Интересно, идет ли за мной Блошка? Но я не оглянусь, ни за что не оглянусь.

Она шьет мне пальто. Перешивает. Бабушка откопала в шкафу охотничью куртку столетней давности. Серую, в черную клетку. Местами ворс сохранился, местами истерся.

— Это шотландка,— сказала бабушка,— чистая шерсть.

— Будет у тебя красивое и теплое пальто на зиму,— сказала мама.

Я ничего не сказала. Что ж, если я все еще не умею возражать.

Сижу у окна за складным столиком. Нам задали написать, как мы ждем рождество. Я бы хотела написать, что рождества вовсе не жду. Не радуюсь, потому что с нами все праздники будет Удав, он будет смотреть мне в тарелку и говорить слова, которых я не понимаю. Не радуюсь, потому что у меня нет денег и я никому ничего не могу подарить. Даже поздравление не могу послать. Даже печенье не могу испечь, а попробовать мне дали только одно, подгоревшее. На балконе лежит заяц, у него на мордочке кровь, но мне нельзя его погладить. И с Катержинкой нельзя поиграть, говорят, я на нее плохо влияю.

Что Марек ее обижает и дразнит, это никого не волнует, он нарочно отбирает у нее игрушки, чтобы она плакала, но они не считают, что он на нее плохо влияет.

Дети получили к рождеству настенный ковер: на нем звери лезут в ковчег, звери нашиты из разных цветных лоскутков, очень красиво, тигры, например, из полосатой материи, косуля в крапинку, жираф в клеточку, настоящая картина. Но только я не смогла все рассмотреть, мама сказала: отойди подальше, он стоит четыре тысячи триста.

Четыре с лишним, ужаснулась бабушка, по-моему, на детей это жалко. Но мама ее оборвала — на детей, мол, ничего не жаль, они с малых лет должны жить в красивой обстановке, чтобы из них выросли гармоничные личности.

Из меня гармоничная личность не вырастет, потому что для меня им всего жалко, и я живу между кухонными шкафчиками и газовой плитой, то мне в голову дует от окна, то будит холодильник, ворчит прямо в ухо. Вот хорошо, если Катержинка об этот ковер будет вытирать ручки своей куклы. Или свои, измазанные джемом и медом. Так еще лучше.

Из спальни слышен звук швейной машинки, а в детской визжит Катержинка, Марек смеется, наверное, играет с ней в лошадки или качает на качелях, качели и кольца висят в дверях, но я, говорят, слишком тяжелая.

— Гедвика, иди примерь.

Надеваю на себя это старье.

— Стой прямо.

Становлюсь прямо.

— Убери еще немного,— советует бабушка,— висит как на вешалке.

Мама сердится. В губах ежиком торчат булавки. Если бы она меня сейчас поцеловала, пошла бы кровь.

Но она меня не поцелует, можно не беспокоиться. И не обнимет.

Она холодная и далекая. Я уже не зову ее Звездочкой, называю Полярной звездой.

— Что ты морщишься? Я тебя уколола?

— Нет.

Поворачиваюсь по ее указанию кругом. Потом снова стою. И снова поворачиваюсь. Хоть бы скорее.

— Что ты такая замученная. Что с тобой?

— Ничего.

Мама вздохнула. Стащила с меня пальто. Уходит. Пусть уходит, ничего я у нее не прошу.

Из спальни слышно каждое слово:

— У тебя на нее аллергия, Вера. Но ведь это такая тихая девочка.

— Почему же ты не оставила ее у себя?

— Я? Ну знаешь!

— Я бы тебе платила. И ты могла бы еще получать пособие в Национальном комитете.

— Требовать алименты, значит? А вы для этого слишком чистые, да? Сама заварила, сама и расхлебывай. Тогда достаточно было открыть окно, она и весила-то всего килограмм, а теперь ее уже не спровадишь со света.

Что скажет, что скажет мама? Что скажет мамочка?

Что она скажет на это?

Ведь должна же она ответить бабке?

Молчит.

Она, значит, молчит. Моя мама молчит.

Она молчала и тогда, когда у меня был жар и бабка впервые сказала это, а я не поняла. Тогда она сказала это тоже совершенно спокойно, как будто я муха или муравей и меня можно было растоптать и идти дальше.

Достаточно было открыть окно.

Окно.

Открыть окно, и меня бы не было.

— Вера, девочка тебя любит.

— Но она ведь круглая дура.

Это сказала мама. Моя мама.

И она права. Я была дура, что ее любила. За что? За то, что она красивая? Так ведь она ходит к косметичкам. Что добрая? Смотря к кому.

Теперь я ее больше не люблю, ни ее, ни бабку, они ничуть не лучше, чем Удав, но тот хотя бы чужой.

Достаточно было открыть окно, чтобы я умерла. Пусть откроют даже все окна во всей квартире, но я им такого удовольствия не доставлю, назло им не умру, назло.

Удивительно, пока я маму любила, мне было грустно, а теперь вдруг стало весело и легко. Так легко, как будто я сняла туфли, которые жмут.

— Долго ты будешь возиться с уроками?

Я не поворачиваюсь. Притворяюсь, что не слышу. Наклоняюсь и пишу первую фразу: «Я очень рада рождеству».

Я еще никогда не видела, как убивают карпов. Мама купила живых, чтобы доставить удовольствие детям. Катержинка чуть не целиком влезла в ванну, все хотела сунуть палец в рот рыбке.

Она совсем не боится. Набрызгали мы страшно, Марек бросал карпам крошки и забил сток. Хоть какое-то развлечение.

Теперь дети уже спят, меня бы тоже отправили, да некуда, ведь мое место в кухне. Удав в фартуке и с молотком, вид у него свирепый.

Лютый, говорит Блошка. Ему хорошо, он справляет сочельник уже сегодня, у его мамы завтра дежурство. Будет вытаскивать рыбьи кости из горла. Папа его тоже пойдет на работу.

А наш ответственный работник, конечно, торчит дома. Жаль, что он не врач и у него нет дежурств. Или сам бы проглотил рыбью кость, оставил бы нас хоть на время в покое.

Блошку я долго не увижу, он едет кататься на лыжах, а в школу мы пойдем только после Нового года. Сегодня он сунул мне что-то в руку и закрыл ладонь, я посмотрела, а это кошечка, совсем малюсенькая, фарфоровая, вся белая, только на шее голубая ленточка.

А я ему ничего не подарила, потому что у меня ничего нет, а без денег ничего не могу придумать. Но если получу что-нибудь на рождество, отдам ему: может, мне что-нибудь папа пришлет.

А как он пришлет, если Блошка уедет? Об этом мы совсем не подумали. И по праздникам почтальон все равно не приходит.

Ой, как бьется карп. Стукнул хвостом перед самым носом Удава и шлепнулся на пол. Теперь оба стараются его ухватить, головы под столом, одни зады торчат.

— Какой ты растяпа!

— Подожди, ты не достанешь.

— Не мешай мне!

— Ой, какой скользкий!

Пусть помучаются. Не буду им помогать, я болею за карпа. Все равно его есть не буду. Для детей будет шницель, интересно знать, кем они меня посчитают за ужином. Наверное, кошкой, нальют в миску молока и пошлют ловить мышей.

— Ну и злая же ты,— сердится Полярная звезда,— что тут смешного!

Вовсе и не смешно, карпа уже поймали, Удав держит его в полотенце. Карп разевает рот, но не издает ни звука, не кричит.

Удав стукнул его, а карп молчит, только рот разевает, но ни звука не слышно, конечно, он не согласен, но молчит, хочет позвать на помощь, но не может выдавить из себя ни звука.

Он, как и я, тоже молча не соглашается, кричит про себя, и его никто не слышит. Никто. Даже я.

Отрезают голову. Удав держит нож, а она стучит по ножу молотком. Все руки в крови. А карп все кричит, и его все не слышно.

И вот она уже в сторонке, бедная голова. Тело скребут, а голова это знает, лежит на дощечке и разевает рот, непонятно, кажется, хочет нам что-то сказать, но не может. Я знаю, она кричит, как я, что не согласна.

Не согласна, я не согласна.

— Смотри, ей дурно!

На меня брызгают воду.

— Зачем же ты смотришь! — кричит мама.— Если ты такая неженка, сядь в сторонке и не мешай!

— На, попей.

Удав дает мне воду с соком, на руке у него чешуя и кровь. И вода в стакане красная.

А голова все кричит, ее не слышно, но она кричит, я знаю.

— Постели ей сегодня у меня в кабинете, а то когда еще мы тут управимся.

Мама моет руки. Она сердится, даже спина у нее злая. И руки, у нее бывают злые руки, холодные и жесткие.

Я легла. Мне плохо. Стоит закрыть глаза, и я вижу, как голова карпа разевает рот. Лучше не закрывать глаз. Ну и книг здесь. Сколько же он прочитал? Если бы он был настоящий удав, было бы видно, как он эти книги заглатывает, он стал бы четырехугольный, как шкаф.

Здесь пахнет шоколадом, сигаретами и шоколадом, как в кондитерской, когда я сидела там с папой и он пил кофе, а я ела трубочки. Сколько раз продавщица делала нам замечание — неужели он не видит табличку «Курить запрещается», а папа говорил: извините, я не заметил, и подмигивал мне.

Шаги. Кто-то идет. Скрипит паркет, дверь открывается, что это может быть, что-то лезет сюда, откуда здесь взялся лес, наверное, мне это снится.

Ну и трусиха же я, хорошо, что хоть не закричала, это просто-напросто елка. Он готовится к завтрашнему дню, у него все припрятано где-то, потому такой запах.

Ну и елка, красотища! А сколько игрушек! Он будет наряжать до самого утра.

— Ты спишь?

Не откликаюсь. Мне и в голову не приходит, что ему нужно помочь.

Наверх прикрепил звезду, начинает развешивать игрушки. Странно, теперь он кажется совсем хорошим. Вот так, поздно вечером он готовит сюрприз для детей, а ведь у него столько работы и такая ответственность.

Наверное, он их любит, свою дочь-врача, и Марека, и больше всех маленькую Катержинку. Настоящие удавы, наверное, тоже любят своих детей, и тигры любят своих тигрят, но только своих, чужих они съедают.

Такой красоты я еще никогда не видела, настоящий дом — это все-таки настоящий дом, что правда, то правда. Как наша мама умеет украсить праздничный стол! Мы с Мареком помогаем, бабушка нянчит Катержинку.

Скатерть белая как снег, который только что упал на землю, и на ней два подсвечника с еловыми ветками и шишками и букет живых цветов, что цветут только весной, и тарелки с золотым ободком, и приборы из коробки. У каждого глубокая и мелкая тарелка, и маленькая тарелочка, и двойной прибор, и еще ложечка. А рюмок у каждого по три, одна высокая, одна широкая, а третья какая? Ну, предположим, глазастая. Возле каждой тарелки веточка омелы с шариком, только у Катержинки без шарика, чтобы не совала его в рот. Наряженную елку видела только я, для детей это сюрприз, кабинет заперт, там Ежишек[1] будет раздавать подарки. В детдоме раздавал дед-мороз.

Мама нервничает, а он в хорошем настроении, даже на удава не похож, утром сказал: ну что, Гедвика, как спалось, не сыпались на тебя иголки?

Я сказала, что нет, а он засмеялся, он, мол, не смог бы лежать под елкой и не сорвать ни одной конфеты, и я тоже стала смеяться, потому что ночью сорвала четыре и все съела, а серебряную бумагу скатала и забросила за диван.

Ужинать будем рано из-за Катержинки, как только чуть стемнеет, господи, это называется сборная закуска, красиво так, что есть жалко.

Если бы тут с нами был папа, вот бы у него слюнки текли.

[1] Младенец Христос *(чешск.)*.

— Переоденься, Гедвика! И ты, Марек, тоже.

Бабушка уже нарядила Катержинку в розовое платьице с воланчиками, она выглядит в нем как принцесса из сказки. Мое праздничное платье колется, к счастью, мама открыла окно, чтобы студень не потек, если не будет жарко, оно, может, будет меньше колоться.

— Ну и ну, Верушка.

Удав смотрит на маму, мы все смотрим на нее, на ней черная юбка до полу и блузка вся кружевная, мама такая красивая, такая ужасно, невероятно красивая, что от нее веет холодом и становится страшно.

И я уже не верю, что она моя мама, я ведь знаю, откуда берутся дети, Гита мне объяснила, но у этой красивой пани в кружевах ведь не могло же быть ничего общего с моим несчастным папой, который прячет шею в потрепанный воротник пальто и ищет мелочь, чтобы купить мне пирожное-трубочку.

Поднимают бокалы, у меня лимонад, как у детей, я тоже поднимаю бокал, чокаюсь с бабушкой, потому что и она здесь чужая, только не знает об этом.

Мне накладывают закуску из блюда, я взяла не тот прибор, но мне все равно, не так уж это аппетитно, как выглядит, обыкновенные овощи и яйца, а дрожащий студень совсем безвкусный.

От супа несет карпом, его сварили из той головы, что разевала рот, а теперь лежит в кухне в дуршлаге. Ничего не помогло ей, хоть она и была несогласна.

— Что с тобой? Да что же это такое?

Я выбегаю, мне плохо, она сказала еще, что я невыносимая. Эта девчонка невыносима, сказала красивая пани в кружевах, она может испортить человеку самые лучшие минуты.

Я заперлась.

— Что ты съела?

Бабушка из-за двери слышит, конечно, как мне плохо.

Ничего я не съела, только кусочек сдобы и какао, печенье у нее на блюдах уложено так аккуратно, что было бы видно, возьми я даже одно. Мне плохо от этого супа.

Бабушка снова ведет меня в комнату, на пороге останавливается и минуту стоит, как будто только сейчас поняла, что мы с ней здесь чужие.

— Возьми шницель, Гедвика, ты можешь подавиться рыбной костью.

Опять у нее нетерпеливый голос.

Кладу шницель на тарелку с золотым ободком, кладу салат, и мне кажется странным, что я сижу здесь, за праздничным столом с нарядно одетыми людьми, и про себя повторяю, что это в самом деле я, Гедвика Покорна, и что это мой настоящий дом.

— А теперь сюрприз.

— Ежишек! — вскакивает Марек.

— Еще нет, погоди, еще все впереди.

Мы смеемся, получилось в рифму, и это смешно. И я смеюсь вместе с ними.

Сюрприз — это горящее мороженое, такого я в жизни не видела и про такое не слышала. Как это мороженое засунули внутрь, один бог знает, мама принесла его на блюде в красивой обертке из разноцветного снега, налили на него спиртное из двух бутылок, из каждой понемногу, и Удав зажег, пламя было красное и зеленое, вспыхнуло и погасло и обожгло снег, а теперь мы едим это лакомство.

Когда я расскажу об этом нашим ребятам, у них глаза на лоб полезут.

Горят только свечки, и огоньки мигают на потолке, Марек расселся на стуле, а Катержинка все время спрашивает, когда же придет Ежишек, я бы ее так долго не мучила, ведь ей уже скоро спать.

Звенит звоночек, и открываются двери, я знала, что елка в кабинете, но теперь она вся сверкает цветными лампочками, переливается золотыми и серебряными нитями, поворачивается на подставке, а сама подставка играет.

А подарков — жуть!

Сколько коробок и пакетов!

Удав нарочно притворяется, что не может прочесть, кому что, и сначала дает все Катержинке — заводную куклу, которая непонятно говорит по-немецки, к ней коляску с детишками, велосипед с маленькими колесиками по бокам, чтоб не упала, а Мареку лыжи и все хоккейное снаряжение, даже маску, и кукольный театр, и целую кучу книг, я бы их до самой смерти не прочитала.

— Гедвика,— говорит Удав и протягивает мне пакет, перевязанный золотой ниткой, за ней веточки елки и омелы, я укололась о проволочку, пакет большой, с трудом обхватываю его, в этот момент мама вскрикнула, потому что он накинул ей на плечи шубу, воротник пушистый и мягкий, таких красивых зверей, наверное, не бывает и на свете, и маме идет, очень идет. Она повисла у него на шее, вся раскраснелась, а он смеется и говорит, а мне, мне что же? Ага, вот!

Я уже ничего не вижу, распаковываю свой подарок, сердце бьется, бумага шуршит, не могу развязать, перекусила нитку, разворачиваю... пальто. То самое пальто, которое мне примеряли, и сапоги, которые я ношу уже две недели, поэтому сегодня я не могла их найти.

Здесь ужасно воняет бенгальскими огнями, я задыхаюсь, кашляю и выхожу, они там кричат и визжат и облизываются, а я тихо иду на кухню.

Сажусь на стул и кашляю, здесь стоят блюда с печеньем и фруктами, от ярких красок больно глазам, локтем я попала в грязную тарелку, по ней растекся студень.

— Тебе опять плохо?

Бабушка пришла ко мне. Я чищу рукав, она намочила полотенце в теплой воде и помогает мне.

— Эти сапоги стоили триста с лишним, Гедвика, у тебя же не детский размер.

Я чешусь.

— Платье колется.

— Какая ты чувствительная.

Я вытираю очки, а она раскрывает пакет, который получила, достает оттуда сотню и говорит:

— Возьми, пусть у тебя будет хоть это от меня.

Я молчу, протираю очки, а она кладет сотню на стол, берет блюда и несет их в комнату.

Я вижу эту сотню и хочу оставить ее, пусть лежит, как перешитое пальто и сапоги, что я ношу уже две недели, но я беру ее потому, что не могу ехать без денег.

Теперь я точно знаю, что сяду в поезд и поеду, я знала это давно, только, видно, не понимала этого.

Надеваю свое старое пальто и туфли, выхожу, двери дома хлопают за мной, и я рада. На улице сыро, холодно, тихо. Здесь никого нет, за окнами горят цветные огоньки, а на одном балконе я вижу красивую птицу. Но она мертвая и висит вниз головой.

Хорошо, что электричка только до Опавы, мне страшно хочется спать. В скором надо было следить, чтобы не пропустить станцию, там

было жарко, я боялась, что у меня под ногами поезд загорится, так там топили.

В электричке холодно, я не знаю, сколько мы простоим на вокзале. На больших часах не вижу, а своих нет. Лимонада не было, только кофе и пиво, я купила пиво в бумажном пакете, страшно хотелось пить. Пиво жутко горькое, но я одним духом выпила целый стакан. Теперь у меня тяжелые ноги и глаза слипаются.

Но это ничего, вздремну немного, а в Опаве, конечно, проснусь, когда будут все выходить. В Катержинки идет автобус, деньги есть, я потратила только на билет, пиво и сосиску.

Попрошу, чтобы ему разрешили выйти, раз меня не пускают, пойдем вместе в кондитерскую, сегодня платить буду я. И скажу: спокойно заказывай себе два кофе, денег у меня хватит.

И еще скажу ему: ты думал, я поверю этой сказке про генерала, а он засмеется — я знаю, Гедвика, ты умница, никто тебя не проведет.

И мы станем жить вместе, я могу убирать и готовить, кофе сварю, булку или пирог куплю, а горящее мороженое и студень нам ни к чему.

— Вставай! Спишь как убитая, мы чуть не повезли тебя обратно в Остраву.

Мигом выскакиваю из поезда. Когда же я уснула? Ноги затекли, я их отсидела, и холодно было, а здесь дует, ветер чуть не сбил меня с ног.

Можно было пальто и сапоги все-таки взять, хоть не мерзла бы, но пусть они ими подавятся, мой папа купит мне лучше. Может, его и правда сделают генералом, тогда он купит мне и шубу из пушистого меха, и мне всегда будет тепло.

Авось по пути согреюсь, надо было все-таки взять хоть шапку и шарф, подниму воротник, как папа.

Дорогу я нашла легко, даже спрашивать никого не пришлось, не хотелось рот открывать, чтобы пивом не пахло. Здесь магазин открыт, куплю мятные конфеты, тогда смогу говорить.

Соображаю, ведь правда?

Можно было взять в карман финики, или печенье, или апельсин, но пусть обжираются со своими Маречеком и Катержиночкой. Катержинка из Катержинек, вот это да, надо бы рассказать Блошке.

Если его еще когда-нибудь увижу. Но, наверное, мы с папой переедем в Прагу, генералы ведь живут в столице.

Ого, какая громадная больница! Как же я папу здесь найду? И такая печальная. Все здесь мрачное, не удивительно, что папа тоскует, и дома печальные, и деревья, и вороны, они печальнее всего.

Надо найти какую-нибудь сестричку, она мне посоветует, где его искать. Раз его почтальон находит, то и я найду.

— Чего тебе?

Тьфу, как я испугалась, окошечка-то я и не заметила. За ним сидит старичок, смотрит одним глазом, и рот у него кривой, может, он тоже псих.

— Кого ищешь?

Скажу ему, может, он знает папу.

— Покорный? Что? Альберт? Покорный Альберт? Покорный, говоришь?

Глухой он, что ли? Шаркающей походкой идет к каким-то дверям, там, значит, проход. Но мне туда не попасть, через окошко ведь я не пролезу.

— Эдита, Покорный Альберт, это не тот? Тот вроде был Покорный?

— Конечно, тот, из-за кого Ярек выговор получил.

— Можно ей сказать, что повесился?

— Кому?

— Да тут какая-то дочка. Из семьи, верно.

— Вы недослышали, у него, кажется, семьи не было. У Покорного не было никого.

Оба выходят из дверей. Старичок и сестричка.

— Это ты спрашивала Альберта Покорного?

Молчу.

— Кто же ты?

— Никто.

Убегаю. Они что-то кричат мне вслед, но я ничего не хочу слышать, потому что не существую. У него не было никого, значит, я никто. Никто.

Вот обманщик, вот врун! Я, конечно, никто. Сначала пишет глупости, а потом преспокойненько на меня плюет. Генерал, так я и поверила. Наобещал мне бог знает чего, а потом взял да и отправился на тот свет. И не было у него никого, говорят, никого, а обо мне и упоминать не к чему, он от меня отказался, стыдился меня, как и она.

И вообще мне его ничуточки не жаль. Пусть будет мертвый, раз он такой. Я о нем думала каждый день, а он обо мне даже не вспомнил.

Садится туман. Это хорошо, по крайней мере никто меня не увидит и не услышит, может, я совсем в нем потеряюсь, как теряются деревья, и кусты, и дома, а от автомобилей остаются только тусклые огоньки, и ничего больше.

Я иду все время совсем одна по мокрой дороге, которая никуда не ведет, все на ней и вокруг нее исчезает, и я тоже растаю и исчезну, и никто обо мне не вспомнит.

Съем еще конфету, пока она не растаяла вместе со мной, конфет жалко, и двадцати крон жалко, конфета растает во рту, и ничего от нее не останется.

Здесь какие-то дома, господи, как ноги болят, гудит автобус, это он мне, странно, я осталась, а туман рассеялся. Это просто невероятно, какая красивая витрина. Как из сказки про двенадцать месяцев, кругом зима, вокруг замерзшая холодная слякоть, я еле держусь на ногах, а за стеклом весна. Жаль, что здесь столько света, надо напрягать глаза, это сирень, возможно ли? А вот этих цветов я не знаю, не могу узнать, вон там ландыши, и остальные цветы тоже белые.

Белые, как я.

Однажды я попросила тушь и накрасила брови и ресницы, и Пржемек сказал: молодец, коровушка, теперь ты девчонка, как все.

Что там делают ребята, интересно, который час? На улице ни души, наверное потому, что рождество и так холодно. Этим цветочкам, видать, тоже холодно, они такие же печальные и так же съежились, как и я. А какие красивые!

Взять бы мне хоть один стебелек ландыша с собой, он звенел бы, а я шла бы за ним, и он бы отвел меня домой. Только не в настоящий дом, а в детский.

Но приходится идти самой.

Руки суну в карманы, закоченели от холода. Что это там, такое твердое и холодное, а, кошечка, белая кошечка, которую дал мне Блошка. Давным-давно, когда я была еще совсем глупая.

Она помещается в ладони целиком. Тебе холодно, кисонька? Потерпи, не бойся, теперь я найду, ты не бойся, мы дойдем, ведь мы вместе,— значит, дойдем.

ЖАН КАРРЬЕР

Ястреб из Маё

РОМАН

Перевод с французского ТАМАРЫ ИВАНОВОЙ

О, если бы Ты расторг небеса и сошел!

Исайя

Расскажи мне о юге. На что это похоже? Чем они там занимаются? Почему живут там? Почему вообще-то живут?

Фолкнер, «Авессалом, Авессалом!»

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Прежде чем мои друзья с гор смогут ознакомиться с последующим, я считаю себя обязанным объяснить кое-что им, а также и тем, кто знает, насколько эта книга соответствует действительности. Первые подумают, вероятно, что все у меня преувеличено; я так и слышу их восклицания: они, мол, не дикари, давно уже не живут подобным образом и так далее и тому подобное...

Я им отвечу, что существует много высокогорных районов; тот, о котором пойдет здесь речь, на географических картах (вернее будет сказать — на военных картах) занимает весьма ограниченное пространство, являясь как бы исключением из перечня милых фольклорно-банальных мест, что и послужило предлогом для окрестных жителей дать этому краю несколько пренебрежительное наименование — «страна-оборотень»; множество раз слышал я заявления, что никто и ни за что не согласился бы там жить. Добавим, что обитатели плоскогорий (известняковых, Обрака и других) — католики, а те, что из «страны-оборотня»,— протестанты. Забавная история, показывающая их отношение друг к другу (нам сказали, что у гугенотов лишь один глаз в середине лба), отсылает нас не к периоду религиозных войн, а к пятидесятым годам нашего столетия и является абсолютно достоверной.

Трагедия эта тем глубже, что и место действия, и сами действующие лица стремятся обособиться, отгородиться и тем дают повод современному обществу утверждать, будто это всего лишь печальное исключение, что невозможно оспорить, не впав в злонамеренность или пошлость предвыборных речей.

Но случается ведь, что исключение не подтверждает правила, а обличает его несостоятельность.

Исключение это выявляет также ту двойственность, которая с

большим трудом укладывается в модные классификации. Можно ведь все отнести к разряду неврозов, даже и самую манию классификации. На этих горных вершинах, где так и кажется, что Иегова еще не создал Прародителя, беспомощный человек, зажатый между «неотвратимым» и «непознаваемым», принадлежит скорее мифологии, чем психологии, в этом смысле и следует рассматривать особенности его поведения.

Ж. К.

Часть первая

Упадок

I

Первый снег обильно повалил в конце ноября. Его преждевременное появление в горных районах, да и почти на всем юге Франции, предвещало небывалую зиму. От давящей тишины закладывало уши (уединенные поселки и стоящие особняком дома замерли в молчании); окна так заиндевели, что свет расплывался сквозь стекла волнами северного сияния; ночные испарения затрудняли дыхание, словно пары эфира... Время остановилось в погребенных под снегом дворах, где больше не вспархивала ни одна птица.

На горных склонах можно было насчитать не больше полдюжины семейств, ютившихся в своих надежных укрытиях и привыкших выдерживать осаду холодов, которая длится добрую половину года, но даже самые привычные старожилы, даже те, что обычно рассказывали о всяческих ужасах, снежных обвалах и голоде, даже старая Алиса Деспек из Мазель-де-Мор, пережившая немало катастрофических зим,— даже они не могли представить себе ничего похожего на это внезапное снежное нашествие. Правда, теперь, предсказав конец света, Алиса ошиблась лишь наполовину: ее унесла ледяная лавина, первый вал которой докатился до самого моря, все сметая на своем пути, опустошая надежно защищенные южные склоны, калеча леса и пастбища, оставляя за собой широкие просеки, которые и весне не озеленить. Через полгода на солнечных склонах так и останется сухостой расщепленных олив и бесплодных виноградных лоз, возносящих к обновленным небесам черные скрюченные пальцы своих изуродованных, опаленных морозом ветвей.

Выше Мазель-де-Мор (где после смерти Алисы осталось всего-навсего две живых души) вздымаются молчаливые вершины, и вся местность внезапно меняет характер: исчезают потоки, источники попадаются все реже, сланцы и гранит отступают перед известняками, почва становится светлей и поскрипывает, как старая черепица, яростный ветер пригибает к земле подлесок, и сквозь редкий буковый лес виднеется небо. А дальше идут необозримые безлесные пространства, покрытые валунами, торчащими из сухой травы, исхлестанной западным ветром, нескончаемые порывы которого сотрясают полуразрушенные стены загонов и старинных овчарен.

Даже в тихие дни слышны отголоски этого неукротимого ветра, бушующего в далеких ущельях и набегающего морским прибоем на ближайшие мхи и лишайники; с волнистых гребней гор, как бы тревожимых памятью о бывшем тут некогда море, вопрошающе смотрят коренастые обрубки крестов. Облака, зацепившись за гигантские утесы, то и дело затеняют большую часть пейзажа; потом все вновь

вспыхивает и сразу начинают припекать беспощадно яркие лучи, высвечивая мириады сверкающих насекомых.

Первозданную суровость этой местности подчеркивает не только ее причудливый рельеф, но и климат, то кипящий, то ледяной, нездоровый даже в самую лучшую пору из-за судорожных перемен погоды. В самые благоприятные зимы, когда на склонах плавно колышутся сухие травы, а вершины гор едва припорошены снегом, раннее тепло вдруг озеленяет пожухлые лужайки; но тут налетают холода и теснят весну, уничтожая ее преждевременно раскрывшееся великолепие.

В самый разгар августа, когда жара в середине дня застаивается у подножья скал, в ложбинах и в глубине каштановых рощ отчетливо обнажается все убожество здешних мест, если можно так выразиться, вся их изнанка, обнаженная беспощадным солнцем: пепельно-серые дороги, убогие поля, покрытые прогорклой желтой пылью, словно в африканской пустыне, закованы в броню сланцев и отсвечивают лихорадочной свинцовой синевой грозового дня; овчарни прижаты к земле тяжестью огромных плоских камней, обломки которых белеют на земле, как добела отполированные солнцем кости; крыши обвалились, зияют дырами битой черепицы; в поселках дома кое-где поражены червоточиной, словно гнилые пни, они налезают один на другой, искусно забираясь все выше, как бы в стремлении посмотреть на то, что происходит вдали. К концу дня с той стороны, где удлиняются тени, к свежему запаху зелени примешивается какая-то минеральная эманация, ядовитое веяние которой различимо в свежести вечерней росы; выходящее из глубин земли, оно заполняет все впадины, пробирается к лугам, овладевает садами, просквaживает улочки поселков.

Эта капля ядовитого холода смертоносна, она необыкновенно быстро сводит на нет погожие дни: в этот поворотный момент лета в прозрачном воздухе внезапно становится слышно, как лопаются стручки.

Лето на исходе. Осень же зачастую всего лишь вихрь листьев, взметнувшихся между приоткрывшимися дверями на этом, пока еще теплом, но уже зябком пороге двух половин года. Едва лишь солнце скроется за витражами леса, растворяясь в вечернем зареве, как клокастый морской ветер, рокочущий, словно завод или поезд, врывается с юга, волоча за собой грязные тучи, срывает сухие листья с деревьев, гасит великолепие закатного пожара красок. За несколько дней, а иногда за одну только ночь горный район обрывает якорную цепь, которой он причален к южным провинциям. И однажды, когда поутихнет ветер, вы, открыв утром ставни, обнаружите необозримый склеп, молчаливый и опустошенный,— мир оледенелого камня, лысых склонов, безлистых лесов, где голые блестящие ветви, словно решетка, вырисованы черной тушью на серых небесах. Сквозь узкие просветы окон проникает мертвенный свет, унылое однообразие которого нарушается лишь поздно вечером — экономная рука засветит лампу, когда надгробные кресты вокруг ферм целиком поглотит тьма.

Но случается, что осень неожиданно оборачивается праздником, все расцветив яркими красками,— и туманы отступают; камни, просыхая, дымятся на солнце, приобщаясь ко всему живому; цветы укрываются в теплой траве, еще более густой и буйной, чем скопище морских анемонов, а из разросшейся вдоль стен крапивы несется неумолчное стрекотание притаившихся в ней насекомых. Утро плы-

вет неторопливо по безоблачному небу. Безмятежно разносятся со склона на склон звуки кузницы и домовитый гул людей, перегоняющих стада на зимовку. Запахи лишены теперь примеси тонкого, дурманного аромата, которым полны были улочки в пору весеннего цветения, раздиравшего душу чем-то недоговоренным и навевавшим бог знает какие несбыточные мечты; воздух, которым дышишь сейчас, внушает более трезвые мысли о неотложном и необходимом; запах ободранного дерева прян и пронзителен, подобно ладану, он повелительно приковывает вас к месту; горек запах сваленной в кучи, забродившей каштановой шелухи и опилок; приторно пахнет заболонь поваленных буков, пропитывая своим соком опавшие листья. Все зовет к работе: испарения кож, жар раскаленного железа и первый горький дымок, идущий от хижин, погруженных в застывший свет, и медленно текущее время, едва обозначенное то поскрипыванием оси, то четким постукиванием по наковальне, всеми звуками, что отражают стены улочек, еще не просохших после ночного ливня... Осенние запахи обостряют чувства, бодрят совсем как доносящийся из подворотни ласковый дух горячего хлеба или же свежего сена. Горшки с геранью еще не внесены в помещения, а по террасам, вдоль стен, еще разложены на просушку грибы.

И тем не менее этот покой никого не обманывает, даже зимующих здесь птиц, которые, взъерошив замерзшие перья, жмутся по утрам поближе к порогу.

Необыкновенно ясными, звездными станут теперь ночи, а небо — такой черноты, будто над землею, как на мертвых планетах, нет воздуха. Мгла обволакивает горы, но звезды все множатся; словно бы затвердевшие, колкие от все усиливающегося холода, они светятся как огромные драгоценные камни. По вечерам из ущелий со стороны Сен-Жюльена несется приглушенный грохот; шум потоков по прямой прорезает пустой, оголенный лес, над которым вздымается с каждым вечером все более плотное озерко тумана, принося тишину, удушая все звуки долины, размывая тропинки, превращая вершины скалистых гор в острова космического уединения.

Все эти признаки предвещают необычно суровую зиму и торопливают приготовления к ней; еще до зари, все позднее пробивающейся сквозь серость утра, спускаются обитатели хижин в свои холодные кухни, где в очагах под пеплом тлеют головешки; согревшись кружкой кофе, они выскальзывают на улицу — распознать погоду; вокруг красной точки на конце сигареты дыхание поднимается паром; вскинув на плечо мешок с припасами на день, они пускаются в путь; когда выпадает тихое утро, в зеркальной чистоте воздуха гулко разносится по каменистым тропам стук их тяжелых, подбитых гвоздями ботинок.

Лесной лагерь оживает почти заметно, освещаемый лишь голубоватыми отблесками, предвестниками зари, и до самого наступления темноты работают все, кто только способен работать. Но хоть работа-то и обычна, переломный момент года ощущается во всем — одна нога еще утопает в опавших листьях, а другая уже шагнула в длинную череду недель бездействия. Дни укорачиваются и торопят часы; деревья замирают словно во сне; их голые ветви, в ожидании снега, затопляют овраги лиловым туманом, кое-где прорезанным серебряными струйками: после ночных заморозков с выступов скал свисают источающие капли сосульки.

Умеренные холода постепенно осушают и подлесок, гниющий от сырости, а небосвод расширяется до верхних границ атмосферы. Через прогалины, появившиеся в лесу от недавних вырубок, открывается вид на волнистую, бесформенную пустыню, которую солнцу не

расцветить, хоть не видно ни облачка; небо, застыв, остекленело, словно поверхность недвижимого озера.

Наступает перерыв, и вокруг костров, сложенных из брызжущих соком свежесрубленных веток, собираются группы лесорубов, усаживаются на хворост, достают ножи, а воздух, как и ранним утром, опьяняюще сух и бодрит, словно глоток чистейшего спирта. Ничто не шелохнется в тишине леса, над вырубкой простынями повисает дым, и редкие удары топора гулко разносятся под высоченными деревьями, как под церковным сводом. Но сразу после полудня от земли начинает резко тянуть холодом, пронизывающим до мозга костей, а бледный свет дня незамедлительно идет на убыль.

Вечером, на последней неделе ноября, когда под навесами еще бешено завывали бензиновые циркулярные пилы (новшество в те времена), треском и выхлопами напоминавшие шум мотокросса, сухие листья вдруг ожили — по ним запрыгала снежная крупа, своего рода град. Затем на антрацитовом небе зароились белые хлопья и медленно-медленно и осторожно, словно вата, стали ложиться на землю.

Горный район ввергся в темную пору года: несмотря на ослепительное сверкание некоторых зимних дней, когда снежный пейзаж искрится под ярко-голубыми небесами, старые постройки, окутанные угрюмым мраком короткого дня, с каждой минутой все глубже погружаются в черноту холодного погреба. И не то чтобы здешние люди были особенно зябки — иные из них похваляются, что держат двери настежь, когда на дворе трескучий мороз; да и зимы тут далеко не сибирские. Но у большинства здешних построек стены крепостной толщины, и приютились они в самой глубине ущелий или под горными уступами — так, что только слуховые окна видны над поверхностью земли; комнаты первого этажа почти всегда или высечены в подножии горы, или же пристроены к самому защищенному из ее склонов, а задняя стена, как правило, является природной, и часто из нее торчат выступы скалы. Эти-то выступы, выпирающие из каменной кладки, и придают жилищу неприветливую сумрачность, и дело тут не только в холоде; та же неприветливость и в пейзаже, и в климате. Возможно, и в характерах обитателей здешних мест.

II

Для Самюэля Рейлана все началось с одного ноябрьского вечера 1948 года, именно того года, когда свирепствовали эти неслыханные холода. Кстати, тогда он еще звался попросту Жозеф Рейлан.

Этот подросток отличался толщиной, редкой для его здешних сверстников; всего два года, как он перестал посещать начальную школу и начал обрабатывать землю вместе со своими родными. Впрочем, какая уж тут земля. Следовало бы сказать: пустыня. Но к этому мы еще вернемся.

Сейчас он валит деревья и вяжет хворост вместе со своим отцом и старшим братом в буковой роще за хребтом Феррьер, между Сен-Жюльеном д'Арпаон и Бар-де-Севенн. Это самая дикая часть в здешних горах — можете убедиться сами.

Вот уже три недели зима ведет наступление адскими темпами. Все предвещает ранние снегопады, которые не прекратятся до самой весны: лес уж чересчур молчалив, ни один сучочек в нем не шелохнется; вороны, сидящие на верхушках сухих деревьев, и те боятся пошевелиться, словно бы из них понаделали чучел; недвижное небо завешено подозрительными снежными тучами, похожими на

пену в корыте с грязным бельем; стерильный воздух колюч, но его уколы постепенно смягчаются: холод вроде бы теряет иглы и обрастает пухом. Луковицы покрылись ненормально толстым слоем чешуек, а какие-то птицы из тех, что обычно остаются на зимовку, сейчас взяли да и улепетнули... Все вспоминают зиму 82 года, ту самую, когда видели или думали, что видели, волков возле селений: тогда тоже все происходило именно так. Эта странная оцепенелость природы не предвещает ничего хорошего.

Волки там или не волки, но быка надо хватать за рога: необходимо обогнать зиму — подготовиться к нескончаемым морозам, которые, как назло, наступают всегда чересчур ровно и которым не видно конца, так что приходится топить не переставая. На опустошенных лесосеках неистовствуют пилы, взлетают топоры, свирепо обрубая ветки. И вот в последнюю пятницу месяца, к четырем часам дня, этот самый снег и повалил; громадное пространство ланд и лесов, что кудрявятся на отрогах Феррьера, мгновенно покрывается снегом.

Трем лесорубам не меньше часа ходьбы до их жилища: переход небезопасен, ведь ночь уже опустилась. Жители гор не любят, когда непогода застигает их вдалеке от дома: даже в самое последнее время произошло несколько несчастных случаев.

Как только старший Рейлан заметил первые хлопья снега, он тотчас дал знак сыновьям, что пора собираться в путь. Рюкзаки застегнуты, топоры в руках, вязанки хвороста за плечами — так выходят они из леса и торопливо шагают через выкошенные поляны, припорошенные снегом, а далеко внизу уже сгущается мрак.

Суровые склоны с осыпями, тощей травой, редкими буками наступают со всех сторон. Несмотря на высоту местоположения, окрестность замкнута в унылом одиночестве — лишь кое-где прилепились кажущиеся с такого расстояния крохотными, словно осиные гнезда, покинутые хутора, необитаемые фермы с развалившимися овчарнями. Ни огонька, ни дымка — никакого признака жизни. Ничего, кроме обрывистых, голых склонов, которые три четверти года погружены в оцепенение из-за своей неприступности или снегопадов: похоже, что жизнь отступилась от этих мест, явно для нее непригодных.

И все же нечто забрезжило в темноте расщелины, один из тех бедных светом огоньков, которые прорезают ночной мрак в деревнях, где нет электричества; завесы падающего снега, накрывающие все окрест, заставляют свет мигать и временами совсем его заслоняют: это — Маё, где в плохую погоду каждый вечер ставят на окно зажженную лампу, пока все не вернутся домой.

Маё — типичный для этого района хутор; в самых невообразимых уголках приютились его полуразвалившиеся строения — добыча колючего кустарника, корней и сорняков, которые уже заполонили добрую половину местности и только и ждут, чтобы прорваться дальше, завладеть остальным пространством и окончательно прогнать обитателя, если таковой еще уцелел; вероятно, из-за трудности подступов и прочих невыгод местоположения фермы эти окрестили «капризами». Когда-то это прозвище объяснялось богатством и чудачествами; сейчас же обернулось насмешкой, полунамеком на то, что жить тут могут одни полусвихнувшиеся сумасброды, да и те рискуют окончательно свихнуться.

В самом деле, как не удивиться, что жизнь еще теплится здесь: поддерживать огонь в очаге и держать свои простыни чистыми посреди такого опустошения — это ли не удивительно! Тут налицо совершенно очевидное безрассудство, от которого мурашки бегут по

спине: невольно спрашиваешь себя, ценой какого ужасающего аскетизма могут приспособиться люди к такой тяжкой жизненной борьбе.

Из трещин в стенах вылезает сено; ветер гуляет в зияющих подворотнях, пораженных червоточиной; жалкие обрубки веками продымленных, окостеневших балок жалобно торчат из развалин, в которых есть нечто трагическое; можно подумать, что жилища эти разбомбили. Природа не успевает мирно поглотить руины, прикрыв их зеленым покровом; то, что еще держалось в прошлом году, за зиму становится прахом: морозы, дожди, солнце превращают в бесформенную кучу останки строений, где перемешаны почерневшие куски дерева и давным-давно осыпавшаяся штукатурка. Случается и так, что целая стена рушится на глазах потрясенного обитателя, которому ничего не остается, как переселиться в другое место или же укрыться в той части здания, которая еще выдерживает осаду. Эти внезапные обвалы вызваны непрочностью строительного материала: крошащийся камень, добытый первобытным способом, рыхлый песчаник, в котором любая трещина может вызвать необратимые процессы разрушения, ускоренные непогодой.

И венчает все крохотное кладбище, рассчитанное на одну семью; некоторые из этих кладбищ вполне сгодились бы для декорации в театре ужасов: земля вспучивается и словно бы дышит, сдвинутые подземными толчками надгробия клонятся в разные стороны, и все вместе являет собой картину, подобную некоторым погостам Шотландии и Центральной Европы, породившим легенды о вампирах и оборотнях.

Обычно могилы располагают вблизи от дома, они видны из окон, и их не минуешь ни утром, ни вечером. Обычай этот то ли вызван намерением поддержать дух людей в их повседневных испытаниях, напоминая им, что все их мытарства окончатся не сегодня, так завтра; то ли удобства ради, чтобы, когда пробьет час, сделать переход менее длинным; а может быть, просто-напросто из-за полного отсутствия воображения. Крапива, которая любит сырость, разрастается на этих кладбищах в неслыханном изобилии.

Всюду кости, африканское солнце; тень, пропитанная неутоленной горечью Арморики [1],— таковы здешние горы. Старики умирают, дети бегут, дома пустеют — такова их история.

Эту долину Иосафата, по которой торопливо шагают под все усиливающимся снегопадом трое Рейланов, прорезает горный поток, почти всегда пересыхающий летом, его иссушенное, выбеленное солнцем лоно огибает хилые буки; тогда ни вода не журчит меж камней, ни листва не колышется ветром — все безжизненно в этом огненном, мертвом кратере. Ветер, как бы притаившийся в траве там, наверху, ударяет по ней двумя-тремя ударами крыл, как раз перед восходом солнца, да испускает несколько вздохов в сумерки, уподобляясь странному маленькому животному, которое, потеряв голову, кусает свой собственный хвост. Летом в этой каменной пустыне весь день стоит палящая жара, а неподвижный воздух над ней подобен увеличительному стеклу, подставленному солнечным лучам. Здесь царствуют минералы, и как бы ни стрекотали доведенные до белого каления кузнечики, их стрекотание какое-то неживое, металлическое и тоже будто относится к этому минеральному царству; невольно спрашиваешь себя: по какому наваждению жизнь перестает здесь быть жизнью?

[1] Древнее наименование Бретани. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

Солнце свершает свой круговорот — на долину падает огромная, все надвигающаяся тень, которая поглощает половину горного амфитеатра. Но на освещенной стороне склона луч выхватывает овчарню, напоминающую череп с отверстой огромной пастью и черными глазницами, что придает мистический характер всему этому уединенному месту. Миллионы насекомых, посеребренных заходящим солнцем, неподвижно застывают в воздухе.

В такие минуты невозможно думать без острой тоски о том, что скрывается за горами,— особенно если лишь понаслышке знаешь о тамошних чудесах: о манящем, шумном мире тротуаров, заводов, кинотеатров, кафе, где толпы людей стремятся ко все новым и новым целям,— о неге безмятежной жизни среди холмов, поросших приморскими садами, о вечерах, напоенных ароматами и беспечностью, о климате, продлевающем лето. Все это столь далеко и так непохоже на здешние первозданные горы с их неизменным молчанием, неизбывным одиночеством.

Длинные, ничем не заполненные дни, пустынные склоны, постоянное соприкосновение с природой в ее первозданном оцепенении, которое с таким же успехом может знаменовать как начало, так и конец творения,— эта чудовищная инертность заразительна! Когда озираешься вокруг и видишь, насколько хватает взгляд, только нагромождение рассыпанных вслепую камней, то и не будучи философом, невольно задумаешься о смысле бытия и ощутишь свое ничтожество перед мертвой необъятностью, и нет тебе иного выхода, как уйти в себя и тоже омертветь; тут познаешь бесполезность усилий и любых рассуждений; поневоле продолжаешь жить, но уже не пытаешься изобрести порох. Три тысячи лет ухищрений не привели решительно ни к чему, разве что внесли путаницу, положение не улучшилось по существу ни на волос. Самый главный вопрос остался нерешенным, поэтому его и ставят (если ставят) в безоговорочном и простейшем конечном смысле: как вопрос жизни и смерти. Здешние отшельники первозданно наивны (не надо забывать, что это потомки людей, обращавшихся к богу на «ты», как и принято это в Ветхом Завете, дабы вырвать у него любой ценой ответ). Они признают только неопровержимые аргументы; тонкости Сорбонны для них всего лишь клоунские ужимки (или попытки выдать желаемое за сущее), которые они удостаивают лишь пожиманием плеч.

Здешние женщины черны с ног и до головы—с двадцати лет они в трауре по своей собственной юности, ибо вынуждены мириться с существованием, которое, так же как и одежда, связывает их по рукам и ногам, не давая роздыху до самой смерти; женщины еще яростнее, чем мужчины, проявляют инстинктивное отвращение к отвлеченным проблемам, где нельзя зацепиться за нечто конкретное; им некогда долго вынашивать даже самые насущные решения, ибо вопросы, которые ставит перед ними жизнь, не терпят отлагательства. Отсюда их недоверие к абстрактным ценностям, стремление свести смысл жизни к практическим выводам, и это вовсе не потому, что они глупее других; просто они живут в постоянной заботе о хлебе насущном и пытаются побороть свой неотвязный страх перед черным днем неслыханной скаредностью.

Закабаленные с утра и до ночи изнурительными хозяйственными работами, все отличие которых от каторжных состоит лишь в том, что они кажутся им естественными, эти женщины торопливо, между двумя стирками, производят на свет детей, между двумя жатвами хоронят своих близких и никогда не располагают тем, что в приви-

легированных слоях общества именуется «минуткой для себя». Они и представить себе не в силах, что можно начать жить именно тогда, когда прерывается тирания семейных обязанностей, и что в загадочном мире интеллекта могут возникнуть какие-то потребности, любые из которых достижимы, ибо все одинаково бесполезны.

К тому же они переносят только простую пищу (в буквальном и переносном смысле): вкус кажется им привкусом; привкус же ощущается ими как странность. Если какое-либо происшествие выманивает этих женщин из их логова, они тычутся, не находя себе места, подобно раку-отшельнику, которого выколупали из раковины. Они полновластные хозяйки своего домашнего очага — здесь они держатся самоуверенно, но враждебно относятся ко всему за пределами их владений. Оторвавшись от повседневного труда, они теряются, робеют, чувствуют себя не на месте; усесться со стаканом лимонада на террасе кафе для них — все равно что сподобиться благодати или соприкоснуться с неземной красотой. Без привычной работы жизнь представляется им чем-то несуразным, нелепо смешным, что вызывает у этих горных жительниц, по-деревенски чопорных и ехидных, ухмылку, обнажающую их больные десны, которые они стыдливо прикрывают рукой.

Зачахшие от недостатка света или истомленные лихорадкой, они после блеклого отрочества как-то разом засыхают, словно лишаются возраста. А впоследствии занимают в доме не больше места, чем табуретка; их засовывают в угол и не обращают на них никакого внимания до тех пор, пока безропотно не закончат они своего бренного существования.

В этом уединенном ущелье жизнь подчинена лишь временам года; она медленно вращается по своей орбите, оказываясь в определенный момент на том же самом месте, что и в прошлом году: ничто не меняется ни к лучшему, ни к худшему. Изменения зависят лишь от погоды: более жаркое лето иссушает ручьи, опустошает цистерны; ранние снегопады отрезают пути сообщения, а бывает, зловеще удлиняют зиму, задерживая наступление благодатных весенних дождей. Но в конце концов все годы похожи один на другой. Уже невозможно вспомнить, когда именно произошло то или иное событие: смерть пса от укуса гадюки, удар молнии, испепеливший лиственницу у входа на пресловутое кладбище, неожиданный приезд родственника, рассказывавшего о событиях невероятных и странных. О возрасте знают только — молод ты или стар: условия жизни не допускают половинчатости. Одни живут, другие умирают или, вернее, перестают жить, что не совсем одно и то же.

Лишь воинская повинность да еще война придают реальность таким насущным и великим, но здесь совершенно абстрактным понятиям, как Париж, Франция, мир. Суть их раз и навсегда воплотилась в Эйфелевой башне (статуэтка из красной меди), в ноже, заканчивающемся гильзой, в голове негра с феской зуава на банке какао (или в миниатюрной фигурке Свободы, а то и в каком-нибудь фаянсовом ките). Впрочем, к чему дальше ломать голову? Все это — по другую сторону действительности, вернее сказать, здесь совсем иная действительность: та, которую здесь считают единственно реальной, имеет столько же общего с веком, сколько с луной.

Возьмем пример: однажды весьма образованные господа решают, что необходимо лечить кретинов (ведь их считают именно таковыми) из горного района; мысль о том, что эти бесноватые существа, слюнявые и восторженные, сидят себе под деревьями да ведут мистиче-

ские беседы с ветерком или с бабочками, не дает покоя вышеупомянутым господам. Излечить, то есть приблизить поведение этих субъектов, живущих среди овец в почти абсолютной изоляции, к поведению первого попавшегося олуха, отупевшего от городской сутолоки, азартных игр, кабаков и кинематографа. А ведь нетрудно, казалось бы, заметить, что налицо два различных вида животных. Излечив, то есть приобщив к стандартному отупению, горных жителей отсылают обратно. И вот результат: одни действительно сходят с ума, и теперь уже веяние ветерка их не интересует; другие исчезают внезапно и бесследно, как бы поглощенные природой, а потом охотники, попадая в овчарни или подняв голову где-нибудь в рощице, совершают страшное открытие; большинство «исцеленных» впадает в самое черное безумие; они уже не способны ни пасти коз, ни беседовать с мотыльками. Возможно, они оказались всего лишь более чувствительными, чем им подобные: с них содрали шкуру во имя иного миража, отличного от тех прежних миражей, которые их защищали; это все равно как если бы под предлогом гигиены отмыть эскимосов от жира, которым они, склонные к легочным заболеваниям, смазывают грудь, защищаясь от холода. Слишком поздно спохватились, что мнимый кретинизм жителей гор не что иное, как способ восприятия мира. Их мира. Тут есть над чем призадуматься. Ведь это не что иное, как современное колдовство. И если колдовство это, кроме всего прочего,— искаженный опыт действительности, то колдун чаще всего — поджигатель, а не тот, кого сжигают.

Этот мир, по которому разгуливают последние строители защитных стен [1], вынужденные вслепую вступать в единоборство с роком, этот несчастный край в его чистом, почти божественном виде освещается днем не обычным солнцем, а ночью — не пошлыми звездами. Для этих людей не пригодны банальные истины, сфабрикованные где-то в другом месте и в чуждых им целях; им даже не приходит в голову обеспокоиться тем, что их меры веса и длины не соответствуют общепринятым; в общем-то они об этом попросту не задумываются. Между ними и остальным миром — полная некоммуникабельность, они говорят на разных языках и не имеют общих интересов.

Тысяча девятьсот сорок восьмой год; вершина неприступной гранитной крепости: густые леса, засушливые степи; палящий зной сменяется стужей; здесь сохранились еще уголки, нетронутые в своем уединении (уединение это никогда не было столь полным, как после войны, которая опустошила этот обездоленный край в третий раз за столетие: тут и смерти, и переселения, вызванные возвратом мирной жизни); впоследствии, когда понаедут сюда, желая идти в ногу со временем и послав к чертям свою скобяную торговлишку, веселящиеся горожане, местные овцы начнут ягниться под звуки транзисторов.

В описываемый момент здесь, на отшибе, живут небольшие семьи или же старые, похожие на одиноких вепрей холостяки; все они кажутся еще более чудовищными из-за того, что между ними угадываются странные распри, явно странные: никому даже в самом близком окружении не доискаться до истинной их причины. Дело идет о стычках не на́ живот, а на смерть, возгорающихся из-за самого незначительного повода. Иногда они кончаются плохо, даже очень плохо, а причина несчастья — отнюдь не чье-либо сумасшествие. В округе не сыскать ни одного прочного сука или балки, которые бы хоть раз да не вызывали желания перекинуть через них смерт-

[1] Стена, позволяющая производить посевы злаков на склонах гор,— в пространстве между двумя такими стенами *(примечание автора)*.

ную веревку; а встречаются и такие, которые уже выполнили свое гнусное предназначение.

Но самое сильное впечатление тут, наверху, производит тишина; звуки, которые различит внимательное ухо, делают тишину еще более ощутимой или же гнетущей, в зависимости от вашего умонастроения. Ветер дышит (метафора необходима для сохранения душевного равновесия, когда находишься перед лицом этой мрачной панорамы, лишенной растительности, панорамы, расстилающейся на необозримые пространства в устрашающей теллурической невозмутимости), листва потрескивает под дождем, какое-то животное шуршит соломой, каштаны кубарем катятся сквозь ветки,— поневоле вздрогнешь: шум их падения — словно удары хлыста по листьям; сплетенные сухие стволы скрипят, точно старые кости. Слышно, как где-то трутся одна о другую черепицы, сдвинутые проползающей змеей или ящерицей, и совсем близко сохнут и корчатся под палящим солнцем высокие травы, среди которых спрятались стрекочущие кузнечики. Все эти звуки и составляют тишину: они — свидетельства ее постоянства, ее глубины, но к человеку они не имеют ни малейшего отношения.

Дороги проходят в стороне от этих глухих долин, и если в коитo веки там и проедет машина, пыхтение ее сюда не докатывается. В этих краях не часто услышишь звук колокола; деревни стиснуты между крутыми скатами гор, расстояния чересчур велики, чересчур обильны препятствия, вершины чересчур круты, чтобы слышен был благовест, как в местности деревенской со спокойным, волнистым рельефом, где по утрам перекликаются петухи, а колокольный звон, проникая сквозь окрестную зелень, делает всякий день праздничным. Здесь же и воскресенье похоже на будни. В любое время года все семь дней недели одинаково молчаливы, насыщены лишь извечным, невозмутимым дыханием природы, к которому надо привыкнуть и терпеливо сносить его до конца своих дней. Но жизнь, которую здесь ведут люди, так тяжка, так бедна развлечениями, что только в собственных нравственных муках и остается искать источник самоутверждения и смысл существования.

Здешние жители обладают безнадежным упорством поруганных, обездоленных и в конце концов позабытых существ: за их плечами длинная история преследований, несправедливых гонений и унижений — не считая теперешних обид и невзгод. Все это привило им привычку, если не вкус к непосильным задачам. Теперь, когда уже не приходится оказывать сопротивление королевским драгунам, сражаясь в одиночку против целой сотни, надо победить суровую, безжалостную природу — один на один и голыми руками. Тут не обойдешься без некоторого героизма, а ведь он теперь не в чести. Стоит ли удивляться тому, что здешняя молодежь в большинстве случаев отступается от борьбы, рассматривая ее как анахронизм; она предпочитает бесславные, но более легкие, спокойные решения. Вот почему, как только представится случай, кладут они ключ под порог дома и охотно меняют топор лесоруба и рукоятку плуга на первый попавшийся мундир государственного служащего.

Если только человек не одержим своего рода демоном. А где и водиться демонам, как не в таком абсолютном уединении, внушающем одержимому человеку стремление к невыполнимому. Единственные орудия, которыми здесь располагают, это — топор, мотыга, соха и, в случае надобности, ружье. Слова, идеи — над ними смеются: их приравнивают к лживым заверениям или отказам от собст-

венных обещаний, что свойственно политиканам (или церковникам).

Люди, которых встречаешь на этих вершинах, чаще всего существа молчаливые, втихомолку исполняющие свои обязанности. Никому из них нет охоты рассказывать о своей жизни. Что рассказывать? И кому? Один на один с горой, склоны которой надо ему прорубать, один — в глубине ямы, когда копает колодец, один, когда расставляет на равнине силки для ловли дроздов или подстреливает зайца, чтобы улучшить свой рацион, один — на вырубках в лесу, один, когда корчует заросли дрока, один перед демонической одержимостью, толкающей к преодолению трудностей, хотя так просто было бы забрать свои пожитки, повернуться спиной к этой земле, не имеющей будущего, напрочь отринуть — как это делают многие — здешнее безрадостное существование. В общем, если спросить у этих отшельников, что заставляет их так бессмысленно надрываться, они не будут знать, что ответить, или скажут какую-нибудь глупость: они сами ничего не в состоянии объяснить. И вполне понятно почему: их вызов столь неосознан, столь примитивен в своей основе, что спрошенный не способен дать себе в этом отчет или обозначить неким символом (так эволюция, происходящая в яйце или прорастающем семени, не осознается ни яйцом, ни семенем).

Но диспропорция между простодушно поставленной целью и результатом — вопиюща; нуждаясь в воде, роют колодец, однако усилия, на это затраченные — рабочий пыл, годы, принесенные в жертву,— вряд ли стоят достигнутого (я говорю, разумеется, с точки зрения стороннего наблюдателя).

III

Теперь те трое, которых мы оставили на склоне, достигли неглубокой расщелины, где, пенясь, стремил свои черные воды поток. Наверху, на гребне горы, было недавно только свежо, но по мере спуска их охватывал резкий холод, сменившийся ледяной сыростью, тяжелой, прямо-таки свинцовой; дыхание их дымилось, лица одеревенели: в этом месте даже летом с заходом солнца озером разливается и застывает студеное марево.

Показались первые буки: поток близок. Подлесок слегка фосфоресцирует, но вокруг полумрак, как в церкви; это неопределенный час, когда небо уже совершенно темно, а земля еще продолжает чуть-чуть светиться. Мягкая почва, укрытая ватой снега, приглушает шаги и лишь слегка поскрипывает под ногами. Петляя между деревьями, заметенная тропа становится вовсе неразличимой и обманчивой, как в лабиринте: можно ориентироваться только по скату, все более и более крутому и скользкому; а тут еще тащи на себе весь этот скарб, который ежеминутно цепляется за густой кустарник, того и гляди, потеряешь равновесие (есть, правда, другой, менее опасный спуск, им-то они обычно и пользуются, доставляя на ферму зерно или дрова, но тот спуск без конца извивается по откосу, а сегодня необходимо поторапливаться!).

Это резкое, разламывающее поясницу скольжение вызывает отборную ругань у первого из цепочки, Абеля, которого называют обычно старшим Рейланом, у него тройное преимущество — роста (он великан и перерос своего отца на целую голову), возраста (двадцать шесть лет) и характера (сущий медведь); вот он и позволяет себе вольности — в частности, словесные, достаточно сильные, если учесть полученное им воспитание: ведь его отец — старый гугенот,

понаторевший в вопросе о принципах, особенно религиозных; он из семьи, где на протяжении нескольких веков Библия была непреложным законом, где приверженность традициям являлась единственной моральной гарантией и единственным оплотом посреди бесчисленных испытаний,— с небом шутки плохи, и тем более непозволительна привычка к ругани, оскверняющей святая святых. В прежние времена за малейшее словоблудие расплачивались целой неделей таскания воды, за которой надо было идти к черту на кулички, чтобы сэкономить ту, что в цистерне. Но с тех пор, как сын возмужал, а точнее — когда он вернулся из молодежного лагеря и стал жонглировать срубленными деревьями, словно спичками (об этом еще пойдет речь), старик лишь покачивал головой, да громче, чем требовалось, прочищал горло, дабы напомнить о своем присутствии и неодобрении.

Когда они подошли к потоку, почти совсем стемнело, но излучаемый землей обманчивый тусклый свет сопротивляется мраку куда дольше, чем это можно себе представить. Расщелина с очень крутыми скатами, куда солнце, можно сказать, никогда не заглядывает,— прибежище растений, любящих сырость и темноту, главным образом папоротника, веера которого, порыжевшие от мороза, уже начали пригибаться под толстым слоем снега, выпавшего за каких-нибудь полчаса на добрых десять сантиметров. И Жозеф Рейлан подумал: если не замедлять хода, скоро они очутятся в надежном укрытии и тепле.

Они спускаются, хрустя ломкими сухими ветками, подминая перепутанную густую поросль, всю засыпанную снегом; такие гимнастические упражнения сдобрены, как и следует ожидать, крепкими словечками, которые придают некоторое подобие жизни этому растительному кладбищу. Внезапно разбуженная большая птица, уже угнездившаяся на ночь, взлетает поспешно, но совершенно бесшумно; прямо непонятно, как может она лететь так быстро, ни на что не натыкаясь в этом чудовищном хаосе; вот она показалась еще раз, следуя вдоль потока к новому гнездовью.

Ледяным холодом веет из каменной глубины расщелины, по которой, бурля, несется черная, глянцевитая вода. Она дымится, как кипяток, и жадно проглатывает хлопья снега. Наконец-то трое гугенотов добираются до переправы; от радости, что на спуске не сбились с пути, они позволяют себе остановиться; сбрасывают свою ношу и справляют нужду прямо в чистейший снег, который все громче ухает у них под ногами.

Еще можно различить примитивно сваленные древесные стволы, вернее, синеватый непорочный покров, которым и их и все, кроме воды, укрыл окрест снег; эти стволы с двух сторон лежат на поддерживающих их огромных камнях, похожих на двух чудовищ, ставших на колени в глубине склепа и держащих на спинах громадный катафалк. Сегодня вечером все выглядит зловеще и угрожающе.

Именно с этой минуты все усложняется. А ведь можно было бы избежать неприятностей, идя по обычной дороге, на которой есть каменный мост через поток... но не будем забегать вперед.

В Маё карты сданы, казалось бы, раз навсегда; да и сама игра не допускает большого числа комбинаций, и неожиданностей в ней также не предвидится. С надеждой надо распроститься: невозможно представить себе, какой неслыханный козырь должен свалиться с неба, чтобы устранить заранее предопределенный проигрыш, а игра тем не менее продолжается. Ни больших радостей, ни катастрофических несчастий: всего лишь полный короб неприятностей; но пока каштаны съедобны, еще можно как-то жить. Да в общем никто ни

о чем и не беспокоится; перспектив — никаких, да их и не ищут, а с какой-то, отнюдь не лучшей, точки зрения все идет нормально — своим чередом. Если не мудрствовать лукаво и верить, что дважды два все еще четыре, то в конце-то концов не так уж и плохо обстоят дела. Можно испытывать голод и нужду — а уж они-то ее испытывали, и еще как,— но тот, кто голодал, знает, что аппетит зависит не от качества пищи, скорее уж наоборот. Скажем прямо: Жозеф Рейлан съел свой кусок бешеной коровы, хотя для него это оказалось мясом вороны.

До войны 40 года в этих бедных хижинах кусочек хлеба, натертый чесноком и смазанный ореховым маслом домашнего изготовления, считался уже лакомством, вот почему в период всеобщих лишений, когда в стране были опустошены все закрома и обшарены погреба, для этого нищенского района ничто не изменилось. Извечная каштановая кашица выйдет победительницей из всеобщего голода, так что в этот момент ее постоянные потребители даже сочтут себя по отношению к другим в привилегированном положении; но в то время когда три четверти населения Франции обжираются, трудно представить себе большую обездоленность.

Двое молодых опустошителей птичьих гнезд были от природы краснощекими здоровяками, которых подстерегает раннее полнокровие, а к пятидесяти годам — апоплексия, невзирая даже на скудость их ежедневного рациона: вкус бифштекса им ведь неведом, они знают разве лишь припахивающее горьким дымком мясо собственноручно подстреленной дичи. Недостаток благородных протеинов вызвал непрестанный, ненасытимый голод, заставивший лихих пареньков в совершенстве овладеть пращой, которую они частенько пускали в ход возле рва с отбросами, куда не брезговали залетать более упитанные, чем голуби, стервятники. Убив одного из них, парни забирались повыше на сланцевую гору, поросшую шильной травой, и, тайком ощипав и зажарив на костре свою добычу, подставляли одну щеку прохладному ветру, другую — горячему солнцу, а утренний воздух ясного апрельского утра, чистый, как родниковая вода, пьянил их сильнее вина. Острый запах саротамнуса, чахлой травы, карабкающейся на высоты, где уже ничто не произрастает, восхитительно будоражил кровь нашим новоиспеченным робинзонам; они падали в эту терпкую траву, мягкую и податливую, словно девичья плоть, и, запрокинув голову, следили за пробегающими облаками; отполированное ветром, сверкало небо; по краям склонов колыхалась трава, призывая их к странствиям. Но летняя жара и зимняя стужа, благодаря своей несхожести, сами по себе сулили для них приключения. Сказочное время, которое не было временем! Времена года обручались с пейзажем, завладевали его контурами, прибавляли свою собственную географию к сонной географии вершин, подобно тому как облака воздвигают неведомые горы, такие чарующие, когда они проплывают над подлинными земными горами. Но если сердце перестанет биться, пространства исчезнут и уже никакие океаны не в силах будут внушить ему какое бы то ни было желание. Лишь бы лето оставалось жарким, а зима холодной, и можно согласиться стать еще глупее, чем ты есть: глупым, как Адам. Ему-то к чему было браться за топор! К чему наследовать эту мерзкую болезнь — совать повсюду нос, рыться в сути вещей, словно в игрушке, чтобы докопаться до механизма? Тоже мне занятие! Разве не лучше попросту жариться на солнце и принимать вещи такими, как они есть? Ну нет, это было бы чересчур просто: сыновья Адама предпочли тень добыче и единственно из желания поиграть мускулами перед зеркалом. Октябрьское солнце придавало особую яркость герани, горшки с которой выстраива-

лись на выступах вокруг террас; ради удовольствия любоваться ими можно было сидеть там часами.

В июне вечера благоухали цветущими вдоль улочек деревьями, растения и листья — все замирало: воздух становился недвижимым. От такого спокойствия можно было вообразить, будто находишься не под открытым небом, среди всех мирских превратностей (ведь малейший ветерок может иногда причинить неизреченные страдания), но в необъятной защищенной теплице, как если бы земля вдруг стала вполне пригодной для жизни; до самых звезд простирался этот покой, которым пользуются звери, торопясь заняться своими ночными делами. Они вроде бы тоже чувствуют, что в такие мгновения можно спокойно передвигаться по всему миру; в нем воцарялась таинственная сладость первого вечера творения, когда все животные впервые очутились вместе и общались еще до пролития первой капли крови. Когда столь легко дышится, первородное проклятие кажется непонятным недоразумением.

Если бы знать — но ведь это только так говорится, знать-то надо, не зная: другая несбыточность,— если бы он, Жозеф Рейлан, знал, то за все золото мира не согласился бы он взяться за этот идиотский топор; до конца своих дней он собирал бы каштаны и хворост, оставаясь дурак дураком и терпя неизбывную нужду. Игра все равно не стоила свеч. Ведь ты отлично знал, бедный мой друг, что все то, что ждало тебя впереди, даже самое лучшее, ни черта не стоило. Когда настоящее предъявляло столько требований, кто мог заботиться о будущем (он где-то вычитал эту фразу, но где?), о смерти, пространстве, времени, созвездиях, о непостижимости жизни на земле и обо всем прочем.

Но вот бог, случай, судьба, назовите как вам угодно, ставят ему подножку. Двое других благополучно миновали переправу, шли по ней шаг за шагом, хоть это и подлинный каток. Старик уже начал взбираться на противоположный откос. Абель же приостановился, отчасти чтобы полюбоваться на зрелище: этот увалень Жозеф, у которого начинается головокружение даже на чердачной лестнице, сейчас небось сдрейфил; но Абелю и покурить захотелось. Он сбрасывает хворост, зажимает топор между коленями и, нашарив в кармане куртки крошки табака, свертывает козью ножку, заклеивает бумажку слюной. Одним ударом ладони он высекает огонь из бензиновой зажигалки, которая дьявольски воняет и горит слабым красноватым пламенем. Когда он закуривает, воспламенившиеся крошки табака искрами разлетаются вокруг, он выпускает дым через ноздри; характерная для горца ухмылка обнажает под огромными усищами этого силача кровоточащие десны почти беззубого рта (он уже успел выковырять ножом с дюжину сгнивших корешков).

Жозеф продвигается, отступает, колеблется, балансирует; если переходишь Ниагарский водопад по канату, и то не к чему так дрожать. Хлопья снега, величиной с большой палец, щекочут ему лицо, он пытается смахнуть их локтем. Этого движения достаточно, чтобы западня разверзлась.

Двое его спутников увидали, как, выпустив свою ношу, он проделал какие-то странные танцевальные па и полетел в бездну, завизжав, как девчонка.

Он упал по ту сторону своего детства. И ему уже никогда не вернуться обратно.

IV

Рейланы покинули горы Эгуаль, где со стороны Камприё в начале девятнадцатого столетия укрылись от драгун их предки,— именно тогда обосновались они в Маё, о чем свидетельствует дата смерти их прадеда, неумело вырезанная рядом с его инициалами на сланцевой доске, укрепленной на одной из самых древних могил: 1808 год, двадцать лет спустя после эдикта о свободе вероисповедания, который уравнивал гугенотов в правах и позволял им свободно жить в домах, если таковые у них еще оставались. Но возможно, что строения Маё относятся и к более раннему периоду.

Вокруг примитивной овчарни, словно вросшей от старости в землю (тогда как на самом-то деле это пласты овечьего помета и всяких отбросов подняли уровень почвы), или просто пещеры, обиталища дикарей, где ютились первые овцеводы и лесорубы, жизнь стала худобедно налаживаться; удлинялись стены, расширялись одни и замуровывались другие окна и двери, прибавлялись новые флигельки, как попало пристраивались службы для разраставшейся семьи или тощего поголовья скота,— да и как можно было иначе?

Беспорядочно расползшийся хутор, с налезающими друг на друга пристройками, пришел в полный упадок; я хочу сказать, что сейчас совершенно немыслимо вообразить, что некогда эти строения были новыми и возводились по какому-то плану. Скорее можно подумать, что это — приспособленные для жизни руины или же нечто возникшее на руинах и что из поколения в поколение руины спрессовывались, подобно тому как в течение многих веков сращиваются морские кораллы, живущие колониями.

Нигде ни следа украшений или какого бы то ни было стремления к красоте; бесполезное здесь не в чести. Наоборот. Все свидетельствует о том, что тут твердо обосновались люди, у которых были дела поважнее, чем заботы об изяществе и уюте. Сразу видно, что строились кое-как, не испытывая любви к земле, у которой и то немногое, что она способна дать, надо вырывать силой, а это ни в коем случае не располагает к дружелюбию и признательности.

Именно неприязненный вид этих подчас циклопических построек как нельзя больше соответствует пейзажу, по природе своей неприязненному три четверти года; и эта гармония, если только здесь можно употребить такое понятие, не результат стараний обитателей, она продиктована им извне самой местностью. Если существует некое сродство между нелюдимой дикостью примитивных хижин и тех скал, из которых они возникли, так это результат свирепой первобытности, которую люди не в силах преодолеть.

В конце прошлого столетия от семьи Рейланов оставалось восемь обездоленных душ (среди них — прадед, который как мумия сидел в своем уголке, посасывая угасшую трубку; мать и дочь, затвердевшие, словно железо; три парня, любители прыгать через изгороди и предпочитавшие общество коз школьной скамье); семья кое-как изворачивалась и находила себе пропитание. Ели, разумеется, плохо, но ежедневно. «Затируха» (жидкая каштановая кашица) с Нового года и до праздника святого Сильвестра; уровень жизни таков, что ниже уж некуда; именно в этих районах, где долины сужаются до расщелин и любую культуру злаков можно сеять лишь в поперечном направлении, обитает, как сказано у Мишле, самое нищенское, обездоленное население Франции.

Хотя скудость их жизни доходила до того, что они не в состоянии были отложить ни одного су на черный день или чем-то себя

побаловать в лавках, когда ходили в деревни продавать продукты со своих ферм; хотя им были неведомы ни обильные, разнообразные трапезы, ни запасы разных яств, ни шкафы, ломящиеся от белья,— они видели такое лишь у ремесленников,— зато неизменность их скудного уровня жизни давала уверенность в завтрашнем дне, которая до поры до времени не зависела от наличия денег. До тех пор пока эти районы, округа, а впоследствии лишь группы ферм, затерянные в глубине гор и в расщелинах скал, могли обойтись своим натуральным хозяйством и жили почти отрезанными от внешнего мира, они еще не испытывали нужды в полном смысле этого слова; то была лишь обычная для них воздержанность, и она их не угнетала, потому что все, или почти все, вокруг них существовали подобным же образом.

С незапамятных времен мена служила им вместо денег; да денег и требовалось-то немного, разве что на кофе, сахар, табак, порох и дробь для охоты, и еще на вельветовые костюмы для свадеб, костюмы, в которых полвека спустя они ложились в могилу; на камине обычно стояла железная коробочка с небольшим количеством монет, которые доставали в самых крайних случаях — для оплаты медицинских услуг; впрочем, человека в сюртуке и с черным чемоданчиком встречали хоть и почтительно, но с оттенком иронии: было просто невероятно, если он переступал порог какой-нибудь хижины больше трех раз за целую жизнь ее обитателя, и все его знания употреблялись главным образом на то, чтобы констатировать смерть.

Но технический прогресс стягивал свои петли и вокруг этого островка, где еще упорно теплилась растительная жизнь; там, где раньше вились лишь грунтовые, размываемые водами дороги, начали прокладывать шоссе, а это облегчало доступ к городам и множило искушения; старинный уклад заколебался, остро ощущалось отсутствие денег, их нехватка унижала, а невозможность заработать, хоть и работаешь как каторжный, вызывала горечь и отчаянное стремление любыми способами раздобыть эти деньги. Тут сразу обозначился резкий упадок; никто уж не хотел жить как прежде, внезапное отвращение к исконному окружению и обычаям знаменовало конец старой цивилизации.

Очень быстро жизнь на этих высотах оскудела, перекочевала в долины, где были более человеческие условия, соответствующие веяниям века. Вначале сбежали самые молодые, которым осточертело уединение и бесперспективный тяжкий труд. Молодежь, соблазненная переменами, увлеченная процветанием городов, где возникли маленькие прибыльные предприятия, положила начало дезертирству с гор, она без сожаления расставалась с прежним существованием, лишенным какого бы то ни было приятства. Многие семьи были столь бедны, что весь их скарб умещался на ручных тележках, а зараженную червоточиной мебель они попросту оставляли гнить там, где она стояла: уходя, люди иногда даже ключ оставляли ржаветь в двери. Прошло немного времени, и деревья выросли в брошенных кухнях, вконец продырявив ветвями обветшавшие кровли.

Война четырнадцатого — восемнадцатого годов быстро опустошила последние бастионы уединения: в 1920 году Маё насчитывало всего лишь одного обитателя, Рейлана-Молчальника, родившегося в 1895 году, последнего в своем угасающем роду; однако он восстановил свой род, женившись на дальней родственнице, надо сказать — ко всеобщему удивлению: ведь он никуда не вылезал из своей дыры, ни с кем не разговаривал и вообще рта не раскрывал, разве что перед трапезой глухо пробормотывал обрывки молитв. Но один-то раз он с ней повстречался (это произошло во Флораке, куда он попал из-за наследства: доставшийся ей лес вклинивался во владения Молчаль-

ника, и границы его были неясны); несомненно, он счел уместным как-то вызвать ее расположение, и вовсе не из-за леса, который ничего не стоил,— ему понравились ее сдержанность и то невозмутимое крестьянское упорство, с которым она отстаивала в этой тяжбе свои права.

Брак был решен путем переписки; она жила в Бессеже с мертвецки пьющим отцом и двумя младшими братьями-шахтерами, которым еще не исполнилось и двадцати. Она была еще слабосильной бледной девчушкой с красными глазами, когда ей пришлось занять место матери, умершей от истощения. Вечная посуда, стирка, облупленные стены, перенаселенный шахтерский поселок, грязные улицы, заводские гудки, сплошная копоть,— словом, невыносимые жизненные условия, ничтожные заработки, неоплатные долги у бакалейщика и в аптеке; едва прикрывшись нищенским рубищем, подкарауливала она у бистро, пока оттуда не выставят еле держащегося на ногах отца — такого и у Золя не вычитаешь. Прибыли первые письма от Рейлана; они показались ей творениями Вергилия, садами Аркадии, шелестом буковой листвы. Маленькая кузина распечатывала и читала эти письма, и не было уже вокруг невыносимой мерзости, и казалось ей, будто рядом распахивается окно, выходящее прямо в лес: написанные на отсыревшей бумаге, письма пахли свежими грибами.

Таким-то вот образом несчастная рабыня попалась в ловушку, сулившую ей голубые небеса, чистый воздух, прозрачные воды и цветущие луга,— стиль этих посланий был так же цветист, как поля нарциссов, которые возникли в ее воображении; да и безупречная, с ее точки зрения, орфография изобличала серьезность характера и честность намерений того, кто их писал (увы!); в благородном почерке, украшенном арабесками и замысловатыми завитушками, она издали видела нечто возвышенное, крылатое; со слезами на глазах она читала унтерские четверостишия и вдыхала аромат фиалок; все это сулило конец ее крестным мукам и ничем не возмутимую благодать сельской жизни, в единении с человеком большого сердца, сильным, но деликатным, поэтом и крестьянином одновременно.

И вот всего через три месяца бедняжка, никак не подготовленная к жизни в горах, очутилась там, на вершинах, почти в облаках, но вовсе не в тех, какие она себе навоображала: небеса были неизменно свинцовыми, воздух ледяным, вода, может быть, и прозрачной, но за ней приходилось ходить далеко, и даже весьма далеко; а вместо пресловутых цветущих лугов вздымались неприступные каменные стены, достигавшие тысячи метров в вышину. Когда ноги весь день в грязи, на голове узел белья, в каждой руке по ведру холодной воды и она уже беременна (Абелем), а изможднена больше, чем когда бы то ни было, тут сам собой возникает вопрос: так ли уж она выиграла, променяв рабочий поселок с его грязью, шумом и пьянством на чудовищное одиночество, с глазу на глаз с мрачным дровосеком, слов нет, безукоризненно воздержанным — столь же на разговор, как на спиртное,— впрочем, ничто не подавало надежды на появление в этом доме иного напитка, кроме воды; в довершение бед, она уже поняла, что ее муж (ведь бедняжка-таки обвенчалась с ним) вовсе не склонен к романтическим чувствам, так же как и к поэзии.

Стояла весенняя пора, но это тоже не улучшало положения: погода была такая, что хороший хозяин и собаку на двор не выгонит, и все же ее муж уходил на заре, с топором в руках, мотыгой, закинутой за плечо, и торбой с горсточкой каштанов либо куском сыра (редко-редко брал он и то другое вместе) — и это на целый день! Возвращался он всегда затемно, полумертвый от усталости, холода, да еще и голода, и каждый вечер разыгрывалась одна и та же сцена:

склонившись над неизменной вегетарианской похлебкой, сложив руки, он сквозь зубы бормотал нечто, долженствовавшее обозначать молитву, а потом, не поднимая носа от тарелки, не произнося ни слова, проглатывал суровую пищу и прямехонько шел спать, немедленно впадая в не менее суровый сон, даже чем-то смахивавший на смерть; нос у него был постоянно заложен, и поэтому он, заснув на спине, широко, словно труп, раскрывал рот.

Ни тени поэзии или галантности. И никаких вольностей: воздержание распространялось и на постель. Словом, он не был весельчаком, и в конце концов она поняла, что имеет дело с человеком зловеще замкнутым; однако каким же образом, черт побери, умудрился он писать ей столь чувствительные, столь романтические письма? Вроде бы и не он писал, думала она, все с большим и большим недоумением их перечитывая. Долго размышляла она над непостижимой загадкой души человеческой, пытаясь объяснить странности поведения мужа его застенчивостью, но объясниться с ним она не решалась, так как побаивалась его. И вот однажды, забредя на чердак, она заметила спрятанный за балкой сверток; он показался ей не столь пропыленным, как все остальное, и это насторожило ее: а вдруг деньги? Недаром в Бессеже ей все уши прожужжали, будто горцы до того жадны, что способны подохнуть с голоду, лежа на матрасе, набитом банковскими билетами.

Увы! То была всего лишь связка газет, старая подборка газеты «Ла вейе де шомьер»; она перелистала несколько номеров: что же она наделала! Вся кровь отхлынула от ее лица: пред ней предстала основа любовной корреспонденции ее мужа; целые фразы — черным по белому (серым по желтому: газеты были необыкновенно старые). Если бы он узнал, что она его разоблачила, сгорел бы со стыда. Это-то и удержало ее от того, чтобы швырнуть ему в тот же вечер газеты в физиономию, когда он вернулся домой. На том дело и кончилось, но она с трудом перенесла свое открытие, и мало-помалу сознание, что ее надули, привело к неизбывной горечи и обернулось стойкой обидой, которую еще усиливали воистину несносные условия жизни: ни воды (во всяком случае водопровода), ни электричества, ни малейшего комфорта, ни денег, будущее столь же безысходно, как и вся эта местность, начисто лишенная горизонта; никаких соседей, никого, кому можно было бы излить душу, кроме этого глухонемого, который, ко всему прочему, еще и обманывал ее; и в довершение всего ужасающий климат, совершенно непереносимый для жительницы равнин. В общем, здесь оказалось куда хуже, чем в Бессеже.

Шахтерский ад, из которого ее вырвал Молчальник, начал рисоваться ей отныне как некий земной рай, который она в воображении расцвечивала прельстительными воспоминаниями. Как оплакивала она теперь этот шумный и продымленный рабочий поселок, искалечивший ее юность! А здесь — безмолвие. Она уже потеряла счет времени; в этом пустынном каменном амфитеатре, где взгляд неизменно упирался в неприступные склоны, а облака отбрасывали холодные и зыбкие тени, которые больше всего угнетали ее, все дни были одинаковы до одурения: они, казалось, скользили по ее жизни, ничего не меняя, кроме времен года; она же сама оставалась неподвижной, бессильной замедлить их бег, вся во власти бесконечной агонии времени, постепенно ускорявшего свое круговращение.

Родился Абель. Иногда она замирала, потрясенная тем, что вот ее сын уже бегает в траве; значит, он все же родился, а она едва отдавала себе в этом отчет. Ноябрь 1922 года: страдания в промерзшей комнате, помощь грудастой, затянутой в корсет повитухи, которая дышала со свистом, требовала кофе и непрерывно курила; ог-

нем охваченная поясница, невозможность сдержать стоны и вдруг полное исчезновение болей, но и полное бессилие, словно силы истекли в этот самостоятельный кусочек плоти, который после двух-трех шлепков тоже завопил и из сморщенной, будто бы кипятком ошпаренной и до ужаса уродливой куклы превратился, как бабочка из куколки, в гладенького ребенка нормальной формы, жалобно пищащего, требующего пищи; во время этого кровавого действа отец, дурак дураком, стоял в изножье кровати и среди всей этой неразберихи тупо осознавал свое отцовство; повитуха, которая терпеть не могла мужей, считая их ни на что не годными, разве только стать рогоносцами, то и дело отпихивала его подальше, словно тесто меся огромными своими ручищами. Едва оправившись, еще не твердо держась на ногах, роженица вступила в заклятый круг домашнего обихода, отягченного добавочной стиркой, беспрестанным таскáнием воды, а теперь и вскармливанием младенца; но молоко, впрочем, быстро иссякло в ее от природы чахлой груди.

Воспоминания уходили все дальше в прошлое, времена года сменялись все неожиданнее. Было ли Абелю три месяца или три года, ей все равно казалось, что время остановилось, и лишь через восемь лет, почувствовав себя вновь беременной, она отдала себе отчет в том, что эти три года обернулись восемью годами. Но не считая стирок, расширения вен и начавшегося ревматизма, что же случалось с ней за истекшие восемь лет?

Ничего. Во всяком случае ничего такого, что хоть как-то могло возместить сентиментальные разочарования и домашние тяготы; у нее ведь не было даже и тех пустяков, что так помогают при упадке духа,— ни одной безделушки из тех, что ласкают взглядом и день-деньской поглаживают, в особенности когда тяжело на душе: комфорт, безделушки — вот ведь чем умудряются утешаться иные, борясь с вопиющей бессмысленностью существования.

Молчальник оставался молчальником, вода была такой же ледяной, климат — столь же суровым, земля — неурожайной, а кошелек пустым. Покупка обыкновенного ножа — целое событие, обсуждавшееся полгода. Короче — положение отнюдь не улучшалось, а напротив, скорее ухудшалось, и главным-то образом, разумеется, потому, что через десять лет куда меньше оснований для надежды, что все изменится, чем попервоначалу. Когда силы ее окончательно иссякали, она укладывалась дня на три в постель и лежала совершенно неподвижно, утверждая, будто у нее «туман в голове».

Запоздалый ребенок родился преждевременно в благословенном 1931 году, в самый разгар февральских снегов и ветров. Он был еще уродливее, чем его брат, и весил всего два с половиной килограмма, что совсем уж не пристало тому, кто наделен признаками мужского пола. Был он рыж, рыхлого телосложения, и его физическое развитие оставляло желать лучшего. Но не только в этом сказывалась его неполноценность. По-видимому, мать наградила его частицей того тумана, которым была полна ее голова: он подолгу сидел неподвижно, устремив в пространство взгляд больших удивленных глаз; но чаще всего его можно было наблюдать в таком положении: зад кверху, а голова вниз, словно ванька-встанька, у которого по ошибке балласт заложили в голову, а не в ноги. Огромная голова словно бы предвещала ум, и, однако, долгое время опасались — не идиот ли он.

Она назвала его Жозефом-Самюэлем. Жозефом в честь деда по материнской линии, алкоголика из Бессежа, который сыграл в ящик (она съездила на похороны между двумя приступами «тумана в голове», и родовые схватки начались преждевременно из-за вызванного этой поездкой волнения); Самюэлем же потому, что он был гугенотом.

Этот сын стал ее любимцем по многим причинам, из которых три главные следующие: во-первых, старший был, хотя и в ухудшенном виде, копией своего отца, так что подлинной близости между ним и матерью быть не могло, и ее материнские чувства только и ждали, на кого бы излиться. Во-вторых, дети, зачатые к тридцати годам или позже, олицетворяют последнюю вспышку молодости — способность произвести их на свет является неоспоримым ее доказательством; эта молодость весьма относительна и кончается задолго до наступления ранней деревенской старости, да и дети такие обычно рождаются дебилами, чью неполноценность матери еще усугубляют, изливая на них маниакальную нежность, одинаково вредную как матери, так и ребенку. В-третьих, ее теленочек был столь неустойчивого здоровья, что она видела в нем или воображала, что видит, наследие своей собственной хрупкости (попутно надо отметить — хрупкости совершенно железной, коль скоро не сломили ее ни дожди, ни морозы, ни снега, ни ветры, ни свирепые зимы, ни летняя кратковременная тропическая жара, ни ежедневный героический труд — такого не выдержал бы и бык).

На этот раз ребенка принимала у нее тетка со стороны покойного отца, которую она встретила на его похоронах, тетка произвела на нее огромное впечатление своей распорядительностью. «Зачем тебе тратиться на этих производительниц ангелов? — внушала она ей.— Со мной тебе спускать чулок не придется». Но, несмотря на двусмысленность этого заверения, она утверждала, что способствовала или помогала появлению на свет внушительного количества недоносков обоего пола, причем, по ее словам, все они целехоньки, так же как и их родительницы; однако в ее описании нормальный родовой процесс смахивал то ли на пытки, то ли на ратный подвиг: все стены в крови, тела сведены чудовищными судорогами, нечеловеческие крики, стоны от применения щипцов, кесаревы сечения, родильные горячки, драматические осложнения — ничто не было забыто в ее картинном описании, и тем чудодейственнее возникал финал, без ожидаемых роковых последствий. Она пообещала, однако, что все обойдется благополучно.

После того как был срочно вызван из Флорака доктор, предписавший переливание крови и интенсивное введение камфоры, роженица вышла из катастрофического состояния. Хотя вышеупомянутый доктор и появился, воздев руки к небу, и отбыл, пожав плечами, зловещая повитуха восстановила-таки свой престиж, прервав у новорожденного недоноска микстурой собственного изготовления неудержимый понос, очевидно ею самою и вызванный неумеренными дозами неразбавленного коровьего молока. Когда младенец был спасен, тетка, торжествующая и презрительная, на добрый месяц застряла в хижине.

Пытаясь завладеть этим очагом, хоть и бедным, но мирным, она всячески изощрялась, расшатывая его устои, систематически поносила все то немногое, что там делалось, да и сам способ, каким это делалось; в особенности стремилась она подорвать авторитет главы семьи, намекая, будто он напивается втихомолку, и предрекая в будущем нищету, болезни и разные неотвратимые бедствия; если сыновья до тех пор не помрут, то непременно бросят мать, оставив ее, обездоленную, обессиленную вдову, кончаться тут, на гнилой соломе (прорицательница и не подозревала, что ее предсказания сбудутся). Наконец она исчерпала все свои критические и пророческие способности, каждый предмет в доме уже был изруган, да и сам-то дом, по ее мнению, вряд ли годился даже в свинарники; Молчальник, разумеется, был обращен в прах еще прежде, чем стены. Ах! Почему же

ее племянница не вышла замуж за какого-нибудь порядочного чиновника, вместо того чтобы связываться с лесорубом, который до скончания дней так и останется лесорубом!

Она посоветовала добиться от него полной ликвидации Маё — если только сыщется безумец настолько безумный, что согласится что-то уплатить за этот фамильный склеп,— и либо уехать как можно дальше из этих мест, от этих зловещих гор, либо повеситься; не имея возможности прибавить мужа к списку ликвидируемого, она положила — быть ему жандармом, если только он для этого не чересчур стар (32 года) и достаточно расторопен; в крайнем случае пускай определится садовником в долине — это совсем близко, и жизнь там привольная. Она расписывала сказочное существование — вполне достижимое, если с умом взяться за дело: ведь можно получить, к примеру, наследство или сорвать большой куш в национальной лотерее; прихлебатели всегда таковы, не тем, так другим заговаривают зубы, лишь бы заставить забыть о своих промахах и оправдать даровую пищу.

Влив в ухо племяннице каплю за каплей эту отраву и тем исчерпав весь свой яд, тетка в одно прекрасное утро отправилась восвояси, намереваясь, понабравшись сил, разрушить мир еще какой-нибудь семьи.

К несчастью, ее злоязычные, ядовитые разглагольствования упали на благодатную почву. И к еще большему несчастью, в ее пророчествах оказалось немало правды. Забившись в глубину постели и слушая, как дождь стучит по ставням, ветер старается сорвать двери с петель, а из глубины леса доносится неумолчный скрип деревьев, несчастная женщина припоминала наставления, полученные напоследок от злобной тетки, и делала выводы. В мечтах она жила уже среди изобилия — на плодородной земле, среди роскошных фруктовых садов, вдосталь орошаемых незамутненными водами; она обрела в новом месте полное благополучие и многочисленных добрых соседей; но тут-то ей надо было вставать и снова впрягаться в ярмо. Приступы «тумана в голове» участились, однако на этот раз они стали чередоваться с необычным для нее оживлением: Молчальник, которого она, осмелев, однажды вечером посвятила в свои мечты (все продать и уехать), не проявил ожидаемого негодования; возможно, оттого он и стал Молчальником, что ему тоже осточертело таскать решетом воду — каждый год надрываться, заново воздвигая защитные стены, которые неизменно рушились от снежных бурь и ураганов, косить траву на лужайках, столь крутых, что приходилось привязываться к дереву веревкой, быть вьючным животным, питаться одними каштанами, и все это для того, чтобы двадцать лет спустя остаться у разбитого корыта. Как бы то ни было, он торжественно пообещал жене последовать ее совету и отдать все тому, кто больше даст. Этой ночью впервые за всю свою жизнь его жена увидела небо в алмазах.

Само собой разумеется, покупателя не нашлось: то ли Молчальник, одумавшись, не захотел выполнить свои обещания, то ли и впрямь люди не такие уж безумцы, какими кажутся,— ведь еще не пришло то время, когда за любую кучу камней, лишь бы находилась она на подлинной природе, стали платить астрономические суммы. И снова тучи сгустились; годы шли, подрастали дети, они крепли благодаря шашлыку из ворон и обязательной сельской работе, которую навалили на них за малейшую шалость.

Но надежда движет жизнью. Появился как-то раз посетитель: малокровный горожанин, любитель сельской природы, который бродил по окрестностям, желая обосноваться тут навсегда. Он жаждал уеди-

нения, покоя, аскетической жизни: Маё ему приглянулось, он готов был тут же раскошелиться; отправились к нотариусу во Флорак, где назначили срок купли-продажи на начало сентября. Дело происходило в июле 1939 года. Это лето выдалось особенно знойным. Во всех деревенских кафе, в кишевших мухами кухнях неслись из радиоприемников визгливые завывания какого-то странного зверя, из-за грозовой атмосферы прерываемые хрипами.

Десятого сентября Рейланы отправились во Флорак. На вокзальном перроне было необычно много народу: тесно обнявшиеся парочки, женщины в слезах, жандармы, как бы уже нацелившиеся на предполагаемых дезертиров, и дети, которые, казалось, никогда в жизни еще не были столь счастливы: пользуясь всеобщей сумятицей, они бросали в мобилизованных пригоршни репейника, который долго еще будет напоминать им о родных местах.

— Нотариуса отложим до конца войны, до тех пор, пока не дадим под зад Гитлеру,— сказал Молчальник, когда тронулся увозивший его поезд.

Понадобилась основательная встряска, чтобы Молчальник произнес столько слов подряд; но в противовес этому воинственному высказыванию выглядел он довольно плачевно — обвислая одежда, всклокоченные волосы, синеватая щетина на лице придавали ему тот необъяснимо нелепый вид беглого каторжника, какой приобретает большинство штатских, отправляемых под военным конвоем; такое впечатление, будто война уже окончена.

Абель, родившийся в 1922 году, не особенно-то испугался войны, ибо никто не сомневался, что она окончится не позже чем через полгода и непременно блестящей победой — весьма преждевременные надежды. Но после отъезда отца на войну ферма и все тяжкие сельскохозяйственные работы свалились на Абеля, и он очень скоро помрачнел и погрубел, как большинство подростков, на чьи плечи ложится непосильная ответственность.

Он стал уже почти взрослым мужчиной, когда в июне сорокового года вернулся домой Рейлан, влекомый потоком отступающих, пропыленных, голодных и обескураженных беженцев, волна которых докатилась до самых горных вершин,—будто там, на севере Франции, нечто непомерно тяжелое и страшное упало с неба в людское море; сам Рейлан был совершенно разбит этим беспорядочным бегством, но в его кошмарных переживаниях главную роль сыграли усталость, бессонница, изнурительные пешие переходы, раскаленные дороги и бомбардируемые поезда, а не те непостижимые для него события, которые он причислял скорее к неотвратимым природным катастрофам, когда только и остается, что втянуть голову в плечи и ждать, что произойдет, даже и не пытаясь противостоять им. У него был совершенно ошалелый вид — вид человека, который понятия не имеет, да и не в силах понять, что с ним случилось. Его засыпали вопросами, но получали один неизменный ответ, который он повторял даже с некоторым, чуть застенчивым восхищением:

— Ну и заваруха! Вот это — заваруха!

Он беспрестанно к этим словам возвращался, покачивая головой и выражая этим крайнее умственное напряжение, ибо они являлись для него пределом понимания пережитого, принявшего для него характер туманного наваждения. Помимо этого слабого проблеска сознания ум его был погружен в бездну тьмы и смятения — под стать тому неописуемому бедствию, которое обрушилось на Францию. Чувствовалось, что он несколько возмущен, но едва ли больше, чем если бы присутствовал при поражении своей любимой футбольной команды, не до конца отдавая себе отчет в том, что и сам он — жерт-

ва чудовищного краха, а всего лишь стыдясь той тьмы и смятения, в которые был погружен.

Огорчала его также пропажа старого ножа, который он взял с собой и постоянно таскал в кармане до тех пор, пока тот не сгинул, но «не для всех»,— говорил он, подмигивая.

О войне, как таковой, о судьбе Франции, о сокрушительном наступлении немецких армий, об их дьявольском вооружении, диковинный и зловещий вид которого, вкупе с поразительной эффективностью, неотступно преследовал воображение тех, кто имел сомнительную привилегию видеть его в действии (всех потрясали странные силуэты пикирующих бомбардировщиков, с их резко обрубленными крыльями и не убирающимся шасси — ну точь-в-точь как у грифа, уже выпустившего когти и бросающегося на свою добычу; не уступали им и броневики со скорострельными пушками, похожие на морды с хоботом),— обо всем этом Рейлан не имел не только точного представления, но, возможно, и вообще никакого; он попал в передрягу, как зевака, оказавшийся на улице в давке, не мог ни в чем разобраться, кроме того, что у него болят ноги или желудок (он не в состоянии был переварить «свиную тушенку»), что приходится ночевать под открытым небом, то в канаве, то в лесу — верх несчастья для сельского жителя, отнюдь не склонного к туризму.

Но достаточно ему было выспаться две-три ночи в своей постели — и он, казалось, уже обо всем позабыл; свежий и отдохнувший, он вновь как ни в чем не бывало отправлялся на заре к своим пашням и лесам, словно только вчера их покинул, и уж совсем не тревожился о последствиях развернувшихся событий — об этой «заварухе», которая как-никак могла изменить облик мира, уже не было больше и речи, разве что невзначай в разговоре упоминалась «эта история», сопровождаемая неодобрительным пожиманием плеч — признаком невысказанного негодования.

В течение нескольких дней район был охвачен необычайным, диким оживлением, всегда сопутствующим крупным бедствиям. Каждый прибывавший специальный поезд, каждая колонна перегруженных грузовиков или покалеченных легковых машин приносила в тишину плоскогорья замирающее эхо всеобщего бегства; скопление беженцев привлекало местное население к обочинам дорог, как некогда проезд велогонщиков; все это походило на ярмарочное представление, кульминацией которого служил конец мира — во всяком случае определенного мира.

На закате по всем пастушьим тропкам, которые вьются среди гор, спускались вниз целые семьи и располагались на склонах, расспрашивая о последних новостях, обсуждая положение, обмениваясь досужими домыслами; циркулировали самые фантастические слухи, пробуждая дремавшие суеверия, смешивая воедино сверхъестественное с действительным; взбудораженные всеобщим беспокойством, дети прыгали, словно блохи, и, резвясь, играли в войну, рыскали по кустарнику, без устали атакуя невидимого противника. Допоздна осыпались камни на тропах, и над руслами потоков, перекрывая шипение воды, в спокойном воздухе гулко раздавались людские голоса,— это местные жители возвращались домой, вдосталь насытившись новостями и уже не надеясь этой ночью услышать еще что-либо сногсшибательное.

Для Рейланов война пропела отходную всем их прекрасным мечтам. Предполагаемый покупатель, по-видимому одумавшись, не по-

давал признаков жизни, и волей-неволей дело отложили до лучших времен: прости-прощай и быки, и коровы, и свиньи — со всеми их выводками...

Парадоксально, но годы оккупации, при всей их мрачности, внесли в монотонность здешнего быта как бы магическую передышку, несколько изменив привычный ход вещей. В результате от этого смутного времени здесь сохранилось не слишком уж неприятное воспоминание: события так осложнились, что общее бедствие помимо воли людей, которые принимали его в простоте душевной совсем по-детски, заслонило для них все обычные личные горести и даже самую главную среди всех — неуверенность в завтрашнем дне, по сравнению с которой ничто все некогда столь страшные призраки неотвратимых дисциплинарных санкций: земля горела под ногами, школы и те позакрывались, привычные установления повисли в воздухе. А на миру, как говорится, и смерть красна: когда все в равной степени терпят бедствия, свои собственные переносить куда легче.

Стали даже поговаривать, что в этих безжизненных ландах, над которыми тяготело вековое оцепенение и где никогда не происходило ничего, что облегчало бы жизнь, назревает нечто таинственное, как если бы уже начались знамения, предвещающие второе пришествие. Воображение разыгралось: над пустынными вершинами, где лишь ветер разгуливает, произойдет кто его знает какое чудо, которое все перевернет вверх тормашками; опасение это, неясное и расплывчатое, имело весьма слабое отношение к тем реальным испытаниям и опасностям, которые переживала страна и которые угрожали всем без исключения. Это облегчало неизменные кабальные работы: не было никакой уверенности, что завтра ты сможешь повторить сегодняшнее, в свое личное будущее никто не осмеливался заглянуть, оно рисовалось в свете возможного апокалипсиса для всего населения скопом, глобально, что отчасти освобождало от личных забот: к чему тревожиться о самом себе, раз весь мир летит к чертям? Как думать о будущем, когда вся планета в огне и крови?

До самого освобождения жили под знаком такой неуверенности. Горный район был на положении крепости, стоящей вне поля боя, но в постоянном напряжении и взбудораженности. Как бы в компенсацию за превратности судьбы эта отсталая провинция, крышей накрывающая Францию и вовсе не идущая в счет, когда страна процветает, теперь менее пострадала от войны, чем богатые, преуспевающие районы. Замкнутость, бедность, малая стратегическая эффективность хоть и не избавили район от насилия оккупантов, считавших, что эта пустыня с высоко вскарабкавшимися лесами — оплот террористической деятельности, но все-таки помогли ей сохранить свою неприкосновенность; горцы привыкли жить на подножном корму, то есть довольствуясь малым, и нынешние лишения их не касались, так же как не распространялось на них былое изобилие. В этом преимущество худосочного перед тучным, безденежного перед богатым и умеренного, который лучше сопротивляется болезням, сопутствующим достатку, перед невоздержанным, которого они сражают. Достаточно было всеобщего и повсеместного обнищания для того, чтобы то малое, чем здесь обладали, сделалось необычайно ценным.

С тех пор как немцы захватили южную зону, горный район из-за своих отвесных скал и лесистых вершин превратился в укрепленный лагерь, который наводнили подпольщики, сновавшие по ночам туда-сюда. Между семьями издавна велся здесь мелкий товарообмен — материалы или продукты питания за выполненную работу,— что уравновешивало общую экономику и сближало местных отшельни-

ков. От ферм к поселкам, от хуторов к овчарням товары переносились в заплечных мешках, а новости из уст в уста, как во времена драгонад [1] или великих нашествий.

Длинными зимними вечерами, когда снег заваливал все подступы к плоскогорью, люди часто сходились то в одном, то в другом доме, чтобы совместно решить насущные проблемы, уладить дела первостепенной важности и обсудить, усевшись у очага, общее положение в стране. Эти маленькие сборища, напоминавшие те, на какие стекались их предки во времена религиозных войн, происходили чаще всего у некоего Мариуса Деспека в Мазель-де-Мор, где был как бы нервный узел, от которого разбегались лучами тропы к самым уединенным фермам. Когда на пустынной возвышенности неистово бушевала буря, сотрясая окна и двери, люди жались к огню, попивали «Клинтон» — местное вино, терпкое и черное, как чернила, лакомились печеными каштанами, перекидывались в картишки и слушали рассказы прадеда о временах религиозных войн. Парни надраивали старые дробовики, отысканные на чердаках: они уже воображали себя участниками предстоящих засад. А ребятишки, спрятавшись за печку, затаив дыхание и вытаращив глаза, наблюдали за всем происходящим. Старики безостановочно кивали головой, и невозможно было определить, знак ли это согласия или же просто проявление дряхлости.

В один из мартовских вечеров 1943 года, когда зима пошла уже на убыль и сквозь слежавшийся в расщелинах снег стали просвечивать прошлогодние желтые листья, дверь внезапно распахнулась и в комнату ворвался старик, пастух из Сен-Жюльена, весь в поту и едва переводя дух.

— Боши! — выпалил он.— Они тут! Совсем близко!

Он чуть не задохся, его усадили, дали вина. Наконец он смог объяснить, что днем послышалось как бы жужжанье гигантского слепня, потом задрожали стекла в оконных рамах, и все кинулись смотреть, что происходит: до самого моста Сен-Жюльен, через перевал Жалькрест, по дороге на Кассанья, идущей через равнину, той самой, по которой некогда прошли эти варвары, королевские клевреты,— вечно сулила она неприятности! — появилась зеленая гусеница, растянувшаяся на несколько поворотов дороги, наполняя всю долину чудовищным шумом и скрипом расплющиваемого металла: в сопровождении нескольких самоходок (они-то и производили весь этот скрежет) ехала колонна грузовиков, набитых солдатами. За каким лешим пожаловали к нам эти басурмане?

Ну конечно, они дожидались, пока растает снег, чтобы прочесать весь район, прочистить какие попадутся по дороге поселки, испепелить с полдюжины овчарен, про которые шел слух, будто в них укрываются участники Сопротивления, а заодно manu militari [2] загребастать и строптивцев, годных для отправки на работы в Германию, но вместо этого пополняющих здесь ряды партизан в маки́. Парни, начищавшие ружья,— сорокового, сорок первого и сорок второго призывных годов — сейчас же ушли в леса: все тропинки, все тайники, все норы знали они назубок. Этим смельчакам, привыкшим во время рубки леса проводить большую часть года в лесных хижинах, новая жизнь не сулила коренных перемен; они собирались группами на самых высоких кручах или в глубине наиболее недоступных ущелий, и,

[1] Преследования драгунами гугенотов в 1708 г. при Людовике XIV.
[2] Военной рукой *(лат.)*.

если бы два-три раза не затесались между ними предатели, донесшие об их передвижениях и местах сбора, у них бы остались самые лучшие воспоминания об этой авантюре, которая все же кончилась для некоторых веревкой на шее или газовой камерой.

Когда послышались приказания и парни начали собирать мешки, Абель сделал вид, что ничего не слышит, не видит: он тоже хотел уйти в маки́, но лишь в одиночку; присоединиться к другим, подчиняться правилам группы — это не для него. Он был одиночкой и жаждал таковым оставаться даже в маки́.

Начальники групп пожимали плечами: да пусть его катится куда душе угодно! С тех пор как он побывал в молодежном лагере, все отлично знали, с кем имеют дело: он — медведь, да и по-французски-то едва говорит. В барачном лагере Виллемань, где Абель Рейлан против воли вынужден был провести несколько месяцев, никому не было охоты связываться с этаким дикарем, который соображал туговато, зато силен был, как турок, скорее даже, как два турка,— с ним шутки плохи! В нем угадывалось подспудное рвение, вот его сразу и стали назначать на самые тяжкие работы под открытым небом: расчищать снег, валить деревья для перекрытий шахт, выкорчевывать пни, рыть никому не нужные траншеи, исключительно для того, чтобы ему было куда приложить свою силищу, ведь это для него — насущная потребность. Он всегда был один, в своем уголке; ни с кем ни слова; он не смешивался с другими, оставался в лагере, когда все уходили шататься по окрестным бистро, посвящал свой досуг таинственному шитью или починке обуви; даже здесь, в этом многолюдном лагере, все повадки его оставались незыблемыми — он был горцем, которого долина не интересует и не притягивает; даже и ел он не так, как все прочие, садился в сторонке на пень и застывал в неподвижности, подобно тем пастухам, что делят свой хлеб и свое одиночество с собакой; вставал он первым и ложился тоже первым — завертывался в одеяло не раздеваясь, будто спал под открытым небом, и утыкался лицом в стену, не обращая никакого внимания на веселье окружавших его парней, не обращая внимания и на шутки по его адресу; чувствовалось, что, живя сам по себе, он защищен от окружающего какой-то животной, непроницаемой, примитивной силой, которая, казалось, брала свое начало из самых истоков жизни.

Итак, в одиночестве и по собственному почину ушел он в маки́, больше года прожил почти в полном уединении на вершине, затерявшейся в горах между Тардоннаншем и Балазенем.

Он нашел древнее строение, нечто вроде каменного ковчега, приткнувшегося на гребне хребта, на запад и на восток от которого — к горам Обрака — простиралась мергелевая зыбь. Убежище было надежное, так как с обдутого ветром и утоптанного овцами глинобитного порога этой овчарни просматривались все окрестности, дочиста обглоданные стадами, которые иногда сюда забредали; в случае тревоги он всегда мог скрыться через находившуюся невдалеке под уступом сквозную пещеру, второй выход которой выводил в подлесок, расположенный метров на двадцать ниже.

Мешок каштанов и вода из цистерны — вот и все его пропитание; спал он на соломе и был, казалось, совершенно бесчувствен к ненастью, к чудовищной жаре, раскалявшей эту пустыню в течение двух непереносимых летних месяцев, к туманам, к безостановочным осенним ливням, к сменявшим их холодам, к ледяным ночам и ветру, неистовствовавшему в этой высокогорной степи и сотрясавшему стены, сложенные из сухого камня, без всякого скрепляющего раствора; не

пугало его и дикое одиночество, в котором он пребывал, а ведь самые закаленные из закаленных не перенесли бы такого жестокого существования; он же, наоборот, так хорошо к нему приспособился, что появлялся в Маё только в случае самой последней крайности, когда уж совсем было нечего жрать,— косматый, бородатый, воняющий овечьей мочой, прелым сеном, дичиной, грязный до ужаса, похожий на волка, которого голод выгнал из логова.

Во время самых тяжелых сезонных работ он все-таки приходил на помощь своим — ускорить жатву, проредить лес; являлся на заре, не рискуя быть застигнутым: на этой высоте, на горных карнизах, нависших над лесами, положение было идеальным для обзора горного амфитеатра, входов в него, а также и соседних ущелий. Но к вечеру Абель брел в свое убежище — точно обломок кораблекрушения, ставший на якорь в молочной белизне тумана, вырисовывалось оно издали в свете луны. Абель с каждым днем все больше хмелел от своего полнейшего одиночества и тишины, он так привык к ним, что куда ближе людей стали ему звери; по утрам он разбирал, как письмена, их следы, деликатно выписанные на инее вокруг овчарни.

В конце концов этот Робинзон необозримых пространств несколько благоустроил свое жилище, видимо, подвигнутый на это как бы застывшей на определенном этапе нескончаемой войной, его бездомная жизнь среди необъятности гор, под изменчивыми небесами стала казаться ему установившейся раз и навсегда.

Он восстановил архаический дымоход, прорубленный в толще стены возле очага, свод которого наполовину рухнул; а починив его, он смог выпекать себе ржаные лепешки, при случае начиняя их дроздами, заманенными в ловушки, которые он мастерил из плоских камней и веток и расставлял по всем окрестным зарослям можжевельника и самшита. Потом прочистил цистерну и законопатил трещины, через которые утекала вода; заменил разбитую черепицу на крыше, сквозь которую местами светилось небо; соорудил из кругляшей зеленого бука, притащенных с лесосеки, стол, табуретки, козлы, которые переплел веревками и бросил на них одеяло, набитое сеном; и даже — предел роскоши! — подмел веткой можжевельника черный земляной пол, от которого при каждом шаге вздымался неистребимый запах овечьего помета. Затем он поставил на чистый очаг потрескавшийся котелок, и с тех пор день и ночь его уютное ворчание водворяло дух домовитости в эти развалины, где недавно еще разгуливали лишь сквозняки.

Но вот как-то утром, в середине августа 44 года, занимаясь починкой ограды вокруг ровного, как гумно, загона для овец, откуда открывался обзор всего плоскогорья, Абель вдруг увидел двух людей, размахивая руками, они направлялись к нему; он узнал своего отца — Молчальника и Мариуса Деспека; Молчальник явно уступал Деспеку первенство, смущенно прячась за его спину,— видно, вынудила его на этот приход крайняя необходимость. И какая необходимость! Потребовался весь пыл Деспека, чтобы таскаться еще до рассвета от фермы к ферме — ведь там не было ни радио, ни электричества — и возвещать: «Союзники высадились в Провансе». Вот он, удар Гитлеру в спину! Прямо-таки смертельный удар... Третий рейх треснул сразу по всем швам... Это паршивое войско бежит, словно крысы, ослепленные солнцем. Во всяком случае, скоро все встанет на свое место; а у нас здесь, наверное, уже и сейчас нечего больше опасаться.

Несмотря на свой маленький рост, Деспек ухватил Абеля за плечи и, встряхивая его, скандировал каждое слово:

— Нечего больше опасаться, понимаешь, парень, это я тебе говорю — опасаться больше нечего! Пойми, у них сейчас других забот полон рот, им не до того, чтобы сюда шляться... Да их тут постреляют, как кроликов! Вы еще полюбуетесь, как они будут драпать... А твой-то отец, в своей дыре, понятия ни о чем не имел! Идем, парень, можешь распрощаться со своей конурой. Покончено с берложьей житухой!

Рейлан-отец, держась позади, кивал головой, неспособный, само собой разумеется, произнести ни словечка вдобавок к тому, что говорил его друг. Деспек оглядывал едва залатанную лачугу, окно в полусгнившей раме, вросшее в землю, связки хвороста, наваленные до самого потолка по обе стороны двери, а их ведь надо было сюда притащить на спине черт знает откуда, глядел на слабую струйку дыма из трещин дымохода и как бы про себя цедил сквозь зубы: «Кончено, довольно жить в берлоге...»

Абель, не выпуская из рук камня, который он собирался приладить к ограде, тупо уставился на Деспека. Вдруг мускулы на его шее напряглись, и он заорал:

— А мне наплевать!

И не оборачиваясь больше к потрясенным пришельцам, он с неистовством продолжал прерванную их приходом работу.

V

С окончанием войны, когда освобождение позволило беженцам 1940 года вернуться к себе, а участники Сопротивления тоже смогли начать обычную жизнь, горный район приобрел свой исконный вид: заброшенная земля, покинутые леса и ланды, которые вскоре станут на географических картах всего лишь тусклым пятном безлюдья.

Между Сен-Жюльеном и Маё, в одном из ущелий, затерянном в горах, где все же веками теплилась жизнь, к началу осени 1947 года опустели три последние фермы; ставни закрыты, все очаги погашены. Жена Молчальника забрела туда случайно; она целыми днями рыскала под каштановыми деревьями, отыскивая среди папоротников грибы и вывалившиеся из лопнувшей скорлупы каштаны. День выдался теплый, безветренный — такие случаются в конце лета,— и строения, замыкавшие двор, на котором уныло ржавела искореженная борона, проулки, уже заросшие высокой сентябрьской травой, вызвали в памяти женщины крохотный садик ее родного рабочего поселка, который осенью весь был засыпан инжиром, гниющим в таких же вот высоченных травах,— верный знак конца каникул и начала старости. Ей почудилось, что во мгновение ока пролетело полвека, а она только и делает, что тешится химерами да предается ничтожным занятиям. Пока она надрывалась у своего семейного очага, другие жизни повсюду создавались или исчезали, иные судьбы шли по предначертанному им пути. Еще совсем недавно она видела детей, игравших в этом дворе; сейчас, возможно, они уже стали мужчинами и женщинами, в свою очередь произвели на свет детей, резвящихся где-то далеко отсюда. Она до такой степени закабалила себя мелкими обязанностями, привычками, которые нужда и одиночество обратили в настоящие мании, что уже и представить себе не может иной жизни, чем здешняя; когда порывистые шаловливые ветры гнали по небу пришедшие издалека облака и, пригибая к земле травы, сверкающие по склонам, словно бы приглашали к передвижению, она испытывала всего лишь меланхолическую опустошенность, осознавая свое существование как нечто безнадежно бесцельное и не представ-

ляя себе, что по ту сторону этих мохнатых гор хоть что-нибудь существует. С некоторых пор присутствие посторонних стало ее стеснять, а мысль о возможном свидании с родными из шахтерского поселка (они не подавали никаких признаков жизни) была ей попросту неприятна. Точно коза на короткой привязи, она топталась на месте, и это настолько угнетало ее, что она старалась спускаться в Сен-Жюльен елико возможно реже, предпочитая попросить какую-нибудь соседку или поденщика выполнить необходимое поручение — купить то малое, в чем она нуждалась; она даже перестала посещать приходские собрания, которые регулярно вел пастор из Флорака. Целиком поглощенная мелкими заботами, она настолько сузила свой кругозор, что в конце концов позабыла, что в жизни возможны жестокие неожиданности, врывающиеся внезапно и в мгновение ока уничтожающие даже такие существования, в которых, казалось бы, ничего не случается да и не может случиться.

В тот вечер в душе ее поселилась смерть, и когда, вернувшись домой, она принялась выполнять свои ежевечерние обязанности, в чередовании которых потихоньку распылилась вся ее жизнь, к горлу ее то и дело подкатывал комок. Наступила ночь; как только поспел суп и был накрыт стол, она пододвинула стул к оконцу с черными глянцевитыми стеклами и, поставив на подоконник лампу, взяла в руки вязанье и вязала до тех пор, пока лай собаки не возвестил возвращения трех мужчин. Тогда, сунув работу в ящик, она подбросила щепок в затухавший очаг, достала из шкафа черствый, недельной давности хлеб и искоса бросила взгляд на пришедших, которые принесли с собой пропитавший их одежду терпкий запах жженого бука.

VI

Выздоровление Жозефа Рейлана затягивалось: после несчастного случая у него начались различные осложнения, которым он никак не сопротивлялся. Больная нога позволила ему провести всю зиму в постели, словно петушку на насесте; он преспокойно дремал, погружаясь в облака тумана, к которым влекло его двойное предрасположение — материнская наследственность и его астрологический знак: и мать, и он родились под знаком Водолея, по преимуществу знаком лунатиков, пребывающих в непрерывных сожалениях о блаженстве внутриутробной жизни.

В тот вечер, когда стряслось несчастье, Абель на спине приволок его, полубесчувственного, окровавленного: пострадали надбровные кости, был вышиблен зуб (он заметил это лишь через три четыре дня, найдя кусочек зуба на дне тарелки), верхняя губа разорвана, шрам этот остался навсегда и обезобразил его, придав рту брезгливое выражение: даже в минуты радости у него был такой вид, словно его тошнит.

Когда его принесли, он не мог унять дрожь и бормотал что-то бессвязное; мать, увидев сына в таком состоянии, заломила в отчаянии руки, закричала, забилась головой об очаг.

— Ох, это все мост! Все он! Я так и знала, что дело кончится бедой! Проклятие на этом доме! — Она бросилась к шкафу и принялась лихорадочно шарить в нем.

Одна из главных черт подобных характеров, склонных к мистике,— опьяняться плохими предчувствиями, инстинктивно применяя их как своеобразную гомеопатию [1]. Она произнесла последние слова,

[1] Гомеопатия основана на лечении подобного подобным, то есть не противоядиями, а ядом.

понизив голос и придав ему торжественное звучание; в нем была затаенная, невысказанная злоба и подспудная угроза: вот, мол, капля, переполнившая чашу ее терпения. Мужчины, тяжело дыша, соскребали о край очага снег, налипший на подошвы; они хранили полное молчание, как бы осознавая свою вину. Наконец, шумно перерыв весь шкаф, она выудила из него бутылку с каким-то болеутоляющим средством и поставила на огонь чугунок с водой; она носилась по комнате, проделывая все привычные движения с механической быстротой автомата.

Тем временем Рейлан, с приличествующей обстоятельствам серьезностью, осмотрел раненого и принялся за какие-то таинственные манипуляции над его поврежденной ногой, вызвавшие у парня стоны, а у его мучителя уверенность, что завтра утром этот «неженка» будет уже на ногах.

Однако назавтра «неженка», которому поставили на ночь всего лишь компрессы из соленой воды, бредил и весь горел в жару, нога же у него была совершенно парализована, а колено распухло вдвое, посинело, казалось налакированным и как будто налилось гноем. Мужчины озадаченно стояли в изножье постели, а мать сидела у изголовья и прикладывала к голове больного компрессы из болеутоляющей воды. Стоило матери закрыть глаза, как с полной отчетливостью возникало ужасающее видение — «Жозеф-Самюэль Рейлан, 1931 — 1948». Пастор из Флорака, голос которого плохо различим на ветру. Тишину прорезают рыдания, глухие удары земли и так далее... Она тотчас же открывала глаза и принималась трясти сына, дабы убедиться, что он еще дышит.

Он дышал, как дышат при сорокаградусной температуре, сотрясении мозга и начинающемся заражении крови. А на улице с пяти часов утра творилось нечто несусветное, и было много шансов — если можно так выразиться,— что сбудутся все драматические предвидения его матери, единственной, кто, вопреки всему, был в этой семье способен к прозрениям; такой снежной бури не видывали лет сто.

Абель попытался пересечь двор, чтобы принести дров; вернулся он ползком, оглушенный наскоками неистового урагана, который, казалось, вот-вот подхватит его и унесет, точно простыню. А Жозеф попал в руци божии; над ним принялись читать строфы из Библии — значит, он на верном пути.

VII

Ледяная, неистово жестокая буря свирепствовала в горном районе три дня; три дня, о которых будут долго помнить. Да и действительно, даже землетрясение не наделало бы бо́льших бед. Можно было предположить, что ураган начисто все разрушит или унесет: вывороченные с корнем деревья, снесенные крыши уже не шли в счет; словно бы от руки гиганта рушились расщепленные до корня столетние каштаны — в их необычной хрупкости было нечто безумное, наводящее ужас; взлохмаченный ельник полег на землю, точно прибитые ураганом ржаные колосья; все навесы над загонами, крытыми шифером, продырявлены; обезумевшие от воя ветра животные сбились в кучу по углам; во всех крышах зияющие дыры, с них так и сыплется, точно легкие перышки, шифер; лед и снег столь буйно налетали на стены, что земля дрожала, с дымоходов слетали колпаки; еще зеленые вязанки букового хвороста прыгали и катались по дровяному сараю с таким же проворством, как перекати-поле: казалось,

все утратило вес и силу притяжения из-за ветра, достигавшего, по официальным данным, двухсот километров в час.

О том, чтобы высунуть нос наружу, и речи быть не могло,— даже окно или дверь нельзя приоткрыть без риска, что их тут же сорвет с петель. Ничто не могло устоять против этого вихря, стремительного, как мощный поток; он все сжигал на своем пути, все делал ломким, точно хрусталь; вечнозеленые листья туи, альпийской сосны и дуба, можжевельника, буксуса, кедра, лиственницы — все виды средиземноморских деревьев звенели убором из ледяных сосулек, похожим на подвески венецианских люстр; приходилось баррикадироваться, затыкать газетной бумагой замочные скважины, малейшие щелочки, внезапно обнаруженные между плитками пола там, где их прежде и не замечали, а теперь вдруг по ним потянулся, словно белая пыль, снежный след; этот всепроникающий снег стлался понизу и просачивался повсюду, как песок. Даже вечером никто не отваживался уйти в свою спальню: спальни в горах и в обычную-то погоду — холодны, как склепы, а теперь и подавно они обратились в сущие ледники. День и ночь все жались к беспомощному огню; пламя, к которому тянулись руки, казалось чисто декоративным. Жидкость, даже кипящая, успевала остыть, пока ее подносили ко рту; бутылки с вином полопались; вино разрубали топором, а хлеб отпиливали пилой. Запасы топлива кончились, но, подобно тем погибающим кораблям, где жгут свою собственную обшивку, здесь предпочитали расколоть два-три стула и разломать старинный комод, чем рискнуть на вылазку в дровяной сарай,— ему слали проклятья за то, что он так далеко, совсем занесен снегом и совершенно недосягаем; ветер столь устрашающе завывал, расшатывая все деревянные крепления, сбрасывая черепицы с крыш, обрушивая в трубу очага целые обвалы штукатурки и сажи, с такой чудовищной силой бил в стены, что только и оставалось, втянув голову в плечи, ждать еще худшего; однако как раз наихудшим и было бы высунуться наружу. Уж лучше пожертвовать мебелью, чем собственной жизнью.

Непродолжительные затишья, во время которых, казалось бы, можно и попытаться дойти до этого проклятого дровяного сарая и даже до стойл (обычно они расположены довольно далеко от жилья, и овцы небось уже взгромоздились друг на друга),— эти кратковременные затишья не успокаивали, а казалось, наоборот, предвещали еще более свирепую и уничтожающую атаку. Когда порывы ветра совсем ослабевали, это никак не означало окончательного затишья; казалось, это были перебои, провалы в урагане, во время которых он как бы черпал новые силы, заряжаясь ими на фоне отдаленного грохота, который делал затишье еще более устрашающим. В такие мгновения всегда можно было расслышать, как где-то что-то рушится; эти шальные ядра катаклизма были одновременно и смешны и трагичны — падал какой-то мелкий предмет, и все вздрагивали, предвидя новый гибельный натиск. Все оставались там, где были застигнуты, забивались под одеяла в общую кучу с детьми и собаками, не сводя глаз с потолочных балок, прикидывали, когда разразится финальная катастрофа.

Возбужденные этой драматической ситуацией, старики, потрясая Библией, принимались внушать окружающим, что все в ней предуказано и происходящее — это еще цветочки по сравнению с тем, что предстоит впереди; похлопывая ладонью по Библии, старики вещали: все тут написано черным по белому, столь же ясно, как ясна вода в горном ручье. Конец шуточкам: чему быть, того не миновать. Они предвещали устрашающие бедствия: огненные тучи, потоки лавы, перемещение гор, целые континенты, поглощаемые океаном, а в кон-

це — опять же согласно Писанию — благолепие, апофеоз комет, небесный фейерверк, который положит предел времени. Те, кто, на свое несчастье, переживут эти неописуемые катаклизмы, будут мгновенно испепелены. Случилось так, что некоторые предвосхитили эту соблазнительную перспективу и отправились тут же к праотцам, как бы стремясь подтвердить пророчества: в Мазель-де-Мор бедную Алису Деспек нашли уже похолодевшей посреди коз, которые сжевали ее юбки,— и так как хоронить в такую непогоду было немыслимо, пришлось поместить ее на чердак. Впрочем, почти всюду на юге Франции от этого полярного холода старики мерли как мухи — в особенности на равнинах, где жители не привыкли переносить такие морозы. (В районе Монпелье, Нима, Камарга, обратившихся в степи Средней Азии, регистрировали мороз ниже двадцати градусов; он сжег на корню оливы, хотя эти деревья необычайно устойчивы.)

Наступил, так сказать, день третий, и, хотя буря вроде бы поутихла, жители ферм, рассеянных по горам, с изумлением обнаружили, что заря не занимается как ей положено. Несмотря на поздний час, никаких признаков света в щелях ставен; темно, словно в печке: наверное, и впрямь конец света. Однако, когда попытались разжечь огонь в очагах, тотчас заметили, что тяга отсутствует,— дома были завалены до коньков кровель гигантскими ледяными сугробами, и понадобилось долго откапываться, чтобы приоткрыть хоть какое-нибудь отверстие.

Первые, кто пробился наружу, увидели, что толщина некоторых сугробов достигает двенадцати метров, особенно у выступов с северной стороны построек. Такого не случалось многие десятки лет; спотыкались об изоляторы электрических столбов, ходили по крышам, сами того не замечая. Если глядеть с возвышенности, поселки и группы ферм походили на деревушки, покинутые в пустыне и засыпанные песком по самые кровли. Малейшие препятствия, встретившиеся на пути снежного урагана, куда ни глянь, приняли самые фантастические формы, нагромождения льда и снега превосходили любое изощренное воображение и опрокидывали закон земного тяготения: они тянулись параллельно земле, следуя за ураганом, еще задержавшимся в выемках этих горных карнизов, среди бесчисленных сталактитов, которые обнаруживаешь, нагнув голову под прямым углом, среди кружевных узоров льда, хрупких его султанов, обтекавших края крыш, углы стен, закованные в лед до кончиков веток деревья, устоявшие телеграфные столбы, провода, не порвавшиеся под тяжестью своих ледяных футляров, а также и одинокие скалы, увенчанные снежными гребнями, как диплодоки. Все вместе взятое, заостренное, изъязвленное ветром, вытянутое в одном определенном направлении, производило странное впечатление внезапно оцепеневшего вихря.

Сколько хватало взгляда, на все стороны света, до самых отдаленных южных склонов, которые зима обычно минует, все было покрыто снегом, выровнено — долины и те были засыпаны доверху; под этой снежной пеной опустошенная страна стала совсем неузнаваема, чуть ли не все ориентиры оказались стертыми: даже черные морены еловых лесов исчезли, скрытые под белым мягким покровом. В этой ледяной пустыне, где разгуливал колючий ветер, невозможно было представить себе, что когда-нибудь настанет лето, и невообразимым казалось, что в ста километрах птичьего полета находится Средиземное море; людям казалось, что они на краю света, на необитаемых землях, в одном из тех унылых уголков, где произрастают лишайники и круглый год царят льды и ветры.

У самого горизонта сквозь мертвенную бледность небес пробивалось мрачное и безжизненное, лишь слегка посеребренное пятнышко — это и было все, что осталось от солнца, как если бы за истекшие чудовищные трое суток земля от него отдалилась.

Едкий ветер язвил лицо, ранил щеки, пронизывал до мозга костей; при двадцати пяти градусах ниже нуля не согревало даже усиленное разгребание снега; самая прочная, хорошо утепленная одежда стала весьма относительным прикрытием; добравшись до овчарен, обнаружили, что большинство из них, простоявших двести и триста лет, разрушены во всей округе; убрали мертвых животных, накормили уцелевших и поспешили к раскаленным очагам — теперь наконец-то стали доступными вязанки хвороста, отрытые из-под снега; ветки отчаянно трещали, рассыпая вокруг множество искр. После трех дней лишений, которые показались столетиями, люди испытывали необычайное блаженство, вновь услышав собачье ворчанье, мурлыканье кошек, кипение котелков и потрескивание стенных обшивок, оттаивавших от щедрот тепла, распространяемого ярким огнем.

На каждой ферме, во всех дворах начали расчищать у дверей снег, прорывать к стойлам траншеи; когда туда проникали, тотчас погружались в атмосферу аммиака, столь удушающую, что в первое мгновение казалось, весь скот погиб. Звонкий стук усердно работающих лопат прокатывался по проулкам; лишь время от времени его заглушали обвалы с горных уступов, поднимавшие целые тучи сухой снежной пыли. Кошки выходили на порог, с изяществом китайцев подозрительно вытягивали наружу лапку, принюхивались к загадочным испарениям и, ничего не уловив, явно разочарованные своей неспособностью уяснить суть происходящего, тут же возвращались, чтобы свернуться клубочком возле печи. Несколько голубей отважились покопаться в смешанном с соломой снегу перед скотным двором; они покружились на отяжелевших крыльях и, обескураженные увиденным, тут же вернулись обратно.

Во все последующие дни и даже недели небо сохраняло свою прозрачность, а из-за низкой температуры почва так хрустела под ногами, как если бы ходили по битому стеклу; по-прежнему все жались у очагов, а спальни все еще невозможно было прогреть: стоило приоткрыть дверь, как скопившийся там холодный воздух точно ледяной водой охлестывал ноги. Ледяную сырость, насквозь пропитавшую стены, прогонит теперь лишь весна, когда через настежь распахнутые окна ворвется в эти пещеры нагретый солнцем воздух.

После трех дней каторжных усилий Рейланам удалось наконец расчистить тропу в сторону Сен-Жюльена, во всяком случае, в тех местах, где снежные обвалы сделали ее совершенно непроходимой. Больной метался в мокрых от пота простынях, дышал все тяжелее и никого не узнавал. Мужчины отправились во Флорак за доктором.

Доктор тотчас явился, обутый в непромокаемые сапоги для ловли форели, раскрасневшийся и вспотевший, невзирая на лютую стужу; он швырнул на кровать свою неизменную черную сумку и, так же как и некогда, воздел руки к небесам. Начал он с брани по адресу всех присутствующих:

— Кто же это довел парня до такого состояния?

Он снял перчатки, склонился над пострадавшим и, не сводя глаз с его распухшего лица, сосредоточенно нахмурился.

— Подумать только,— проворчал доктор сквозь зубы,— лейкопластырь налеплен на открытые раны! — Заметив Библию, лежавшую

на столике у изголовья кровати, он покачал головой: — Черт побери, не должно ли все наладиться и без моей помощи, раз сам Иегова занялся этим! — Потом резко повернулся ко всему семейству и, в предельном возмущении подняв брови, надув щеки, рявкнул: — Не могли вы, что ли, прийти за мной раньше?

Какое-то время он молча наблюдал за ними, как бы пытаясь понять, о чем они думали с тех пор, как случилось несчастье.

— Ну, конечно, мне скажут, что выпало чересчур много снега.

Он спрашивал и сам отвечал на свои вопросы, обращаясь к Рейланам в третьем лице, как будто говорил с детьми или даже с безумцами,— слишком он был разгневан, чтобы прямо адресоваться к ним.

Доктор держал больного одной рукой за запястье, считая пульс, и у него создалось впечатление странное, почти тягостное, будто он прикасается к самой жизни, попавшей в тиски и борющейся за свое освобождение, словно обезумевшее животное, не сознающее, во имя чего и зачем оно борется; пальцами другой руки он приподнял веко больного и обнаружил невидящий взгляд.

— Чересчур много снега! А этот на пути к праотцам. Хоть бы позвонили мне в тот же вечер.

Время от времени было слышно, как в соседнем стойле постукивает копытцем коза, совсем как человек, когда он хочет согреться. Мать, сухая, черная, закутанная в платок, стояла в изножье кровати, пристально глядя на сына и всем своим видом олицетворяя вековое женское мученичество. Бог знает какой немыслимый торг происходил сейчас в ее мозгу.

Доктор снял толстую куртку, пошарил в сумке, откинул простыни и одеяла с той небрежностью к своей жертве, которая является профессиональной привычкой, но успокаивающе действует на окружающих; непереносимо едкий запах мочи и пота распространился по комнате. Доктор осмотрел колено и весь сморщился.

— Давно пора,— бормотал он,— ну и грязища! — Дальше он произнес устрашающие слова: мениск, полость сустава, разрыв бедренных сухожилий и т. д. Потом опять сквозь зубы:

— К счастью, существует одна чудесная штуковина; надо вогнать ему в задницу миллион единиц.

Прокипятив шприц, он схватил пузырек, наполненный белым порошком, разбавил порошок жидкостью из ампулы, все это вобрал в шприц и вспрыснул парню в ягодицу. Тот никак не реагировал, когда он вонзил иглу.

— Это — нечто вроде ядовитых грибков,— сказал доктор, показывая на пустой пузырек,— без них парню бы крышка! Подумать только: не будь войны, не появилась бы возможность спасти мальчишку. Эдакое с трудом укладывается в голове!

Казалось, доктор сердился на кого-то или даже уже с чем-то смирился.

Затем он промыл раны, продезинфицировал их, наложил швы, забинтовал чистыми бинтами; а больной по-прежнему ни на что не реагировал. Наконец доктор, словно не замечая мужчин, обратился к матери:

— Он выкарабкается, но еще не скоро пробежит стометровку. Когда он сможет ходить, непременно приведите его ко мне в кабинет.

Она хранила молчание.

— Понимаю, все ясно,— сказал поднимаясь доктор.— Не смотрите на меня с таким видом: пенициллин не стоил мне ни сантима, и с вас я тоже ничего не возьму. Что до остального...— И он изящно взмахнул рукой, словно отгоняя невидимых мух.

Тотчас все трое Рейланов оживились и засуетились вокруг доктора, пока он собирал инструменты в сумку.

— Завтра приду пораньше, сделаю второй укол. Ведь мало того, что живете вы у черта на куличках, так и укола сами сделать не в состоянии. А что, если вас однажды ужалит гадюка? — Он смотрел на них, покачивая головой, прищурив глаза, не в силах понять, что же они из себя представляют и о чем думают.

Они стояли на пороге и смотрели ему вслед, наблюдая, как он идет по затвердевшему, хрусткому насту в сгущающихся, голубоватых морозных сумерках,— смотрели до тех пор, пока он не скрылся из виду, словно им было совестно затворить дверь, не сумев выразить ему сполна своей признательности.

«Животные,— размышлял доктор,— сходство иногда потрясает, да, мы — животные».

Через день, после третьего укола, воспаление начало спадать, температура резко снизилась. Доктор потребовал, чтобы кровать больного из-за холода перенесли на кухню; увидев его, Жозеф, еще бледный и истощенный, приподнялся на локтях и торжественно показал на ладони кусок зуба; голос у него был глухой, как у всех выздоравливающих.

— Пари держу, ты гордишься собой,— сказал доктор, исследуя его колено, на котором почти совсем опала опухоль, сменившись огромным фиолетовым синяком с желтыми ободками. Затем он распрямился и сказал матери, единственной из семьи, кто находился дома: — Ну, вот. Он уже выкарабкался, но, разумеется, и речи быть не может о том, чтобы вставать с постели; да и погода такая, что он ничего не потеряет.

Доктор присел к столу и, отодвинув стакан и бутылку белого вина, которым мать собиралась его потчевать, быстро нацарапал свои предписания, потом вынул из сумки большую красную коробку и протянул ее женщине.

— Этим вы его поддержите: содержимое ампулы разведите в сладкой воде и давайте ему перед каждой из трех основных трапез. Но ему необходимо также хотя бы немного мяса.

Он решительно посмотрел на плиту, где варились каштаны в молоке. Обвел взглядом всю комнату: чистота в ней царила безукоризненная, как бы силой вырванная у нищеты, и мебель была натерта воском — видно, в отместку неисчислимым лишениям. В непроницаемом молчании этого серенького денька мерное покачивание маятника стенных часов и потрескивание огня в очаге странным образом производили впечатление зажиточности. Упершись руками в колени, чтобы подняться, и словно бы делая вывод из осмотра комнаты, доктор сказал:

— Значит, сделаете из него крестьянина.

Мать издала сухой смешок; она направилась к камину и взяла фаянсовый горшочек, в котором держала деньги.

— Вы отлично знаете, какая здесь земля,— сказала она; развернула денежную купюру, положила ее на клеенку, разгладила своим большим, грубым пальцем, потом резко и гневно добавила: — Обрабатывать такую землю — занятие не человеческое, а скорее уж скотское.

Она взялась руками за спинку стула и повернула лицо к окну; синеватый свет, проникавший снаружи, беспощадно подчеркнул ее заостренные черты и бесчисленность морщин. Четверть века тому назад, когда она была молода, щеки у нее еще не запали, лоб был гладок, а

бедра упруги, доктор принял ее первого ребенка, и вот во что превратила ее серая повседневность: в согбенное существо, у которого к тому же появились усы, а волосы на голове вылезли, так что не разберешь, какого оно пола (он, конечно, преувеличивал — она всегда казалась ему увядшей, загнанной, вроде тощей, чернявой собаки, но ведь что ни говори, а и она познала любовь, у нее были когда-то признаки, указывавшие на ее пол, но теперь-то... Невозможно без содрогания вообразить некоторые подробности...)

— Дальше так продолжаться не может,— закончила она.— Бывают дни, когда думаешь, что уж лучше было бы вовсе не родиться на свет.

Доктор встал, обошел вокруг стола, остановился перед ней, заложив руки за спину, и молча ее разглядывал.

— К чему родиться, коли жить совсем не на что? — Она снова взглянула в окно на сверхъестественную, почти зловещую жестокость необозримых снегов и черных камней; губы у нее слегка шевелились, как если бы она сосала конфету — так делают те, у кого остались только корешки зубов.

— Я тоже все время недоумеваю, как вы можете здесь жить,— сказал доктор; между ними уже давно, с тех пор как он и ее спас от смерти, установилось как бы сообщничество.— Ведь яснее ясного, что ничего не выжмешь из здешней земли. Большинство семей, очутившись в вашем положении, сунули ключ под порог дома. Это плачевно, но иного-то выхода нет. Государству плевать, да и всем остальным тоже. Понять не могу, почему ваш муж так упорствует... Из камня крови не выжмешь; а дальше пойдет еще хуже. Будь я на вашем месте, пока не слишком поздно...— (К чему я говорю ей все это? Им обоим вместе чуть больше ста лет, никому и нигде они не нужны. Подохнут тут, как собаки.)

— Да уж мы-то...

Она пожала плечами, давая понять, что говорить тут не о чем. Она коротко и даже язвительно рассмеялась, словно бы издеваясь над самой собою при мысли, что люди ее возраста и положения в самом деле могут надеяться начать жизнь, не похожую на их скотское прозябание. Не впервые доктор наблюдал в самых обездоленных местных семьях подобное настроение, в котором сквозит презрение ко всему, что выходит за пределы сужающей их кругозор нищеты: самолюбие заставляло их безропотно сносить привычные лишения, мириться с собственным ничтожеством, ожесточенно уповая на детей — иногда на единственного среди всех, во имя которого остальные приносились в жертву.

— Нет-нет, конечно, для нас все кончено. Мы тут прижились, и нам уже поздно менять привычки. Пока ты у себя и пока не случилось болезни...

Хоть она утратила надежду и устала от жизни, в ней чувствовалась спокойная уверенность собственницы, прочность традиций, возможно, даже своеобразная привязанность к этому месту, невзирая на тиранию земли и то отвращение, какое земля ей внушала.

Вытерев тряпкой стол и смахнув воображаемые крошки, она сказала:

— Старший всегда заработает себе на пропитание. Ему бы только в горы забраться! Дай ему волю, он предпочел бы жить с кабанами, а не с людьми! Все мои заботы о малыше: он никогда силачом не был, а теперь вот и вовсе слег! Не хватает только, чтобы он остался калекой и никуда не мог отсюда двинуться — придется ему тогда разве что коз пасти до конца своих дней... Нет, на это я не согласна.—

И тихо пробормотала: — Да и бог не допустит этого. Или уж вовсе на свете нет справедливости!

— Ну ладно,— сказал доктор, внезапно хватая свою сумку,— не будем касаться высоких материй. Божья справедливость вне моей компетенции. А ты сделай одолжение, лежи пока в постели и не поднимайся до моего прихода. Что касается его будущности, подумаем об этом, когда поставим его на ноги.— Подбородком доктор указал на купюру, лежавшую на столе: — Вы отлично знаете, что я не нуждаюсь в ваших деньгах. И это не милостыня, а скорей эгоизм: мне совсем неохота таскаться три раза в неделю по вашей козьей тропе только потому, что у парня обнаружится недобор гемоглобина. Уговоримся: суньте себе в карман эти пятьсот монет и никому ни слова. Покупайте хотя бы в течение нескольких дней все необходимое, чтобы он пооброс мясом. Да заставьте отца прочитать мои наставления. Кстати, где они оба?

— Пошли взглянуть, какой урон причинен лесу: похоже, все повалило... Пришла беда — отворяй ворота!

Доктор распахнул дверь; холод залег снаружи словно стальная глыба: кругом серо, мертво, вневременно. В этом горном краю, среди его векового оцепенения, лишь кое-где притулилась жизнь, спрятавшись за желтоватыми оконцами, словно затянутыми средневековым пергаментом, где вспоминают у очагов древние предания о нескончаемых пирушках с обильным угощением из дичины, от которой ломились столы; но все это только несбыточные мечты: здесь живут люди, которые питаются круглый год одними каштанами и которым даже свинью нечем выкормить.

— Да! Божья справедливость зачастую весьма озадачивает,— грустно улыбнувшись, сказал на прощанье доктор.

— Бог сам выбирает своих избранников, вот что! — резко сказала мать, показывая, что не желает больше вникать в тонкости и что самое важное — быть угодной господу.

Очутившись наедине с сыном, она завела с ним разговор:

— Не хотел бы ты стать кем-нибудь вроде него? Жил бы в городе, хорошо бы одевался, был бы всегда сыт, все бы тебя уважали.

— Конечно, хотел бы,— ответил Жозеф.— Я бы звался тогда Самюэлем, как тот, что был пастором в Андузе.

VIII

Пришлось ждать еще несколько недель, пока мороз не начал сдаваться.

Стоял все тот же сырой, обжигающий холод, от которого перехватывало дух, щипало лицо и глаза слезились, стоило лишь высунуться наружу; все то же высокое и стеклянное небо без солнца, а под ним снежная пустыня расстилала до беспредельности гнетущую, усыпляющую белизну. От этой белизны, без блеска и теней, но тем не менее слепившей глаза, все в конце концов обесцвечивалось, кроме точно углем заштрихованных, из железа кованных лесов да залитых тушью извивов горных потоков — целая симфония красок от черной к серо-коричневой через зеленовато-бронзовую, без примеси иных тонов и тоже по-своему усыпляющая. Все погружено в молчание, в неподвижность за исключением странных, кое-где возникавших и завихрявшихся над горами испарений фумарол [1], наподобие тех, что дымят над серными сопками или горячим источником.

[1] Расщелины в скалах, из которых выделяется газ.

Как только дороги и шоссе были расчищены для движения, Абель с отцом отправились наниматься на лесопильню возле Флорака — они были вынуждены прибегнуть к этому и в предыдущие три зимы из-за все ухудшавшегося материального положения; а оно, и вообще-то плохое у мелких фермеров горного края, у Рейланов стало прямо катастрофическим. Бедный урожай, который им удавалось выжать из этой неблагодарной земли, вдесятеро уменьшался из-за отсутствия необходимого инвентаря и запоздалой уборки: у них никогда не хватало денег на покупку лошади или мула; давал им свою лошадь, когда ему уже не было в ней нужды, ближайший сосед, Мариус Деспек; потому-то они и опаздывали убрать урожай и часть его погибала из-за наступавшего ненастья, что и сводило почти на нет все их усилия. Жалованье, получаемое на лесопильне за несколько месяцев работы, как бы ничтожно оно ни было, все же позволяло им хоть как-то сводить концы с концами и даже немного откладывать на черный день.

Когда мужчины поднимались, ночь стояла еще темным-темна; они натягивали свою грубую одежду, проглатывали по тарелке супа или «затирухи» и уходили налегке по скрипевшему под ногами снежному насту, а занимавшаяся ледяная заря подстегивала их, побуждала ускорить спасительную ходьбу, чтобы вовремя добраться до Сен-Жюльена, где в восемь часов проходил горный автобус.

Это была старая, совсем разболтанная колымага, она тащилась тяжело и медленно, словно барка, плевалась паром из переполненного радиатора, а фары и оконные стекла еще носили следы неотмытой после войны синей краски; воняло перегретым маслом, бензином, кожей, козами, овцами и даже навозной жижей — подобное смешение запахов стойла и гаража, характерное для горного края, пришлому человеку может показаться карикатурно несовместимым. Эта тарахтелка, подскакивавшая на колесных цепях и дребезжавшая всеми своими железками, обычно, за исключением ярмарочных дней, бывала полупустой, и сидели в ней почти всегда одни и те же люди: потные, раскрасневшиеся поденщики с сумками, из которых торчали горлышки уже початых бутылок, старые крестьяне с хищным профилем и огромными узловатыми ручищами кирпичного цвета, женщины с сорочьими глазками и гладко затянутыми на маленьких головах волосами — они держали на коленях корзинки, вцепившись в ручки с такою силой, словно боялись, что их вырвут; компания критически оглядывала вновь входивших, после чего опять погружалась в сонливое безразличие.

Вскоре высокие склоны, увенчанные лесами, начинали уступать место все расширяющейся долине, которая смыкалась с двумя другими; в самой обширной из них раскинулся городок, погребенный под снегом, и только дымки да белые крыши окружали высокую колокольню; в городке была всего лишь одна улица, нескончаемо длинная и прямая, у начала которой и останавливался автобус, чтобы выпустить первую партию пассажиров; они рассыпались по тротуарам и проулкам, где уже слышался стук лопат и осторожно пробирались по снегу укутанные платками по самые брови хозяйки; другие, еще в домашних туфлях, подметали свои пороги, а ребятишки смотрели на них сквозь оконца, приплюснув нос к стеклу в оттаявшем от их дыхания кружочке. Наши мужчины выходили на следующей остановке, через три километра, и направлялись к лесопильне, где метрах в ста от дороги громоздились бревна, а возле валялись обрезки всех сортов дерева и кучи свежих опилок. Здесь с невозмутимой, бычьей покорностью, вдыхая мучнистый древесный запах, теплый и аппетитный, словно идущий из выпекающей хлеб печи, будут они до самой ночи заталкивать бревна на круг, вытягивать доски и грузить их на грузо-

вики, подчиняясь приказам, которые подрядчик будет кричать им в самое ухо среди неимоверного скрежета пил.

Тем временем в их орлином гнезде мать и сын наслаждались своим одиночеством: парень, лежа в постели, лакомился разными вкусностями, которые готовила ему мать, тратя по секрету те деньги, что ей удалось скопить за предшествующие годы, когда она в лепешку расшибалась, продавая сыр или грибы; наедине с сыном она неукоснительно толковала ему о пути, якобы им самим избранном, но на самом-то деле предначертанном для него ею, лишь только он начал выздоравливать; она расписывала ему все преимущества достойной профессии, внушающей окружающим уважение. Если врачевание тел, как ей сразу стало ясно, потребует долгого и мучительного учения, то врачевание душ, напротив, казалось вполне доступным: на этом пути не предвидится никаких явных опасностей. С богом всегда можно договориться, даже совершив некоторые ошибки, запутавшись; другое дело — человеческий организм, от которого зависит сама жизнь, он хрупок и сложен, тут надо быть асом, а мать сильно сомневалась, что ее сыну это удастся.

Она вспоминала дядю Самюэля, которого повстречала всего лишь раз, незадолго до его смерти; в конце-то концов, и тот, видимо, звезд с неба не хватал. И тем не менее стал пастором, носил на руке великолепные золотые часы-браслет, жил в хорошеньком собственном домике, полном книг и пластинок. (Еще бы, этот пройдоха трижды овдовел и трижды получил наследство.) В общем, так ли уж необходимо быть орлом, чтобы сделаться служителем божиим? Все эти господа походили в большинстве случаев на исполнительных чиновников, упитанные, аккуратные, с елейными голосами и заученными жестами; только в крайних случаях приобретали они вид этаких пустынников — целителей душ, но так или иначе все они казались вполне довольными своей судьбой. Ну так вот, чего Самюэль-Жозеф — перестановка имен уже знаменовала первый серьезный шаг — не достигнет умом, того добьется прилежанием, ведь умеет же он настоять на своем, когда ему чего-нибудь до зарезу хочется. Расчет был не столь уж плох: круглый дурак, если он честолюбив, найдет в честолюбии силы, способные и горы перевернуть. Конечно, еще требовалось узнать — честолюбив ли Самюэль-Жозеф; пока он пас коз или связывал хворост, у него не было случая проявить свое честолюбие.

— Не согласишься же ты до скончания дней гнить в этой дыре? Словом не с кем перемолвиться, не от кого узнать, что на свете творится... Да и девушкам современным горцы не по душе: они бросают здешних парней — пускай, мол, прозябают в дикости,— а сами уходят в город. Если так будет продолжаться, в этом богом забытом углу останутся лишь холостяки: ты сам понимаешь, что должен делать.

Она твердила ему это с утра и до вечера, заставляла вызубривать целые страницы из Библии, одновременно напичкивая его бульоном и сбитыми в пену яичными белками с таким количеством сахару, какого остальные члены семьи не видели за весь год: в то время считалось, что сахар полезен для мозга. Она воображала, или, вернее, надеялась, что эта разнообразная пища, как телесная, так и духовная, окажет стимулирующее воздействие на умственные способности больного юноши и поможет ему осуществить ее великие упования.

Но благодаря такому режиму не столько развилось его честолюбие, сколько надулись живот, щеки и ляжки,— все места, где скапливается жир у тех, кто ведет неподвижный образ жизни и кто не снедаем избытком воображения. Ибо в сокровенной глубине своего существа выздоравливающий вовсе не был в восторге от расписываемых его матерью перспектив. Жить в городе, хорошо одеваться, есть

вдосталь, быть уважаемым — все это очень красиво, но и несет с собой множество осложнений: ответственность, самоограничение и постоянное напряжение, а у него при мысли об этом голова шла кругом, когда же он представлял себе, как перед группой верующих произносит проповедь, то весь покрывался испариной. Какого черта всё в жизни так сложно и нудно? Почему бы людям не оставаться навсегда детьми и не довольствоваться самым необходимым? И хотя он и не питал склонности к жизни горца и не имел никакого пристрастия к земле, тем не менее задавался вопросом: не лучше ли валандаться в лесу и доить коз, чем впрягаться в ярмо, тянуть которое не только представлялось ему непосильным, но даже могло вовсе не соответствовать его способностям. Однако мать, обуреваемая страстным желанием, чтобы он добился того, о чем она тщетно мечтала всю жизнь, неотступно донимала его, рисуя самую мрачную будущность, сгущая до невероятия краски во всем, что касалось земли, и сверх меры восхваляя городскую жизнь, чем совершенно сбила с толку своего вялого отпрыска. Он был предельно нерешительным — из тех, кто, находясь на берегу моря, тоскует по горам, а среди лесов, наоборот, мечтает о синих волнах; летом жаждет снега, а на рождество грезит об июльской жаре. Страшась необходимости расстаться со своим надежным укрытием, но и не перенося мысли о прозябании в нем всю жизнь, он впал в такое противоречие чувств, что все ему стало поперек горла, и он предпочел вовсе выбросить это из головы: для самоутешения посасывая палец, он впадал в сомнамбулическое состояние, но при этом не забывал держать у себя на постели раскрытую Библию и время от времени бросал на нее невидящий взгляд, лишь бы мать от него отстала и дала ему возможность в спокойствии переваривать пищу. Но все это подтачивало его изнутри, словно червь яблоко: безостановочное чередование мелких вожделений и с недавних пор возникшего отвращения к своему положению в жизни медленно растлевали его душу.

Мать изощрялась, разнообразя его меню, приготовляя то пирожное с кремом, то пирожки с рисом, и все это, разумеется, в ущерб двум другим,— да она бы и последний кусок вырвала у них изо рта с той царственной уверенностью в своей правоте, какую диктуют великие страсти,— но у сына вследствие лихорадки совсем пропал аппетит, он находил все безвкусным, пресным. Ему представлялось, что уже ничто никогда не приобретет для него прежнего значения и что он до конца своих дней обречен на усталость, неповоротливость и неизбывное ко всему отвращение. Казалось, несчастный случай, происшедший в период его созревания, когда на душе туманно, а на лице высыпают прыщи, вверг его в непреоборимый разлад, и он уже больше не будет прежним. От детства его теперь отделял непроходимый барьер: «Тогда я жил еще в сентябре»,— думал он, как если бы дело шло об иной стране, из которой он выбыл, обрушившись с моста в пропасть.

Ему приходили на память слова, некогда сказанные при нем Алисой Деспек: «До шестнадцати лет — сущий рай, а потом — пустота». (Она родилась на очаровательной ферме, полной свежести и тени — возле Сен-Жан-дю-Гара.) Подобное признание в устах старой, мужеподобной женщины не могло не быть равнозначно истине; почему же другие молчат об этом? Во имя чего ломают люди глупую комедию, придавая значение тому, что вовсе его не имеет, и сводя к забвению главное? Почему соглашаются одним махом постареть во имя таких пустяковин, как себялюбивое тщеславие, собственный дом в городе и тому подобное... Он отказывался разобраться во всем этом, делая лишь тот вывод, что вряд ли стоит стремиться взрослеть. Когда он де-

лился своими мыслями с матерью, та, как бы опасаясь, что все эти сомнения и рассуждения ослабят его тщеславие, которое она старалась раздуть, резко отвечала:

— Так уж оно есть, ты не волен ничего изменить.— И добавляла: — Как бы оно там ни было — на все божья воля.

Но при этом у нее делалось такое странное, вроде бы смущенное выражение лица, что сын не мог не задуматься: какое же все-таки значение придает его мать слову «бог».

Двенадцатичасовой ночной сон — чересчур тяжелый для того, чтобы быть здоровым,— давал ему лишь временный отдых: только в момент пробуждения он чувствовал себя освеженным, но почти тотчас наваливалась на него усталость, сковывавшая все его члены, до кончиков пальцев, которыми ему трудно было пошевелить. Сразу же после завтрака следовало приниматься за Библию, но очень скоро голова его наполнялась туманом, глаза жгло, фразы теряли смысл, слова становились неразличимыми. Тогда он вперялся в окно, за которым был ледяной, бесцветный, гипнотизирующий пейзаж, и постепенно впадал в беспросветное долгое забытье, серую монотонность которого нарушало лишь тиканье часов.

В Библии его всего больше трогала старинная, служившая заставкой гравюра, где был изображен пастушок с посохом в руке, который шествовал, улыбаясь, во главе отары овец, столь же упитанных, как и он сам. Когда Жозеф был еще ребенком, ремесло пастуха и ремесло пастора смешались в его сознании, и, надо сказать, вполне логично. Разумеется, он отождествлял себя с этим улыбающимся на роскошном пастбище пастушонком из Библии и, глядя на него, мечтал о простой и радостной райской жизни. Подобное двойное смещение, происходившее в его уме всякий раз при взгляде на эту гравюру, вызывало в нем смутную тягу к религиозным делам — тягу, принятую им впоследствии за призвание, на которое толкнула его мать.

Как-то в начале января она принесла ему из Сен-Жюльена апельсин, завернутый в папиросную бумагу; он развернул его у себя на кровати с пугливым восхищением: что бы сказал отец, если бы вошел сейчас и увидел этот апельсин? Жозеф долго принюхивался к нему, ощупывал, взвешивал на руке и никак не решался съесть, предпочтя засунуть его под подушку и время от времени доставать, продолжая ту же игру, ибо апельсиновый запах помогал ему проникать в запретное царство далекого прошлого: на рождество детям раздавали в школе по апельсину — то был единственный апельсин за весь год, и Жозеф брызгал тогда соком его кожуры на свечку, извлекая целый сноп благоухающих искр. Но плод начал загнивать, и его пришлось выбросить.

В середине января погода переменилась, помрачнела. Словно река в ледоход, небо трескалось во всех направлениях и медленно приходило в движение; с востока потянулись набухшие влагой тучи, огромные морские тучи, предвещавшие оттепель, дождь или же ноздреватый, липкий снег, часто знаменующий конец зимы.

Два-три дня стоял туман, и температура воздуха поднялась до нуля; целую ночь шел снег; а наутро, открыв глаза, Самюэль-Жозеф сквозь незагороженное ставней оконце над дверью увидел ослепительно-красные лучи, падавшие на беленные известкой стены. Сердце его внезапно наполнилось бурной радостью, стремлением к свободе, а тело, укрытое тяжелыми одеялами, напряглось, преисполняясь надеждой; удивительное впечатление — будто он проснулся на заре прекрасного августовского дня, когда омытые ночью небеса безоблач-

но голубеют и в тишине не дрогнет ни один листочек. Было воскресенье, поэтому, против обыкновения, никто в доме еще не поднялся; но вот заскрипели половицы, открылась дверь, и на лестнице послышались шаркающие шаги матери. Когда она открыла ставни на кухне, показалось, будто среди зимы вдруг наступило несказанно сверкающее лето.

В лучах красного, словно бы первозданного солнца на стеклах засверкали папоротниковые узоры инея. Ярко-голубое небо резко оттеняло на крышах белые толстые чехлы снега, напоминавшие то ли хрустящие меренги, то ли взбитые сливки; в неподвижном воздухе еще чувствовалась морозная ломкость, но его прозрачность уже предвещала проталины, образуемые солнечным утром.

Повсюду люди высыпали на пороги своих домов, грелись на солнышке, радостно наблюдая, как жизнь робко вступает в свои права и поселки наполняются хлопаньем крыльев и воркованьем. После столь долгого испытания, когда небо свинцово, и горизонт сужен, и ты целыми днями сидишь затворником (ведь практически солнца не видели целых три месяца), хотелось часами смотреть на эту слепящую синеву небес, окрасивших снег всеми цветами радуги, еще более яркими, чем в самый сверкающий летний день. Сухой холод проветривал проулки и дворы ферм, гнал из них горький дым горелого бука и наполнял потеплевший воздух весенним, диким запахом лесосек, где под открытым небом пилили деревья. Каждый ощущал в глубине души нечто похожее на чувства Ноя и его семейства, когда воды начали отступать. Возникали странные, веселые желания, словно бы вызванные легким опьянением, когда совершенно не ясно, чего же в сущности хочется,— возможно, все дело в этом глубоком, прозрачном небе, внушавшем тягу уйти далеко, все дальше и дальше.

Вскоре больной начал подниматься и делать несколько шагов, волоча ногу, которая, после трех месяцев неподвижности, окостенела (в назначениях врача было записано: главное — не напрягать колено). Это буквальное одеревенение сустава, которое вполне можно было бы излечить специальной гимнастикой или небольшим хирургическим вмешательством, перешло в хроническое увечье, оказавшее, наряду с апатичностью сына, неоценимую поддержку планам матери: парень весьма охотно хромал, ибо это давало ему возможность не ударять палец о палец, пока вся семья надрывалась на работе. Абель смастерил ему грубый костыль из доски со щелью, куда можно было просунуть руку, и с кожаным валиком для упора под мышкой. Глядя, как он ковыляет, вздернув одно плечо, можно было подумать, что это ему привычно с самого детства; он был прирожденным хромоножкой: в увечье угнездился, словно в кресле.

Наступил март, зима быстро истаивала, исчез снег, выпитый ноздреватыми склонами, оставив лишь кое-где белые медали, сверкавшие на густой синеве гор. Черная почва заструилась; огромные сланцевые плиты отвесных скал, отполированные талыми водами, дробно блестели на солнце, а сильные, налетавшие с запада ветры обратили весь горный край в стремнину под необъятными небесами; потоки света прорезали горное плато, скользя по его влажным изгибам и ныряя в бездны, где они на миг высвечивали окно, темную глубину комнаты, сверкнувшую медь котла или стенных часов, хлопья пыли под кроватью или чье-то лицо, смотрящее наружу. Прозрачный воздух расширил пейзаж до пределов горизонта, и горизонт казался огромным, просматривающимся во всех деталях макетом, а флотилии набегавших облаков еще углубляли перспективу. Эта едкая фиолетовая вес-

на все привела в движение, земля уже грелась на солнечных полянах, а вокруг еще теснились холодные тени. Лес дышал с океанским величием — земля лавой стекала по склонам, как пот по телу работающего. Защитные стены внезапно вздувались и разваливались, рассыпая веером по дороге камни и песок, дымившийся, словно перегной. Бывали дни, когда северные туманы поднимались до самых горных вершин, разрывались на клочья в лесу, жемчугом повисая на ветках елей и пробуждая осенние запахи перегноя и свежих грибов; а назавтра — опять лихорадочно жаркий день, прогревавший лощины, торопивший раннее появление зелени, вызывая томление в людях и щекоча лоно земли, распростершееся под покровом желтой, поникшей травы. Но на следующий день — иногда так и в тот же самый — небо опять хмурилось словно в октябре, бороздилось несущимися по нему облаками, а на мокрых, блестящих от сырости лесных тропках одуряюще пахло зверьем, ледяной дождь хлестал в запотевшие стекла, порывы ветра сотрясали ставни и поднимали вихри золы в очагах.

Это был опять один из тех годов, когда переход от зимы к лету происходит резко и внезапно, вызывая у стариков сомнение, уж не исчезла ли навсегда весна: ведь в былые-то времена изгороди белели цветущим боярышником, аромат которого до сих пор не испарился из их памяти; бывало, отпущенная домой на две недели апрельских каникул детвора бегала по лесам, освещенным солнцем, пересеченным вольно грохотавшими ручьями, перегораживала их, строила маленькие мельницы; да ведь это они — те, что теперь были всем столь недовольны,— в незабвенные дни детства носились по диким лужайкам, и сердца их были наполнены жаждой жизни. Старея, почти все начинают считать, что времена года постепенно искажаются, блекнут, едва успев возникнуть, словно царство мрака и холода, слуг смерти, расширяет мало-помалу свои владения и оставляет все меньше места для солнечных дней. Возможно, все дело в том, что детство иначе воспринимает мир, а следовательно, и времена года, но оно-то и выработало иллюзии, отравляющие жизнь воспоминаниями о несказанно прекрасных временах года, которых в действительности никогда не существовало. Однако присущая всем трудягам сварливая гордость заставляет стариков до самой смерти держать рот на замке и никогда и никому не выдавать этих чувств, если того не требуют чисто материальные насущные интересы; в горьких утверждениях о неоспоримых преимуществах минувшей эпохи, столь отличной от нынешней, когда катастрофически меняющийся климат губит урожай на корню, сквозил намек на то, что во всеобщем оскудении виновато и современное поколение, и общество в целом.

Уже в мае наступила тяжелая, удушающая жара, так мало соответствующая этому пустынному, суровому, словно бы навеки замороженному пейзажу, где весне отведено место лишь в низинах, а кверху она пробирается только осторожным касанием. Очень скоро нездоровая эта жара обернулась грозовыми тучами, которые бродили над горным плато, не разражаясь дождем в этом небе Голгофы.

Оба Рейлана уже не работали на лесопильне Флорака, их ждала дома срочная сезонная работа, опять они уходили на заре и возвращались затемно, трудясь до изнеможения, подлаживаясь к погоде и стремясь наверстать упущенное время; пробормотав обрывок молитвы и наспех проглотив пищу, они тотчас заваливались спать; таким образом, Самюэль-Жозеф и его мать продолжали жить вдвоем, ничего не меняя в своих привычках, и об их сообщничестве двое других понятия не имели. Они были бы несказанно поражены, узнав, что будущий служитель божий спит под их кровом и без зазрения совести обжирается тем, чего они в жизни не пробовали и что за их спиной

стряпает ему мать, утаивая деньги из бюджета семьи; к их ночному приходу ужин ловкача бывал уже завершен, а стол тщательно вытерт матерью, которая прилежно уничтожала какие бы то ни было следы его пиршества.

Торопливо глотая суп, Абель рявкал громовым голосом, словно созданным для переклички из долины в долину и способным расшевелить и быка:

— У него что, аппетита нет?

— Нет, нет, я не голоден,— отвечал Самюэль, развалившись в кресле и делая вид, будто читает Библию; шрам на верхней губе, исказивший его рот гримасой отвращения, делал такой ответ правдоподобным, невзирая на брюхо и толстые, как у кюре, щеки. В такие минуты у матери всегда находилась работа вне дома; она нашаривала в кармане фартука маленькую записную книжку, с которой никогда не расставалась и куда заносила рецепты и тайные расходы, обозначая их таинственными сокращениями:

Ш. т. Б. М. 118. М. 200
К. л. К. 80 Б. 150
С 3/12 360 А. 150
Р 160 Р 100
О 118
5/9.
Это следовало читать так:
Шампиньоны из теплицы Бон-Матен 118. Мясная 200.
Каштаны из леса Карбоньер 80. Бакалея 150.
Сыр три дюжины 360. Аптека 150
Разное (заяц) 160. Разное 100
Остаток (прибыль за месяц) 118.
Май 1949 г.

Туда же, вперемешку, помещала она рецепты дешевых кушаний, сроки своих посевов, лунные месяцы, показавшиеся ей наиболее благоприятными, а также целую бухгалтерию насчет горшков с виноградным вареньем (которое не стоило ей ни сантима, виноград был с их собственных лоз) и снизок сухих грибов, которые она хранила в запертом ящике на чердаке, приберегая для продажи или на случай голода. Нечего и говорить, отбивная, которую она только что поджарила для «Самюэля», не могла не тревожить ее совести, когда она видела, что ее старший сын проявляет беспокойство по поводу здоровья брата; ведь по справедливости при той работе, какую он выполнял, именно его желудку лесоруба не помешало бы получить добрых полфунта мяса; вот почему так не по себе ей становилось за ужином, она опасалась, что ее выдадут запахи, даже и отдаленно не имеющие ничего общего с каштановой «затирухой», которую она подавала старшим мужчинам (хотя из предосторожности она готовила соусы и жарила котлеты вне дома, на углях, прикрытых решеткой, где у нее обычно кипятилось белье); иногда ей мерещилось, что можно прочесть на ее лице точную дозировку блюд Самюэля, те суммы, какие она вот уже несколько месяцев тратит на его питание, а также и те махинации, на которые она пускалась, чтобы наскрести эти деньги; вот почему она ускользала, как мышка, и пыталась рассеять угрызения совести, доя своих коз.

Наступил июнь, наполняя горы мушиным жужжанием и влажным зноем, который почти мгновенно сжег листву буков; в эту отвратительную пору грязно-серых, слепящих туманов начисто заволакивало горизонт, расплющивало ландшафт. С самого утра небо, утратив-

шее глубину, принимало дымный оттенок и едва заметно дрожало, наподобие того марева, что можно заметить в большую жару над трясиной; обманчивый маслянистый блеск сланца давил на окрестность, словно бы нагнетая грозовую атмосферу. Все насекомые, казалось, замерли от ужаса, за исключением мух, которых пары от стирки и вода в тазах у торговцев рыбой возбуждали не меньше, чем разлагающаяся падаль. Ни малейшего движения воздуха, ни одна птица не вспорхнет на жнивье — кроме воронов, которые парили над скалами, оглашая ущелья своим доисторическим карканьем, а потом, опустившись на сухие деревья, часами сидели в раздумье над этим выжженным солнцем миром.

Жозеф уже не мог вынести затворничества в четырех стенах; едва проснувшись, он сразу ощущал какую-то странную тяжесть. Утром ему хотелось лишь одного — поскорее выбраться из этого дома, толстые стены которого хоть и сохраняли прохладу, но еще усиливали ощущение удушья. Присутствие матери, которая неотступно торчала у него за спиной, нежила его, но и надзирала за ним, он начал воспринимать как нечто вредоносное. Ночи его были тревожны — не приносили отдохновения, и сны, несомненно, играли немаловажную роль в том предубеждении, которое складывалось у него против матери: во сне молодая, красивая девушка ложилась к нему в кровать и, прижимаясь всем телом, целовала пухлым ртом шрам на его изуродованной губе. Само собой разумеется, такой сон до крайности его возбуждал, он начинал верить в реальность этой грезы, испытывал подлинное чувственное волнение от прикосновения груди девушки, от ее волос, пахнущих жимолостью, от теплого ее дыхания, все это потрясало его, пронизывая острым наслаждением, и вдруг он с ужасом обнаруживал, что девушка оборачивается матерью и разлагается под его руками. Или, тоже во сне, он видел себя запертым на чердаке, откуда был выход лишь через слуховое окно, а он слышал, как по лестнице медленно поднимается кто-то или же что-то; дверь открывалась, и в ее проеме вырисовывался неподвижный силуэт, покрытый с головы до ног черной вуалью, и, хотя лица ему видно не было, он знал, что это — его мать, которая показывается ему в трауре, чтобы возвестить его близкую смерть; в другой раз — это была не мать в дверях, а то, чего он так опасался: поставленный стоймя приоткрытый гроб, а внутри чудовищный, разлагающийся труп, который тянется к нему. Он просыпался с воем и ощущал, казалось ему, подозрительный запах. Довольно часто посещал его и такой сон: зацепившись за вершину скалы, он висит над пропастью, его держит рука матери, но внезапно он падает, продолжая сжимать ее руку, а рука оторвалась от тела и впилась ему в ладонь, словно куриная лапа. И всегда мать представала перед ним одетая во все черное, иногда плачущая, иногда с цветами в руках, неподвижная, призрачная — воплощение смерти, предвестница несчастья.

Пока жара снаружи не становилась непереносимой, он ковылял к ближайшим каштанам, возвышавшимся над постройками фермы; теперь малейшее усилие немедленно утомляло его, он тяжело дышал и весь покрывался потом; прислонившись к дереву, бросив костыль в траву и положив для проформы Библию на колени, он тупо вперялся взглядом в серевшие у него под ногами крыши Маё, по которым скользил тусклый свет, или смотрел на противоположные склоны, которые из-за обманчивой перспективы, казалось, сбрасывали прямо на крыши тяжелые камни своих осыпей, и это дикое единение скал и словно раздробленных ими крыш усугубляло его болезненную тревогу, он как бы продолжал бредить в жару лихорадки, и все окружающее превращалось для него в источник отчаяния — в само отчаяние.

В такие минуты мысль о том, что ему предстоит провести здесь всю жизнь, становилась непереносимой. Взгляд его инстинктивно перемещался к маленькому погосту, расположенному ста метрами ниже фермы, и в сверкании дня, среди каменной тишины, накатывавшей со всех склонов, кровь приливала у него к голове, шумело в ушах; он изнемогал от этой расплющенной перспективы, от этой уплощенной декорации (он мог бы рукой дотянуться до противоположного склона, а ведь еще в прошлом году расстояние, его от них отделявшее, представлялось ему куда более протяженным), от этого наступления огромных скал на крыши, словно бы придавленных их исконным величием и похожих на некий нарост, вызванный болезнью минералов (а возможно, и люди — тоже всего лишь болезнь минералов), от безумия жизни в этой пламенеющей пустыне, от мыслей о том, что предки этих непрестанно шнырявших мимо него громадных зеленых ящериц — гигантские ящеры — в течение двухсот или трехсот миллионов лет были одними из подлинных хозяев планеты,— от всего вместе взятого его отчаяние становилось угрожающим, грудь сжимало тисками, дыхание прерывалось, живот пронзали острые боли, невидимая рука стискивала ему горло, учащая биение сердца, в мозгу вдруг наступала странная ясность, пронзительная и ядовитая — следствие перенесенных страданий,— и он понимал: надо всем, что он видел, что его окружает, включая и его самого, господствует безжалостное, неумолимое, всеобщее уродство, столь ужасное, что это превосходит любой возможный вымысел, и выглядело это так, как если бы все созданное на земле оборачивалось против себя самого, пуская в ход огромные челюсти, чтобы безостановочно пожирать себя, поддавшись неистовству небытия, которое невозможно насытить, ибо мировая фатальность дает этому буйству неиссякаемый материал для самоуничтожения; единственно неопровержимым оставалось одно: та невидимая работа, что творилась там, под землей, на крохотном кладбище, заросшем крапивой. Все остальное — дым.

Однажды утром его отчаяние зашло столь далеко, что он уверился в наступлении своего последнего часа и зарыдал: слезы испуга стекали по его сморщенному лицу, а он кусал себе пальцы, чтобы не кричать.

«Мертвые мухи портят и делают зловонною благовонную масть мироварника; то же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью» (Екклесиаст).

После полудня, в час отдыха, он внезапно просыпался от мысли, пронзавшей его мозг, обезоруженный дремой (надо было бы выразить эту мысль, записав ее одними заглавными буквами, способными заполнить все поле сознания):

ЧТО ДЕЛАЕТ БОГ ПОСРЕДИ ВСЕГО ЭТОГО.

Потрясенный, с неистово колотящимся сердцем, он приподнимался на локтях в затененной комнате, напоминая животное, которому влепили удар по загривку. Слова постепенно теряли смысл, мысль съеживалась, становилась в один ряд с другими всплывавшими в уме мыслями, принимала нормальные размеры: что делает бог посреди всего этого,— но не становилась от этого вразумительней.

Осознание того факта, что существуют священники, пасторы, еще подчеркивало потрясение от этой чистейшей нелепости, всплывшей из глубин его подсознания. Тогда мысль о том, что и он станет пастором, представлялась ему досадной и несуразной.

Весь остаток дня он бродил со своим костылем в липкой жаре, от которой лоснилось лицо и дышать было трудно почти до удушья,— казалось, в этой густой массе содержится ровно столько кислорода, сколько требуется, чтобы жизнь едва теплилась: руки вздувались, лоб покрывался клейким потом, а взгляд матери словно буравил ему спину; как паук из паутины, выглядывала она из дверей темной кухни, где еще сохранялась какая-то прохлада.

Согнувшись, в пыли, он строил башенки из камней, нашихивал в них сухую траву, поджигал ее и жадно любовался, как дым валит изо всех щелей. Тогда, с точностью кукушки, выскакивающей в определенный момент из ящика — и эта точность угнетала его превыше всего,— мать раздвигала занавеску от мух и возникала на пороге кухонной двери; она шла к нему по этому пеклу, густо насыщенному сладким ароматом дикой мяты и еще более удушающим запахом дрока. Он совершенно не выносил ни ее волочащейся походки, ни ее черной, сухой руки, которую она опускала ему на шею или на волосы, ни звука ее слабого, слегка гнусавого голоса (вполне подходившего к шарканью ее шлепанцев), когда она говорила:

— Чем ты тут занят, малыш, подумай, если б отец тебя видел.

О, этот тон умильного упрека! Он бы послал ее ко всем чертям, если бы отвращение, а иногда даже нечто вроде ненависти, которые она ему внушала, не подавлялись нестерпимой жалостью, проистекавшей из его животной привязанности к ней.

— Как может он меня увидеть? И в конце-то концов, какое ему до этого дело?

— Но твоя Библия, Жозеф, твоя Библия...

Как будто ему и без нее не известно, что его зовут Жозефом! Это смешное имя как нельзя больше соответствовало ее надтреснутому голосу, мужским шлепанцам, над которыми торчали кости ее тощих лодыжек. Его Библия! Жозеф и его Библия! Он единственный в мире владелец Библии. Люди повсюду шепчутся, что последыш из Маё прогуливается под деревьями с Библией. Только он и может ее толковать. Важные господа специально прикатят к нему из Парижа и вопросят, приложив руку к сердцу: значит вы, в вашем возрасте, прочитали Библию? Невероятно! И воздадут ему высшие почести. Жюльетта Клеман, его кузина из Сета (девушка с чувственным ртом, которая в сновидениях приникала к унизительному шраму, походила на нее), в него влюбится.

Картины, одна другой нелепее, представлялись ему — так бередят зудящую рану, что неминуемо приводит к пределу отчаяния; в этом была горькая утеха познания своих возможностей — погрязание в своей собственной глупости. Бедная женщина! Он смотрел на склонившееся к нему потерянное, встревоженное лицо, на странно тонкую для крестьянки кожу, на глаза, всегда немного слезившиеся, на эту муравьиную головку с хрупкими косточками, которую можно было, казалось, раздавить в руке, как орех, и к тому же все мысли которой — он отлично знал — были только о нем.

— Ну и что, моя Библия, моя Библия... Ты же видишь, я размышляю.

— Но послушай, ты еще пожар устроишь!

Ах, уж эти крестьяне, с их вечным страхом огня! Он-то был бы рад, если бы все сгорело дотла, пускай бы произошло хоть какое-нибудь событие, которое перевернуло бы всю его жизнь,— лишь бы он не был обязан ломать себе голову с утра до вечера.

— Ну нет, оставь ты меня в покое, уверяю тебя, что нет никакой опасности. Ладно, уж если тебе так хочется, тащи сюда воду.

И она шла за водой, волоча ноги, вся сгорбленная, с болтающими-

ся руками, твердя про себя: зачем все же он это делает, рискуя поджечь дом, его отец сошел бы с ума, увидев подобное, зачем он это делает — уж не болен ли он, а если бы доктор застал его за такими глупостями, а если бы пастор узнал... Мать раздирало беспокойство, что ее сыну не «преуспеть», но брезжила и надежда, что столь странное поведение как раз и является одним из тех признаков, по которым распознают необычность предназначения.

IX

Молчальник шел в одиночестве по узкому карнизу Феррьера, вдоль развалин стены, которая должна была охранять полосу чахлых посевов; шел он в густом тумане, который как бы светился изнутри, что часто предвещает наступление теплых сентябрьских дней; несмотря на ранние сумерки, здесь это, может быть, лучшее время года. Можно подумать, что земля, измученная солнцем за время жестокой жары, пользуется первыми днями свежести, чтобы отдать всю сладость накопленного тепла. Красноватый, плотный воздух имеет вкус фруктовой мякоти; так и чувствуется, что он, как сиропом, напоен запахом виноградных лоз.

Да, сегодня, несомненно, будет очень жарко: хотя туман и закрывал еще солнце, старый горец вспотел на ходу, как в разгар лета.

Он ушел из Маё на самом рассвете, вооружившись своим легендарным дробовиком и ягдташем, в котором уже болталась только что подстреленная им сойка, пожалуй, единственный вид дичи, доступный его доисторическому самострелу; каждую осень открытие охотничьего сезона объединяло в Мазель-де-Мор целую толпу охотников: Деспек, у которого обычно происходили традиционные сборища; Бутоне из Бар-де-Севенн, который говорил угасающим голосом и казался всегда угнетенным непоправимыми бедами; братья Ру из Сен-Жюльена, краснощекие, апоплексические, как и все потребители свинины; Совеплан из Флорака, с дыркой возле виска, которую он заполучил на Марне и в которой у всех на виду бился пульс; два-три юных весельчака, тоже из Флорака, которых обладание двуствольным «робюстом» возбуждало до крайности и которые давали выход своему опьянению, изрешечивая пулями доски с объявлениями о запрете охоты или щиты сигнализации; наконец, несколько старых проныр, приходивших исключительно ради того, чтоб набить свою мошну,— этим для наполнения ягдташей не нужны были ни ружья, ни собаки, ни разрешения на открытие охотничьего сезона; с первого января до праздника святого Сильвестра шныряли они по лесам, переправлялись через потоки и снабжали большинство ресторанов округи всем, что только можно ощипать, выпотрошить, очистить, замариновать, изжарить, насадить на вертел, из чего изготовить соус или консервы.

По окончании праздника Рейлан отведет в Маё лошадь, которую ему всегда одалживал его друг во время осенней пахоты и посевов: с завтрашнего дня целых две недели будет он плестись за этим животным по высоким карнизам, вспахивать землю, вцепившись в рукоятки плуга и от усталости испытывая порой ощущение, будто он в своих собственных мускулах проводит борозду и выворачивает комья земли. Но усталость эта была для него благодетельной; он никогда не мог вдосталь налюбоваться на раскрывавшую перед ним свои губы красноватую землю, которая, если недавно шел дождь, оказывалась столь же гладкой и пышной, будто он проводил борозду в масле. Он готов был пахать до краев горизонта ради одного удовольствия слышать цоканье лошадиных подков по камням и чувствовать все выше, до самых плеч, как содрогается чистый, сверкающий лемех, на движении

которого сконцентрировались напряженные усилия и его самого и лошади. Он никогда не решился бы никому открыть, что лучший результат его усилий —именно в этом. Он вовсе не задумывался о том, будет ли данный урожай хорош или плох по отношению к предыдущим; подобные заботы никогда не омрачали ощущения наполненности, сурового успокоения, которые он испытывал, соединяя свои усилия с усилиями лошади, вспарывая жнивье, вскрывая бесплодную, изжаренную, растрескавшуюся поверхность земли, ощетинившуюся низко срезанной, колючей стерней, поднимая эту омертвевшую корку, под которой плененная жизнь молчаливо ожидает воздуха, дождя и солнца, чтобы вновь возродиться в хрупких трепещущих стеблях, что заколышутся через полгода под весенним ветром, а потом начнут рыжеть и головки их покроются пушком, словно у новорожденных щенят.

Он продолжал свой путь в густом тумане, карниз с двух сторон огораживали круглые камни — они вырисовывались по мере его продвижения в некоем световом кольце, центром которого был он сам и которое он тащил за собой, словно бы его присутствия было достаточно, чтобы развеять эту пухлую вату на несколько метров; почти механическое передвижение тумана, не сулившее никаких неожиданностей, успокаивало его, отвлекало от повседневных забот и вызывало целый поток мыслей. Он мысленно переживал самые лучшие моменты своей жизни, подчиненные смене времен года и периодически приводившие его в соприкосновение с необъятными небесами и необозримыми пространствами, в которых он плавал словно в открытом море, исхлестанный дождем и ветром или же ослепленный солнцем,— в этом была его жизнь, от которой в конечном счете он никогда не согласился бы отказаться, которую никогда не предавал. Во имя этого он держался, во имя этого не желал никуда уезжать, не желал продавать Маё и потому-то, не говоря никому ни слова, написал тому горожанину, что он отменяет сделку по продаже. Узнай мать об этом, она никогда бы его не простила. Да, конечно, постоянно и непреодолимо он запаздывает, изнурительно гонясь за временами года, ритм которых ему никогда еще не удавалось подчинить себе, его урожаи наполовину уничтожаются; земля, которую приходилось натаскивать по крутым тропам, уносится ураганом; надо лазить с утра и до вечера по горам, чтобы запастись сеном и топливом, солнце вгоняет в тоску, сердце опустошается одиночеством, мир безмолвствует, будущее всегда внушает неуверенность, неизбывная бедность, бедность, сопутствующая ему от рождения до смерти, словно верная подруга, которую он в конце концов полюбил: бедность земли, пищи, одежды; бедность слов, жестов — та самая бедность, которую все ненавидят и с негодованием отвергают. Но что же понимают под словом «бедность»? У всех это слово на устах. А разве не лучше есть мякину, сидя у своего порога и чувствуя себя свободным человеком, чем питаться лангустами в тюрьме; потому что меня-то вам не уверить, будто все эти — горожане — не в тюрьме. Не пытайтесь уверить меня, что эти люди счастливы. Пусть одеты они словно милорды, катаются в машинах, ходят в кино, совершают еще кучу всякой всячины — вид у них печальный, вечно они болеют или злятся на кого-нибудь; сражаются то за то, то за другое, всякие там у них войны и революции, хочешь ты этого или не хочешь; когда видишь, как они идут по улице, прижатые один к другому, спрашиваешь себя, куда они спешат, раз им явно не доставляет никакого удовольствия идти туда, куда они идут, и делать то, что они делают,— возможно, именно из-за этого в конечном счете они и дерутся. Дерутся, потому что сами скучают, а нас-то тоже ведь тянут туда же; пусть уж дерутся между собой, раз это им приспичило; разве в другое-то время им есть до нас дело? Летом иные из них вдруг появ-

ляются здесь, прогуливаются по лесу, оставляют за собой грязную бумагу, а то так что-нибудь подожгут и, глядя на горы, восклицают: ах, до чего красиво! Красиво! Что они этим хотят сказать? Говорят что попало, лишь бы показать свою ученость да взять верх над нами. Хлопают у нас под носом дверцами машин, поднимают облака пыли, фотографируют и церковь, и лошадь, и колодец, и овчарню, и пастуха, лазают по горам и живут в палатках. Но стоит пойти дождю — и не больше чем через два дня они уже складывают чемоданы и убираются восвояси; шарфики на шее, очки на носу, книги под мышкой: чудаки — одно слово. Словно пятки им прижигают, так они носятся налево, направо, а у мадам постоянно мигрень и ей бы хотелось спуститься к берегу моря — ну и катитесь на побережье, глотайте песчаную пыль и жарьтесь словно сардинки, подхватывайте болезни...

Он заметил на самом краю карниза наполовину поглощенный туманом неподвижный силуэт пастуха, который в черном своем плаще походил на маленькую елочку, но, постепенно увеличиваясь в росте, он действительно обернулся елкой. Пора было сворачивать: до поворота на Мазель-де-Мор елок не росло; в обманчивом мареве тумана он, по-видимому, миновал поворот, не заметив его вовремя. Метров через сто он нашел наконец тропинку. При его приближении вспархивали птицы-каменки, они летели над самой землей и опускались чуть дальше на камни. Отсыревший в тумане самшит издавал горький запах с примесью чего-то лекарственного.

Завтра он обязательно начнет обрабатывать Большую Землю, крохотный надел, прилепившийся у самого края горного плато, затерявшийся в необъятности небес, почти соприкасающийся с облаками; вспахиваешь его, и тебя и лошадь охватывает вольный ветер необозримых пространств; земля там глинистая, заскорузлая, иссушенная в пыль, звенящая плоскими известняковыми камнями, которые из поколения в поколение вытаскивают, нагромождая в заградительную стену, а они все вновь возникают, словно бы плуг вспахивал не землю, а гигантскую бойню, где ходят по костям. Рожь там растет невысокая, кое-где с плешинами камней, местами переходящими в настоящее шоссе. Там — не редкость морские звезды, морские ежи, завитки раковин, словно медали, вкрапленные в известняк — как можно предположить — древним морем. На другом конце поля, обращенном к внутренней стороне плато, находится древнее строение, служившее некогда убежищем для пастухов и охотников, которые выжгли раскаленными головешками свои имена на камнях вплоть до самого свода, в щели которого просвечивает кусочками небо. Некоторые из этих надписей относятся к началу прошлого века, к временам войн Империи. В разгар жары недурно съесть кусочек сыра в прохладе этого свода, прислонившись спиной к тяжелой, холодной каменной кладке; снаружи ослепительный, трепещущий свет, искажающий очертания горизонта, покрывающий горы синевой и словно воспламеняющий насекомых; выжидаешь еще какое-то время, прикладываясь изредка к бутылке с самодельным вином, потом, завернув ее в тряпки, сунув на дно мешка и поставив в холодок, выходишь в кипящее, липкое пекло, и вновь борозда увлекает тебя к вершине горы; ты окружен роем мух и резким запахом, исходящим от лошади, бока которой лоснятся от пота, а рот наполняется белой пеной.

Внезапно в отдалении послышался собачий лай, тот отчаянный, торопливый лай, которым вспугивают дичь; почти тотчас же раздались и ушли в туман, не вызвав эха, два выстрела.

Тропинка неощутимо спускалась вниз; круглые кроны буков простирали свои нижние ветви на густую траву спуска. Туман понемногу рассеивался; местами его уже вовсе не было, и местность вырисовыва-

лась с потрясающей неожиданной четкостью. Потом туман вновь сгущался, скрывая все, кроме крохотного пространства, в котором видимость ограничивалась несколькими шагами. Наконец, вся эта серость высветилась желтизной, засверкала, и лицо Рейлана, ощутившего солнечное тепло, все покрылось испариной. За одним из поворотов тропинки он вышел из леса, куда туман продолжал медленно отступать, и очутился на полном свету.

Перед ним, в утреннем, слегка затуманенном свете, развернулась волнистая панорама покрытых лесами гор, а на ближайшем склоне серебряно сверкали, словно рыбья чешуя, сланцевые черепичные крыши; гранитная стенка, окаймлявшая тропинку, густо заросшую по краям крапивой, дымилась на солнце, и не было ни одной травинки, не обвитой паутиной, словно жемчужинами унизанной капельками росы, искрившимися против света — в косых его лучах.

В подлеске, обретшем наконец глубину и резонировавшем эхом, раздавались выстрелы. Собаки, раздираемые охотничьим ражем, неистово лаяли.

Завидев за окруженной лесом поляной крыши Мазель-де-Мор, Рейлан перешагнул через стенку и зашагал прямиком сквозь заросли дрока; его терпкий запах неприятно щекотал горло — возможно, это было первым следствием усталости и столь длинного перехода натощак, но запах казался чересчур уж сильным, противным. Рейлан остановился на склоне, чтобы вытереть стекавший с лица пот, он положил ружье в траву, а когда распрямился, ему вдруг стало дурно; черные пятнышки прыгали у него перед глазами во всех направлениях. Он оторопело оглядывался, словно не понимая, почему он оказался здесь.

Дрок тихонечко поджаривался; на газоне, перед въездом на ферму, среди старых, более или менее пришедших в негодность сельскохозяйственных машин, стояли четыре, не то пять повозок, дышла которых, вздымавшиеся к небу, походили на зенитные орудия. А над крышами фермы, делая все новые заходы, почуяв, очевидно, какую-то добычу, широко распластав крылья, кружила угрожающе огромная хищная птица; может, орудия направлены именно на нее? Нагнувшись за своим ружьем, Рейлан на мгновение испытал странное чувство, будто сместились эпохи, необъяснимо перемешав охотничьи засады и те военные утра, когда надо было патрулировать вдоль лесов, побелевших от инея, или шагать по печальным и топким свекольным полям, казалось специально возделанным для ужасов войны,— чтоб превратиться в воронки от бомб и в траншеи для трупов. Столь сильно было это ощущение, так удивительно было Рейлану следить, как оно разрасталось, что он уже совершенно уверился, будто на нем военная форма, и, совершенно машинально подобрав ружье, пробежал, ничего не понимая, те триста метров, что оставались до фермы. Запах горячего кофе, проникавший сквозь полуоткрытую дверь кухни, привнес добавочное смятение: когда он вошел в комнату с низким потолком, темную и едва освещенную, до него донесся шум голосов, позвякивание жестяных фляг, торчавших из походных мешков, сухое, воинственное пощелкивание ружейных затворов, которые проверяли молодые люди, и все это окончательно убедило его, что перед ним патруль, отправляемый на передовые позиции в Арденнском лесу зимой 40 года. Странность увеличивалась еще и тем, что сейчас было 10 сентября, и это точно — день в день — совпадало с тем ошеломляющим событием, которое как для него, так и для большинства находившихся здесь произошло десять лет тому назад и смысл которого Рейлан так толком и не понял; пожав руки присутствующим и выпив чашку кофе, он почувствовал, что беспокойство его рассеивается и, к великому своему изумлению, испытал сожаление, какую-то смутную грусть и даже ску-

ку при мысли, что день охоты неизбежно закончится в постели,— тогда как от подлинно военного дня можно было ожидать чего-то куда более значимого; можно было подумать, что ничто кроме войны не несло в себе чудесного ощущения свободы, безответственности, приправленной страхом; он сожалел об исчезновении неуверенности, которую только что пережил из-за смешения сегодняшней реальности с мистически всплывшими воспоминаниями.

— Ждем только тебя,— сказал Деспек, кладя руку ему на плечо,— теперь за дело, день будет трудным.

— Да, да, день будет трудным,— подтвердил Рейлан, поднимаясь и ощущая тяжесть в ногах; его снова удивило, почему он оказался здесь; жара очага одурманивала; запах от жарившейся крупной дичины и приправ к ней делал атмосферу удушливой; его продолжал сбивать с толку шум отодвигаемых стульев, шарканье ног, и он еще раз повторил каким-то не своим голосом:— Да, день будет трудным.

Когда он направился к двери, Деспек удержал его за руку.

— Я хочу сказать тебе кое-что про лошадь, что-то важное для тебя. Вечером мы к этому вернемся.

— Хорошо,— согласился Рейлан,— почему, однако, не сейчас? Если какая-нибудь неприятность, я предпочел бы узнать сразу.

Деспек надул щеки и прыснул со смеху.

— Вот именно, нечто весьма неприятное...

Он хлопнул его по плечу, продолжая фыркать.

— Чертов Рейлан! Ты все витаешь в облаках, да? И всех по себе равняешь? Ну, ладно, вперед! Вечером, на свободе, поговорим обо всем.— И он вытолкнул его из дома; во время их разговора Мари-Чернуха, его дочь, чудовищно громыхала посудой; казалось, она чем-то разгневана. Это была маленькая, худая, темнокожая, неприветливая женщина, о которой шла молва, будто она способна ворочать подлинно мужскую работу. Когда охотники ушли, она захлопнула дверь и, пожимая плечами, направилась к своему очагу.

Мужчины вернулись к часу дня; небо стало свинцовым, а жара почти непереносимой. А ведь все питали надежду на легкий осенний денек под чистыми, спокойными небесами, когда повсюду над пашнями заливаются жаворонки.

Поставив ружья на подставки и вывалив убитую дичь на хлебный ларь, мужчины вышли наружу — помыть руки в лотке, куда с вершины возвышенности по замшелым полым стволам лиственниц стекала ледяная вода, скапливавшаяся во впадине, окруженной тростником; этот источник не иссякал ни летом, ни зимой, составляя гордость своего владельца и являясь предметом зависти всех обитателей района, где в большинстве случаев, чтобы наполнить цистерны, приходилось рассчитывать на милость небес. Избыток воды образовывал огромную лужу, края которой, обведенные глиняной насыпью, были испещрены дырами, проделанными овцами; но воды хватало и на поливку огорода, выгодно расположенного по отношению к солнечным лучам и обнесенного оградой из круглых камней. Даже цветочные клумбы под окнами и те были огорожены гранитными кругляшами.

Рейлану эта ферма казалась земным раем, в котором Деспек был благостным божеством: ведь без его помощи Рейлан вообще не смог бы существовать. Приходя в Мазель-де-Мор, Рейлан ощущал себя словно бы вассалом, посетившим владельца замка; он едва осмеливался присесть, невзирая на радушный прием, оказываемый ему другом.

Охотники входили один за другим и, молча отодвигая стулья, усаживались вокруг стола. Собаки уже дремали по углам, усыпленные прохладой плиточного пола. Единым духом мужчины осушали аперитив с сильным ягодным привкусом, разлитый в стаканчики из-под горчицы. Время от времени кто-нибудь начинал разговор, да так громогласно, как если бы обращался к глухим. Лица некоторых сотрапезников, наклоненные вперед и освещенные косыми лучами солнца, казались закрытыми маской из красной глины, над которой виднелась полоска белесой кожи, выглядевшей чересчур бледной, нездоровой, почти непристойной, как те части тела, которые обычно скрыты от глаз и потому недоступны солнечным лучам.

Возле плиты стояла Мари Деспек; она скрестила руки и, храня непроницаемый вид, с холодностью покупщика скота поочередно осматривала мужчин, выжидая, когда настанет ее черед приступить к выполнению обязанностей хозяйки; но вот отец кивнул, и она направилась к ларю, на котором стояли два блюда с колбасными изделиями. Резко раздвинув стаканы и бутылки, она поставила посредине стола эти блюда; с лица ее не сходило замкнутое выражение; она обслуживала гостей с хмурым усердием, но словно с трудом сдерживала неведомо чем вызванную, всегдашнюю злобу на всех присутствующих. Потом она вновь заняла наблюдательный пост, а гости медленно разворачивали салфетки и, открыв ногтем свои складные ножи, начинали священнодействовать над тарелками.

Большую часть трапезы они совершили в молчании, словно бы на похоронах; к тому же в их манере резать хлеб на маленькие квадратики, медленно, вроде бы без аппетита пережевывая каждый кусок, пить вино, полузакрыв глаза, с чинной осторожностью, было нечто от ритуальной торжественности, придававшей трапезе почти религиозный характер.

Тем не менее с помощью вина и жирных подливок головы постепенно разгорячились и разговор стал громче; сперва рассказывали приключения на охоте, которая из-за убыли дичи скоро совсем сойдет на нет, потом перешли к политическим спорам, и тут обнаружилось всеобщее недовольство, категорическое осуждение всего: и системы, как таковой, и профсоюзов, и партий, но с абсолютно невыполнимым выводом — все уничтожить до основания, всех разогнать и тем самым добиться очищения, что звучало как отдаленное эхо старинных революционных доблестей, совершенно выдохшихся в настоящее время.

Обращаясь к Рейлану, которого он всегда усаживал рядом с собой, Деспек сказал:

— А ты почему отстаешь от нас?

Сам он усердно подбирал кусочками хлеба, которые накрошил в тарелку, густой, черный, с золотистым отливом соус; в конце обеда, как раз перед салатом или сыром, многие имели такую привычку.

Рейлан покачал головой: эти нескончаемые пиршества всегда несколько утомляли его, от слишком обильной пищи у него очень скоро заклинивало желудок. Он едва притронулся к рагу из дичи. Смутный шум голосов, дым, скрип передвигаемых стульев, то небольшое количество вина, которое он, непривычный к нему, выпил, все вместе вылилось в слегка тошнотворную пресыщенность, отягчавшую пищеварение, и в конечном счете одурманило его; ему не терпелось поскорее выйти, подвигаться, вдохнуть свежий воздух.

Вдруг он вспомнил про лошадь и что Деспек говорил ему о ней утром, перед уходом; в пылу охоты он думал об этом лишь мельком, стараясь отгонять чреватые неприятностью мысли. Сейчас ему представилось, как он в одиночестве вернется вечером домой. По той или иной причине — без лошади. Не будет он завтра пахать под необозри-

мыми небесами, не увидит вскрывающейся борозды, не ощутит напрягающих мускулы толчков плуга, когда так и кажется, что земля ожила и пришла в движение, не будет священной усталости, лучшей из лучших, сваливающей вечером в глубокий сон. Что же — покрытая мертвенно-бледным жнивьем Большая Земля — там, наверху,— так и останется необработанной, брошенной, мертвой? Он вовсе не думал об урожае, о катастрофе, которая неизбежна для него и его близких, если у него не будет рабочей скотины.

Там, наверху... Он видел простирающуюся перед его глазами землю, ту землю под необъятными небесами и на ней жалкое убежище из крошащихся камней, предвкушал ту длинную, мощную волну, которая взмоет к самым облакам, к выходу на вершину горы, где всякий раз его мгновенно подчинял себе не знающий преград ветер, вызывая неизбывное чувство освобождения, внушаемое волнистым пейзажем, подобным величавой зыби океана, омывающего континенты.

Ничто другое не способно было овладеть им с такой мягкой, чарующей, но нерушимой силой. Стараясь прислушиваться к словам соседа, он внезапно со странной настойчивостью стал думать о том, каково сейчас освещение там, наверху; под каким углом по отношению к склону находится солнце и насколько продвинулась черная тень, падающая от каменного сооружения. Представив себе, что все это существует само по себе, в тишине, без него, пока он тут обжирается, он почувствовал укол в сердце и необъяснимую тоску, столь же пронзительно-глубокую, как по отсутствующему любимому существу; все мысли его были обращены к пашне на вершине горы, он старался представить себе, что там происходит, хотя знал, что ничего произойти не может, но именно это-то и влекло его к себе.

Тут он осознал, что Деспек как раз говорит о лошади. Рейлану было необычайно трудно оторваться от маячившего перед ним видения поля с его первобытным убежищем, однако он сделал над собой неимоверное усилие и вернулся к собеседнику, прислушался к тому, что тот ему говорит.

— Повтори, пожалуйста,— сказал он,— из-за этого гвалта я ничего не расслышал.

— Почему, черт побери, ты не слушаешь, когда с тобой разговаривают: понять невозможно, где витаешь. Я тебе говорил, что Мари...

О чем я думаю и почему именно так думаю? За всю жизнь не было у меня таких мыслей. Как хотел бы я быть сейчас там, наверху, с лошадью, пахать или, прислонясь к стене, ждать, ждать наступления ночи.

Впервые в жизни он ощутил пронзившее его несуразное желание не возвращаться домой, а отправиться спать туда — в вышину, к звездам и стрекотанию кузнечиков. Рука друга трясла его за плечо.

— Так вот, значит, как ты к этому относишься?

Раскрасневшийся Деспек глуповато улыбался и никак не мог поймать взгляда Рейлана своими светлыми глазами, в которых сквозило легкое опьянение.

— Ну право,— твердил Рейлан,— право же... Новость, право, что надо...

Не вслушиваясь, он понял, вернее, у него создалось впечатление, будто его друг дает ему лошадь *насовсем;* казалось, он запоминает слова, не понимая их смысла. Лошадь — подарок Мари. Наконец он уяснил себе это.

— Мари, понимаешь, это Мари... Потому что Мари и Абель... Ну, все-то тебе надо растолковывать. Черт побери все на свете, до чего же я доволен,— твердил Деспек,— бывают все-таки в жизни хорошие минуты!

Потом, поймав на себе злобный взгляд дочери, сбавил тон и зашептал на ухо своему другу:

— Если это тебе не обидно, объявим в другой раз, сегодня Мари не расположена.

И он пустился расписывать, какое их ожидает будущее. Счастливая перспектива выдать дочь замуж, присоединясь к опьянению, все окрасила для него в розовые тона; он говорил о восстановлении традиционной общины, основанной на взаимной братской помощи; разве не эгоизм, не глупость, когда каждый отъединяется — это и привело к теперешнему положению вещей; горный район оскудел, теряя семью за семьей, и никто ведь пальцем не шевельнул, чтобы пресечь подобное безобразие; надо заботиться не о том, что произойдет через тысячу лет, а о том, что творится в настоящее время,— разве мы счастливы? Разве наша работа имеет смысл, коли мы не способны обеспечить будущности своих детей? Живя в одиночку, только для себя, люди тупеют от работы, преисполняются мрачными мыслями, а годы катятся — не остановишь,— и вот однажды обнаруживают не только полное свое одиночество, но и тщету всех усилий, не приведших даже к зажиточности: в результате они оказываются еще беднее, чем вначале. В конечном счете у патриархального родового строя было много хорошего: стоит вот так усесться всем вместе вокруг стола, вместе распить бутылочку, съесть супу, и сразу возрождается старое довольство; а ведь обычный-то наш сотрапезник — смерть; постепенно перестают отдавать себе отчет, что только на нее и работают; жить для себя равнозначно жизни ради смерти; но не будем углубляться столь далеко. Надо найти способ, как выстоять. А уж философия и религия тогда сами приложатся.

Поженив детей, почему бы не обрабатывать землю сообща, а плоды урожая делить потом как в колхозе, почему бы и нет! Работа облегчится, урожаи улучшатся, наступит счастье.

— Правильно,— согласился Рейлан,— наступит счастье.

Он старался быть внимательным, но становился все рассеяннее, углублялся в себя, как если бы происходившее его вовсе не касалось, ибо было нечто куда более значимое, что следовало совершить не откладывая,— но что именно, он был не в состоянии уяснить себе, возможно просто поспать... Нет, это было более легкое и пьянящее чувство, чем желание уснуть,— он одновременно ощущал и усталость и желание скорее уйти. В его мозгу безостановочной, беспорядочной чередой разворачивались какие-то странные, обезличенные мысли, а ведь эта лошадь, эта земля, будущность фермы и хоть какая-то обеспеченность для его близких — что, казалось бы, могло быть для него важнее этого? Но за всей бесплодной сумятицей его мыслей царило какое-то странное, лунное спокойствие, которое притягивало его чудесным ощущением уже наступившего отдохновения. Да, да, уйти, шагать под высоким небом, немного упорядочить мысли — вот что надо сделать. Он резко поднялся:

— Надо пойти сообщить новость матери,— сказал он,— да и скоро ночь.

В шуме общего разговора собственный голос неприятно поразил его, доходя словно сквозь заткнутые уши.

Было шесть часов вечера; солнце уже не светило в окно, и стемнело на дворе, где освещенной оставалась лишь стена риги. «Там, наверху, такой же свет»,— подумал Рейлан, испытывая смятение, похожее на неуловимо наступающую потерю сознания.

— Ты не можешь сейчас уйти,— сказал Деспек,— будут еще ушки и шипучка.

— Ну, ладно,— ответил Рейлан, вновь покорно усаживаясь.

Пока отец ходил за шипучим вином, Мари подала ушки: она приблизилась к Рейлану с обычным своим рассерженным видом, однако не лишенным на этот раз лукавства. Быстро положив руку ему на плечо, она сказала:

— На днях зайду переговорить с матерью.

Чуть позднее, стоя уже на пороге, Рейлан говорил:

— Благодарю тебя за лошадь, вот обрадуется мать! — И он троекратно облобызал Мари.

— А со мной-то тоже надо ведь поцеловаться,— сказал Деспек, притягивая его к себе.

— И все же,— не утерпела Мари,— он мог бы сегодня сопровождать вас, ну и дикарь!

— Ты отлично знаешь, что он не любитель компаний,— вмешался Деспек,— не тебе его изменить, довольствуйся тем, что заарканила.

Привязанная к двери конюшни огромная лошадь била копытом, словно бы ей тоже хотелось скорее идти среди трав, в благоуханной свежести вечера: аромат сырых лугов долетал и сюда. Рейлан схватил уздечку, и конь тяжело последовал за ним.

Дойдя до края поля, он оглянулся, пораженный тем, что прошел уже такое расстояние: ферма казалась теперь крошечной. Когда она совершенно исчезла из виду, поглощенная складкой местности, он сразу избавился от стеснения, теперь необъятное небо раскинулось как бы только для него одного.

Присоединяясь к гостям, Мари сказала отцу:

— Смотри же, старайся держать язык за зубами — ничего не выболтай этим пьяницам.

Многие годы она уверяла, что не желает выходить замуж; но все думали, что при ее-то характере скорее всего к этому не стремились парни.

(Окончание следует)

ЮЗЕФ ВИЛЬКОНЬ. Польша.
Иллюстрация к «Сонетам Орфею» Р. М. Рильке

ЭРИХ КОШ

Рассказы

■

Перевод с сербскохорватского Т. ВИРТЫ

Персики

После долгого сопротивления и уговоров инженер Харитон Михайлович уступил упорным настояниям своей жены и согласился купить небольшой участок земли в Гроцке, неподалеку от Белграда.

Деньги, уверяла его жена, постоянно обесцениваются, поэтому в банке их держать нет никакого смысла и будет гораздо разумнее и практичнее вложить их во что-то надежное и долговечное, что со временем может только подняться в цене. К тому же и случай им предоставляется, можно сказать, уникальный — друзья Янковичи ввиду предстоящей длительной заграничной командировки готовы уступить им уже сторгованный на выгодных условиях участок, расположенный в превосходном месте: среди знаменитых виноградников, на высоком берегу Дуная, с видом на реку и на банатскую равнину. Между прочим, с некоторых пор белградцы как раз в тех краях стали покупать участки и строить дачи, при этом люди весьма скромного достатка, а более солидная публика еще раньше позаботилась о себе, урвав самые лучшие наделы, и совершенно непонятно, почему только одна их семья должна себе всегда во всем отказывать. По крайней мере будет стимул хотя бы на конец недели выбираться из города, вместо того чтобы просиживать вечера у телевизора, плестись в клуб на бездарные встречи или играть с приятелями в карты до поздней ночи. В конце концов и доктора советуют ему проводить больше времени на свежем воздухе, да и ей это не повредит, уж не говоря об их бедняге Саше, который ничего, кроме асфальта и пыли по дороге в школу и из школы, не видит.

Перед силой и убедительностью подобных доводов упорство обычно несговорчивого Харитона Михайловича вынуждено было отступить. Напрасно утверждал он, что всякая собственность — лишняя обуза и забота, а у него, не говоря уж про служебные обязанности, и так нагрузка большая — семья, дом, машина, которая требует присмотра все равно что малое дитя, и если к тому же он свяжется со строительством дачи, то совсем погрязнет в хозяйственных хлопотах. Начнутся беско-

нечные мытарства с рабочими и подрядчиками, они будут непременно его надувать и обманывать, а он, с его дотошной пунктуальностью и болезненным пристрастием к порядку, будет чуть ли не собственной кожей ощущать каждую недоделку и небрежность. Пойдут неизбежные дрязги с соседями по поводу подъездных путей или воды, а потом они будут вечно терзаться страхами, что в их отсутствие дачу обворуют, и при этом еще терпеть насмешки знакомых по поводу частнособственнических и чуть ли не буржуазных замашек новоиспеченных дачников, хотя это не помешает тем же острословам бесцеремонно набиваться к ним в гости или просто вваливаться в субботу или воскресенье с обычной присказкой: мол, заскочили на минутку, надеемся, не помешаем, а это значит, что придется оставлять приехавших ужинать, а потом до глубокой ночи убирать со стола и мыть посуду, в то время как гости будут преспокойно почивать в своих постелях. Словом, если подсчитать, во что обойдется такой дом и его дальнейшее содержание, то, без сомнения, окажется, что было бы значительно благоразумнее и экономней до конца своих дней ежегодно отдыхать на эти деньги летом и зимой в самых роскошных отелях у себя или за границей и пользоваться услугами других, вместо того чтобы самим обслуживать гостей. Не говоря уже о том, что собственная дача неизбежно привяжет их к одному месту и, обременив бесчисленными хозяйственными заботами, вызовет еше и зависть тех, у кого нет собственной дачи.

Однако как бы там ни было, в соответствии с известным изречением — если хочет женщина, значит, хочет бог — Харитон Михайлович наконец сдался и в преддверии лета купил в Гроцке «земельную недвижимость», или «усадьбу Янковича», как предпочитала величать упомянутый клочок земли его жена. Поначалу эта сравнительно узкая и длинная полоса заброшенной луговины, где-то между Дунаем и Смедеровским шоссе, ему совсем не понравилась; в теперешнем своем виде, заросшая бурьяном и колючим терновником, она больше смахивала на окраинный пустырь, отведенный под городскую свалку, чем на загородный надел, предназначенный для строительства дачи, и, озирая свое владение в обществе неразговорчивого крестьянина — продавца и будущего соседа, который топтался на месте точно застоявшаяся лошадь,— Харитон Михайлович испытывал досадное чувство человека, явно попавшего впросак. Впрочем, сразу же после оформления покупки — деваться уже было некуда — Харитон Михайлович приобрел каталог планов одноэтажных домов и после долгих колебаний и советов с архитекторами выбрал наконец то, что, как ему казалось, более всего отвечало его потребностям и средствам, и с помощью знакомых, используя свои старые связи, довольно быстро нашел подрядчика, вполне надежного и не слишком дорогого, и к весне следующего года подвел дом под крышу. И, словно бы совершенно забыв, что еще так недавно яростно противился этой покупке, чуть не каждый вечер стал наведываться на машине в Гроцку и с энтузиазмом, даже большим, чем у жены, взялся за отделку дома и расчистку участка.

В то лето они не поехали, как обычно, к морю, а целых пять недель, наблюдая за ходом работ, провели среди хаоса и беспорядка неналаженного хозяйства, среди нерасставленной мебели, живя жизнью таборных цыган и мыкая горе с поденщиками, которых они сами же задабривали выпивкой, а потом сетовали на их вечное пьянство, то изливая свои беды соседям, столь же поспешно возводившим дачи, то ссорясь с ними из-за мелких недоразумений и причиняемых друг другу неудобств. Но больше всего они страдали от комаров. Как только удлинялись вечерние тени и наступали сумерки, с придунайских болот налетали тучи комаров и с такой алчностью набрасыва-

лись на них, что вся семья вынуждена была спасаться бегством и прятаться в доме. Под конец лета все трое — сам Харитон Михайлович, его жена Милица и двенадцатилетний сын Саша — почернели, как цыгане, похудели и огрубели от тяжелой работы и постоянного пребывания под солнцем. Зато дом был готов и сиял свежей отделкой, так что Харитону Михайловичу перед отъездом в город самому захотелось пригласить на ужин друзей, чтобы отпраздновать новоселье и похвастать перед ними своим поместьем.

После того как дом был практически закончен, Харитон Михайлович с педантичностью, свойственной его натуре и профессии инженера, принялся разбивать сад и всю осень трудился в нем не покладая рук — нанимал поденщиков или сам приналегал на работу, особенно в конце недели, когда бывал свободен. Свое имение он обнес высокой и очень дорогой железной оградой, а вдоль нее посадил вьющиеся розы для защиты от любопытных взоров и непрошеных гостей.

Возле дома вдоль дорожек Харитон Михайлович заложил цветник, а по склону, ведущему к обрывам Дунайского берега, еще с осени подготовил почву под закладку будущего сада и виноградника, чтобы саженцы, которые он привезет, быстрее пошли в рост в перепревшей земле и скорее стали плодоносить. Тогда же он обзавелся и небольшой библиотечкой по садоводству и виноградарству и дома в вечерние часы, пока жена и сын сидели у телевизора, с увлечением их перелистывал и изучал, а на даче в Гроцке в чуланчике под лестницей разместил настоящий арсенал сельскохозяйственного инвентаря и инструментов, которого хватило бы для целой фермы. И все эти предметы, сияющие и новенькие, разложенные по полкам, словно в мастерской, пахнущие смазкой и в то же время опрятные и чистые, как из аптеки,— молотки, клещи, пилки, напильники, мотыги, грабли, садовые ножницы, секатор, опрыскиватель — он любил рассматривать и перекладывать и наслаждался этим, как коллекционер, который обозревает свою бесценную коллекцию картин, старинных монет или мебели, он испытывал вдобавок ко всем этим орудиям труда особое подобострастие интеллигента, тем более преклоняющегося перед ними, чем менее самому ему приходилось заниматься физическим трудом. Как-то на глаза Харитону Михайловичу попалось объявление в газете о продаже саженцев в пригородном плодовом питомнике, и он тотчас же отправился туда на машине, чтобы сразу закупить все, что ему требовалось. На огражденном проволокой пустыре, среди ворохов саженцев, подобно перекупщикам на скотном рынке. месила грязь толпа обшарпанных и по большей части немолодых людей, они переговаривались между собой на каком-то заговорщическом наречии, состоящем из неведомых ему загадочных слов типа: черенкование, вегетативный, подвой, окулировка, пасынкование. Ему казалось, что он, незваный, вторгся в чужое святилище и с неприятным ощущением своей здесь неуместности, быстро закупив по рекомендации справочников несколько десятков саженцев, в основном персиков, подхватил их в охапку, стараясь не повредить ни единой веточки, и осторожно, словно дитя из родильного дома, отнес в машину, чтобы отвезти в Гроцку.

Назавтра была суббота, свободный день. Харитон Михайлович, облекшись в джинсы, взял с собой сына и отправился в сад с веревкой и метром. Там он еще раз выверил междурядья, после чего с торжественностью, с какой государственные деятели, прибывшие в Белград, сажают тополя в Аллее Мира, высадил саженцы один за другим в подготовленные лунки. Вбил возле каждого деревца кол для устойчивости и, словно жетон на ошейник породистому псу, привязал к каждому стволу табличку в целлофане с названием сорта и датой посадки.

После чего, не будучи в состоянии управиться сам со всеми рекомендованными операциями, нанял садовника и вместе с ним опрыскивал, подрезал и удобрял заложенный им сад, защищая его от зайцев, укрывая от морозов, и трудился с таким напряжением, что его жена, видя все растущие расходы и предчувствуя неизбежное вследствие этого сокращение домашнего бюджета, высказала даже сомнение в разумности подобных затрат и спрашивала, не будет ли дешевле покупать фрукты у местных жителей, чем выращивать их ценой таких физических усилий и материальных вложений.

Между тем как раз саду больше всего сил и отдавал Харитон Михайлович; несравненно больше, чем дому и цветнику, предоставив заботиться о них жене. Исконный горожанин, он почитал земледелие тем краеугольным камнем, на котором держится мир, и, истово трудясь в саду, тешил себя мыслью, что впервые своими руками создает натуральный продукт, действительно полезный и нужный людям. К тому же и счастье ему улыбалось! Большинство саженцев прижилось, и с наступлением весны он уже любовался, как одеваются листвой, раскинув в стороны свои еще по-детски слабые и тонкие веточки, персики, абрикосы, яблони и сливы. Слегка иронизируя над самим собою, он говорил гостям, уже начавшим наведываться к ним в имение, что, не в пример другим дачникам, которые ограничились зеленым газоном вокруг дома, он заведет настоящее натуральное хозяйство и тем самым на какую-то сотую долю процента повысит национальный доход и будет способствовать прогрессу отечественного земледелия. И каждый раз после обеда и кофе, когда гости, расположившись в креслах, больше всего были склонны покурить, поболтать и подремать, Харитон Михайлович поднимал все общество и тащил осматривать сад. Напрасно пыталась остановить его жена, говоря, что, может быть, гостям это совсем не интересно и что он напоминает восторженную мать, заставляющую любоваться своими детьми,— ничто не могло отвратить Харитона Михайловича от его намерения. Отказать себе в этом было выше его сил, и, ведя гостей через сад, Харитон Михайлович с гордостью показывал им еще не окрепшие, худосочные деревца, как будто бы шел вдоль выстроившихся для парада полков или поочередно представлял начальников отделов какой-нибудь иностранной делегации в своем министерстве:

— Эти персики самые плодоносные в здешних краях. Ранние сорта: «спринг тайм», созревает уже в июне, «дикси ред» — двумя неделями позже, а потом подряд идут: «эльберта», «сан райз», «мери голд», «гале ранний», «шанхай», «блейк», «гале поздний» и другие.

Затем он переходил к абрикосам (их у него тоже было несколько сортов), грушам: ранним, карликовым и поздним и, наконец, к яблоням, демонстрируя гостям отдельные экспериментальные образцы. После произведенного осмотра хозяин поворачивал к дому кружной дорожкой и свита сопровождающих послушно следовала за ним, на пороге тщательно очищала обувь от грязи, исподволь оглядывая также и брюки, слегка перепачканные в земле.

— Все это по твоей милости! — корила его жена, когда после ухода гостей обнаруживала в комнате на ковре следы трудно смываемой глины.

А через год отдельные персиковые деревца, словно птенцы пухом, оделись редкими, нежно-розовыми, похожими на снежные хлопья цветами. Но держались цветы недолго. Они облетели так же быстро, как тают снежинки весной, и Харитон Михайлович (он, к несчастью, в то время был в командировке) напрасно потом отыскивал следы цветоножек на слабых, оголенных ветвях, досаждая жене расспросами о том, какие именно персики цвели и сколько было цветков на каждом

деревце. Когда же на ветках стали появляться первые листья, Харитон Михайлович, к ужасу своему, убедился в том, что персики поражены какой-то жестокой болезнью. Нечто вроде крапивницы или ветрянки обсыпало листья, словно бы кто-то ударил палкой по слабым детским пальчикам и на них остались вспухшие красные рубцы. Озабоченно исследуя признаки недуга, Харитон Михайлович принимался выяснять про напавшую на персики болезнь в своих справочниках, но не мог найти хоть какое-нибудь спасительное средство. С неохотой водил он теперь на место страшного разбоя гостей, которые, прознавши об агротехнических начинаниях хозяина, сами настаивали на том, чтобы он показал им сад. Когда же ему не удавалось от этого отвертеться и гости, видя его питомцев в столь плачевном и поникшем состоянии, осторожно осведомлялись, уж не напала ли на них какая-нибудь хворь, Харитон Михайлович в ответ мычал что-то неопределенное, предпочитая, как и положено родителю, не распространяться о недугах своего отпрыска.

Он ухаживал за деревцами, как за больными детьми. Следуя советам местных жителей, а также рекомендациям справочников, Харитон Михайлович опрыскивал саженцы разными средствами и обрывал с них пораженные листья, пока не получил от напавшей на них парши и химикалиев такую аллергию, что однажды ночью чуть не задохнулся от удушья, а по рукам у него пошли волдыри и он вынужден был остужать их в холодной воде.

На третий год после посадки, точно в положенный срок, персики дали более обильное цветение и кое-где на них образовались завязи. Поначалу это были едва приметные горошины, они медленно наливались соками, и каждую субботу, обходя их все поочередно, Харитон Михайлович отмечал даже незначительное прибавление в размерах.

— Заплодоносили! В этом году собираю первый урожай! — радостный и возбужденный, сообщил он жене и сыну, как только заметил завязи, и потом постоянно информировал своих о том, как растут и развиваются зеленые горошины. Было их, по правде говоря, совсем немного. Всего тридцать четыре штуки на шести начавших плодоносить деревцах. Харитон Михайлович их несколько раз пересчитывал и точно помнил не только количество завязей на каждом из стволов, но и их расположение на ветках.

Весна в тот год выдалась необычно теплая и сухая, и скорее благодаря этому, а не всяким противоядиям и повторному опрыскиванию персики гораздо меньше болели. Правда, и сейчас на них были съеженные и вздутые листья, но Харитон Михайлович, наученный печальным опытом прошлых лет, теперь надевал тонкие резиновые перчатки, в каких занимаются хозяйством женщины, чтобы сохранить маникюр. В синем комбинезоне, широкополой соломенной шляпе и в ярко-оранжевых перчатках, похожий на огромного гусака из цветного мультфильма, Харитон Михайлович маршировал весь конец недели по саду и двору.

В пятницу к вечеру он обычно был уже на даче, куда привозил с собой машинку и толстую папку с бумагами и проектами, которые следовало просмотреть за эти два с половиной дня, но, едва усевшись за работу в комнате или на открытой террасе, Харитон Михайлович начинал дремать и скоро приходил к заключению, что сейчас он просто-напросто не расположен к умственным занятиям и чересчур устал от своих служебных дел. Он просил жену сварить ему кофе покрепче, когда же и эта мера не помогала, Харитон Михайлович принимал решение пройтись немного по саду, чтобы развеяться, собраться с мыслями и несколько встряхнуться.

— Странное дело, но физический труд удивительно успокаивает и освежает,— говорил Харитон Михайлович жене, делая слабую попытку оправдаться.— Именно во время прополки и подрезки мне в голову приходят наиболее ценные мысли. Потом поработаю, когда разгоню сон.— И в своих оранжевых перчатках и с кошелкой со всем необходимым инвентарем: садовыми ножницами, секатором для обрезания винограда, мочалом и пиретрумом от тли — Харитон Михайлович вразвалку направлялся в сад. Он выпалывал там каждую травинку, пробивавшуюся в круге разрыхленной земли под посадками, пока от непрерывного сгибания и разгибания не начинало темнеть в глазах. Отщипывал отростки на молодых виноградных лозах, срезал с живой изгороди непокорные плети и, конечно же, осматривал завязи на персиках, придирчиво заглядывая под каждую ветку. Домой он возвращался умиротворенный и довольный, но теперь уже было слишком поздно приниматься за работу, и так как дни были еще сравнительно короткими, а вечера довольно прохладными, он сидел в гостиной и смотрел телепередачи. В действительности же, лишь подсознательно воспринимая происходящее перед ним на экране, как часто теперь бывало с ним во время скучных совещаний и нудных речей, он уносился мыслями в свой сад, полный плодов, подобно ребенку, не отделяющему фантазию от реальности. Воображению Харитона Михайловича представлялись ветви, сгибающиеся от богатого урожая, и то, как он собирает еще покрытые пушком персики и складывает их в корзинки или специальные лотки, как заправский фермер, отправляющий товар в столицу.

— Дали завязи! — радостно восклицал он, словно сообщая о прибавлении семейства, и тащил гостей, зачастивших к нему в тот год уже ранней весной, осматривать плоды своих трудов.— «Спринг тайм» и «дикси ред». Тридцать четыре завязи, как пить дать. Пойдемте, убедитесь сами. Да оставь ты нас, Милица, в покое, это надо видеть своими глазами. Никакое это не бахвальство, а констатация факта. Да, так благодарная природа воздает нам за труды!

И вот уже гости, гуськом друг за другом послушно плетутся за хозяином по узкой дорожке, рассматривая этот свой поход как плату за оказанное им гостеприимство.

— Вот они! — говорил Харитон Михайлович, приподнимая ветку, словно снимал покров с еще не освященного монумента и торжественно представлял собравшимся произведение зодчего. На тоненьком голом прутике сидели, сбившись в кучку, три горошины, и не успел Харитон Михайлович опустить ветку, как один из гостей, Тома Маркович, тот самый, который вызывал в нем наименьшую симпатию, из жениной родни, вознамерился пощупать их руками.

— Нет, нет! — воскликнул, ужаснувшись, хозяин, но было уже поздно. Гость, испугавшись, резко отдернул руку, и одна из горошин осталась у него на ладони. Оба смотрели на горошину потрясенные и обескураженные, словно это была чья-то снятая с плеч голова.

— Ну и напугал ты меня! Что ты так кричишь? — вскипел родственник и сунул горошину поникшему Харитону Михайловичу. Тот зажал завязь в кулаке и кратчайшим путем поспешил увести гостей из сада, решив никогда их больше сюда не пускать.

«Тридцать три»,— резюмировал Харитон Михайлович про себя, вычитая единицу из общей суммы завязей.

В следующую субботу под тем же персиком, его любимцем, самым рослым и обещавшим наиболее обильный урожай, он обнаружил три без времени опавших, сморщенных и пожелтевших плода. Не веря собственным глазам, пораженный в самое сердце, в оцепенении смот-

рел на них Харитон Михайлович. Оглядев внимательно ветви, он удостоверился в том, что именно этих, поверженных в грязь плодов недоставало на привычном месте. Он было подумал, что и тут виной всему бесцеремонная рука злосчастного родственника, но затем и под другими персиками обнаружил без времени опавшие плоды. Он пересчитал их все: двенадцать штук, значит, на ветвях остался в общей сложности двадцать один плод. Опечаленный, взирал Харитон Михайлович на горстку паданцев, уместившуюся у него на ладони, а потом в дальнем краю сада, у ограды, где нашлось немного рыхлой земли, выкопал небольшую ямку и схоронил их. Он не сказал о случившемся даже своей жене. Он воспринимал это как свое личное поражение, признать которое сразу, сейчас, у него не было сил. Немного смирился он, лишь когда заглянул в свои справочники, да и соседи убедили его в том, что случившееся отнюдь не является несчастьем, поразившим лично его, а неким общим и естественным процессом, неизбежным на первых порах развития фруктовых деревьев. Саженцы в его саду еще слишком слабы, чтобы дать настоящий урожай, и сама природа регулирует их плодоношение, освобождая от нежизнеспособных, худосочных завязей, которые было бы им не под силу вскормить.

И хотя в садоводческих книгах давалось научное объяснение поведению саженцев, Харитон Михайлович испытывал легкое чувство досады, считая, что его питомцы проявили неблагодарность по отношению к нему, их опекуну и, так сказать, родителю. Могли бы ради него несколько поднатужиться и извлечь корнями из почвы лишнюю каплю влаги, недостающую для питания плодов. С их стороны отсутствие заботы о собственном потомстве — это явное безрассудство, и Харитон Михайлович взирал на саженцы с тем осуждением, с каким неподкупные судьи смотрят на преступную мать, бросившую своего ребенка. Или как на распущенную молодежь, чье безнравственное поведение обмануло лучшие ожидания. На некоторое время Харитон Михайлович забросил прополку и регулярный обход фруктовых деревьев — он опасался наткнуться в саду на какой-нибудь новый сюрприз. Но однажды, во время очередного визита гостей, его жена, не зная, как бы выпроводить их из дома, чтобы спокойно приготовить обед, сама предложила ему показать гостям сад.

— Тоне, что же ты не сводишь гостей в сад и не похвастаешься своими агрономическими успехами! Знаете, у него персики дали первые завязи. Целых тридцать четыре штуки! — очевидно, забыв об одном плоде, сорванном ее незадачливым родственником и не подозревая о двенадцати паданцах, заявила жена.

— Двадцать одна! — поправил ее пунктуальный Харитон Михайлович, это был подходящий случай, чтобы сообщить ей то, о чем он не решался сказать раньше.— Кое-какие завязи упали из-за засухи.

Все же он повел гостей к своим любимцам, но, памятуя о печальном опыте, показывал теперь персики с некоторого расстояния, стараясь встать каждый раз между гостем и деревом и пресекая тем самым любую попытку трогать плоды руками. Его питомцы совсем оправились после болезни, оделись в новый, светло-зеленый наряд, выпустили свежие побеги и приобрели очертания взрослых деревьев. На ветвях висели плоды величиной уже с детский кулачок, зарумянившиеся с боков, словно девичьи щечки.

— Вот это да! — на сей раз совершенно искренне изумлялись гости.— Смотри-ка ты! Да они уж, кажется, созрели, Харитон!

— Нет, нет, нет! — спешил он разуверить приятелей.— Этот сорт созревает через двадцать пять дней. Справочник дает совершенно точные сведения,— и хозяин повел гостей дальше, рассказывая о других саженцах: «шанхай», «мери голд», «сан райз», «эльберта».

— Слава богу, уехали! У-ух! — облегченно вздохнула жена, убирая посуду со стола.— Устала. Зато уж завтра, надеюсь, никто к нам не нагрянет и мы проживем день спокойно.

Жена оказалась права — назавтра никого у них не было, да и быть не могло, так как еще вечером накануне со стороны Белграда на них надвинулись тяжелые тучи, пронесся ураганный ветер и разразился ливень с градом. Они быстро сложили большой цветной зонт, унесли в помещение стол и стулья и заперлись в доме. Прильнув к стеклу, они смотрели сквозь мутные потоки ливня, как на дворе неистовствует буря, и вздрагивали из-за угрожающе близких ударов грома и шквальных порывов дождя с градом, от которых дребезжали стекла.

Гроза длилась всю ночь и утихла только под утро. Облака, поредев, стали расползаться, и наконец выглянуло солнце.

Невысохшими, скользкими дорожками, стараясь не запачкать брюки, Харитон Михайлович пробирался в сад, заранее трепеща от того, что его там ожидало.

Все было, однако, не так страшно, как он предполагал. Надежно подвязанные и еще невысокие виноградные лозы стойко выдержали порывы ветра и потеряли разве что лист-другой. Дождь примял траву, и теперь она напоминала мокрую, лысеющую шевелюру. С персиков облетели пораженные болезнью листья, что было им только на пользу. Харитон Михайлович боялся взглянуть на землю, охваченный тревогой — что сталось с урожаем? Да, погибло семь плодов: три валялись под одним деревцем — это было все, что на нем еще оставалось, и по два плода под соседними стволами. Треть урожая после ранее понесенных потерь! Харитон Михайлович нагнулся и подобрал паданцы, словно это были павшие на поле брани. Потом он вернулся домой и выложил их на стол перед женой. Перепачканные землей, подрумяненные с одной стороны, с дождевыми каплями, блестевшими на них, как слезы,— это была сама невинность, втоптанная в грязь.

— Боже мой, ты что, в самом деле! Прямо как ребенок! — воскликнула жена.— Ну, можно ли так переживать! Да ты на рынке за гроши купишь вдвое больше.

— Дело тут совсем не в этом. Мы столько истратили, что могли бы на эти деньги есть этих самых персиков все лето до отвала. Но меня возмущает несправедливость. Несправедливость судьбы по отношению ко мне. Как будто бы землетрясение разрушило построенный мной мост как раз накануне его торжественного открытия. Я так мечтал, когда они созреют, выложить их перед вами на стол. Поверь, я бы их и не попробовал — для меня это все равно что впиться зубами в собственную плоть. Я бы наслаждался самим их видом и тем удовольствием, которое я вам доставил. Вот в чем тут дело. Ты меня понимаешь?

— Остался там хоть один еще не ветке?

— А как же. Еще четырнадцать штук. Девять на одном стволе и пять на «дикси ред».

— Ну и отлично, вот ты ими нас и угостишь, когда они созреют. И больше не горюй о них, пожалуйста. И если хочешь, помоги мне накрыть на стол, а я пойду разбужу Сашу.

Утешение принесли не столько эти ее речи, сколько оставшиеся на ветвях плоды. Обильно напоенные дождем, они на глазах наливались соками и улыбались своему хозяину из листвы румяными щечками.

Наступило лето. Кончились школьные занятия, и поскольку у семьи был теперь собственный загородный дом в прекрасном месте, они решили и на этот раз не ехать к морю, а провести весь отпуск

здесь, в своем уютном имении. И не пожалели об этом. Лето было прекрасное — теплое, солнечное, но не слишком жаркое, а так как их приятели в основном разъехались по курортам, не было ни чрезмерной суеты, ни слишком частых визитов. Милица старалась не утомлять себя домашними делами, муж помогал ей, отправляясь на машине за продуктами на рынок, где было много овощей и фруктов, и все они втроем впервые в жизни наслаждались непосредственным общением с природой и прелестями тихой деревенской жизни. Они наблюдали, как по утрам стадо уходит на пастбище, позванивая привязанными к шеям колокольчиками, Саша возился с ягнятами на соседнем крестьянском дворе. Семья спала с открытыми окнами, слушая цикад и пение птиц и всю ночь вдыхая нежные запахи полевых цветов и свежескошенной травы. Ложились рано, вставали тоже рано, умытыми росой утрами читали газеты, пили кофе, после чего отец с сыном, закинув за спины длинные удилища, отправлялись на рыбалку на Дунай, купались в ленивой летней воде и подолгу загорали на песчаных отмелях тут же под домом.

Харитон Михайлович особо ценил священный ритуал ежедневного обхода сада и любимых персиков. Обычно он брал с собой и Сашу, ощущая потребность поделиться с кем-то своей радостью. Кроме того, он хотел приобщить сына к земле, с детства привить ему любовь к природе и к сельскому труду, без чего — как с некоторых пор любил выражаться Харитон Михайлович — людям грозит опасность оторваться от корней.

Мальчик был тихим, светловолосым, молчаливым, чересчур застенчивым и чересчур меланхоличным для своего возраста. Огражденный от улицы и общества сверстников, Саша проводил все время за чтением и за уроками и вырос скованным и робким, что, по глубочайшему убеждению Харитона Михайловича, могло помешать сыну в дальнейшем бороться с разными жизненными трудностями, и он надеялся закалить мальчика в непосредственном контакте с природой. Вместе с тем Харитону Михайловичу хотелось установить более теплые отношения с сыном, которые все никак не удавалось наладить из-за постоянной занятости, и сблизиться с ним именно теперь, в пору формирования личности, когда мужская дружба особенно благотворно сказывается на психике подростка и связывает, как утверждают, отца и сына неразрывными узами сердечности и доверия.

Итак, они брали соломенные шляпы, корзинки с инструментами: тяпками, секаторами, ножами для прививки — и отправлялись в сад. Харитон, будто на утреннем обходе больничных палат, производил тщательный осмотр деревьев, давая при этом сыну подробные пояснения.

— «Мери голд»,— говорил он, останавливаясь перед саженцем персика,— отличается, как видишь, шероховатой корой и обилием побегов, которые необходимо прорежать весной и осенью. Этот сорт образует крону в виде чашечки, что обеспечивает оптимальное прогревание солнцем внутренних ветвей и повышает активность плодоношения. «Гале поздний» в отличие от других не является самоопыляющимся и созревает позднее других. Его мы посадили в порядке эксперимента, посмотрим, как он будет себя вести.

Но дольше всего задерживались они возле персиков, отягощенных плодами.

— А разве их не пора собирать? — осмелился вымолвить молчаливый мальчик при виде румяных налитых плодов, явно испытывая желание запустить в них наконец-то зубы. Для отца между тем они имели совсем другую, символическую, а не потребительскую ценность, и Харитон вздрогнул, неприятно задетый словами сына. К сча-

стью, он тотчас же сообразил, что Саша, в сущности, еще ребенок, но все же не упустил случая заметить, что даже самые свои горячие желания следует контролировать разумом. Когда он станет взрослым, ему придется чаще сталкиваться с разными искусами, и если с детства научиться сдерживать себя, то нетрудно будет перед ними устоять. А вообще-то, прибавил Харитон, как раз сейчас во всех плодах накапливается сахар, и чем больше терпения проявят хозяева, тем слаще будут персики. Садоводческий календарь рекомендует приступать к сбору урожая этого сорта в конце месяца — значит, надо ждать еще неделю.

Мальчик, послушный и робкий, нисколько не противился и, следуя за отцом по пятам, подавал ему то один, то другой инструмент.

— Дай ножницы, Саша, надо отрезать вот этот дикий отросток! А теперь мочало, подвяжем вот эту ветку, чтобы ее ветром не пригнуло.

А потом они, этакие труженики полей, большой Харитон и маленький, хрупкий Александр, оба в синих джинсах и рубахах с закатанными рукавами, с перепачканными землей руками, раскачивающейся походкой — в подражание местным жителям — возвращались домой и, сев за стол на террасе, ждали, когда им подадут заслуженный батрацкий ужин.

Так же безоблачно протекали и другие дни. Время проходило незаметно, и они чудесно отдыхали.

— Осталось шесть дней! — говорил Харитон Михайлович сыну и, словно на ракетодроме перед стартом космического аппарата, когда отсчитываются последние секунды, продолжал отмерять день за днем: осталось четыре, три, всего два дня!

Можно было бы собрать урожай и в субботу, но лучше уж им подождать еще один день, для верности, тем более что как раз на воскресенье приходится день маминого рождения. Они встанут пораньше, выскользнут потихоньку из дома, возьмут с собой садовые ножницы и корзинку, нарежут роз, а уж потом приступят к сбору персиков. И поставят на террасе цветы и фрукты. Что может быть лучше этого подарка маме в день ее рождения — преподнести ей плоды совместного труда!

— Ты согласен со мной? — запросто, по-товарищески спрашивал сына Харитон и сам себе утвердительно кивал головой.

Перед решающим днем они еще раз обошли сад, персики с одного бока были шафранно-апельсиновые, с другого — алые, словно черешня. Нагнувшись, Харитон Михайлович вдохнул их запах и сыну велел ткнуться носом в персики и глубоко втянуть в себя их аромат. Они еще вечером, как истинные конспираторы, приготовили корзинку и садовые ножницы и, не дождавшись окончания телевизионных передач, отправились в свои спальни и мирно заснули.

Когда Харитон, проснувшись спозаранку, вошел в комнату сына, он застал его уже почти одетым. По случаю предстоящего семейного торжества они принарядились, собираясь на сей раз отправиться в сад в полном парадном облачении. И едва рассвело, выскользнули из дома.

Вокруг тишина и покой. Еще не пробудилась жизнь в природе и в домах.

Сначала отец с сыном пошли в розарий и нарезали с два десятка крупных темно-красных роз, ронявших на руки Харитона капли росы.

— Так,— промолвил он, обламывая со стеблей колючки и складывая розы в корзину.— Теперь можно и за персиками отправиться! — И от этих слов сердце его радостно запрыгало в груди.

Тихо, почти крадучись, вошли они в сад, и как раз в это мгновение он весь озарился праздничным сиянием от тысячи огней, зажженных первыми лучами солнца в каплях росы. Несколько шагов — и они у цели.

— Подержи корзинку! — сказал Харитон сыну.— Двумя руками мне будет удобней снимать. Хочется донести их до стола прямо с пушком.

Он протянул мальчику корзинку, тот ее безмолвно принял. Харитон поднял ветки, ожидая найти плоды на том самом месте, где они так долго под его присмотром зрели. Но персиков там не было. Дрожащими руками приподнял он отяжелевшие от влаги ветви, надеясь обнаружить персики в потаенных глубинах кроны,— видно, они нарочно прячутся от него, прознав о том, что их ожидает. Однако он не обнаружил персиков и там. Плоды исчезли. Испарились.

Харитон Михайлович молча распрямился. Лицо его влажно блестело то ли от росы, то ли от внезапно выступившей испарины. Он осмотрелся вокруг, как бы проверяя, к тому ли он подошел дереву. Сомнений не было, это было то самое дерево, только обобранное за ночь и неузнаваемо изменившееся. Не обнаружил Харитон Михайлович плодов и на соседнем «дикси ред». Во всем саду не осталось ни одного-единственного персика.

Застыв на дорожке в двух шагах от деревьев, Харитон Михайлович пытался осознать случившееся и мысленно нарисовать картину недавних событий. Под кронами деревьев на рыхлой земле отчетливо были видны следы чьих-то ног и валялись еще не увядшие листья, оборванные в темноте неизвестным грабителем.

Харитон Михайлович окончательно пришел в себя. Определил по следам путь ночного вора и место, где он влез в сад через раздвинутые прутья и живую изгородь. Тут только Харитон Михайлович вспомнил о Саше, примолкшем за его спиной, и повернулся к нему.

Мальчик уже понял, что случилось. Слова, всякие объяснения были излишни. Рот мальчика искривился, рыдания душили его. Корзину, из которой высыпались розы, он отшвырнул к отцовским ногам и с громким плачем кинулся к дому.

— Саша, Саша, остановись! — кричал ему вдогонку отец, но сын его не слушал. Харитон Михайлович нагнулся, сложил розы в корзинку и, не оборачиваясь больше на сад, ставший местом гнусного преступления, зашагал прочь со своей ношей, и эта ноша показалась ему теперь такой тяжелой, как будто бы она вмещала в себя весь груз постигшей его беды. Харитона Михайловича поразила не только варварская жестокость осквернителя, столь бесцеремонно вторгшегося в его жизнь, не только сам этот дикий поступок, принесший преступнику столь ничтожную выгоду. Он ощутил в тот миг, как что-то рухнуло в его отношениях с сыном, причинив хрупкому строению возводимой им дружбы непоправимый ущерб. Харитоном овладело глубокое безразличие и к саду с его фруктовыми деревьями, и к самой этой злосчастной усадьбе, оказавшейся в центре бандитского гнезда. Тогда же, на праздновании дня рождения жены, Харитон Михайлович, все еще возбужденный и негодующий, объявил ей о принятом им решении той же осенью продать участок вместе с дачей и вернуться к прежнему городскому образу жизни и привычным занятиям, и как ни пыталась Милица успокоить мужа и уверить его в том, что для такого опрометчивого шага нет никаких серьезных оснований, она не смогла его переубедить.

Бездетная чета

Неизвестно, как они сюда попали. Просто-напросто однажды очутились в городке, словно бы слетели с ясного неба. И потом так же внезапно появлялись в самых разных местах — у причала, на пляже, под пальмами в парке, среди развалин старой крепости,— похожие на беспокойных птиц, которые без видимой причины вдруг взмывают ввысь и так же неожиданно и одновременно опускаются на землю. Казалось, эта их непоседливость и снедающая жажда все видеть, вобрать в себя все впечатления, вдохнуть весь воздух и захватить все солнце как бы даже не оставляла этим красивым и таким еще юным влюбленным — может быть еще и не успевшим пожениться — достаточно времени друг для друга. По крайней мере днем, когда они были у всех на виду.

Они не бродили по улицам под руку, а тем более в обнимку в отличие от остальных парней и девушек, чьи руки так и тянулись друг к другу, и никому не довелось застигнуть их целующимися хотя бы и мимолетно, как целуются птицы на ветках, в одно воздушное, бесплотное касание. Они не уединялись в сумерках где-нибудь в укромном уголке, а днем не искали пустынных пляжей, где можно было бы обниматься вдали от любопытных взглядов. Безудержная погоня за впечатлениями и радостями жизни положительно не давала им возможности целиком принадлежать друг другу.

Местным жителям они представлялись подростками, сбежавшими из-под родительского надзора, но стоит беглецам истратить деньги и отгулять короткие каникулы, как они поневоле должны будут вернуться под отчий кров По утрам, довольно рано для молодой четы, которой ночь всегда должна казаться слишком короткой, они уже пили кофе у Тония, едва тот успевал открыть свое заведение и застелить скатертями два металлических столика у входа. Потом дожидались рыбаков в заливе и, наблюдая за ними, спрашивали названия неведомых рыб, только что извлеченных из сетей. Их заставали женщины на кладбище, где они разглядывали старые тяжелые надгробные плиты, вчитываясь в полустертые имена давно усопших. На базаре они обходили зеленные ряды, рассматривая выставленный товар, а потом тут же, на площади, мыли под струей источника купленные фрукты и ели их, прогуливаясь по пирсу перед купанием. Огрызки фруктов и корки хлеба они бросали рыбам и глядели, как те уволакивают добычу в глубину, подхватывая ее, как ветер подхватывает детские бумажные кораблики.

От приезжей публики молодая пара держалась в стороне, но в тот первый год почти и не было туристов в этом захолустье, да и времени заводить знакомства молодым людям совсем не оставалось, поскольку их короткий отпуск быстро подошел к концу, и в один прекрасный день они исчезли так же внезапно, как и появились. Был конец лета, начало осени, и ласточки улетали, покидая свои гнезда под стрехами и ничем заранее не обнаруживая своих намерений.

Когда они снова явились сюда на следующий год, люди уже успели их забыть.

— Ну как же! — напоминали они о себе.— Мы еще в прошлом году были здесь, примерно в это же время. Снимали комнату у тетки Луци возле базара, сразу за пекарней.— И они снова порхали, как в прошлый свой приезд, по городку и округе и даже забрались на церковную колокольню и на самый высокий холм над городком. Пробыв пятнадцать дней, они уехали, но здешние места, как видно, так полюбились им, что долгое время потом из года в год они каждое лето

приезжали в городок и проводили здесь свой отпуск, который был уже теперь не таким коротким. Постепенно они тут стали своими, и местные жители, начиная от почтаря Стипы до городского чудака и оригинала дядюшки Ники, при встрече на улице приветствовали их, раскланиваясь и снимая шляпу.

Останавливалась молодая чета, по обыкновению, у тетки Луци, предварительно в один и тот же день извещая свою хозяйку о приезде. Кажется, ничего не менялось из года в год, менялись только они сами, менялись их вкусы и склонности.

Он был крупный, высокий и светловолосый, в самой первой поре юношества, несколько неуклюжий и неловкий. Он с трудом размещал ноги под столом, долго не мог устроиться в лодке и случалось, что, задев бокал своей крестьянской ручищей, проливал вино или воду на колени соседа. Она была чуть пониже его, именно такого роста, какого должна быть стройная, хорошо сложенная девушка. Несомненно привлекательная, гибкая, сильная и широкоплечая с выпуклыми яблочками маленькой, почти еще детской груди, она, однако, не была такой неотразимой красавицей, что всем бросается в глаза и покоряет с первого взгляда. Ее прямые русые волосы в конце лета становились светло-пепельными и каскадом падали на плечи. У нее был тонкий, чуточку вздернутый нос и ровная, сдержанная манера разговора, что придавало известную холодность ее подчеркнуто педантичному облику. Она и радовалась реже и тише, едва растягивая бесцветные тонкие губы, тогда как его деревенский громкий хохот, обнажавший ряд крупных зубов в верхней челюсти, напоминал лошадиное ржание. Коренные жители посещаемых туристами мест не имеют обыкновения утомлять гостей расспросами, опасаясь перегрузить свою память чрезмерными познаниями. Но все же мало-помалу, частично на основании собственных наблюдений, частично на основании случайно оброненных фраз, они могли составить о них представление в самых общих чертах. В первые свои приезды — возлюбленные (в их случае точнее было бы сказать: нареченные или помолвленные), позднее, во второй или третий свой приезд в городок, они уже прописались под общей фамилией — Стаич. Они растягивали слоги, едва ли не удваивая гласные, словно пережевывали вязкую хлебную мякоть, и одного этого красноречивого признака было достаточно, для того чтобы понять, что явились они из равнинных краев, простиравшихся за большими реками. Они родились в одном городке: он — на самой окраине, переходящей в деревню, она же — единственная дочь аптекаря — жила в самом центре; знакомы они были с малолетства и, вероятно, еще в детских играх обручились друг с другом. И хотя он был старше ее — на два или три года,— они учились вместе. Он готовился стать инженером-механиком, но, возможно, задержался на курсах или служил в армии, так что она, будучи способнее, догнала его еще до окончания университета, где изучала географию или историю на философском факультете. Скорее всего они только что получили дипломы, когда впервые набрели на этот городок, а в следующий свой приезд оба уже работали: он в качестве инженера на сахарном заводе, она — преподавателем гимназии.

Как все жители глубинных районов страны, они были без ума от моря и были совершенно очарованы растительным царством здешних широт — всеми этими пальмами, апельсинами, лимонами, кипарисами и даже самыми обыкновенными колючими кактусами. В этом их неустанном любовании и постоянном восхищении окружающим была и известная тяга к экзотике, и неутоленная жажда красоты, свойственная людям, вынужденным жить под тяжким пологом низкого, серого, дождливого или пыльного неба, на равнине, где не на чем остановить-

ся взгляду, кроме грязных луж, которых надо пуще всего опасаться, чтобы не завязнуть в них по щиколотку.

— Посмотри на эту пальму! Как она выросла! — говорил он, а она между тем вспарывала ногтем апельсиновый или лимонный лист, как бы проверяя, настоящий он или сделан из пластика. И эта их восторженная склонность ко всему, что являлось принадлежностью Средиземноморья, поддерживала тот энтузиазм, который неизменно приводил их сюда, в то время как вокруг, да и в них самих происходили подспудные перемены. Ибо даже в этой паре, такой нежной и преданной друг другу, все же намечались некоторые мелкие расхождения во вкусах, хотя и контролируемые и подавляемые. Он, например, любил отправляться на море с рыбаками и потом часами ждать на берегу их возвращения или наблюдать за тем, как они разбирают сети, до тех пор, пока она настойчивее, чем обычно, не тянула его за рукав. Ее раздражало это долгое сидение на берегу, в особенности когда ветер гнал с пучины мелкую волну. Бесконечная череда волн, бившихся в скалы, вызывала в ней приступ тошноты, и она, входя в воду, никогда не могла избавиться от смутного страха. Она купалась подолгу и часто, но редко удалялась от берега и голову всегда держала высоко над водой — точь-в-точь как змея, шутил ее муж — якобы для того, чтобы не замочить волосы, на самом же деле опасливо сторонясь чуждой ей водной стихии. В отличие от него ей нравилось обозревать всякие достопримечательности и старину — здания, церковную роспись, так же как и старушек, сидящих на крылечках своих домов или на низеньких скамейках с вязанием, и тогда наступал его черед тормошить ее за плечо и увлекать за собой.

На третий год своего пребывания в городке — тогда уже определенно супруги,—Стаичи меньше скитались и бродили по окрестностям. Впрочем, они уже и так досконально здесь все изучили и ничего нового открыть не могли. После целого года напряженной работы им просто хотелось от всего отдохнуть, насколько позволял двухнедельный отпуск. Теперь они были внимательнее к себе. Они стремились захватить как можно больше солнца, но поскольку оба были белокурые и белокожие и однажды получили сильные ожоги, они теперь не вели себя так опрометчиво, как прежде. Наученные горьким опытом, к мудрой осмотрительности они добавили кое-какие защитные меры, применяемые ими в строго ритуальной последовательности. Они привозили с собой чуть ли не полный чемодан разнообразных кремов и масел и самозабвенно мазались ими с головы до пят, а также кучу пелерин для предохранения от ожога после купания, махровых простынь и, наконец,— свидетельство повышения зарплаты — темные очки, широкополые шляпы, пляжные туфли, раскладные шезлонги, надувные подушки и в довершение всего зонт от солнца, чтобы можно было прятаться в его тени от полуденного зноя. В отличие от первых лет своего пребывания в городке, когда свободные, ничем не обремененные, они носились по округе, теперь они тащились на пляж, нагруженные сумками, заплечной поклажей, и даже на голове умудрялись что-то нести, напоминая собой экспедицию, отправляющуюся в длительный поход в необжитые и дикие тропики, или кочевников, вынужденных перемещаться со всем своим скарбом.

Там, на пляже, они распаковывали свой багаж и начинали устраиваться. Постоянные в своих привычках и привязанностях, они были верны и однажды сделанному выбору, уверенные в том, что с первого раза нашли наиболее удачное место на берегу, каким-то образом не примеченное другими. Они разбивали свой лагерь в самом начале небольшой уютной бухты. Здесь, как они объясняли, солнце падало на них под самым правильным углом, в знойной полдень была тень и

прохлада, а песок был самый мелкий и чистый. Отсюда открывался прекрасный вид на пирс с лодками и баркасами на приколе и на морскую даль с проходящими мимо них, словно на кинематографической ленте, кораблями. В том, как они располагались на пляже и раскладывали вещи, было столько от священного обряда, что другие отдыхающие безропотно уступали им облюбованное место и, уважая их права первооткрывателей, обосновывались на приличном расстоянии от молодой четы, а не то и вообще на другом краю бухты, особенно если были с детьми.

Скинув с себя поклажу, он помогал разгрузиться жене. Затем ей в первую очередь устраивал место для лежания, тщательно расстилая простыню на песке, разглаживая ее рукой и внимательно следя за тем, чтобы не обсыпать песком, а потом с чисто инженерной сноровкой организовывал второе место для лежания, строго параллельное первому. Поместив надувные подушки в изголовье, он тут же на расстоянии вытянутой руки раскладывал все остальные необходимые им мелочи. После этого они сбрасывали одежду и оставались в купальных костюмах, надетых еще дома. Тщательно сложив одежду, не нужную им теперь вплоть до того момента, как они отправятся обратно в городок, они приступали к процедуре натирания маслами и кремами, стараясь при этом не оставить ни пяди неумащенной кожи, подобно гладиаторам, выходящим на арену цирка, или сектантам при религиозном посвящении. Для этого им приходилось изгибаться и выкручиваться, доставая до пяток и щиколоток и совмещая таким образом с ритуалом умащивания элементы шведской гимнастики, предохраняющей от преждевременного ожирения и окостенения суставов. Руки, ноги и плечи у них блестели, словно покрытые лаком, а вокруг распространялось благоухание кокосового масла и еще каких-то ароматических средств, которые ее отец-аптекарь добавлял в специально приготовленные по его рецепту кремы. После этого они медленно опускались на колени, словно готовясь совершить намаз, и наконец вытягивались на своих обрядовых ковриках и замирали в блаженной истоме, каждый час отправляясь в море и долго в нем охлаждаясь и плавая.

Они возвращались в городок, медленно плетясь под палящим зноем по пыльной дороге, нагруженные скарбом, как таборные цыгане.

Они и правда покрылись загаром за относительно короткий срок, а волосы у них выгорели. И под вечер, сидя у Тония, они беспрерывно любовались своим загаром, муж играл бицепсами, она же оглядывала свои плечи — предмет ее особой гордости. Они сравнивали, кто лучше загорел, и требовали от прислуги и знакомых похвальных отзывов в адрес своей потемневшей кожи, словно это было какое-то значительное спортивное достижение, которым можно гордиться.

Еще через год их снаряжение значительно обогатилось. К нему прибавилось два фотоаппарата с набором целой серии экспонометров, фильтров и объективов, а также специальных справочников, в которые они поминутно заглядывали. Снимали Стаичи все подряд. Пальмы, море и окрестные горы, церкви и развалины старого города, рыбаков, лодки и сети в заливе. Они теперь не просто любовались окружающим, как раньше, они разглядывали его сквозь линзы фотоаппаратов, подыскивая объекты для фотографирования и боясь что-нибудь пропустить, как прежде они боялись упустить что-нибудь из удовольствий или радостей жизни. Они теперь все время отбирали. Но не впечатления и не знакомых для себя, а «типажи» и «сюжеты» для кадра! Не то, что им доставит наслаждение, но прежде всего то, что должно быть продемонстрировано другим, а для них послужит лишь приятным воспоминанием.

— Посмотри, какой закат! Снимай скорее! — восклицала она, таща мужа за собой на террасу или к окну, а сидя с ним у Тония, призывала его запечатлеть облако необычной формы, напоминавшее ей вставшего на дыбы жеребца, а ему — фольклорного дракона, изрыгающего огонь из всех своих глоток. Словно задавшись целью стать фотографами-профессионалами и осенью в каком-нибудь салоне открыть выставку своих работ, они переснимали все кипарисы и все церкви в округе, базарных торговцев, старушек на порогах домов, рыбаков, латающих сети, спокойное море, когда оно напоминает разлитое масло, и море, мерно катящее волны. Но беда заключалась в том, что в результате действительно удачными оказалось всего несколько снимков, поскольку вся эта новейшая техника была для них слишком сложной, а для создания желанных «кадров» им не хватало мастерства,— как бы там ни было, но на следующий год они уже не так неистовствовали, гоняясь за «сюжетами», и всего одну или две фотографии показали местным жителям, однако те, привычные и к грозам, и к дождям, и к облакам, и к кипарисам, ежедневно ими наблюдаемым, не слишком-то восхищались их изображениями.

Несмотря на то что и этим летом фотоаппараты были с ними, Стаичи ограничились тем, что по преимуществу снимали хозяина заведения Тония и его престарелого помощника Трипу в белой кельнерской курточке и залоснившихся черных брюках; свою хозяйку тетку Луцу, потерявшую тем временем два передних зуба, и рыбака Тому на скамейке в тени зонта, латающего сеть. И вовсе не для создания экзотического типажа, а просто чтобы сделать приятное тем, кому они были обязаны. Таким образом за два года многие местные жители получили от Стаичей фотографии по почте в течение зимнего сезона или летом, когда молодая чета снова объявлялась в городке с целой пачкой снимков.

Но то ли надоело Стаичам возиться с фотоаппаратом, то ли они поняли, что потребности местного населения в изображениях удовлетворены на несколько лет вперед, только на следующий год молодая чета целиком перешла на цветные слайды, чтобы показывать их дома гостям, а вскоре, после того как в одной зарубежной поездке он приобрел по случаю первоклассную кинокамеру, вместо захода солнца, рыбаков с сетями, вместо портретов хозяйки тетки Луцы и других ближайших соседей они стали запечатлевать на пленку все, что находилось в движении: детей с мячом, чайку в полете, скользящую по морю лодку, при этом сами они оставались в неподвижности на скамье или в шезлонге. В отличие от первых лет своего здесь пребывания они непрерывно снимали друг друга, видимо почувствовав скоротечность уходящего времени и пытаясь его увековечить для себя, чтобы потом в далекой Воеводине, в маленьком городке, где они жили и работали, долгими осенними и зимними вечерами, чаще уже без гостей, а вдвоем, сидя перед домашним экраном, наслаждаться воспоминаниями о прошедших годах.

Словно бы с запозданием, как бы задним числом открыли они друг друга для себя и дали волю долго скрываемым, а возможно, и подавляемым страстям. Они проходили по улицам не иначе как взявшись за руки или обнявшись, как принято у молодежи: он правой рукой обхватив ее за плечи, она его левой — за талию. Случалось, они и целовались прямо у прохожих на виду. А сидя за столом и гуляя на пирсе, пользовались всяким удобным поводом, чтобы прижаться друг к другу. Но то, что было естественно для юных парочек, совсем не шло этим вполне уже солидным супругам и своей нарочитостью задевало эстетические чувства других приезжих, а местным жителям казалось

просто неуместным, как, предположим, любовные утехи двух извозчичьих кляч.

С некоторых пор они уходили купаться в отдаленные и укромные бухточки и располагались где-нибудь под прикрытием скал. Забыв свой прежний ритуал, они поспешно раздевались и совершенно обнаженные кидались в море и долго плавали, как две большие белые рыбы. Выйдя и отряхнув с себя капли, они растягивались на горячих камнях, едва подложив под себя полотенца. И продолжали спокойно лежать, даже если вдруг кому-то доводилось случайно сюда забрести или если мимо проплывали рыбаки. Стаичи целовались и обнимались, снимали друг друга кинокамерой, но и этого было мало для их пробудившейся страсти. Накупавшись и наплававшись вдосталь, они придумывали себе новые раздражители и принимались разглядывать фривольные снимки в иллюстрированных журнальчиках, вывезенных ими из разных заграничных странствий.

Но, к несчастью, и эта пылкая или во всяком случае столь афишируемая страсть не приносила плодов. Молодая женщина никак не могла забеременеть. Раньше, в самом начале их связи, возможно, она сознательно не хотела детей, а потом стала неспособной к материнству. А может быть, для того чтобы забеременеть в пору цветущей зрелости, казалось бы, самой природой предназначенной для произведения потомства, ей недоставало подлинного материнского инстинкта, не свойственного ей, единственной дочери обеспеченных родителей, избалованной и эгоистичной, чья холодность и педантизм напоминали стерильность никелированных хирургических инструментов, которые при всей своей несомненной целесообразности не могут стать орудием созидания.

В свое время местные жители, случалось, спрашивали молодую чету, есть ли у них дети. А бывало, и корили за то, что они не обзаводятся ребятишками. Но вскоре эти разговоры прекратились, и уж тем более неудобно было с подобными вопросами обращаться к зрелым людям, переживающим как бы вторую молодость. Упустили они свое время, и о Стаичах уже говорили как о бездетной чете.

В остальном же все шло по-прежнему: с наступлением лета Стаичи неукоснительно объявлялись в городе и по истечении известного срока уезжали. Совсем забыты и заброшены фотоаппараты и кинокамеры, а также транзисторы и переносные телевизоры, которые они иной раз привозили с собой,— вся эта сверхмодная и дорогая техника, приобретенная в заграничных путешествиях. На смену им пришли машины. Однажды появившись в городке в маленьком скромном автомобиле отечественного производства, Стаичи потом меняли их каждый третий или четвертый год на все более роскошные и большие. Поначалу они их пестовали и холили, ставили в тени под кроны деревьев или заводили во двор своей хозяйки тетки Луцы, и Стаич каждое утро мыл свою любимицу губкой и специальным детским шампунем, а потом протирал замшей. Но по мере того как машины менялись на все более дорогие и роскошные, эти заботы и хлопоты, казалось, начинали все больше обременять супругов Стаичей, пока наконец они не стали бросать свои машины без всякого надзора, и местному механику перед их отъездом приходилось целый день проводить под очередным автомобилем, чтобы сделать его пригодным к передвижению.

Они были еще слишком поглощены своими отношениями и не допускали, чтобы вещи, люди, обязанности или пристрастия могли надолго и всерьез отвлечь их от личной жизни и заменить им друг друга. И как раньше они избрали это уединенное место, чтобы всецело принадлежать здесь друг другу, как не хотели в юности детей, боясь обременять себя хлопотами, так и теперь они не желали попасть в

подчинение к своим машинам и говорили, что машины покупают для того, чтобы те им служили, а не наоборот, и они не собираются вечно их скрести и драить по примеру других.

С годами они обленились. Некогда высокий, стройный юноша, за последние годы он так прибавил в весе, что ходил вперевалку, приседая на искривившихся ногах. Щеки у него обвисли, весьма внушительный животик откровенно выпятился, словно бы забеременел он, опередив свою жену. Стаич так тяжело плюхался за столик у Тония, что успел сломать два стула, и обычно оседал тут надолго, нисколько не заботясь о загаре. Не будь его жены, он бы совсем не ходил купаться и уж во всяком случае выпивал бы значительно больше вина, если б только его воля. Обнаружившиеся с годами пристрастия не замедлили сказаться на их внешнем облике. Он все раздавался вширь и расплывался, она постепенно усыхала, словно пересушенный хлеб, скорее уже не хлеб, а сухарь, но при этом сумела сохранить спортивную фигуру, строго ограничивая себя в еде и следя за своим рационом, и ежедневно, пока он лежал на песке, занималась гимнастикой и йогой, а после долго плавала по-змеиному, опасливо высунув голову из воды и не слишком удаляясь от берега. На фоне его серебристо-серой седины ее волосы, окрашенные хной, вспыхнули рыжим пламенем. Годы особенно безжалостно обошлись с ее длинной шеей, изрезав ее морщинами, и обезобразили руки подагрически раздутыми суставами и крапинками. Нос ее еще сильнее заострился, а губы вытянулись в струну, придавая ее лицу, и раньше не блиставшему особой красотой, выражение едкой язвительности.

С возрастом в ней все сильнее проявлялись светские претензии изнеженной аптекарской дочери, а в нем все настойчивее вылезала деревенская неотесанность. Перестав заботиться о своей внешности, он точно так же не следил теперь и за своим поведением. Он так громко хлебал за столом суп, что она вынуждена была его останавливать, с таким неистовством принимался ковырять в зубах после трапезы, что, казалось, проглотит зубочистку, перетаскивал из тарелки жены в свою остатки еды и, сытно наевшись, не отказывал себе в удовольствии рыгнуть во всеуслышание.

Он сделался молчальником с годами, она, наоборот,— чересчур говорливой, впрочем, в остальном они были по-прежнему согласной и дружной четой. Неизменно внимательный к ней, он отныне тащил на пляж большую часть поклажи, нагрузившись точно вьючная лошадь, она же усилила свою опеку, обращаясь с ним как с существом необузданным, ни в чем не знающим меры. Более сильная по характеру, чем он, она держалась с мужем покровительственно, отодвигая от него стакан с вином, когда он злоупотреблял выпивкой, отсылала его в тень или заставляла надеть соломенную шляпу от солнца. Она пеклась о нем неусыпно и преданно, хотя в этой ее заботливости и не было нежности, вообще не свойственной ее мужеподобной натуре (ее и в родительском доме называли «сыночком»), а порой одергивала его, как неразумное и безответственное дитя, тем самым не только подчиняя его себе, но и просто унижая его мужское достоинство.

По обыкновению многих пожилых людей, они не стеснялись повторяться — к чему так нетерпима взыскательная молодость — и без всякого стеснения твердили одни и те же дежурные фразы. Например, на вопрос: «Ну, как дела?» — они отвечали избитым: «Дела как сажа бела». А на вопрос: «Как жизнь?» — неизменно говорили: «Да вроде бы еще живем!» — после чего разражались громоподобным смехом, при этом он обнажал свои крупные зубы, которые угрожающе выдвигались вперед и клацали при разговоре, она же на мгновение растягивала свои бескровные губы и тотчас же снова плотно их

смыкала. На ее просьбу: «Миле, а ну-ка расскажи ту свою байку о боснийце и Лале» он с готовностью повторял навязший в зубах анекдот и, не дожидаясь реакции слушателей на пляже или за столом, принимался хохотать, весь сотрясаясь и брызгая слюной, как старый щербатый конь. Вечную свою присказку — «Верно ведь!» — он дополнял ее именем и постоянно по поводу и без всякого повода, такой огромный, неповоротливый и неуверенный, обращался к ней за поддержкой и одобрением: «Верно ведь, Мила!» Она же к месту и не к месту после каждого второго слова приговаривала: «Думается, это действительно так», даже и в тех случаях, когда от нее не требовалось ни особых раздумий, ни особого глубокомыслия. Сроднившись с мужем до полного отождествления, она почти всегда говорила: мы были, мы ели, мы ездили, употребляя эту форму и тогда, когда речь шла явно о нем одном, и, рассказывая своим знакомым у Тония о событиях протекшего года, изъяснялась примерно следующим образом: «у нас была капитальная реконструкция завода», «мы приболели немного», «у нас давление повысилось» или: «у нас правое колено разболелось, поэтому нам пришлось зимой поехать на курорт», так что собеседник поневоле задавался вопросом, что же она скажет, если, не приведи господь, ему придется когда-нибудь протянуть ноги? Неужели и тогда отзовется о смерти супруга во множественном числе и беспомощно разведет руками?

Он первый начал болеть. Прежде всего его подвели зубы. Без всякой видимой причины они стали выпадать, и он целое лето шипел и свистел через зазоры в верхней челюсти. Затем на следующее лето он явился с резиновой повязкой на колене, а еще через год этот обруч заметно расширился, превратившись в некое подобие резинового чулка, и этот чулок он не снимал, даже залезая в воду. Лицо его приобрело желтоватый оттенок, типичный для страдающих печенью, и, с каждым годом тяжелея, становился все более медлительным, быстро уставал и все темнел лицом, так что стал походить на цветного.

Они уже не снимали комнату у своей прежней хозяйки — тетка Луца совсем одряхлела, «вышла в тираж» и последний год почти не вставала с постели, а домом ее завладела орава наследников. К тому времени в городке выстроили небольшую гостиницу, и хотя в ней бывали и беспокойные и шумные постояльцы, Стаичи находили, что им здесь удобней. Они уже не так регулярно отправлялись на пляж, меньше купались и загорали, находя подтверждение своему поведению и в газетах, где писалось, что чрезмерное увлечение солнцем вовсе не так полезно, как думали раньше. Чаще они сидели под зонтом, под деревом в тени или под навесом, отдыхали в шезлонгах, читали детективные романы, просматривали иллюстрированные журналы или решали кроссворды, при этом писала она и то и дело подносила к губам карандаш, точно слюнявила грифель. И спрашивала его: «Вид хищной птицы из шести букв, посредине «р», но никогда не соглашалась с его вариантом и, махнув рукой, писала в журнал что-то свое. И снова обращалась к нему: «Химическое соединение? Я всегда была слаба в химии».

С некоторых пор Стаичи пристрастились к картам. Отменены дальние прогулки, осмотр окрестностей, ожидание рыбаков на берегу, поскольку он должен был беречь себя от сырости. Оставлена охота за «фототипажами» и «киносюжетами». И конечно, забыты любовные безумства, купание нагишом где-нибудь в укромных бухточках на отшибе. Теперь, растянувшись на песке, они стелили между собой белое полотенце и часами играли в какую-нибудь примитивную картежную игру. «Нижайшая степень человеческой деградации и падения мужского достоинства, когда вы начинаете играть в очко с собствен-

ной женой»,— иронизировал он на свой собственный счет. Пока еще он мог шутить. Сначала они играли с азартом. Он лучше запоминал карты, ей больше везло, и так некоторое время они шли вровень, но когда внимание у него рассеивалось, а счастье бесповоротно переходило на ее сторону, они остывали к игре. И пока он отдыхал, развалясь в холодке, или дремал у Тония за столиком во время послеполуденной сиесты, она сама бралась за колоду и раскладывала пасьянс, досадуя в сердцах, если пасьянс не получался. С некоторых пор она сама носила вещи на пляж, у Тония подкладывала под мужа надувную подушку, чтобы ему мягче было сидеть, а вечером, едва начинало холодать, укрывала ему ноги пледом. И он, с болезненным кряхтеньем устроившись на скамейке, повторял ту же самую известную свою сентенцию в несколько перефразированном виде: «Нижайшая степень человеческой деградации и падения мужского достоинства, когда вам становится необходимой ваша собственная жена».

Однажды они приехали в городок позднее, чем приезжали обычно,— в сентябре, когда спадает зной и больше фруктов. Жара действовала на него неблагоприятно, к тому же доктора советовали ему есть побольше витаминов. На следующий год пришла телеграмма, что в это лето они, к сожалению, не смогут приехать, так как он перенес тяжелую операцию, после которой должен еще подлечиться в санатории. Все-таки, не удержавшись, на обратном пути из санатория домой Стаичи проехали через городок, навестив его, так сказать, не вылезая из машины, которую теперь вела она. И больше о них не было ни слуху ни духу. Ни их самих, ни телеграммы. Да и писать было некому. Тетка Луца умерла прошлой осенью, а хозяин заведения Тоний передал свое дело молодым.

Все же некоторое время их еще вспоминали в городке. «Что-то Стаичей нынче не видать!» — спохватится, бывало, кто-нибудь из старожилов, сумерничая с друзьями на пирсе. «А и верно, вот уже второй год, как их нет»,— добавит его сосед по скамейке. А третий, помоложе, не зная, о ком идет речь, спросит, закуривая сигарету: «Это каких таких Стаичей?»

«Да той бездетной четы, что двадцать лет подряд приезжала к тетке Луце! — объяснит ему первый и, словно бы перевернув страницу или совсем захлопнув книгу, прибавит, устремив взгляд в морскую даль: — Испортится нынче ночью погода. У меня со вчерашнего дня в костях ломота».

А после и он замолчит. Так постепенно и забылись эти двое. Другие молодые пары приезжали теперь в городок и шумно развлекались на пирсе, точно волны прибоя бились о берег.

■

Из норвежской поэзии

Норвегия — край диких скал, фьордов и удивительно пахучих хвойных лесов, земля, покрытая ледниковыми валунами необычайной и разнообразной красоты. Говорят, что, раз увидев, природу Норвегии невозможно забыть. Такое можно сказать о любой стране, о любом крае нашей планеты, ибо красоты природы многолики — и в голой пустыне своя объяснимая прелесть, свое величие. И все же не зря, видимо, люди поэтизируют норвежские берега, не случайно на этих берегах родились некогда замечательные поэтические сказания — саги и музыка Грига.

Норвежца представляешь себе огромным, светловолосым, светлоглазым и сильным. О нем думаешь как о богатыре, способном поднимать валуны и перешагивать длинными ногами через узкие морские заливы. Такой норвежец поселяется в воображении еще в детстве, когда читаешь книгу о викингах, об их походах и дерзаниях.

Таким же оказался и Карл Фредерик Притц — поэт любимый и чтимый своим народом.

Конечно же, я ожидала от его стихов дыхания страны, ее природы, характера. И поначалу мне этого не хватало в его стихах о мире и о войне, о радости и боли человеческого сердца, о буднях горожанина, вовлеченного в беличье колесо бешено вертящейся жизни огромного капиталистического города. Пишет Притц ярко и сильно, однако...

Однако я поторопилась. Встретились мы не в краю «диких скал», а на берегу Охридского озера в Македонии на прекрасном празднике поэзии, который называется Стружские вечера. Откуда только не было поэтов среди участников праздника! Какие только языки не звучали!

И возникла среди них норвежская речь с ее музыкой ручья, бегущего по камням. Да, Притц читал о том, что волнует всех людей земли. Но в мере достоинства, в спокойной силе, в прямоте решения угадывался норвежский национальный характер.

Особенное впечатление на собравшихся произвело стихотворение о женщине, выжившей в страшном ужасе концентрационного лагеря. Такой образ создал скульптор Видо Иосис. Внешнее спокойствие, с которым автор просит читателя обратить внимание на тело еще живого, но зверски замученного существа, действует, пожалуй, сильнее, чем если бы автор громко взывал к совести человечества. Сам факт в центре внимания художника. И поэт отбрасывает все возможные эффекты — пусть факт говорит полногласно и внятно.

Долго помнила я это стихотворение. И почувствовала, что должна довести его до людей на моем родном языке. Если хотите, я ощущала необходимость освободиться от власти надо мной этого стихотворения, дабы оно овладело и другими.

Стихи Мартина Нага — тоже высокого и ясноглазого норвежца — не похожи на стихи Притца. Наг как будто проникает внутрь того процесса жизни, о котором повествует Притц, и показывает сложный, полный противоречий мир человека, живущего в

Норвегии на исходе двадцатого столетия. Поиск выхода из такого положения — характерное состояние души, потерянной в дебрях жестокого мира.

«Ищи!» — призывает Наг,—
всегда ищи выход,
иначе рискуешь
попасть в безвыходное
положение.

Поэтические образы стихотворений Мартина Нага порой подчеркнуто резки — они-то и создают настроение:

Чувствую себя
выпотрошенной рыбой...

или:

моей души —
сухая
мертвая муха...

И все-таки это стихи, построенные на жизнеутверждении:

Страдать не бойся,
радости нет без страданий.

Оба поэта во всем, что в них есть общего и разного на сегодняшний день, являются заметными представителями прогрессивной поэзии Норвегии.

ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА

КАРЛ ФРЕДЕРИК ПРИТЦ

Одна, которая выжила...

(Раздумье у скульптуры женщины — жертвы фашизма. Скульптор Видо Иосис)

Взгляни на это молодое тело:
натянуты,
как тонкие мембраны,
на узенькие рамочки костей
кожа и жилы.
Рисунок малыша напоминает это:
под хрупкой костью черепа
четыре ветки —
руки, ноги
и редкие волосья
вряд ли могут спрятать наготу.

Взгляни на это тело молодое:
одна она — кто выжил
из тысячи погибших.
Она — живые мощи.

А мертвые — те прах и пепел,
те в памяти остались
и нас зовут к борьбе,
как свет, дрожащий в темноте.

Взгляни на молодое тело это
в великой неприкрытости его.
Ни грудь, ни чресла
ничего не обещают
и ничего не ждут,
но так обнажены,
что стыд нам красит щеки —
она ведь покраснеть уже не может.

Да, эта женщина — скелет,
похоронивший искру жизни.
Что обнаженней может быть такого тела?!

И все же нет полнее чуда жизни,
чем эта искра духа в хрупкой раме,
огнем сверкнувшая в долине теней.

Не кровь, а сгусток краски
идет по венам.

Она не знает,
даже знать не может,
какую чистоту
и красоту какую,
исполненную боли и тоски,
таит ее иссохнувшее тело.

Согнутые ветром *

Чувствуешь себя несколько беспомощным поутру
или вечером. И покорно встаешь рано,
стоишь в очереди на автобус,
сидишь с озабоченным лицом в метро
с ощущением ответственности
за свою работу, семью, старую тетку,
мать, отца, и — о, боже! —
где-то глубоко в тебе
или далеко от тебя
пробуждается сознание долга,
но это уже чересчур...
И ты начинаешь думать о докладе,
который должно сдать начальству сегодня,
и о том, что кому-то что-то нужно сегодня передать,
и о том, что тебя просили помнить о поручении,
а его тоже следует выполнить сегодня;
еще тебе необходимо купить кое-что для одного из ребятишек,

* © Y. W. Cappelens Forlag, 1975.

потому что дети должны получать все им необходимое;
эта проклятая рента,
и твой начальник,
и то, о чем ты забыл или записал неправильно,
и то, что может случиться, если ты не справишься
со своими делами, потому что сильно устал,
и эти бумаги, полные всяческой дребедени,—
они все накапливаются,
и еженедельники,
и те вещи, из которых надо вытряхивать пыль,
и снова бумаги — ах, куда это все можно сложить!!!...

Все другие в этой комнате
так хорошо говорят о своих проблемах,
а мне не удается сказать ничего,
мое застревает в горле комом,
хотя у меня такие же симптомы жизни, как у других,—
я понимаю это, когда люди говорят о себе,
перечисляют проблемы совершенно мои,
волнения, абсолютно похожие на мои,
и промахи мои — я сделал их по глупости,
некомпетентности или же просто так.

Ах боже мой, я всегда пытаюсь
сделать все возможное,
но этого всего никогда не было достаточно
для семьи, начальства, родителей и Всевышнего.
Все вы, перечисленные выше,
почему-то исчезаете от меня куда-то,
никуда в сущности не уходя,
и я среди вас
всегда один,
совершенно один.

Твоя мелодия

Я знаю, есть стихи
для всех, слова, которые смущают,
и радуют, и удивляют,
и, возникая здесь и там,
идут за нами по пятам,
слова, в которых крик и шепот,
слова, в которых смех и ропот,
громкоголосые слова
и слышные едва-едва,
слова, как будто детский лепет,
слова, как будто птичий щебет,
и как вечерняя роса,
и как неверные глаза...

Идешь меж них как бы по лесу
и слушаешь сквозь их завесу
свою мелодию.

Она
всегда-всегда тебе верна,
и жизнь твою определяет,
и никуда не исчезает —
поэма жизни, звук судьбы,
разноголосица борьбы...
Ты позабудешь все слова,
и лишь останется жива
твоя мелодия...

Перевод с норвежского ЛАРИСЫ ВАСИЛЬЕВОЙ

МАРТИН НАГ

Ищи! Всегда ищи
новый выход
если закрыт один —
где-то есть десять других

Ищи! Всегда ищи выход
иначе рискуешь
попасть в безвыходное положение

Совершая что-либо
мы допускаем несправедливость
по отношению к кому-то

Так что же —
ничего
не делать?

Дилемма

Кризис

Застопорилась поэма
ни вверх не двинешь
ни вниз. Криз.
Писать — это дело
каждый раз одинаковое
но каждый раз новые
переговоры с жизнью

© «Aschehoug», 1974.

Плохой день

Чувствую себя
выпотрошенной рыбой —
все соки выжали
молчу

В оконной раме
моей души —
сухая
мертвая муха

Хороший день

Страдать
не бойся
радости
нет без страданий

Сегодня чувствую
что на моих плечах
вся радость
мира

■ ■ ■

Я связь
со временем своим
и со своей средой
порвал
с политикой
религией
эстетикой

Так следовало поступить

Но в силу этого разрыва
в свою среду
я возвратился вновь

Мне надо
метаться застывать
любить
каждый раз когда
я сколачиваю стихи

Мне надо
когда я пишу
ходить — как Гамсун
Хэм и Лакснесс
не делая параллелей в остальном

Сегодня
я закончил стихи
которые начались
3 апреля 1949 года
я опоздал на четверть века

Опоздал?
Черта с два — в самый раз

Перевод с норвежского ПЕТРА ВЕГИНА

■

ПАМЕЛА ХЭНСФОРД ДЖОНСОН

Особый дар

РОМАН

Перевод с английского С. МИТИНОЙ

14

В августе Тоби подыскал себе квартирку, и мать навела в ней уют (такому вмешательству с ее стороны он никогда не противился), а в сентябре начал работать под руководством профессора Тиллера.

Встреча с Тиллером была для него откровением. Впервые в жизни он стал заниматься по-настоящему серьезно и почти все вечера писал «Сен-Жюста». С Мейзи он виделся довольно часто и несколько раз спал с нею. Но он знал: жаждет она совсем другого, а вот этого он ей пока предлагать не хотел — просто не мог себя заставить.

Как-то вечером к нему зашел Эйдриан, и вид у него был очень озабоченный.

— Тоби, меня можно назвать тщеславным?

— Боже правый, нет, конечно.

Эйдриан сел. Он был явно очень удручен — лицо вытянутое, брови нахмурены.

— Мне надо с кем-то посоветоваться. Рита становится утомительной.

То было, пожалуй, самое резкое выражение, какое он когда-либо позволил себе, говоря о других.

— Меня это не удивляет,— сказал Тоби,— хотя я и не знаю, насколько далеко зашло дело.

— Она шлет мне письма. Беспрерывно. И беспрерывно меня зазывает — дома Боб или нет, я всегда желанный гость. Обычно пишет: «Боб будет рад Вас повидать», но нужен я не Бобу, а ей. Сперва я ответил ей и дал хорошую отповедь; потом вообще перестал писать. Но она не унимается. Порой мне кажется, это у нее какое-то помешательство.

— Да будет тебе, ты же красивый парень. Когда получишь приход, женщины так и будут к тебе липнуть. Воздыхательницы станут виться вокруг тебя, вышивать для алтаря покровы.

— Ну уж нет, я такого не допущу,— возразил Эйдриан, и голос его прозвучал необычно сурово.— Не хватает еще этих бед на мою голову. Кстати, тут ты прав: поначалу мне придется нелегко. Я устро-

Окончание. Начало см. в № 1 за 1979 г.

ен так же, как все мужчины, существуют соблазны и для меня. Но Рита не из их числа.

И Тоби понял, что, хотя темпераментным Эйдриана не назовешь, ему, возможно, и впрямь пришлось выдержать серьезную внутреннюю борьбу, прежде чем он пришел к решению дать обет безбрачия. Когда такой обет дает мужчина редкой красоты, для него это особенно трудно — если он только не гомосексуалист, в чем Эйдриана никак не заподозришь.

— Беда в том,— продолжал Эйдриан,— что мне как-то трудно не видеться с Бобом.

— Но у него же есть комната в колледже. Почему ты не можешь заходить к нему туда?

— Потому что это покажется странным: получится, что я избегаю Риты. Прежде я довольно часто к ним захаживал — выпить чаю. Кстати, Боб получил субсидию от Управления по научным и промышленным изысканиям. Теперь у них денег больше. Скоро они с Ритой переедут на другую квартиру.

— Вот тебе мой совет: ни в коем случае, слышишь — ни в коем, не оставайся с ней наедине. Ты всегда должен быть уверен, что Боб где-то тут, рядом. Ты же ей нравишься.

— Пожалуй, надо все-таки к ним зайти, они меня приглашали на ужин. Но только чтобы Боб был дома. Может, при нем она будет держаться в рамках.

О том, что из этого вышло, Тоби узнал лишь две недели спустя.

Эйдриан принял приглашение Катбертсонов, и они мирно поужинали втроем. А потом началось: Рита все больше и больше дергалась, все чаще вздыхала и поглядывала на часы. Было всего половина девятого, и потому Эйдриан решил, что вряд ли она его выпроваживает. Наконец, Рита весьма решительно объявила Бобу, что неплохо бы ему сходить и выпить кружку пива: ей нужно поговорить с Эйдрианом с глазу на глаз.

— О чем это? — спросил Боб.

— О духовном,— ответила Рита с беззастенчивой ухмылкой.— Я нуждаюсь в помощи духовника.

Эйдриан запротестовал: ведь он уже говорил ей, что пока не подготовлен к роли пастыря.

— А этого нельзя знать, покуда не испытаешь своих сил,— нагло возразила Рита и посмотрела мужу прямо в глаза.

— Ну что ж,— буркнул Боб,— я испаряюсь.

Он был весь красный, злой.

— Если вы в самом деле нуждаетесь в помощи духовника, то от меня ее не ждите,— сказал Эйдриан. Потом попробовал отшутиться: — Может быть, в будущем году, после посвящения.

Но она объявила: ей не верится, что он примет сан. Это показалось ему настолько нелепым, что он не нашел, что ответить, так и остался с открытым ртом. И тут Рита сказала, что любит его. Что до него никого не любила по-настоящему. И не знает, что с этим поделать. Как им обоим быть. Но такой жизни она больше не вынесет, и даже если Боб получит эту вонючую научную работу в университете, для нее все равно ничего не изменится. Ей нужен Эйдриан. Кроме него, ей никого и ничего не нужно.

Обо всем этом Эйдриан рассказывал в письме к Тоби на четырех страницах, исписанных убористым почерком.

Тоби вся эта история не напугала, а скорее позабавила: фарс, да и только. Хотя ни для Боба, ни для Эйдриана ничего смешного тут, конечно, нет. Хорошо бы Эйдриан получил самый что ни на есть отдаленный приход, в какой-нибудь там захолустной Дыре-на-Болоте, куда

и добраться невозможно. Но когда приступ веселья прошел, Тоби трезво взвесил все обстоятельства. Рассказать ли об этом Мейзи? Обычно он предпочитал слушать, а не говорить, но, пожалуй, ее здравый смысл тут пригодится и женское чутье поможет найти верное решение. Так что он напросился на денек в Хэддисдон: написал Мейзи, что получил от Эйдриана очень тревожные вести и хотел бы с ней посоветоваться. В Хэддисдон Тоби напрашивался уже не первый раз и последнее время бывал там довольно часто. Но тут Мейзи ответила отказом; написала, что приедет к нему сама. Вопреки своему обыкновению давать себе осенью отдых, Аманда пригласила струнный квартет, и в Хэддисдоне сейчас просто невыносимо — не из-за музыки (музыка как раз очень неплохая), а из-за непрерывной трескотни музыкантов. Вот сороки! Словом, она приедет к нему в субботу, в пять часов.

— Бедняжечка ты моя,— сказал Тоби, увидев ее.— Это надо же — струнный квартет! — Он поцеловал ее.— А мне бы совсем не выдержать. Вероятно, ты уже поняла, что я не особенно музыкален.

— Выкладывай сплетню,— сказала она.— Или, раз уж дело обстоит так серьезно, назовем это не сплетней, а бедой.

Он рассказал ей все очень подробно и даже дал прочесть письмо Эйдриана.

— Бедный отец Стедмэн! — сказала она, внезапно развеселившись. Ее первая реакция была совершенно такой же, как у Тоби.

Но вскоре Мейзи опять стала серьезной.

— А дело ведь страшное. Бедняга Рита! Слушай, может, у нее с головой не в порядке?

— Да нет, в полном порядке. Просто любовь бушует, первый, самый яростный приступ. Я бы не сказал, что их силой не растащишь, потому что Эйдриан только и мечтает о том, чтобы их растащили. Но дело и впрямь нешуточное.

— Очень, очень нешуточное,— согласилась Мейзи.

Сам он никогда не говорил Мейзи о любви. Ему казалось, что слово это слишком обязывает. Он мог сказать ей: «Я в тебе души не чаю», мог наговорить всяких ласковых слов; но о любви не заикался; во всяком случае — пока.

Мейзи начала тщательно вникать во все обстоятельства.

— Что бы ты предложил Эйдриану?

— Чтобы совсем не отвечал на ее письма, хоть и считает эти свои послания чисто пастырскими. Чтобы ушел из их жизни. Знаешь, все-таки он простофиля.

— Нелегко ему придется, когда он примет сан,— заметила Мейзи.— Очень он мягкотелый.

— Что ты этим хочешь сказать?

— То есть как это — что? Просто пришла мне в голову такая мысль, и я высказала ее вслух.

— Очень уж у тебя много мыслей, малыш.

Похоже было, что они ссорятся, и Мейзи поспешила переменить тему:

— Как мило ты тут все устроил! Сейчас у тебя лучше, чем когда я была в прошлый раз.

— За это надо сказать спасибо маме. Стены перекрасить она не могла, но подобрала подходящий ковер. Прежний был похож на холодную заплесневелую ветчину. Покрывало и подушки я привез старые, из Кембриджа. И потом, я удостоился чести получить две ее картины. Я просто диву даюсь, сколько народу сразу же их узнает.

— Что ж, очень приятно слышать. И они, черт подери, вполне заслуживают того, чтобы их узнавали.

Чтобы Мейзи помянула черта — такое случалось крайне редко, и Тоби понял, что она все еще взвинчена.

Они помолчали. Потом Тоби сказал:

— Ужинать будем у меня. Придется тебе отведать моей стряпни.

Мейзи запротестовала: она приготовит ужин сама.

— Это на одной-то газовой конфорке? Да ты же понятия не имеешь, как это делается.

На самом деле конфорок у него было две. Он приготовил обыкновенную поджарку, а Мейзи сказал, чтобы занялась салатом, если ей так хочется. Они мирно и дружно ужинали, пока она снова не заговорила о Рите:

— Каждому видно, что она страдает. Так неужели всем наплевать?

— Вовсе она не страдает, живет себе припеваючи — конечно, на свой лад.

— Ну, ты-то, ясное дело, будешь держать сторону мужчины.

— Пожалуй, я лучше понимаю мужчин, только и всего.

— А вот женщин ты, безусловно, не понимаешь.

— Да, именно это я и хотел сказать.

Похоже, что она взбунтовалась. С ее стороны просто нелепо отождествлять себя с Ритой, но, видимо, дело обстоит именно так. В тот вечер между ними ничего не было, и отнюдь не из-за квартирной хозяйки, которая не то чтобы поощряла визиты девушек к жильцам, а просто совершенно не интересовалась тем, что у них творится,— лишь бы исправно платили. После ужина Мейзи настояла на том, чтобы вымыть тарелки, а затем он подвел ее к окну, и они стали глядеть вниз, на уличные фонари, лимонно-желтые в наплывающем тумане.

— Лучше тебе поехать прямо сейчас,— сказал он.— Туман густеет, и хоть у меня был случай убедиться, что ты можешь взять приз в Брендс-Хетче [1], не хотелось бы, чтоб ты продиралась во мраке сквозь эту пелену.

— Постарайся понять меня,— сказала она.

— Малыш, о чем, собственно, речь? — удивился он, хотя прекрасно знал о чем и вовсе не жаждал услышать ответ.— Ведь мы счастливы, верно?

— Все это так непрочно,— сказала Мейзи, и плечи ее вздрогнули у него под рукой.

Это же смешно, возразил он. Они очень молоды. Ему всего двадцать один. Им обоим еще нужно стать на ноги. Так он впервые — пусть косвенно — упомянул о женитьбе.

— Брось, детка, не куксись. Ты всегда такая веселая, и я это в тебе очень ценю.

— Совсем не всегда я веселая. Говорила же я, ты меня не знаешь.

— Такая, какой я тебя знаю, ты мне очень нравишься.

Она расплакалась, но сразу же взяла себя в руки, вытерла глаза и улыбнулась своей сияющей улыбкой. Они поговорили еще немного о разных разностях, а потом она уехала, ни единым словом не возразив против того, что он выпроводил ее раньше обычного.

Когда Мейзи уехала, Тоби написал короткое письмо Клэр: он охотно приедет в Глемсфорд как-нибудь в субботу, а то по воскресеньям в поездах полно.

И все-таки прошло два дня, прежде чем он собрался с духом и опустил письмо.

---

[1] Место близ Лондона, где проводятся автомобильные гонки.

На станции его встретила не Клэр, а ее мать, сложением напоминавшая Аманду, но в отличие от нее белокурая, даже, можно сказать — белесая. Она устремилась к нему с криком:

— Вы Тоби Робертс, я знаю. Больше здесь никого нет, значит, это вы, верно?

И леди Ллэнгейн увлекла его в большой сверкающий автомобиль.

День был холодный — дождливый и ветреный,— и все сулило, что дождь будет обложным.

— Клэр сегодня за повариху. На конец недели мы остаемся без прислуги, но она вообще любит готовить. Мужа вы, конечно, тоже увидите. Сейчас он играет в гольф, но к ленчу вернется.

Дом в Глемсфорде оказался именно такой, как представлял себе Тоби,— деревянно-кирпичный: коричневые бревна и желтая штукатурка; большой и какой-то нескладный, он кренился набок, словно от сильного ветра. Стоял он довольно близко к дороге, но, как пояснила леди Ллэнгейн, за домом у них большой сад.

— Идрис говорит, не вредно бы нам иметь побольше земли. Не знаю, по-моему, с землей только лишние хлопоты, разве что сдавать ее в аренду под пастбища.

Она ввела его в огромный холл с широкой лестницей посередине; в камине пылали большущие поленья — день был холодный.

— Снимайте пальто, кладите его куда хотите и выпейте с дороги. Клэр! — крикнула она.

Откуда-то из глубины дома вышла Клэр, сильно раскрасневшаяся от жара плиты, и крепко, по-мужски, стиснула Тоби руку.

— Все-таки я вас наконец заполучила,— сказала она,— да и пора бы вроде. Я уж думала, мне так и не удастся завлечь вас.

— Садитесь,— сказала леди Ллэнгейн.— Я бы посоветовала выпить перед ленчем водки, но вообще пейте что хотите.

И Тоби согласился на водку; до этого он никогда ее не пробовал.

— Ее пьют залпом или потягивают понемножку?

— Ну, конечно, пейте понемножку, если вам так больше нравится. Вовсе незачем брать пример с русских. Ни в чем.

— Это у тебя предубеждение,— возразила Клэр.— Россия прекрасная страна, что бы там о ней ни говорили. Поухаживай за ним, мама, а я посмотрю, как там у меня дичь. Куропатки,— пояснила она.— Надеюсь, вы их любите. Обожаю жарить их и возиться с гарниром.

Леди Ллэнгейн блаженно вытянула ноги — поближе к огню; за четверть часа она успела трижды налить себе водки, и Тоби был удивлен (и несколько шокирован) тем, что она напивается.

— После Хэддисдона вам покажется у нас тихо,— сказала она.— У Аманды всегда такая толпа, что у меня голова идет кругом. Мы с Идрисом предпочитаем, чтобы гости приезжали поодиночке или по двое — тогда можно как следует пообщаться. А вообще-то она душечка, и Мейзи тоже.

Тоби охотно согласился.

— Я сижу здесь круглый год, хотя Идрис то и дело уезжает в Лондон. Бог свидетель, дел у меня хватает. А если вдруг нападет хандра, отправляюсь за покупками в Бери. Знаете, Идрис обожает палату лордов. Право, не знаю, откуда только у него берется терпение — часами слушать, что они там бубнят. Впрочем, мужчины в этом отношении, наверное, куда терпеливее женщин.

Тут вошел Ллэнгейн. Он швырнул клюшки на пол, поздоровался с Тоби и сказал:

— Господи, что за холодина. Ну, как там ваша милая матушка?

Тоби с возмущением подумал, что таким вот небрежным тоном он мог бы справиться у прислуги о здоровье ее мамаши. Такое всегда вызывало в нем горячее желание стать на защиту матери; впрочем, он был достаточно умен, чтобы понимать: в защите она не нуждается. Если он умеет ограждать свою жизнь от постороннего вмешательства, то и она тоже.

— Прекрасно, сэр, благодарю вас.

— Поразительный талант. Это даже я понимаю. Ну, расскажите мне про себя. Как ваши дела?

Тоби рассказал ему вкратце о событиях последних месяцев.

Ллэнгейн стал расспрашивать Тоби. Как он намерен распорядиться своей жизнью? Хочет стать профессиональным историком? Ученым?

Тоби ответил, что пока еще сам не знает. Надо посмотреть, как пойдут дела. Но у него такое чувство, что жизнь ученого не для него: чересчур она утомительна и монотонна; а ему хотелось бы узнать, как устроен мир.

— Когда-нибудь подумывали о том, чтобы заняться коммерцией?

— Думал,— ответил Тоби,— но просто не знаю, с чего люди начинают.

— А-а-а,— протянул Ллэнгейн.

Тут Клэр объявила, что ленч готов. Ели они не в столовой, а в большой кухне, и аромат в ней стоял упоительный. Но Клэр оказалась вовсе не такой искусной поварихой, как говорила леди Ллэнгейн. Куропатки были пересушены, хлебный соус остыл. Тоби, успевшему в Хэддисдоне приохотиться к изысканной кухне, теперь пришлось сделать вид, будто ему все очень нравится; сами Ллэнгейны поглощали эту стряпню с большим аппетитом. За ленчем Клэр говорила с ним мало, но не сводила с него глаз. Он заметил, что в лице у нее есть кое-что по-настоящему привлекательное: изумительная кожа, странно кокетливая мушка у глаза.

— Посуду вымою я,— сказала леди Ллэнгейн, когда они поужинали,— а ты, Клэр, поболтай со своим приятелем.

Язык у нее слегка заплетался, и ей явно надо было уйти к себе и побыть там, пока она снова не придет в форму. Но муж ее, по-видимому, ничего не замечал. Вскоре и он поднялся наверх — вздремнуть.

Тоби и Клэр вернулись в холл и сели рядом перед камином, куда она усердно подбрасывала поленья.

— Я так мало о вас знаю,— заговорил он.— Чем вы увлекаетесь?

— Ах, до сих пор не знаю сама. Некоторое время работала. Немножко занимаюсь верховой ездой. На охоту езжу довольно редко, а вот папа одно время очень к ней пристрастился — это было еще в Лестершире, мы там прожили несколько лет.

— Видно, жалеете лисиц?

— Ну что вы, просто боюсь их. Да, так что же еще я делаю? Довольно много читаю, но все больше детективы. И потом — может, вы не поверите, потому что пальцы у меня как сосиски, но я неплохо шью.— Руки у нее и в самом деле были великоваты, но формы изумительной. На правой руке она носила кольцо-печатку из оникса.— Я все шью себе сама, кроме блузок и брюк. На это и уходит большая часть моего времени. Боюсь, что я человек не слишком интересный.

— Самоуничижение паче гордости: не верится мне, что вы такая уж смиренница. И человек вы, на мой взгляд, очень интересный.

Ему хотелось еще многое узнать о ней. Но он всегда старался задавать как можно меньше вопросов. По счастью, Клэр разговори-

лась сама: рассказывала о школе, о том, что училась не очень хорошо, а теперь жалеет об этом. То не была пустая болтовня: лицо у нее стало грустное, взгляд смягчился. Да, она мечтала стать писательницей или актрисой, а может, и манекенщицей; но для писательницы у нее не хватает мозгов, для актрисы — таланта, а для манекенщицы она чересчур рослая.

— У меня ни грамма лишнего жира, но когда я набралась смелости и пошла в один дом моделей, мне сказали, что я должна сбросить кило шесть.

— Мужчины терпеть не могут тощих женщин, что бы там ни думали по этому поводу сами женщины,— многозначительно проговорил Тоби.

В зеркальные окна холла просочился жиденький солнечный свет, и Клэр предложила Тоби прогуляться по саду. Он был большой, хотя и не шел ни в какое сравнение с садом Аманды. Тоби очень удивило, что он такой ухоженный; леди Ллэнгейн никак не производила впечатления усердной хозяйки. В конце сада стояли яблони, уже увешанные плодами.

Они шли меж высоких стеблей золотой розги, мимо бордюров с маргаритками, чуть побуревшими к осени.

— Вот проклятие, опять дождь,— сказала Клэр.

И они укрылись под яблоней. Вдруг она встала на цыпочки и крепко поцеловала его в губы. Поцелуй не был чувственный, скорее вызывающий. Тоби опешил — он только и смог, что выдавить из себя улыбку.

— Вот так,— сказала она с торжеством,— вашей Мейзи от этого не убудет. Зато мы славно закончили денек.

— Еще как славно,— согласился он.

По пути к дому она держалась от него на некотором расстоянии. Когда они вошли в холл, леди Ллэнгейн, лежа на диване, решала кроссворд.

— Погуляли? — спросила она, просто чтобы что-нибудь сказать.

— Опять дождь,— посетовала Клэр.— На дворе гнусно. А в доме хорошо. Поможем маме с кроссвордом.

Вскоре в холл спустился Ллэнгейн, успевший вздремнуть, и завязался общий разговор.

— Если вам когда-нибудь надоест история,— дружески обратился он к Тоби,— дайте мне знать. Может быть, я смогу кое-что вам предложить.

Клэр ушла в кухню и вернулась, неся чай и сочащиеся маслом тосты — именно такие, как Тоби любил, хотя его собственная мать, по-видимому, считала это признаком низменного вкуса. Во всяком случае, она ему последнее время таких тостов не готовила. А лакомств вроде кекса здесь не водилось. Нравится ли ему у Ллэнгейнов? Он и сам не мог бы сказать. Здесь весело, но по сравнению с Хэддисдоном и даже его собственным домом все какое-то обветшалое. И каково же их общественное положение? Богат ли Ллэнгейн? Не исключено; впрочем, говорит об этом лишь одно — то, что у них такой большущий дом: содержать его, должно быть, дорогое удовольствие. А все-таки дом комфортабельный и уютный, да, уютный, и Клэр, которая сидит в брюках, закинув ногу на ногу, — с этим домом одно.

Как бы там ни развивались события, решил Тоби, инициатива исходила не от меня. Я не предавал Мейзи. А ведь, в сущности, мужчина, которого вот так, вдруг целуют неожиданно для него самого, немножко смешон; однако сама Клэр своего поступка явно не стыдится.

Наступил вечер. Отсветы пламени падали на белокурые волосы Клэр и ее матери. Ллэнгейн мирно курил и помалкивал. А леди Ллэнгейн рассказывала о сыне.

— Хорошо бы вы с ним познакомились. Может быть, это когда-нибудь и случится.

— Да, вам непременно надо познакомиться с Перчиком,— ухмыльнулась Клэр.— Стоящий парень.

— С Перчиком? — переспросил Тоби, удивленный этой странной кличкой.

— Ну да, будущий пэр, пэрчик. Он же Перчик.

Пора было уезжать. На станцию Тоби отвезла Клэр; она проводила его на платформу, и, когда подошел поезд, они пожали друг другу руки. Она снова держалась с ним чисто по-товарищески.

— Хорошо было,— сказал Тоби.— Все-все хорошо. Большое вам спасибо.

— У вас на галстуке жирное пятно. Попробуйте дома оттереть его горячей водой. Ну что ж, думаю, мы еще встретимся когда-нибудь.

Но ни один из них не стал уточнять, когда именно.

16

В чем дело, почему он не может полюбить Мейзи? А вот не любит же... («Пока»,— добавлял про себя Тоби с суеверной надеждой.) Тоби приятно было ее общество, приятно было спать с ней, вести тонкую любовную игру... Но ему необходимо было знать, что он свободен от обязательств, что волен развлекаться и с Клэр,— не то чтобы это было для него так уж важно, нет, просто он привык считать себя человеком, которому отвратительна измена, «работа на два фронта», как он это мысленно называл.

А потом он на какое-то время избавился от обеих девушек разом: Мейзи уехала с Амандой на Багамские острова (они решили провести там начало зимы), а Клэр в полном одиночестве — на Мадейру. Тоби запретил себе думать о них и основательно засел за работу.

Тиллеру он сообщил, что хочет сделать Сен-Жюста темой докторской диссертации, и тот одобрил эту мысль; правда, узнав, сколько о нем уже написано, Тоби пришел в ужас.

Мать его между тем вся ушла в живопись. Теперь ее картины покупали довольно часто, и, по подсчетам Тоби, она успела выручить за них весьма изрядную сумму. Спросить ее, сколько именно, он не мог; во всем, что касалось денег, она была так же щепетильна, как и он. Тоби просто отмечал про себя, что в доме то и дело появляется что-нибудь новое — новые занавески, новый фарфор, телевизор. Время от времени она покупала себе кое-что из одежды, но каждый раз примерно то же, что носила и раньше; вообще на фоне ее яркой индивидуальности любая вещь казалась незаметной.

Под Новый год он поехал на субботу и воскресенье в Кембридж: надо же поддерживать связь с друзьями.

К его приезду Боб и Рита уже обосновались на Ленсфилд-роуд, за католической церковью; теперь они занимали половину дома. Поначалу Тоби показалось, что у них все хорошо. Рита была весела; они держали au pair [1], молодую шведку Ингрид, которая нянчила девочку, и у Риты были развязаны руки. Дом был убран со вкусом, пла-

[1] Обычно девушка-иностранка, приехавшая в страну изучать язык и выполняющая домашнюю работу за жилье и стол.

стиковые скатерки исчезли. Боб купил кое-какие изящные вещицы; хрустальные бокалы, два серебряных подсвечника, красивый столик-консоль.

Боб заблаговременно усвоил стиль жизни ученого мужа: перед обедом было подано белое вино, его пили из новых хрустальных бокалов, к обеду — неплохой кларет. Но сам обед был далеко не профессорский.

Когда обед был закончен, Ингрид поднялась к себе в комнату заниматься.

Тоби решил, что и Боб сейчас попытается скрыться — удерет в лабораторию; но тот не уходил. В последнее время он приглядывал за Ритой — видимо, не столько из любви, сколько из беспокойства.

— Эйдриану надо было пойти на телевидение, я ему сколько раз говорила.

— Вот уж что нужно ему меньше всего,— возразил Тоби.— Он хочет тихой, уединенной жизни.

— А я — нет,— внезапно рассердилась Рита,— но мне все равно ее навязали. Даже на танцы нельзя сходить: Боб их ненавидит, а уж если пойдет танцевать, все ноги мне отдавит.

— Раз так, не заставляй меня,— сказал Боб. Голос его прозвучал добродушно, но в нем была тревога.

— И раза три в неделю он обедает в колледже,— гнула свое Рита.— Весело мне живется, как ты считаешь?

А Тоби размышлял над тем, до чего непохожа эта женщина на то робкое, юное создание, каким она была в день свадьбы. Насколько прочен этот брак и вообще, остался бы Боб с нею, если б не ребенок? Интересуется Рита одним только Эйдрианом или другими мужчинами тоже? Наверное, нет. Она прямо помешалась на нем. А заполучить Эйдриана ей не удастся, пусть и не мечтает.

— Послушаем-ка музыку,— сказала она,— а то девчонка опять ревет. С меня ее воплей на сегодня хватит.

— Не беспокойся, Ингрид с ней справится.

— Бедняга Ингрид.

Тоби чувствовал, что Рита становится ему отвратительна. Редко кто вызывал у него такое отвращение. Обычно он людям симпатизировал и добивался ответной симпатии.

Когда Тоби собрался уходить, Рита вдруг стала с ним ласковее. Поцеловала его в щеку. А он твердо решил впредь от ее приглашений уклоняться.

17

Теперь они с Мейзи снова встречались постоянно, причем иногда — у него дома, потому что миссис Робертс просила приводить ее к ним и сочла бы странным, если б и он не приглашал Мейзи к себе. Время от времени Тоби виделся и с Клэр. Опасаясь, как бы Мейзи об этом не проведала (хотя пока, судя по всему, она ничего не знала), он в конце концов решил сказать ей полуправду.

— На днях я столкнулся на улице с Клэр и угостил ее чашкой кофе.

— А-а...— На мгновение Мейзи умолкла. Потом удивленно проговорила: — А она мне об этом ни словом не обмолвилась.

— Так ведь дело было только на прошлой неделе.

— Но на прошлой неделе мы с ней виделись.

— Малыш! — Тоби принужденно рассмеялся.— Значит, я виделся с нею после тебя, да и вообще, какое это имеет значение.

— Никакого. Просто я терпеть не могу, когда от меня что-нибудь скрывают.

— Да ведь тут и рассказывать не о чем. Ну, приезжала она на денек за покупками. Говорили мы главным образом о маминых картинах. Девушка она славная, но очень уж могучая.

На какое-то время Мейзи успокоилась. Но через некоторое время спросила:

— В какой день ты виделся с Клэр?

— Не то в четверг, не то в пятницу. Забыл.

— А что она делала на Гауэр-стрит?

— Вовсе не на Гауэр-стрит. Я встретил ее на Сент-Джеймс-сквер. Брал в библиотеке книги.

— Странно все-таки.

Он мягко возразил:

— Не надо подозревать меня в гнусностях.

— Я и не подозреваю. Я только сказала: по-моему, это как-то странно. Конечно, ничто не может помешать тебе встречаться с Клэр.

— Милая, да я встретился с нею всего один раз,— сказал Тоби (хотя и мог поставить себя этим в весьма затруднительное положение).

— Что ж, я не могу считать тебя своей собственностью,— проговорила Мейзи без всякого выражения. Тоби промолчал, и в тот раз она больше о Клэр не заговаривала.

Эйдриан готовился к посвящению в сан. От Боба и Риты вестей не было. Сам Тоби упорно занимался, хотя в душу ему и закрадывалось подозрение, что Тиллер не слишком высокого мнения о его способностях.

Только у миссис Робертс дела шли как нельзя лучше. Имя ее стало известно за океаном (журнал «Тайм» поместил небольшой ее снимок), на картины по-прежнему был спрос — не то чтобы их рвали из рук, но покупали довольно часто. Муж даже настаивал на том, чтобы переехать в другой дом — ведь она художница, и ей нужна удобная студия,— но тут миссис Робертс была непреклонна. Она не намерена менять привычный образ жизни. Спинка стула — отличный мольберт, и вообще им удобно в их нынешнем доме, так ведь? То, что она не желает никуда переезжать, стало известно нескольким репортерам — время от времени они совершали на нее набеги, но обычно им мало что удавалось выведать. Мать донимала Тоби своей щедростью.

— Ты же знаешь, я не люблю брать у тебя деньги,— возражал он.

— А что прикажешь мне с ними делать? Зря ты, молодым людям иной раз охота пошвыряться деньгами!

И Тоби купил себе подержанную малолитражку: с одной стороны, это было для него предметом гордости и давало ощущение независимости (теперь он мог сам возить Мейзи, а при случае — и Клэр), а с другой — несколько его унижало. Впрочем, оба его романа были в состоянии застоя. С Мейзи все шло по-прежнему: его так тянуло к ней, ему так нужно было тепло ее тела, что он и помыслить не мог о разрыве. А что касается Клэр, то после того первого, крепкого поцелуя никаких сдвигов в их отношениях не было. Она любила бывать с ним и открыто говорила об этом, но не более того. И Тоби стал подумывать: а может, он только попусту теряет время?

В марте приключилась неприятность, точнее, не с ним самим, а с другом. В газетах появились довольно броские заголовки. Против молодого кембриджского ученого возбуждено дело: он обвиняется в избиении жены. Доведенный до белого каления, Боб бросился

на Риту с кулаками, и та побежала прямехонько к своему папаше-полицейскому. А потом обратилась в суд с просьбой оградить ее от издевательств со стороны Боба. Суд удовлетворил ее ходатайство, приговорил Боба к штрафу в пятьдесят фунтов и возложил на него судебные издержки. У Риты, выступавшей с показаниями, был фонарь под глазом, и это произвело тяжелое впечатление на ее подружек, но друзья Боба держали его сторону (хотя и не особенно это демонстрировали). Ведь им была известна вся история этого брака. Рита добилась своего: суд вынес решение о раздельном жительстве супругов. Сама она осталась с Ингрид и ребенком на Ленсфилд-роуд, а Боб вернулся в свою комнату в колледже.

Тоби немедленно поехал в Кембридж и застал Боба в ужасном состоянии. Никогда прежде не доводилось ему видеть, чтобы взрослый мужчина плакал, и от этого зрелища ему стало не по себе.

— Тоб, до этого я на женщину ни разу руки не поднял. Но она заладила: «Эйдриан, Эйдриан, Эйдриан», а девочка заходилась от крика; и если она подаст на развод, я потеряю Эстеллу навсегда. Мне этого не вынести. После такого приговора девочку, безусловно, отдадут ей, а если бы даже отдали мне, что я бы стал с нею делать? В колледже со мною все держатся очень порядочно. И все-таки я не хожу обедать в нашу столовую, затаился в своей норе как мышь. Но так же не может продолжаться до бесконечности.

Тоби полез в шкаф и дал Бобу выпить — он просто не знал, что еще можно для него сделать. У Боба оказался изрядный запас виски.

— Поверь, на меня нашло какое-то помрачение. Только и помню, как врезал ей первый раз, а дальше хоть убей, ничего вспомнить не могу. Чувствую себя форменным чудовищем. И так, наверное, будет до самой смерти.

Тоби медленно выговорил:

— Все мы знали, что в конце концов она доиграется. И беспокоились за тебя. А Эйдриану вообще пришлось дать задний ход.

— Бог свидетель, я Эйдриана не виню. Рита просто на нем помешалась.

— По-моему, тебе надо помаленьку вылезать на свет божий, и пропади все пропадом!

— Единственное, что она может сейчас предъявить, это парочку синяков. Ой, не могу. Господи, если б можно было повернуть время вспять! Теперь мне все это кажется каким-то кошмаром,— добавил он, и это прозвучало не слишком оригинально.

Выяснив, что у Боба целый день ни крошки во рту не было, Тоби повел его в маленькое кафе на одной из боковых улочек. К его удовольствию, Боб набросился на еду и стал поглощать ее с волчьим аппетитом, словно только это и было у него на уме.

— Вон сколько я слопал,— сказал он под конец.— Видно, это мне и требовалось.

Один из сотрудников лаборатории, случайно заскочивший в кафе, поздоровался с ним приветливо, как ни в чем не бывало. Боб в ответ поднял руку и улыбнулся вымученной полуулыбкой.

Когда они кончили есть и закурили, он спросил Тоби:

— А что думает Мейзи?

— После того как я узнал о твоих делах, мы с ней еще не виделись. Но могу точно сказать: она думает так же, как и все. Слушай, зря ты вообразил себя прокаженным. От этого тебя еще больше развозит. Надо как-то собраться, понимаешь?

— Прямо не знаю, как буду смотреть Мейзи в глаза.

— Можешь на нее положиться как на каменную гору,— объявил Тоби, хотя вовсе не был в этом уверен. Он-то знал, чью сторону она примет, кому бессознательно будет сочувствовать.— Она понимает, что к чему.

Когда Тоби вернулся в Лондон, квартирная хозяйка сказала, что его спрашивала по телефону мисс Феррарс и будет звонить еще. Мейзи и в самом деле позвонила через десять минут.

После первых же слов Мейзи стало ясно, что положиться на нее как на каменную гору Боб не может.

— Ты слышал про Боба и Риту? Вот скотство, а?

— Я был сегодня в Кембридже, малыш. Виделся с Бобом. Он совершенно сломлен.

— Так ему и надо! Могло тебе прийти в голову, что он бросится на человека с кулаками?

— Но Рита его на это спровоцировала, понимаешь?

— А мне все равно. Это скажется на его будущем?

— Нет. Почти все на его стороне.

— Только не я. Тоби, я не понимаю, как ты можешь ему сочувствовать!

Но он мягко возразил:

— Малыш, не будем говорить о Бобе и Рите. Тут мы никогда не сойдемся. А уж с тобой ссориться мне бы никак не хотелось.

Она молчала так долго — он даже подумал, что испортилась линия.

— Хорошо,— сказала она наконец,— не будем ссориться. Хотя я просто не понимаю, как ты... Ну, ладно. Не сердись. Я ведь звоню, чтобы спросить тебя, не приедешь ли ты в Хэддисдон в конце той недели. Мама пока еще не открыла сезон в своем цирке...— (Пожалуй, в этих словах дочернее чувство ощущается меньше обычного?)— Струнного квартета не будет. Наверное, приедет Эдуард. Может быть, Питер Коксон, хотя не исключено, что он еще в Нью-Йорке. Ты на меня не сердишься за то, что я сказала насчет Боба?

— Нет. Но больше об этом говорить не будем. Как мне к вам ехать, поездом?

Да, ответила Мейзи, поездом: на машине все равно долго, а она, как обычно, встретит его на станции. Голос у нее был подавленный.

Но на платформе он увидел прежнюю Мейзи — безмятежную, оживленную, ненакрашенные розовые губы изогнуты в улыбке. Она крепко обняла его прямо на глазах у начальника станции, и Тоби это не понравилось. Он все еще пытался хранить от посторонних свои тайны, хоть и сознавал, что почти все они так или иначе вышли наружу.

— Редкий же вы у нас гость! — воскликнула Аманда, влетая в холл, чтобы с ним поздороваться. Она напоминала идущий на всех парусах галеон, и Тоби только теперь понял, как красива она, вероятно, была раньше, во всем блеске своей молодости: прямо Клеопатра — не хватает лишь пресловутой ладьи.— У нас здесь только Эдуард, больше никого. Ну, вы двое делайте что хотите, а я занята.

И, сердечно расспросив его о матери, она умчалась по каким-то своим таинственным делам.

День выдался прекрасный, и Тоби с Мейзи вышли в сад. Взяв Мейзи за руку, он ощутил ее податливость; все тело ее как-то сразу стало податливым.

— Люблю раннюю весну,— сказала она.— Чувство такое, будто и сама начинаешь жизнь заново.

Может быть, в этих словах есть скрытый смысл? Как будто нет.

Он поцеловал ее и почувствовал — она сама нежность. Нет, сегодня надо обходить острые углы.

На деревьях только начали распускаться почки, появилась первая, коричневатая с восковым налетом, зелень. Берега ручья были усыпаны крошечными нарциссами. Было не по сезону тепло, голубизну небес омывало серебристое сияние солнца. Такая погода — самая подходящая для Мейзи; таков должен быть ее постоянный внутренний климат.

Вскоре их позвали на ленч, и, войдя в дом, он удивился: оказывается, Аманда приобрела еще одно полотно его матери — тот самый, исполненный в иронической манере, автопортрет миссис Робертс в кухне, на который не нашлось покупателя на выставке в Кембридже.

— Когда вы это купили, миссис Феррарс?

— Только на прошлой неделе. Увидела в Арденской галерее, и мне это понравилось. Но я все-таки ушла. Потом вернулась. Картина притягивала меня, понимаете? Покупала я ее не для того, чтобы удачно поместить деньги; и все же надеюсь, что именно так оно и получится: по-моему, картины вашей мамы когда-нибудь окажутся весьма выгодным приобретением. Разумеется, не исключено, что мода на ее вещи преходящая,— добавила она трезво.— С такого рода живописью ничего нельзя знать заранее. Но разве это важно? Мне она нравится, а только это и имеет для меня значение.

Может быть, тут она не совсем искренна, может быть, ей не столько хотелось приобрести еще одну картину миссис Робертс, сколько оказать поддержку ему и его семье? Но Тоби отогнал эту мысль как недостойную. Ведь Аманда производит впечатление человека настолько прямого, настолько честного! В ее искренности просто невозможно усомниться.

После ленча Эдуард объявил, что хочет «всхрапнуть», а Тоби и Мейзи решили прокатиться на машине; они объехали несколько деревушек, разбросанных на чуть всхолмленной местности. Потом остановились, чтобы осмотреть старинную церквушку с геральдическими эмблемами и величественными гробницами. Рыцарь и его жена в красных с золотом костюмах спали, чинно сложив руки на груди и вытянув ноги.

— Хотелось бы и мне так уснуть в один прекрасный день,— сказала Мейзи, державшая его за руку.

— Этой ночью ты будешь спать совсем по-другому, девочка моя.

Она подняла к нему засветившееся счастьем лицо.

К чаю они вернулись, и оказалось, что их поджидает Клэр. Тоби был ошарашен. Только бы Мейзи не заметила, что его бросило в краску! Будь она проклята, эта тонкая кожа, вечно он краснеет.

— Вот не думала, не гадала, что встречу здесь вас! — сказала Клэр, крепко, по-мужски тряхнув его руку.— Очень рада. Я заскочила ненадолго — выпить чашку чая,— объяснила она Мейзи. Потом повернулась к Тоби: — Мы ведь живем недалеко отсюда.

Как будто он этого и сам не знал!

Ему стало не по себе. Слава богу еще, что Мейзи пока сохраняет полное спокойствие.

Девушки немного поболтали — о платьях, фильмах, общих друзьях. Потом все пошли в дом пить чай, и тут разговор перешел на сад Ллэнгейнов.

— Наше чудовище, старик садовник, заболел, и маме приходится делать всю работу самой,— сказала Клэр.— А она ее терпеть не может. Вы ведь наш сад знаете? — спросила она Тоби, но тут же спохватилась: — Да нет, откуда. Вы же в Глемсфорде не бывали. Мейзи непременно должна вас как-нибудь привезти.

— Да, непременно,— ответила Мейзи ровным голосом. Но на лице ее вновь появилось уже знакомое ему выражение испуга и боли.

— Что-то там у нас неладно с деревьями,— говорила между тем Клэр.— Мама не знает что. А уж папа и подавно. Опрыскивают и опрыскивают до одури, но толку никакого.

Мейзи встала, пошла наверх. Клэр, Эдуард и Тоби продолжали разговор — впоследствии Тоби так и не удалось вспомнить о чем. Вскоре Мейзи вернулась и до конца вечера была неестественно оживлена.

Но вот Клэр собралась уезжать.

— Непременно заставьте Мейзи привезти вас к нам, пока сад вообще не погиб,— сказала она.

Для Тоби остаток вечера тянулся невыносимо долго, хотя Мейзи и Аманда были веселы, а Эдуард сохранял обычный безмятежный вид. После обеда опять играли в буриме и в «цитаты с подхватом».

Наконец, все поднялись наверх и разошлись по своим спальням. Он долго ждал Мейзи, но она не приходила. В конце концов он сам пошел к ней и, предварительно постучавшись, распахнул дверь.

Она сидела опершись на подушки, свет у нее еще горел.

— Ты был в Глемсфорде.

Он ринулся к ней, вымученно улыбаясь. Словно со стороны видел он свою улыбку. Не улыбка, а растянутая щель рта — веселость, под которой таится обман.

— Малыш, не говори глупостей.

— Клэр проговорилась. Думаешь, я не поняла?

Тоби мгновенно наметил план действий. Опустился с нею рядом на постель и обнял за плечи, но она вырвалась.

— Слушай, я и вправду там был, но всего один раз. Она меня затащила силком.— Говорить такое было низостью, и он сам это понимал.— Я потому не стал тебе рассказывать, что ты ревнивая, а я терпеть не могу, когда меня ревнуют.

— Но ты должен был мне рассказать.

— Пожалуй. Впрочем, это так несущественно; да и вообще тут говорить не о чем. Не думаешь же ты, что Клэр хоть что-то для меня значит?

— Тогда почему же она сразу забила отбой? Ну и дурой же я выгляжу, такой дурой!

— Она потому пошла на попятный, что заметила, какое у тебя стало лицо,— сказал Тоби. Снова он попытался обнять ее, и снова она сбросила его руку.

— Я для тебя ничего не значу. Во всяком случае, всерьез ты меня не принимаешь.

— Милая, ты значишь для меня очень-очень много. Неужели мы рассоримся из-за такого случайного... Такого случайного...

— Мне лгали.

— Мейзи, Мейзи. Если эта ерунда так тебя ранит, мне очень жаль. Что я еще могу сказать?

— Нет уж, лучше не говори ничего! — вспыхнула она.— Ты убил мою веру в себя, а ведь ее у меня не так много, сам знаешь. И всегда знал.

Слезы стояли у нее в глазах, но не проливались.

— Малышка, давай забудем об этом, ладно? Ты нужна мне. Она для меня ничто.— (Опять-таки низость, но ладно уж, семь бед — один ответ.)

В изнеможении она припала к его плечу, и он стал целовать ее — осторожно, деликатно, пробуя ее на вкус, словно плод. На его ласки она отвечала с горячечной порывистостью, но он знал: отношения не

наладились. И не наладятся. Когда они разомкнули объятия, она повернулась к нему спиной и тут же уснула. Чтобы не потревожить ее, он не пошел к себе, а остался у нее и до самого рассвета пролежал, не смыкая глаз; это он-то, который после близости с женщиной тут же засыпал каменным сном...

18

Недели две после злополучного уик-энда в Хэддисдоне (воскресенье Тоби уже едва дотянул) Мейзи не давала о себе знать. Потом от нее пришло письмо:

«Мой родной!

Я решила, что лучше мне некоторое время тебя не видеть. Надо как-то отдышаться и прийти в себя. Если ты скажешь, чтобы я верила тебе, я поверю, но все это меня потрясло ужасно. Сама понимаю, что, может быть, делаю из мухи слона. Приезжай опять в Хэддисдон и поскорее — как только у мамы откроется «сезон».— И не утерпела-таки, добавила: — Вряд ли Клэр снова явится экспромтом.

Я работаю в антикварном магазинчике в Левенеме — надо же чем-то заниматься. Работа моя заключается главным образом в том, что я смахиваю пыль с невероятно хрупких вещиц и ожидаю покупателей, а они не идут. Может, когда начнется сезон отпусков, у нас появятся туристы. Работа — очень так себе, но мой жалкий диплом не позволяет рассчитывать на другую. Я бы заработала больше, если б пошла в секретарши, но им положено знать стенографию и уметь печатать на машинке, а я просто не в состоянии этому сейчас учиться. Как бы то ни было, у меня все в порядке, и я скучаю по тебе. Скоро опять напишу, но какое-то время мне надо побыть одной.

Прости меня, если я досаждала тебе своей ревностью, но мне кажется, кто не ревнует, тот не любит».

Что ж, для Мейзи письмо довольно спокойное, решил Тоби, ведь она натура страстная. И ответил коротким нежным письмецом.

Некоторое время спустя ему вдруг позвонила Аманда. Она хотела бы, чтобы он позавтракал с нею, если, конечно, это не помешает его работе. Голос у нее был оживленный, уверенный; и все же то не было брошенное ненароком приглашение. То был приказ. Тоби ответил, что будет рад видеть ее, и, чтобы не оттягивать черного дня, предложил встретиться завтра же.

— Хорошо,— сказала она,— приходите к часу дня в «Жардэн де гурме» на Грик-стрит.

Тоби пришел первым и, хотя был сильно встревожен, решил никак этого не показывать. Аманда явилась с некоторым опозданием. Вид у нее, как всегда, был немножко сумасшедший (а сумасшедшей она отнюдь не была), но внушительный. Шляпа из белых перышек прикрывала большой пучок.

— Я не этот столик хотела,— объявила она метрдотелю, который явно знал ее.— Он слишком на виду. Мы пересядем.

Они перешли за другой столик. Аманда приветливо заговорила с Тоби и заказала аперитивы.

И тут же с горячностью стала уговаривать его, чтобы он во что бы то ни стало привез в Хэддисдон миссис Робертс:

— Ведь она все еще числится в «львицах».

Этим «все еще» она словно хотела подчеркнуть, что слава миссис Робертс уже пошла на убыль.

— Право же, миссис Феррарс...

— Можете называть меня просто Амандой.

— Благодарю вас. Право же, она ни за что не хочет вылезать из своей раковины. Сам не понимаю, как мне удалось тогда вытащить ее в Кембридж.

Тоби все время был настороже. Он знал совершенно точно: Аманда хочет что-то ему сказать, и удерживает ее вовсе не страх. Просто она дожидается благоприятного момента.

К ним подкатили столик со сладостями, и она долго и очень внимательно его осматривала, но потом объявила, что брать ничего не будет, ограничится кофе. Тоби сказал, что и он тоже.

— Нет, непременно возьмите хоть что-нибудь. Вам же не нужно себя ограничивать, чтобы сбросить вес, правда? В этом нет ни малейшей необходимости.

Но он вежливо отказался.

— Вы, должно быть, знаете, что Мейзи стала работать? Скучно ей там, но она говорит, что не может сидеть весь день дома. Возможно, ей удастся в скором времени подыскать себе что-нибудь более подходящее.— И вдруг Аманда сказала без обиняков: — Она несчастлива. Вам это известно?

— Мне очень жаль,— ответил Тоби,— но право же, я не знал.

Аманда обежала зал взглядом и понизила голос:

— Мне нужно поговорить с вами начистоту. Я не из тех, кто ходит вокруг да около.

Сердце у него упало.

— Слушаю вас,— только и смог выговорить он, стараясь сохранять самый беспечный вид. Секунду-другую она молчала, и он остро ощутил ее самоуверенность, устрашающую напористость и некоторую вульгарность.

— Я знаю, вы спите с ней. Я всегда знаю, что делается у меня в доме.

От этих слов у него стало скверно на душе, он почувствовал себя предателем, злоупотребившим ее гостеприимством, а ведь именно так оно и было.

— Мне это, разумеется, не нравится. А какой матери понравилось бы? Но с современной молодежью особенно не поспоришь, нечего и пытаться: все равно сделают по-своему. Разве не так?

— Я очень к ней привязан. И мне жаль, что произошло все у вас в доме.

— Да, вы к ней привязаны. А вот она вас любит — к сожалению (раньше бы я так не выразилась). И это — совсем другое дело. Вы поссорились?

— Нет, что вы!

— Почему люди думают, что я слепа, как крот? — В голосе ее зазвучало раздражение.— Все, конечно, вышло из-за Клэр. Вы ездили к ней в Глемсфорд, а от Мейзи почему-то скрыли.

— Это было глупо с моей стороны. Но уверяю вас, Клэр для меня ничего не значит.

— Вот что я вам скажу. Еще девочкой Мейзи терпеть не могла неожиданностей, даже приятных. Перед днем рождения и то обычно заранее спрашивала, что ей подарят. И вообще она предпочитает знать правду, пусть самую горькую. Порой мне кажется, вы просто тупы, если умудрились этого не заметить. Ведь она не из-за Клэр расстроилась, нет, для нее непереносимо другое: Клэр знает, что она, Мейзи, ни о чем не знала.

Но Тоби уже оправился от смущения.

— Поднять такой шум из-за Клэр просто нелепо. В конце концов Мейзи с этим примирится.

— Неужели вы не понимаете, что есть вещи, с которыми девушки ее типа до конца примириться не могут? Со временем она позабудет эту историю, а все-таки нет-нет да и припомнит. Послушайте, Тоби,— допивайте-ка кофе, он стынет,— если у вас нет в отношении Мейзи серьезных намерений, лучше вам с ней порвать. Я освоила эту науку еще смолоду. Вы мне по душе, но я не хочу, чтобы Мейзи мучилась. Вернее, пусть она отмучается сразу; сознавать, что с этим покончено, мне будет легче, чем постоянно видеть ее в угнетенном состоянии. Само собой, она ничего мне не говорила. Она вообще редко со мною делится, несмотря на то что мы с ней довольно близки.

Хотя Аманда и сказала, что сладкого есть не будет, она взяла себе кусок пирога с вишнями и теперь поедала его.

Наконец Тоби сказал:

— Аманда, мне ужасно жаль, что все так вышло. Но обещаю вам больше Мейзи не расстраивать. Я вел себя как последний осел, сам понимаю.

— Я бы сказала — гораздо хуже, но не будем в это углубляться.

— Знаете, я без нее не могу.

— Сейчас, пожалуй, и в самом деле не можете. И вы действительно вели себя как последний осел — впрочем, с молодыми людьми такое бывает.

Она доела пирог, осторожно слизнула с верхней губы пятнышко красного сока.

— Вот и все,— бросила она.— Все, что я собиралась вам сказать.

И она в самом деле больше не касалась этой темы. Заговорила о своем предстоящем «сезоне», выразила надежду, что Тоби все же удастся уговорить миссис Робертс выбраться в Хэддисдон.

Когда она расплатилась по счету и они поднялись, Тоби вызвался сходить за такси.

— Не утруждайте себя, дорогой. Моя машина, должно быть, уже здесь.

И действительно, как только Аманда вышла из ресторана, шофер подкатил к подъезду. Ему даже не пришлось искать место для стоянки.

— Вас подбросить? — спросила Аманда.

— Спасибо,— ответил Тоби,— но я хотел бы завернуть к «Фойлу», мне нужны кое-какие книги.

Он смотрел вслед отъехавшей машине — Аманда восседала в ней среди кучи свертков — и спрашивал себя, сильно ли она на него сердится. Трудно сказать. По-видимому, не очень; и уж, во всяком случае, настолько считается с желаниями Мейзи, что сочла нужным быть с ним обходительной. Как бы то ни было, впредь он в Хэддисдоне спать с Мейзи не будет.

Впрочем, ему больше и не представилось такой возможности. Отныне его приглашали только на завтрак в саду. Или на чай.

В кружке Аманды появились новые для него лица: струнный квартет (все четверо без умолку чирикали, как воробьи, и показались ему ужасно глупыми), художник-абстракционист, трое каких-то молодых людей, которых ему представили мимоходом, и в их числе — двадцатичетырехлетний баронет. Тоби решил, что это завидная доля: в таком возрасте уже баронет. Место под солнцем? Что ж, в известном смысле — да. Он понимал, что всем этим молодым людям Мейзи нравится. И хоть не ревновал ее в общепринятом смысле этого слова (скажем, так, как ревновала его она), одно сознание, что они могут дать ей больше, чем он, уже злило его.

Аманда встречала Тоби со своей обычной экспансивностью: ленча в «Жардэн де гурме» словно и не бывало. Но ему показалось, что

она насторожена. А что он вообще о ней знает? Очень мало. И лишь то, что лежит на самой поверхности. Кто она — мать-тигрица, бросающаяся на защиту своего детеныша? Или же эмансипированность все-таки взяла в ней верх? Может быть, впервые в жизни ему пришло в голову, что, по сути дела, он плохо разбирается в людях. Не только в Аманде, нет, в людях вообще.

В Лондоне он виделся с Мейзи довольно регулярно. Они так подходили друг другу физически, что, когда она была с ним, он даже представить себе не мог жизни без нее. Пылкая, нежная, она стала к тому же искусней — приобрела некоторый опыт. И больше уже не докучала ему упреками: чутье подсказало ей, что это верный способ вызвать у него раздражение. Однажды Тоби съездил в Левенем, увидел, как Мейзи бродит по антикварному магазинчику, смахивает пыль с разных хрупких вещиц (все, как она описала в своем письме), переставляет их, стараясь, чтобы витрина выглядела как можно привлекательней.

— Обучаюсь,— пояснила Мейзи, и ему показалось, что она вложила в эти слова какой-то особый смысл.

...В июне пришло письмо от Клэр: приглашение на один из балов Майской недели[1]. Но он отказался: в Кембридже они были бы слишком на виду. Разумеется, в письме к Клэр он не упомянул об этом. Просто написал, что в это время будет во Франции.

Чуть ли не целую неделю после этого он чувствовал себя героем — одолеть такое искушение! К тому же он еще не был готов к встрече с Клэр. Придется пока затаиться: ехать во Францию он вовсе не собирался; может быть, удастся при поддержке Тиллера попасть туда на несколько месяцев осенью. Словом, всю Майскую неделю он не виделся даже с Мейзи: как бы она не проговорилась Ллэнгейнам. Правда, ее тесная дружба с Клэр к этому времени дала трещину, но все равно, мало ли что.

Однако в конце триместра произошло событие, сильно его встревожившее. После целого дня работы в Британском музее, возвратившись домой, он застал у себя профессора Тиллера, низенького толстячка с горящими глазами. Он нервно вышагивал по комнате, держа в руках кусок диссертации, который Тоби отважился дать ему на просмотр.

— Послушайте,— заговорил он.— Это не совсем то, что надо. Труда вы затратили много, но у вас просто не хватает знаний. Придется, пожалуй, начать все сначала. Только не вздумайте впадать в панику. Сядьте.

Тоби сел, совершенно убитый. Он не привык к такого рода осечкам.

— Так что же мне делать?

— Первое, о чем мне подумалось: хорошо бы вам поехать во Францию и следующий триместр поработать там. Надеюсь, вы сумеете что-нибудь наскрести в Национальной библиотеке. Британский музей, полагаю, вы уже выдоили досуха — в пределах своих возможностей. Так как можете вы поехать? Думаю, кое-какие деньги нам удастся выхлопотать.

— Да, могу.

— Заодно и проветритесь.— Тиллер явно смягчился.— И вообще, немного пожить за границей вам только полезно.

На том и порешили.

---

[1] Майская неделя — серия празднеств в Кембриджском университете, которыми завершается весенний триместр. Проводится в июне и длится больше недели.

19

В Хэддисдон он поехал в августе — попрощаться перед отъездом в Париж. День обещал быть знойным — такая погода обычно благоприятствовала замыслам Аманды: не иначе как она затеет очередной пикник. Тоби выехал одним из первых утренних поездов: ему хотелось побыть часок с Мейзи до того, как прибудет «цирк».

Мейзи встретила его на станции — такая, какой особенно была ему по душе: спокойная, улыбающаяся; вид у нее отнюдь не был несчастный — напротив, сулил Тоби полный радости день. Она была в той самой, врезавшейся ему в память, белой блузке и бумажной юбке в желтый цветочек.

— Давай покатаемся,— предложила она.

Они заехали на полчаса в маленькую таверну: выпили по кружке пива, поиграли в шафлборд — оказалось, что Мейзи очень искусна в этой игре. Вот таким, считал Тоби, и должно быть прощание — идиллически-мирным, приятным и беспечальным. Пол в баре был посыпан песком, пахло табаком и элем. Немногочисленные посетители упорно их не замечали, лишь один старичок украдкой поглядывал на Мейзи, дивясь тому, как умело она играет.

...Аманду они застали в саду. Гости уже начали съезжаться, и хозяйка в развевающемся, словно крылья летучей мыши, одеянии восседала среди них. Она вновь представила Тоби струнному квартету, участников которого, казалось, невозможно отличить друг от друга (правда, была среди них одна девушка, но этим все различия и исчерпывались), и еще нескольким людям, чьи имена ему доводилось слышать, но удержать в памяти, как он сразу же понял, все равно не удастся. Эдуарда Крейна пока не было.

За ленчем, как всегда весьма обильным, царила Аманда. Тоби разговаривал с Питером Коксоном, к которому проникался все большим уважением: ему уже не казались забавными ни змеиная головка Питера, ни его маленький рост, ни розовый галстук-бабочка. Несмотря на то что в Америке, откуда Коксон только что вернулся, на его долю выпал немалый успех, он нисколько не чванился и уже не обрушивал на собеседника потока слов. Все говорило о том, что он становится солидней.

Тоби успел прочесть половину его нового романа и был под большим впечатлением. Не исключено, правда, что эффект тут достигался определенным приемом: сперва персонажи высказывают какую-нибудь мысль, а потом поступают как раз наоборот. Тоби не знал, старый это прием или новый, но решил, что сбрасывать Питера со счетов как писателя было ошибкой. И стал горячо хвалить его новую книгу.

— Надеюсь, она ничего,— сказал Питер,— но стоит мне увидеть свою вещь напечатанной, как я впадаю в отчаяние. Всякий раз чувство такое, что можно было написать куда лучше.

— Должно быть, эта же мысль пришла и Микеланджело, когда он напоследок хорошенько оглядел Сикстинскую капеллу,— нашелся Тоби.

На лице у Питера возникло некое подобие улыбки — насколько это вообще возможно для человека столь угрюмого.

— А замечательная, должно быть, штука — большой успех,— задумчиво проговорил Тоби. Он и в самом деле был в этом убежден.

— Ну, у меня успех довольно скромный. Не будем преувеличивать.

— Мне, во всяком случае, говорили, что большой.

— Мало ли что могут наговорить.

Гости явились кто в чем, один Питер был в темном, элегантном костюме в талию. Все время, пока играл струнный квартет, Тоби с Питером просидели под деревом, прямо на траве (хотя она еще не успела просохнуть после вчерашнего дождя и Аманде пришлось распорядиться, чтобы на лужайке для гостей расстелили ковры).

Когда же они присоединились к остальным, выяснилось, что Аманда ушла в дом.

— Она дочитывает вашу книгу, Питер,— объяснила Мейзи.— Вы же знаете, ей непременно надо быть в курсе всех новинок.

— Мне страшно. Сам не знаю почему.

— Вот и зря. Мамочка не может оторваться от книги, потому и дочитывает ее. А вовсе не для того, чтобы раскритиковать.

Давно уже перевалило за полдень, но жара не спадала. Лица у всех покрылись капельками пота. Ожидая, пока Аманда выйдет из дома, гости пили чай и перебрасывались отрывочными фразами.

Когда чаепитие уже подходило к концу, она наконец выпорхнула на лужайку и устремилась к ним, одеяние ее развевалось; роман Коксона она прижимала к груди с таким видом, словно это Книга из Келлса[1].

— Слушайте все! Роман Питера кончается притчей. И я хочу прочитать вам ее. Притчу Питера. Рассаживайтесь поудобнее, это очень важно. Вы ничего не имеете против? — учтиво осведомилась она у Питера.

— При том условии, Аманда, что вы дадите мне время испариться,— ответил он и зашагал к ручью.

Громким, звучным голосом Аманда стала читать.

— Полагаю, говорить тут нечего — любые слова будут лишними,— заявила Аманда, когда гости, выслушав притчу, стали наперебой расточать по адресу Питера похвалы, довольно невразумительные и даже не очень искренние.

Питер шел к ним по лужайке от ручья.

— Чудесная притча,— сказала ему Аманда.

— Надеюсь, она ничего. А иначе зачем было писать.

После чая большинство гостей собралось уезжать, но Мейзи стала упрашивать Тоби, чтобы он остался.

— Обед будет более чем скромный,— предупредила Аманда, и вид у нее был не слишком довольный.

— В таком случае мы поедем в Клер, съедим там по сандвичу,— сказала Мейзи.— Тоби уезжает на несколько месяцев, и мне хочется быть с ним все время, пока он у нас.

Аманда бегло поцеловала его в щеку, и они уехали. Был ранний вечер, жара еще не спала. В машине Мейзи сказала:

— Мы ведь не навеки расстаемся. Ты сможешь там прекрасно поработать. А я приеду тебя проведать — если ты только хочешь.

— Конечно хочу, малыш.

Он и в самом деле чувствовал, что будет скучать по ней.

Из Клера Тоби удобней всего было вернуться в Лондон кембриджским поездом, и Мейзи отвезла его на станцию. Они стояли на залитой солнцем платформе, изредка перебрасываясь словами. Потом увидели довольно близко дымок паровоза.

И тут Мейзи бросилась ему на шею.

— Счастливо, милый. Ты будешь мне писать?

— Думаю, что частенько.

[1] Знаменитая своими иллюстрациями ирландская средневековая рукопись VII—IX вв., содержит латинские тексты четырех евангелий и некоторые памятники ирландской традиции.

— Сходи в те места, где мы бывали вместе.

— Непременно.

— Когда будешь есть croque-monsieur, вспоминай меня.

Она рассмеялась, и последнее, что он увидел из окна, было сияние ее улыбки.

20

До отъезда во Францию Тоби успел посмотреть телепередачу о матери. Съемка была произведена заранее, так что у телевизора они сидели всей семьей.

Миссис Робертс появилась на экране маленькая, как воробышек; перед объективом она держалась непринужденно; на ней было то самое, теперь уже не по сезону теплое, платье, которое она купила для вернисажа в Кембридже.

— Подумать только, ведь это я!

— Да, Дора, ты,— сказал мистер Робертс, придвигаясь к ней поближе.

Между тем на экране ведущий спрашивал ее, правда ли, что она такая затворница.

— Ну, я бы не сказала. Просто люблю свой дом, вот и все. Я не очень общительная.

— Вы пишете с натуры?

— Не совсем. Ну, правда, иногда смотрю в окно. Но большей частью придумываю свои картины из головы.

Затем показали несколько ее полотен (в черно-белом изображении особого впечатления они не производили) и под конец ту картину, которую приобрела Аманда: миссис Робертс у себя в кухне.

Вскоре интервью закончилось — миссис Робертс, верная себе, и эти семь минут была немногословна.

— Если бы я чаще показывалась на людях, вообще мелькала, то, думаю, вокруг меня не было бы всей этой шумихи,— мудро заметила она.— Вот ведь не понимают, почему дома мне хорошо, а встречаться с новыми людьми — в тягость. Это для них загадка.

И все-таки, когда к ней пришел успех, кое-что в ее жизни изменилось. Так, соседки, прежде забегавшие к ней поболтать, теперь больше не заглядывали.

— Вот и ладно,— говорила миссис Робертс,— мне работать нужно. А когда приходится угощать чаем то одну, то другую, только от дела отвлекаешься.

...Наконец Тоби уехал в Париж. Большую часть времени он проводил в Национальной библиотеке. Мейзи приехала разок его проведать, и они попробовали заново пережить былые счастливые дни, но это еще не удавалось никому. И все же Мейзи казалась спокойной и довольной. Через некоторое время он завел интрижку с первой попавшейся девушкой — студенткой, которую подцепил в кафе на бульваре Сен-Мишель,— и получал от нее то, что ему было нужно.

Но жилось ему все это время довольно безрадостно. Париж уже потерял для него прелесть новизны, а с нею в какой-то мере и прежнее очарование; работа не ладилась. Трудился он не покладая рук, но бесконечные научные изыскания надоели ему до тошноты. «Сен-Жюста» он так и не переделал: просто не знал, как к этому подступиться.

Недели за две до возвращения домой он послал письмо Клэр. На первый взгляд — обычное дружеское письмо, написанное без всякого расчета. На самом же деле расчет тут был.

«Я все больше и больше убеждаюсь в том, что жизнь ученого — не для меня. Хочется выйти в широкий мир, хоть немного понять, что к чему. Но если я брошу диссертацию, это будет жестоким разочарованием для всех, включая отца с матерью; так что придется мне как-нибудь ее дотянуть. Но все-таки я приуныл; еще немного французской революции, и я, кажется, вообще свихнусь».

На самом деле такая опасность грозила ему меньше, чем кому бы то ни было, но, как Тоби честно себе признался, он несколько сгустил краски, чтобы разжалобить Клэр.

Ее ответ оправдал его надежды.

«По-моему, Вы дурите: ведь Вам предоставлены такие возможности! Ими бросаться нельзя. Впрочем, какое у меня право поучать других, когда я сама себя проклинаю? Но если Вы нуждаетесь в совете, я уверена, папа Вам его даст — мне помнится, он даже обещал. Может быть, потолкуем об этом, когда Вы вернетесь? Кстати, и мне хотелось бы с Вами кое о чем посоветоваться, так что придется Вам быть мудрым старейшиной племени. Позвоните мне. Привет».

...В Лондон он приехал промозглым ноябрьским утром. Пахло сыростью и почему-то хризантемами; под ногами сочились водою палые листья. Он сразу поехал к себе; Тиллеру пока звонить не стал — да и что он ему скажет?

Первой, кому он позвонил, была Мейзи. И к величайшему своему удивлению, узнал, что она, ничего ему не сообщив, уехала с Амандой — та, как обычно, устремилась в погоню за солнцем.

— Мисс Мейзи, должно быть, вернется еще до рождества,— сказала ему экономка, и в голосе ее были ободряющие нотки.

Вот тут-то он позвонил Клэр, и та бурно ему обрадовалась. Можно ли встретиться с ней? Конечно можно, почему же нет? Ведь он приедет в Глемсфорд, да? Дома только они с отцом. Мать в Австрии, катается на лыжах в Альпах.

— И зря, это совершенно не по ней. Бедняжка, вечно она себе что-нибудь ломает. Переломы, правда, не серьезные — так, пустяки.

В Глемсфорд он приехал в субботу. Клэр в брюках и синем свитере, ворот — хомутом, открыла ему сама и, бегло поцеловав — так, словно он старый друг и это всего-навсего привычный ритуал,— ввела в холл. Там, как всегда, гуляли сквозняки, но в камине ярко пылали огромные поленья, и они уселись на длинной низкой скамье поближе к огню.

— Прежде чем перейти к делу, надо выпить,— сказала Клэр.

Она налила ему виски, себе — джина.

— А вы, Тоби, хорошо выглядите, несмотря на все ваши сомнения и колебания. А как Мейзи?

Тоби ответил, что не знает: Мейзи уехала.

— А мне ничего не сказала. Да она и вообще ничего мне не рассказывает — с тех пор, как я сваляла дурака и проболталась, что вы у нас здесь были. До чего же глупо — я хочу сказать, то, что она так от меня отдалилась. Но и я тоже хороша. Ляпаю не подумав.

«Очень даже подумав»,— решил про себя Тоби. По-своему она умна и тонка, хоть и прикидывается простушкой.

Клэр резковато и прямо стала расспрашивать его о работе и о том, как у него шло дело в Париже.

— Как я вам и писал — еле-еле.

— Это надо обмозговать. Только не решайте ничего второпях; может быть, у вас сейчас просто хандра и все пройдет?

— Может быть. Впрочем, не думаю.

— Ленч у нас сегодня будет довольно скудный,— бросила она.— Одни только сандвичи, зато в изобилии. Пожуем-ка мы прямо тут, у

огня. Налейте себе еще виски. Нам никак не удается обогреть этот дом, а кухня и столовая прямо разваливаются на глазах.

Когда она вышла, Тоби подумал, что временами она кажется просто красавицей, но чего-то в ней все-таки не хватает. Может быть, темперамента? Что ж, если так — тем лучше. Если же темперамент у нее все-таки есть, она умело его скрывает. С виду Клэр — простецкая и компанейская девушка, с ограниченным кругом интересов — этакая деревенская лошадница. Такая всегда будет спокойной и безмятежной: ведь у нее нервы не оголены. И хотя, судя по всему, хозяйка она неважнецкая (как выразилась бы его мать), у нее все получается складно, с нею приятно и легко.

Клэр вернулась с подносом.

— Угощайтесь. Теперь буду говорить я.

Но некоторое время она ела молча, молчал и он.

Наконец она заговорила:

— Я подумываю о том, чтобы выйти замуж. Заметьте, ударение сделано на слове «подумываю». Что вы на это скажете?

Тоби был ошеломлен. Такого он никак не ожидал.

— Что же я могу вам сказать, если не знаю никаких подробностей,— ответил он уклончиво.

— Ну так вот вам подробности. Зовут его Алек, он молодой баронет; отец его умер два года тому назад. Вы могли его видеть в Хэддисдоне — он хороший знакомый Аманды.

— Да, кажется, я его там как-то видел.

— Он славный, мягкий, очень неглуп, но у него нет подбородка, и я не знаю, сумею ли с этим свыкнуться. Казалось бы, какое это имеет значение, а вот почему-то имеет.

— Но он может отпустить бороду,— отшутился Тоби.

— Не выношу ни бороды, ни усов. Нет, я к нему несправедлива. А все-таки помните, как Анна Каренина...— Она произнесла «Каренина»,— вдруг заметила, что у ее мужа странно торчат уши? — И это говорит Клэр, которая утверждала, что не читает ничего, кроме детективов! Ну, правда, она очень легко все схватывает.— Денег у него не густо, но это не имеет значения. Я чувствую, что, если не устрою в скором времени свою жизнь, начну сохнуть на корню. Во всяком случае, он на это прозрачно намекает.

— Сколько вам лет?

— Двадцать три.

— Сохнуть пока рановато,— возразил Тоби, чувствуя неприятный холодок в желудке.

— И все-таки, может, это разумный шаг, а? Что вы мне посоветуете?

Наверное, потому, что ее взгляд, обычно такой искренний и смелый, на сей раз искренним ему не показался, до него вдруг дошло, что замуж она вовсе не собирается. И он сказал:

— Если так, я бы на вашем месте за него вышел. Невзирая на подбородок и все прочее. Мы любим людей за их недостатки, а не вопреки им,— нарочито напыщенно изрек он.

Она поглощала сандвичи с жадностью изголодавшегося человека; было в этом нечто показное, театральное: ни дать ни взять актриса, что ежевечерне (а по средам и субботам еще и на утренних спектаклях) вынуждена съедать на глазах у зрителей обильный обед. Наконец Клэр перестала жевать, отодвинула поднос и подбросила в огонь поленьев.

— Вам это, конечно, безразлично,— сказала она.

Тоби устало возразил:

— Думаю, что ни для кого из ваших друзей-мужчин это не безразлично.

— А знаете, вы мне понравились. Когда нас познакомили, я сразу повела себя с вами весьма вольно. Вам это пришлось по вкусу?

— Еще бы.

Она снова поцеловала его, и на этот раз он ответил горячее, чем тогда, в первый свой приезд в Глемсфорд. Теперь он хотел ее — если можно хотеть с оглядкой.

— Папа придет не раньше трех. Так что у нас есть время.

Словно во сне, поднялся он вслед за нею наверх, в просторную холодную спальню, где стояла кровать под балдахином из выцветшего дамаста. Ему просто не верилось, что все это происходит с ним, Тоби Робертсом. Комната так выстыла, что Клэр, проворно раздевшись, сразу юркнула под одеяло. Он лишь мельком увидел ее тело — крупное, мускулистое, но, как она и говорила, без намека на жир.

Он взял ее, и им было легко и радостно. В отличие от Мейзи, Клэр оказалась весьма опытной.

— Ну да,— сказала она наконец.— Мужчины у меня были. Но я всегда умела их выбирать: я ведь разборчивая. Вот и насчет тебя я долго раздумывала. Кстати, если тебе угодно, можешь не придавать сегодняшнему никакого значения.

— А если не угодно? — возразил он и тотчас пожалел о своих словах. Ведь теперь он законченный предатель. Ну, правда, не вздумай Мейзи вот так, без всякого предупреждения, укатить на Ямайку, ничего бы не случилось.

— Поднимайся, старик,— сказала Клэр,— надо еще привести себя в порядок.

И они действительно успели привести себя в порядок к тому времени, когда Ллэнгейн вернулся с гольфа и с волчьим аппетитом набросился на сандвичи, которые Клэр даже не позаботилась чем-нибудь прикрыть.

— Рад вас видеть, Тоби.

— И я вас, сэр.

— Слышал от дочки, что вас одолевают сомнения насчет вашего будущего.

Прежде чем ответить, Тоби хорошенько подумал: Клэр смотрела на него в упор.

— Не такие уж они серьезные, эти сомнения. Просто мне надо кое-что обдумать. Порою как-то не хочется обрекать себя на затворническую жизнь — это не по мне.

Ллэнгейн насупил брови и снова взялся за сандвичи.

— Не слишком свежие,— объявил он,— но ничего, сойдет.

— Папочка, ты ведь поел в клубе, так чего же ты?

— Ну разве у них там ленч? Одно название. Кормят все хуже и хуже.— И он снова обратился к Тоби: — В вашем возрасте я учился в Оксфорде и только о том и мечтал, чтобы «обречь себя на затворническую жизнь», как вы выразились. Я только и мечтал стать одним из «донов». Но вот мозгов не хватило. А у вас хватает. За чем же дело стало?

— Да так, хотелось бы присмотреться к жизни поближе, понять, как устроен мир.

— Лучше, пожалуй, не надо,— ответил Ллэнгейн, раскуривая трубку.— Право, не надо. Мне, например, совсем не нравится то, что я вижу. Но если вам интересно познакомиться с работой моего банка, я мог бы это организовать.

— Очень любезно с вашей стороны, сэр.

— Не называйте меня сэром. А то я чувствую себя старой развалиной. Может, я и впрямь старею, но не хочу, чтобы мне об этом беспрестанно напоминали. Вы можете встретиться с одним из наших младших компаньонов, Клайвом Бауманом. Он человек толковый и введет вас в курс дела. Если решите, дайте мне только знать.

— Спасибо. Можно мне подумать немного?

— Сколько хотите,— сказал Ллэнгейн.— Предложение остается в силе. Но сможете ли вы лучше узнать жизнь, если будете смотреть на мир с точки зрения финансиста, это еще вопрос. Я, например, вам завидую: ведь у вас такие возможности! Ну ладно,— добавил Ллэнгейн, давая понять, что тема эта исчерпана,— когда примете решение, сообщите мне, пожалуйста. А временем я вас не ограничиваю — думайте, сколько душе угодно.— И тут же обратился к Клэр: — Можешь дать нам чай пораньше?

— Но ведь ты только что съел кучу сандвичей!

— А кекса у нас не осталось? Того, что испекла миссис Додж?

— Кусочек найдется.

— Апельсиновый кекс,— объяснил Ллэнгейн,— очень удачный, думаю, и Тоби от него не откажется.— И пока Клэр освобождала поднос, он вновь заговорил с Тоби: — Надеюсь, на сей раз жена ничего себе не сломает. У нее, знаете ли, бесконечные переломы. Вообще-то ей под силу только «спуск для малышей», но она человек с амбицией. Ваша матушка подобной чепухой не увлекается?

Тоби был огорошен такой забывчивостью, но ничем себя не выдал: просто ответил, что это не по ее части.

— Ах да, ведь она рисует. И к тому же очень здорово. Передайте ей это от моего имени, если похвала такого невежды, как я, что-то для нее значит. Впрочем, помнится, я говорил ей это сам.

Клэр принесла чай и остатки апельсинового кекса. Никогда прежде Тоби не видел ее такой радостной и оживленной.

Вскоре после чая он откланялся: пора было возвращаться в Лондон.

Клэр вышла на крыльцо проводить его:

— Скоро увидимся.

— Надеюсь,— ответил Тоби и, сев в свою малолитражку, включил скорость.

Вдогонку ему Клэр крикнула:

— Если не выйду за Алека, всегда смогу выйти за тебя.

Она ухмыльнулась, помахала ему рукой. Но прежде чем Тоби успел придумать ответ, Клэр вошла в дом и захлопнула за собой дверь.

21

По дороге домой Тоби, конечно, было о чем поразмыслить. Из Глемсфорда он уехал озадаченный, но и очарованный; а для Клэр события этого дня тоже что-нибудь значат? Слова, легкомысленно брошенные ею на прощание, его поразили; впрочем, так ли уж это было легкомысленно? Все-таки, видимо, да.

А вообще, если разобраться, во всем виновата Мейзи, она одна. Потрудись она написать ему, он, пожалуй, не поехал бы в Глемсфорд и, безусловно, не стал бы спать с Клэр. Это уж точно.

Дома его ожидало письмо от Мейзи, и Тоби не сразу набрался духу его распечатать. Он был в таком смятении, что ему вдруг захотелось выпить, хотя обычно он в поздний час не пил. Он налил себе джину с тоником и стал медленно его потягивать. И лишь когда допил, вскрыл конверт с почтовым штемпелем «Хэддисдон».

«Милый, милый Тоби!

Должно быть, ты только что вернулся». (Она высчитала неправильно — он уже несколько дней дома.) «Вероятно, ты удивлялся, почему я не докучаю тебе своими письмами. Но, во-первых, по-моему, ты не любишь, когда тебе слишком докучают. А во-вторых, я все раздумывала о нашей последней встрече в Париже. Внешне все было хорошо, но ведь только внешне. Что-то было не так, а что именно — сказать не могу. Ты был чужой, далекий (когда не следил за собою), а это так на тебя непохоже. Милый, если ты считаешь, что у нас с тобой идет к концу, просто скажи мне, и все: сам знаешь, мысль, что от меня что-то скрывают, для меня непереносима.

Письмо это далось мне нелегко, и я, наверное, отправлю его под горячую руку, пока не успела подумать и испугаться насмерть. Но я слишком сильно люблю — кстати, от тебя я ни разу таких слов не слышала, ты это знаешь?..»

Еще бы ему не знать.

«...чтобы цепляться за тебя, если я не то, что тебе нужно. Я, пожалуй, даже могу желать для тебя того, чего ты сам себе желаешь,— я не случайно пишу «пожалуй»: на большее я сейчас не способна. Наверно, желать такого от всей души могут только святые, а я далеко не святая.

Если тебе хочется встретиться со мной, дай мне знать. Давай встретимся, прошу тебя,— хотя бы только для того, чтобы я могла узнать о твоих делах. Сейчас — глубокая ночь, время самое неподходящее для таких вот писем. Лучше бы написать с утра, в половине десятого, на свежую голову.

На Ямайке было не очень весело. Я чересчур загорела, и вообще валяться целыми днями на пляже скучно. Вот для мамы это было в самый раз: она читала от корки до корки политические романы Троллопа, хоть это сейчас и не модно, словом, была при деле.

Что-то я все не о том. Может быть, зря я не написала тебе раньше, а может, это и к лучшему, сама не знаю. Мне хочется одного: чтобы ты чувствовал себя свободным. Если захочешь, напиши или позвони.

Твоя навеки Мейзи».

Он снова и снова перечитывал письмо. Ведь это же с ее стороны большое самопожертвование, а? А может — не такое уж большое? На миг его охватило чувство полнейшей свободы, но оно тут же сменилось сознанием, что все-таки он с нею связан. Я еще молод, молод, молод, в который раз твердил он себе. Денег мало, перспектив пока никаких (впрочем, от Ллэнгейна, пожалуй, можно кое-чего ждать), почему же от него требуют немедленных решений? Тревога и раздражение поднялись в нем: хватает у него и других проблем, помимо девушек. Что ж, придется еще один триместр поработать под руководством Тиллера, а там видно будет. Времени у него — хоть отбавляй, бог свидетель, времени еще очень много, а его зачем-то погоняют. Нет, ни звонить Мейзи, ни писать ей пока ни к чему, можно обождать денек-другой. Ночь прошла беспокойно — он заранее знал, что не уснет, и в этом опять-таки винил Мейзи.

Назавтра к Тоби неожиданно явился Эйдриан — недавно он принял сан и уже щеголял в воротничке стоечкой, какой носят священники (безуспешно стараясь скрыть свою гордость по этому поводу), и казался в нем еще красивей.

— А, отец Стедмэн,— улыбнулся Тоби.— И подумать только, что теперь все мы должны называть тебя так всерьез.

Эйдриан промолчал, но вид у него был довольный. Потом, расспро-

сив Тоби о его делах, рассказал, что ему предложили место помощника священника в маленьком приходе близ Регби, в Линкольншире.

— Все произошло невероятно быстро. Видимо, так полагается: после посвящения сразу же брать нас в оборот. С моей стороны было бы неблагодарностью говорить о Линкольншире свысока, но все-таки я не думал, что попаду в такой отдаленный приход. Как бы то ни было, опыта я там наберусь, а он мне нужен позарез, ведь у меня его попросту нет.

Спиртного Эйдриан не хотел, согласился выпить лишь чашку растворимого кофе. Когда Тоби заварил его, Эйдриан выговорил с усилием, словно желая сбросить с души тяжесть:

— Я побывал у Боба и Риты. Мне казалось, это моя прямая обязанность. А ты с ними виделся?

— Нет. Ты что, наведался отдельно к нему, отдельно к ней?

— Как, ты разве не знаешь? Они опять живут вместе — на Ленсфилд-роуд. Рита по зрелом размышлении от развода отказалась, а Боб не хочет разлучаться с дочкой; вот так оно и получилось. Особого счастья там, видимо, нет, но все-таки это лучше, чем ничего.

— А почему ты счел своим долгом к ним пойти? — полюбопытствовал Тоби.

— Рита опять прислала письмо. Пишет, что раньше вела себя глупо и ей так жаль и так хочется, чтобы все мы были друзьями. Что же мне оставалось делать?

— Надеюсь, теперь Рита тебя позабудет.

— Когда я заберусь в Линкольншир, меня вообще все позабудут,— со смутной улыбкой сказал Эйдриан.— И я ничего не имею против. А теперь расскажи про Мейзи.

Тоби ответил не сразу:

— Да рассказывать-то, собственно, нечего.

— А знаешь, я ведь теперь могу совершать обряд бракосочетания,— поддел его Эйдриан.— Так что, надеюсь, в один прекрасный день смогу быть вам полезен.

— Может быть. Но окончательно пока ничего не определилось. Похоже, что нас с ней относит в разные стороны.

— Извини.

— И потом, я же тебе говорил: у меня самого еще полная неопределенность во всем. Так и не знаю, чем в конце концов займусь.

Он осторожно перевел разговор на дела Эйдриана, и тот охотно стал рассказывать. Ему явно нужно было с кем-нибудь поделиться. Его одолевают сомнения, объяснил он, не религиозного свойства, таких он не ведает, нет, он просто не уверен в том, что сумеет справиться с обязанностями пастыря. Считает, что не подготовлен к этой роли, да и вообще для нее не годится. Какое у него может быть влияние на прихожан — ведь он так молод. А еще у него проблема с матерью. И впервые за все годы их дружбы он рассказал Тоби, что семь лет тому назад у матери был удар и она частично парализована. Оставить ее он не может — не на кого. Сперва собирался взять с собой в Линкольншир, если удастся найти подходящий дом для них обоих,— у матери есть кое-какие сбережения, так что все это можно бы устроить. Но старик викарий требует, чтобы он поселился вместе с ним, в доме приходского священника, и если он будет настаивать — а похоже, что будет,— ему, Эйдриану, придется подыскать какую-то помощь для матери там же, на месте: снять домишко и найти для ухода за ней медицинскую сестру. Он все говорил и говорил, а Тоби слушал. Эйдриан никогда не умел уйти вовремя.

Но наконец он поднялся — толчком послужило не очень искреннее предложение Тоби заварить еще кофе — и ушел, оставив приятеля

в унынии. Если уж Эйдриан опасается, что не сумеет наставлять других, то из него, Тоби, наставник явно никудышный.

Назавтра он сел писать Мейзи, но не сразу нашел в себе силы взяться за перо. Он понимал, что она сама дает ему возможность спастись бегством, если он действительно того хочет (в чем он отнюдь не был уверен), но ему было стыдно этой возможностью воспользоваться. При всем том он успокаивал себя мыслью, что в случившемся в немалой степени повинна сама Мейзи, ее чрезмерная деликатность.

«Да, малышка (Так начиналось письмо.), ты должна была мне написать. Я не понимал, почему ты этого не сделала. И написал бы тебе сам, но мне показалось, что экономка скрытничает не случайно, а адрес «Ямайка, Мейзи» — все-таки, как ни говори, недостаточно точный.

У меня не осталось такого чувства, что в Париже у нас с тобой что-то было не так. Можно вернуться в те же места, но в прошлое не вернешься, это закон. Впрочем, никто и никогда на такое и не надеется». (А ведь он знал, что она надеялась именно на это.) «Мне нужно о многом с тобой поговорить — главным образом о моих планах на будущее, твой совет очень бы тут пригодился. Не можешь ли ты ко мне приехать? У своих я буду не раньше двадцать третьего декабря — попаду прямо на мамины рождественские оргии. Мне здесь еще надо горы своротить. Боюсь, что с Сен-Жюстом я завяз, и, хотя сделал уйму выписок, браться за них мне просто страшно. Еще один триместр помыкаюсь с Тиллером, а если дело не пойдет на лад, надо будет подумать о чем-то другом. У меня есть кое-что на примете, но об этом — при встрече.

Извини, что пишу коротко, но голова работает плохо, да и вообще лучше обо всем поговорить, когда увидимся. Могла бы ты приехать в пятницу? Привет».

...Позвонила Мейзи: она будет у него в пятницу в шесть часов. Слова она выговаривала с таким трудом, словно дантист ввел ей большую дозу новокаина для обезболивания и у нее не ворочается язык.

Как сказано в Библии, «довольно для каждого дня своей заботы». Тоби этим всегда руководствовался и все-таки теперь заранее тревожился по поводу предстоящей встречи с Мейзи; у него еще теплилось чувство к ней — впрочем, только теплилось, не более. И он полагал, что теперь уже вряд ли сумеет ее полюбить по-настоящему. Его по-прежнему очень тянуло к ней как к женщине, но и к Клэр тоже. Он поймал себя на том, что, готовясь к встрече с Мейзи, то и дело мысленно ведет с нею полемику, и решительно это пресек.

И вот Мейзи появилась в его берлоге, спокойная, ровная, и расцеловала его так же горячо, как всегда. Она и вправду сильно загорела, но это даже шло ей. Первые ее слова были:

— Боюсь, мы все переусложнили и запутали. Ну, с нашей перепиской. Но я и вправду думала, что, если не стану тебя беспокоить, ты будешь только рад.

— Странный ты выбрала способ избавлять меня от беспокойства,— возразил он.— Впрочем, теперь это уже позади.

Тоби припас бутылку вина, купил всякой еды.

— Суп горячий,— сказал он,— можно никуда не ходить, поедим у меня.

— Дома ты будешь ужасно серьезный. А мне этого не хочется.

— Но у меня все основания быть серьезным. Я же писал тебе, что с диссертацией завяз совершенно — во всяком случае, я так считаю. Тиллер держится не слишком приветливо, потому что недоволен мною. Уж лучше мне было пойти к другому научному руководителю.

Она сняла плотное пальто, под ним было платье из белого твида. И Тоби, еще не отвыкший считать каждый грош, невольно стал прикидывать, во сколько же ей это обходится — то и дело отдавать его в чистку. А вслух сказал:

— Очень элегантно.

— Спасибо.

За окном был пасмурный декабрьский вечер, небо обложили темные тучи, они еще не пролились дождем, но предвещали его. Тоби включил переделанную из керосиновой настольную лампу с абажуром светло-зеленого стекла — подарок Мейзи. Более сильной лампы у него не было.

— Так уютнее?

Он протянул ей стакан с вином, налил и себе. Они сидели рядом на оттоманке, широкой и красивой, но местами продавленной. Тоби обнял Мейзи за талию.

— Я тут съездил разок в Глемсфорд,— объявил он без всяких предисловий,— не столько ради Клэр, сколько ради ее папаши.— При этих словах он почувствовал, как Мейзи вся напряглась под его рукой.— Он говорит, что, пожалуй, сможет мне помочь; это я и имел в виду, когда писал тебе, что у меня есть кое-что на примете. Как тебе понравится, если я сделаюсь банкиром, а? Как им стать, понятия не имею, но выяснить можно.

Она пробормотала в ответ что-то невнятное.

А он все говорил — да, на этот раз, в виде исключения, говорил, а не слушал: нужно было ее успокоить.

— Звучит невероятно пышно. Если меня примут, то для начала, наверное, придется лизать гербовые марки — если их сейчас еще лижут, чтобы наклеить. Представления у меня об этих делах устарелые, диккенсовских времен. Но пока я ничего не предпринял. Что ты мне посоветуешь?

— Если это тебе подходит, что ж...— Голос ее звучал глухо, как у чревовещателя; казалось, он доносится откуда-то из отдаленного угла комнаты.— Не мне об этом судить.

Он поцеловал ее.

— Вот и надулась. Не надо. Ну что ты?

— Ничего. Поступай как знаешь — дело твое.

— Но немножко все-таки и твое. Я к тебе, знаешь ли, привязан.

— Что-то я больше этого не чувствую.

— Малыш, оставь ты этот тон трагической актрисы. Не из чего делать трагедию, честно говорю. А ну, допивай живо, потом нальешь себе еще, а я тем временем накрою на стол.

— Я сама накрою.

Мейзи высвободилась из его объятий. Она знала, где что лежит, и он не без раздражения смотрел, как она снует по комнате, безошибочно выдвигает нужные ящики, достает тарелки из кухонного шкафчика, который отдала ему мать. Видно было, что у нее подступают слезы, но она твердо решила их сдержать. Да, теперь ясно, разрыв необходим, но рвать надо не сразу, а спускать на тормозах — чем медленнее, тем лучше. Для нее будет легче, если он станет отдаляться постепенно; время от времени будет спать с нею, но все реже, пока отношения не прекратятся сами собой. На душе у него было не слишком весело, но почти никакой вины за собой он не чувствовал: не оборви она переписки на несколько месяцев, все, возможно, сложилось бы совсем по-другому; в этом ему удалось себя убедить.

— А как Клэр? — спросила она, стоя к нему спиной.

— Жива-здорова. Такая, как всегда. А вообще-то не вредно бы ей устроиться куда-нибудь на работу.

— Я от своей отказалась. Но могу в любое время вернуться. Охотников на нее, конечно, нет.

Стол уже был накрыт, и Мейзи как будто овладела собою. Со свойственным ему оптимизмом Тоби решил, что ее несколько утешил небрежный тон, каким он говорил о Клэр.

— Назад поедешь сегодня?

Нет, ответила Мейзи, ей вовсе не улыбается два часа вести машину в темноте, он же понимает. Придется переночевать у сестры. Тоби одобрительно кивнул; ему нравилось ее опекать.

— Есть хочешь? — спросил он.

— Да нет, не очень.

Когда они поели, Тоби отнес тарелки в тесную кухоньку, потом, прихватив недопитую бутылку, снова подсел к Мейзи на оттоманку.

Мягко светила круглая зеленая лампа.

— А ведь это мой подарок,— сказала Мейзи.

— Неужели ты думаешь, я забыл?

И вдруг у нее вырвалось:

— Да поговорим мы наконец или нет?

Он помедлил с ответом.

— Только не сейчас, лучше не надо. Нам так хорошо, так уютно, правда? Ну, ты мне прислала довольно крученое письмо, я ответил тем же. И давай забудем об этом. Расскажи мне про Ямайку.

Но в мозгу его уже зазвучал сигнал тревоги: она хочет проникнуть в его мысли, а он допускает такое лишь до известного предела. Надо сейчас же лечь с ней в постель, решил он, так удастся хотя бы оттянуть черный час объяснения. И при этом он, как ни странно, с небывалою остротой ощутил, до чего же она хороша в своей золотистой прелести. Он встал, чтобы зажечь верхний свет — а то как бы одинокий огонек зеленой лампы не пробудил в нем былых чувств. Потом снова сел на оттоманку и принялся ласкать Мейзи. Обычно она горячо отвечала на его ласки, но сейчас оттолкнула его с несвойственной ей резкостью.

Потом заговорила, и в голосе ее были властные нотки:

— Тоби, нельзя увиливать до бесконечности. Будем мы продолжать наши отношения?

— А почему же нет? Что-то я не совсем понимаю.

— Потому что обстоятельства изменились. Я смотрю правде в глаза. И всегда смотрела. Именно это тебе и не нравится во мне,— добавила она с незаурядной проницательностью.

— Мне нравится в тебе все.

— Чем это кончится?

— Малыш, а не кажется ли тебе, что говорить о конце рановато?

— Нет, не кажется. Своим письмом я выдала себя с головой. А вот ты себя ничем не выдал. Ни разу. И если я когда-нибудь тебя невзлюблю, то именно за это. Я сама поставила себя в невыгодное положение, и это непоправимо. Показала тебе, как много ты для меня значишь. А ты показал, как мало я значу для тебя.

— Успокойся,— бросил Тоби,— все это ерунда.

— Нет, не ерунда.— Слезы стояли у нее в глазах, но все еще не проливались.— Ты меня не любишь, а я тебя люблю. Легко ли сделать такое признание! Мама сказала бы, что это унизительно, но она просто не понимает.

— Не умею я говорить громкие слова,— медленно произнес Тоби,— но мне казалось, что ты знаешь меня лучше. Я в тебе души не чаю. Однако никаких решений пока принять не могу. Недозрел еще — ни до того, чтобы бросить историю, ни до того, чтоб попытать

счастья в банковском деле, вообще ни до чего. Просто я должен быть свободен, чтобы во всем этом разобраться.

— А мне ты тоже предоставил свободу, как по-твоему?

— Мы оба свободны — до известной степени. Но я хочу тебя, и хочу сейчас.

— Я не дом, куда можно запросто забегать, где можно укрываться. Запомни это раз и навсегда. И бога ради, не вздумай снова твердить, что ты еще слишком молод, что рано тебе принимать решения. Ты повторял это столько раз, что я уже мысленно вижу тебя в ползунках. Я хочу какой-то определенности, мне нужно знать, куда я иду. А с тобой, мне кажется, я не приду никуда.

Он стал возражать: ему требуется время, а она торопит события, это же невозможно вынести.

— Наоборот, торопишься именно ты — тебе не терпится удрать поскорее, а вот этого не вынести мне. Но если я все-таки смогу пережить такое, мне надо через это поскорее пройти. Продолжать этот фарс я не в силах.

Это было до того на нее непохоже, что он, впервые за весь вечер, позволил себе рассмеяться.

— Брось, милая,— сказал он (а называл он ее так очень редко).— Ни для тебя, ни для меня это не комедия. Много шума из ничего — иначе, по-моему, не скажешь.

— Может, я зря не написала тебе, но ведь только потому, что знаю: ты не любишь, когда тебе докучают.— (Правильно, он этого в самом деле не любит).

— Идем в постель.

— Не пойду. Не хочу.

— Нет, хочешь.

И тут Мейзи взорвало — ее словно подменили:

— Да как ты смеешь решать за меня, чего я хочу, а чего нет?

— Тихо ты, тихо.

— Сейчас здесь станет тихо. Я ухожу. Это конец, так?

— Нет — если ты того не хочешь.

— Прекрасно знаешь, черт подери: я-то конца не хочу, его хочешь ты.

— Пожалуй, и тебе не следовало бы решать за меня — чего я хочу, а чего нет. Я позвоню тебе или напишу, и, может, мы поговорим более разумно. Не скажешь ведь, чтобы наш сегодняшний разговор был воплощением здравого смысла.

Ему все еще не верилось, что она уйдет. Но Мейзи влезла в пальто, надела шляпку и тщательно поправила ее перед единственным зеркальцем, какое было в комнате. На поцелуй Тоби она ответила холодно.

— Не глупи,— были последние его слова.

Когда она ушла, он выключил зеленую лампу.

22

На рождество он послал ей жаккардовый шарфик, а она ему — «Жизнеописание герцога Беррийского» в роскошном подарочном футляре.

Они обменялись благодарственными письмами, а затем Тоби пригласил ее — тоже письменно — на чай в дом своих родителей; сделал он это под нажимом матери, которая заподозрила неладное.

Мейзи приехала, и ничего хорошего из этого не получилось. С миссис Робертс она, как всегда, была ласкова и сердечна, интересовалась всеми ее делами, но смотреть на Тоби избегала.

Впрочем, болтала она довольно оживленно. Скоро пойдет новая пьеса Эдуарда, он возлагает на нее большие надежды. Пьеса эта — о современности, но он принципиально отходит от тем «кухонной раковины», хотя школу «кухонной раковины», как он и предсказывал, критика сейчас возносит до небес. В пьесе изображена хозяйка модного светского салона.

— Образ, конечно, навеян мамой, но героиня совсем, совсем на нее не похожа. Эдуард спрашивал у мамы, не против ли она. Мама посердилась для виду, но на самом деле она в восторге.

Мейзи посмотрела все новые картины миссис Робертс и пришла от них в восхищение. Миссис Робертс молча слушала, стараясь не упустить ни одной малости, которая могла бы предвещать ее работам серьезный успех. Мистер Робертс был с Мейзи очень приветлив.

— Больно вы у нас редкая гостья,— попенял он ей.— Вот уже сколько месяцев не показываетесь. Берите сигарету. А от нас вы, как обычно, куда-нибудь отправитесь с Тоби, да?

Но под каким-то благовидным предлогом Мейзи вскоре ушла. После ее ухода миссис Робертс с грустью проговорила:

— Боюсь, что больше не увижу ее.

— Ну, почему же,— беззаботно бросил Тоби.

После этого они с Мейзи встречались еще месяца два, но у него она почти не бывала: ходили в рестораны, кино, театр. Для Тоби это получалось накладно: поглощенная своими мыслями, Мейзи, против обыкновения, не настаивала на том, чтобы платить за себя самой.

...Премьера пьесы Эдуарда Крейна «Хозяйка салона» прошла успешно, и зрители продолжали валить на нее валом. Крейн пригласил их обоих на премьеру, но они пошли не сразу — на всякий случай переждали недельку.

Их в самом деле, как выразился Тоби, все дальше относило друг от друга. Пальцы их больше не сплетались в тесном пожатии над водами реки, по которой они с таким трудом плыли против течения.

И однажды вечером, когда они вышли из кино, Мейзи сказала:

— Пусть это будет конец, я так хочу. Не звони больше и не пиши. Мне нужно с этим покончить немедленно, а то я не выдержу.

— Но, малыш...

Они стояли рядом на ночной улице, залитой яркими огнями.

— Мне нужно, чтобы последнее слово осталось за мной, понимаешь? Так для меня легче.— Она говорила торопливо, слегка задыхаясь, словно на бегу.— На такое меня еще хватит. Сказать «все кончено» — я в силах.

Она улыбнулась ему, как ни разу не улыбалась в последние месяцы: нежно и ласково, уголки рта приподнялись, губы изогнулись. Поблескивающие, словно чуть влажные волосы развевались под легким ветром.

— Да не глупи ты...

— Любить меня ты не можешь, а это единственное, что для меня имеет значение. Мне нужно строить свою жизнь. От встреч с тобой у меня только боль, а не радость, и я не вижу смысла все это длить.

Она поцеловала его в щеку, резко повернулась и зашагала в сторону Ковентри-стрит. Он глядел ей вслед, не веря, что это и впрямь конец, и в то же время смутно на это надеясь. Молодчина она, ему бы так не суметь. Не возьми она дело в свои руки, отношения их тлели и угасали бы куда дольше. Но, может, она еще напишет, попросит его позабыть все, что наговорила? А может, написать ей самому?

Но он понимал: все кончено, и на сердце у него было тяжело — она и не поверила бы, что ему будет так тяжко.

В Кембридж Тоби приехал мрачный и подавленный.

Боб и Рита держались так, словно между ними никогда не было никакой размолвки. Девчушку еще не уложили, и она забавно топала по комнате. Рита как будто стала интересоваться ею несколько больше: ведь теперь ее можно наряжать, словно куклу. Боб смотрел на дочку с обожанием.

Когда Рита повела ее укладывать (прислуги они больше не держали), он сказал:

— Не знаю, как бы я выдержал, если б не ребенок. Я не прочь завести еще одного, но Рите это не улыбается, да и дела у нас сейчас не слишком хороши. То есть в общем-то дела неплохие, но не настолько хороши, чтобы ей рожать второго сейчас. Последнее время мы что-то ни с кем не общаемся. От Эйдриана никаких вестей, да у него, видно, и нет особой охоты писать письма. А как Мейзи?

— С этим покончено.

У Боба глаза полезли на лоб:

— Как так? А я-то думал, вы попугайчики-неразлучники.

— И тем не менее все кончено.

Тут в комнату вернулась Рита и сказала, что обед вот-вот поспеет.

Как говорится, черного кобеля не отмоешь добела, и вскоре Тоби лишний раз убедился в правильности этой поговорки. Во время обеда — совершенно ужасного — Рита, не переставая, жаловалась на мужа: он мохом зарос, и что проку покупать новые платья, если он все равно их не замечает.

Тоби улыбнулся.

— Бывает и так, что человек все замечает, но не считает нужным об этом докладывать,— заметил он примирительно.

— Если бы не Эстелла, я б подыскала себе работу. А дома мне делать нечего — так, слоняюсь весь день из комнаты в комнату.

«...Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»,— писал Толстой, но Тоби подумалось, что многие несчастливые семьи несчастливы именно так, как эта. Когда наконец можно было встать и попрощаться, Тоби испытал большое облегчение.

Рано утром во вторник позвонил Эдуард Крейн. Голос у Крейна был странный, какой-то осипший, словно он основательно выпил, чего никак не могло быть в такую рань.

— Дело неотложное. Не можете ли вы заехать ко мне сегодня вечером? Часов так в шесть?

И Крейн назвал ему адрес — жил он на Хертфорд-стрит.

— Конечно могу. Но что случилось?

— Это не телефонный разговор.— И Эдуард положил трубку.

Весь день у Тоби на душе кошки скребли, хотя он и сам не знал почему... Поднявшись по изящной крутой лестнице на второй этаж, он очутился перед квартирой Крейна и позвонил.

Крейн открыл ему сам: неуклюжий, с седыми, словно присыпанными пеплом волосами, и лицо тоже пепельно-серое.

— Входите.— Он провел Тоби в красиво обставленную гостиную, имевшую несколько заброшенный вид.— Садитесь. Мне надо с вами поговорить. Дело в том, что Мейзи пыталась покончить с собой — в ночь с воскресенья на понедельник.

У Тоби отвисла челюсть. Он не смог бы выговорить ни слова, даже если бы Крейн дал ему такую возможность. Но тот сразу же сказал:

— Сейчас говорить буду я. Она уже вполне оправилась, это я могу сказать точно. Но то была настоящая попытка самоубийства, а не симуляция — знаете, когда человек делает вид, будто хочет покончить с собой, а сам рассчитывает, что его спасут. Аманда уехала на

две недели в Париж, из гостей в доме ночевали только Питер и я — оба в самых дальних комнатах. Вечером Мейзи была совершенно такая, как обычно. А потом поднялась к себе в спальню и приняла кучу таблеток аспирина. По счастью, слишком много: они вызвали у нее рвоту. Утром экономка принесла ей чай и увидела, что Мейзи лежит в луже собственной рвоты и дышит, как лошадь к концу забега.— Внезапно он смолк, налил им обоим виски.— Нам это будет не лишне. Во всяком случае мне.— И он тяжело опустился в кресло.— Я вызвал врача, и мы привели Мейзи в чувство. Аманде никто из нас ничего не скажет — ни экономка, ни врач, ни я. Питер ни о чем не догадывается, да и вообще он такой: если почует неладное, старается отойти в сторонку. Об этом не должна знать ни одна живая душа. Тут Мейзи непреклонна, и она права. Но я решил, что вас все-таки необходимо поставить в известность.

Тоби попытался собраться с мыслями, но страшное это видение — Мейзи, лежащая в луже собственной блевотины,— глубоко его потрясло.

— Не понимаю все-таки, почему...— начал было он.

— А по-моему, все вы понимаете, ну, конечно же, понимаете,— Эдуард сделал большой глоток и глянул Тоби прямо в лицо, словно читал в его душе.— Это должно остаться в тайне, навсегда.

— Разумеется. Но...

— Не подумайте, что я всю вину возлагаю на вас. Мы ведь не вольны в своих чувствах — или, может быть, все-таки вольны? Я убежден, что это так. В некий решающий миг человек должен сделать выбор.

— Послушайте, сэр...— Тоби и не заметил, что от волнения вновь назвал Крейна «сэром».— Ведь это она настояла на разрыве.

— Да, чтобы сохранить свою гордость. Она еще настолько молода, что такая чушь имеет для нее значение.— Потом добавил с сочувственной ноткой в голосе: — Вам это, должно быть, причинило боль. Правда, вы это вы,— тут сочувствия в голосе явно поубавилось,— и стало быть, боль быстро пройдет. Ведь у вас, Тоби, все проходит быстро, не так ли?

— Я поеду к ней.

— Именно этого вы и не сделаете — если только мне удастся вам помешать. Меньше всего ей нужен сейчас ваш приезд. До сих пор ей почему-то казалось, что настоящего разрыва так и не произошло, а теперь она знает: разрыв между вами — полный и окончательный. Я полюбил Мейзи еще девочкой и не хочу, чтобы она снова мучилась, хватит с нее. Говорю вам это напрямик — чтобы вы не вздумали время от времени являться к ней как ни в чем не бывало, с этаким милым, беззаботным видом.— Тоби молчал, стакан с виски, которое он так и не пригубил, стоял перед ним на усыпанном пеплом столике.— Поезжайте к Клэр, если угодно.

К Клэр? Что ему известно, этому человеку? На мгновение Тоби с перепугу почудилось, что Эдуард знает (и всегда знал) о нем все — еще с тех зыбких дней, когда у него была некоторая надежда сойти за человека их круга, надежда, окончательно лопнувшая из-за того, что к матери пришла известность... И все-таки Эдуард может только строить догадки, а знать достоверно не может ничего.

Вслух Тоби сказал:

— Мейзи всегда заблуждалась насчет моих отношений с Клэр.

— Возможно. Но она рассказывала мне о ваших поездках в Глемсфорд.

Тоби словно ожгло — значит, Мейзи предала его, касалась в разговоре его интимных дел. Как могла она рассказывать такое пожило-

му человеку? Эдуард, большой, грузноватый, сидел теперь в более свободной позе, в нем уже не чувствовалось прежней напряженности.

— Вряд ли она так уж ошиблась. Впрочем, может, и ошиблась. Но как бы то ни было, именно это ее и доконало.

Тоби спросил со всем жаром, на какой был способен (а это значит — без особого жара):

— Она совсем поправилась?

— Да, и уже на ногах. Но тревожить ее сейчас не надо, понимаете?

— Тогда зачем вы мне все это рассказали?

— Затем,— медленно и трудно выговорил Эдуард,— что и на вас должна пасть доля тяжести, хотя формально упрекнуть вас не в чем. Да, не в чем. Я несправедлив к вам? Что ж, я часто бываю несправедливым. Но дело в том, что Мейзи — не знаю, до конца ли вы это понимаете,— человек особенный.

— Конечно, понимаю.

— И все-таки не в такой мере, как те, кто знает ее с детства — как, скажем, я.— И Эдуард погрузился в молчание. Он повертел в руках стакан с недопитым виски, и на поверхности его возник золотой кружок, гипнотически притягивавший взгляд. Потом сказал: — Все это я говорю вам для того, чтобы впредь вы относились к людям с большей ответственностью. Впрочем, потребность любить у вас пока все равно не возникнет — слишком вы еще молоды. А она приходит лишь с возрастом.

— Но я мог бы написать Мейзи.

— Не надо. Разве только, если она напишет вам сама. В чем я сомневаюсь. Постарайтесь стать добрее,— посоветовал Эдуард.— Эта наука дается нам слишком поздно — а бывает, не дается совсем.

Они молча сидели в темноватой гостиной — ее освещали только неоновые трубки над картинами.

— Будьте счастливы с Клэр, если сможете,— проговорил наконец Эдуард.— То есть если вы ей нужны. А мне думается, что нужны. Ведь отныне вы свободны, это дошло до вашего сознания?

Он встал, давая понять, что разговор окончен, и Тоби тоже поднялся.

— До свидания,— бросил Эдуард. Дверь он захлопнул, когда Тоби еще не дошел и до середины лестницы.

23

Довольно долго Тоби пребывал в угнетенном состоянии духа. Чтобы выйти из него, он упорно работал, и Тиллер скрепя сердце вынужден был его похвалить.

Но было это в феврале. А сейчас уже начало апреля; и в тот самый момент, когда у него забрезжила надежда, что ему удастся наконец выкарабкаться из этого угнетенного состояния, пришло письмо от Боба — на сей раз, для разнообразия, с добрыми вестями. Боб закончил свою докторскую диссертацию за два года; правда, по существующим правилам защищать ее он мог только через год — по истечении трехлетнего срока, положенного на подготовку докторской; но зато его выбрали членом совета колледжа. Даже Рита, по-видимому, довольна. Теперь Боб будет зарабатывать куда больше; как только им удастся подыскать дом, они переедут.

Тоби порадовался за друга: все это, безусловно, предвещает для него перемену к лучшему. А Тоби был к Бобу привязан...

Теперь Тоби волен был встречаться с Клэр когда пожелает, и притом открыто; но пожелания обычно исходили от нее. Правда, она

постоянно была занята — одному богу известно чем. Но всякий раз, как они встречались, она предъявляла на него права так настойчиво, словно между ними все уже было решено (а Тоби и помыслить об этом не смел).

...Ангел карающим мечом преградил Тоби путь в Хэддисдон, но путь в Глемсфорд по-прежнему оставался для него открытым, и хоть в Глемсфорде куда скучнее, чем в Хэддисдоне, зато там Клэр! И он стал ездить туда постоянно.

— Ну что ты все дергаешься,— укоряла она его,— никак не примешь решения. Бросил бы ты всю эту ученую муру и обратился за помощью к папе, а? Он поможет, сам знаешь. Вообще он всегда делает то, что должно понравиться мне.

Но Тоби упрямился:

— Дай мне повременить немного. Почем знать, вдруг из меня еще получится Эктон или Маколей.

Он скрывал от нее многие обстоятельства своей жизни, но, как оказалось, она тоже до недавнего времени кое-что от него утаивала. Например, он только теперь узнал, что у Ллэнгейнов кроме поместья есть еще и лондонский дом — в Челси, что Клэр ночует там всякий раз после того, как где-нибудь побывает с ним вечером (а он-то полагал, что она останавливается у друзей), и что родители ее почти никогда туда не заглядывают — они вообще выезжают из поместья крайне неохотно и только в тех случаях, когда этого невозможно избежать. Вот сюда-то Тоби и Клэр стали частенько наведываться, когда им хотелось побыть наедине. И в каждую такую встречу Тоби словно открывал ее заново.

Однажды вечером Тоби сказал:

— Мне кажется, ты в конце концов выйдешь за Алека.

— Почему? Ты считаешь, я должна за него пойти?

— Я бы на твоем месте воздержался. Впрочем, не мне судить о его качествах — не та ситуация.

— А ты сейчас как раз в такой ситуации, когда он мог бы судить о твоих,— бросила Клэр с грубоватым смешком.— Впрочем, спешить пока некуда, верно? Времени еще уйма.

— Но за это время ты можешь от меня ускользнуть,— вырвалось у Тоби. Никому на свете, кроме Клэр, он не сказал бы такого.

— Не думаю. С тобой мне так хорошо!

— А помнишь, что ты сказала однажды в Глемсфорде, когда я отъезжал от крыльца?

— Милый ты мой старичок, у меня абсолютная память, как выразились бы мои — весьма немногочисленные — друзья-интеллектуалы. Я помню даже, как проболталась в Хэддисдоне насчет того, что ты видел наш сад,— надо же было такое брякнуть!

А вот этого ей говорить не следовало: всякая мысль о Мейзи вызывала у него грусть, хоть и ненадолго.

Тоби сказал, что ему пора идти.

— Ой, не уходи. Мне так уютно с тобой. Если мы когда-нибудь поженимся — имей в виду, Тоби, я не даю никаких обещаний,— ты будешь рад?

По-прежнему лежа на спине и глядя в потолок, он ответил:

— Но ведь у меня нет ни гроша...

— Зато у меня есть! — нетерпеливо возразила она.— Все эти разговоры о деньгах — просто вздор.

— Да, вздор, когда они есть.

— И вообще, не подумай, будто я делаю тебе предложение. Мы с тобой неплохо развлекаемся. Верно? А может ли человек рассчитывать на большее?

— Вот именно,— ответил Тоби. Ведь у него и впрямь все было так неверно и зыбко...

— Надо тебе познакомиться с Перчиком. Он скоро приедет из Германии в отпуск. Если ты переживешь это потрясение, мы с тобой по-прежнему будем неплохо здесь развлекаться.

В машине по пути домой он спрашивал себя: а удалось ли все-таки Клэр ошарашить его? Чтобы она за него пошла — очень сомнительно, это Тоби понимал, но совсем отказаться от сверкающей мечты было свыше его сил. Что за жизнь открылась бы перед ним!

Общение с Клэр требовало немалых расходов — так сказать, косвенных. Правда, она постоянно получала откуда-нибудь приглашения на двоих и звала его с собой. Впервые в жизни ему пришлось раскошелиться на смокинг; кроме того, он обзавелся «выходным» костюмом из зеленоватого, в крапинку, твида, с двумя боковыми разрезами на пиджаке. Клэр уверяла, что он выглядит в нем очень элегантно.

В тот вечер Тоби решил, что должен быть с нею честен до конца; пусть знает, где и как живут его родители. То, что они обретаются в ЮВ, она, вероятно, воспримет с такой же беззаботностью, как и все на свете. А вот как воспримет ее миссис Робертс, предугадать трудно. До сих пор дома он о Клэр не упоминал, но мать поняла, что между ним и Мейзи все кончено, и была горько разочарована. Придется на субботу и воскресенье съездить домой, подготовить мать, а это не так-то просто.

— Мама,— объявил он с ходу,— я хочу пригласить к чаю одну девушку.

К чаю, рассудил он, всего безопаснее. Ведь мать уже прошла у него выучку — попросил же он ее однажды подать к чаю только сандвичи с огурцом.

— Что за девушка? — Голос ее прозвучал резко: она заподозрила недоброе.

— Тебе она понравится. Мы с нею встречаемся довольно часто. Зовут ее Клэр Фоллз. Высокая такая, очень веселая. Кстати, с ее отцом ты познакомилась на своей выставке в Кембридже.

— А кто ее отец? — включился в разговор мистер Робертс.

Но миссис Робертс бросила:

— Не могу же я помнить всех, с кем меня знакомят.

Словом, дело явно не клеилось.

— Слушай, да ты с ним довольно долго толковала. Это лорд Ллэнгейн.

— Боже правый, только лордов нам не хватало! — воскликнул отец.— Да ты представляешь, как эта братия станет с нами обходиться?

У отца устарелые понятия, возразил Тоби. Клэр такая простая — девушки проще ее на всем свете не сыщешь; она им, безусловно, понравится.

Тут он словно невзначай упомянул о том, что лорд Ллэнгейн готов помочь ему, если диссертация у него не получится.

— То есть как это не получится? — насторожилась миссис Робертс.— Ты что-то делаешь не так?

Он принужденно рассмеялся. Да нет, все идет нормально. Но хотелось бы иметь и другие возможности — никогда не знаешь, на что тебя может потянуть.

— Так, наверно, эта девица тебе потому пришлась по душе, что ты рассчитываешь на помощь ее папаши?

Взаимопонимание между ними разом нарушилось, и Тоби это расстроило.

— Ей-богу, пап, он такой простой, нисколько не задается.

— В этом семействе, видно, все простые,— объявила миссис Робертс.— Ну, раз уж ты решил ее сюда привести, помешать тебе я не в силах. Если, конечно, она примет нас такими, какие мы есть.

— Мама,— в голосе Тоби зазвучало благородное негодование,— до тебя самой дойдет когда-нибудь, кто ты есть? До всех вокруг уже дошло.

— Если так, назначай день,— решила мать.— Погляжу на нее, какая она.

Но в назначенный день, когда Клэр, ласково-безмятежная, появилась в доме, неожиданно выяснилось, что миссис Робертс избрала довольно любопытный способ отомстить сыну за боль, которую он причинил ей своим разрывом с Мейзи. Какие там сандвичи с огурцом! Стол ломился от всяких вкусных вещей, приготовленных с величайшей искусностью и тщанием, и накрыт он был в кухне.

— Принимайте нас, Клэр, такими, какие мы есть,— объявила она, едва Клэр переступила порог,— меняться нам уже поздно, мы для этого стары.

— А зачем вам меняться? — не растерялась Клэр.— Вот и мои родители не меняются, сколько я их помню. А вы к тому же знаменитость.— Она огляделась вокруг.— Здесь ужасно мило.

Клэр отдала должное стряпне миссис Робертс — в этом она почти сравнялась с Мейзи.

— До того сыта — весь вечер куска проглотить не смогу, так что ты, Тоби, не вздумай меня уговаривать. Вы замечательно готовите, миссис Робертс. Надо мне будет попросить у вас кое-какие рецепты. Сама я готовлю из рук вон плохо.

— Да тут нет ничего мудреного,— ответила миссис Робертс,— всего-то и нужно немного воображения.

— А у меня его как раз не хватает,— ответила Клэр и улыбнулась одной из самых радужных своих улыбок. После чая она осведомилась, нельзя ли ей посмотреть картины, но миссис Робертс сказала, что у нее сейчас нет ни одной готовой. Тоби знал, что это неправда. Однако Клэр отнюдь не выглядела обескураженной.

— В следующий раз мне, может, повезет больше,— только и сказала она.

Клэр всеми силами старалась расположить к себе его мать. Она с самого начала была с ней очень любезна, но сейчас старания ее дошли до предела. Как миссис Робертс работает? Делает ли она предварительные наброски? Всегда ли она писала только маслом? (Она проявила в этих вопросах не меньшую осведомленность, чем Мейзи.)

И миссис Робертс невольно втягивалась в беседу — Клэр удалось заинтересовать ее. Ведь что ни говори, а с тех пор как Тоби стал в доме редким гостем, живопись составляла суть ее жизни.

— Страшно жаль, что вы ничего не можете мне показать,— сказала Клэр.— Я в этих вещах ничегошеньки не смыслю, но ваши картины, которые я видела, до того мне нравятся!

И вдруг у миссис Робертс созрело некое решение.

— Хорошо, покажу вам сейчас одну. Нет, не вставайте, я принесу ее сюда.

С этими словами она исчезла.

— Все-таки я удостоилась этой чести,— сказала Клэр.— Рада, что она смягчилась. Мне она так нравится.

Возвратилась миссис Робертс, неся полотно изнанкой к ним. Потом она повернула его и поставила на стул, прислонив к спинке.

Они увидели золотоволосую улыбающуюся девушку — скорее изображение улыбки, чем девушки, и улыбка эта была хорошо знакома Тоби... Девушка сидит на траве среди маргариток, и платье на

ней — с узором из маргариток. За спиной у нее — ярко-синее небо, все в облачках, мелких и круглых, словно дымки от орудийных залпов.

— Ну что за прелесть! — воскликнула Клэр. (Смысла картины она не уловила, да и не могла уловить.) — Совершеннейшая прелесть! Миссис Робертс, а нельзя ли мне ее купить? Такое вообще возможно?

— Извините, картина сделана на заказ.— Миссис Робертс снова повернула холст к стене.— Рада, что она вам нравится.

— Очень, очень нравится! Пожалуйста, не уносите ее.

— Не надо разглядывать картины слишком долго, это ни к чему.

Кто бы мог подумать, что мать умеет быть такой жестокой! Тоби не на шутку встревожился.

Ведь она умышленно вызвала призрак Мейзи — хотя о том, что Мейзи и впрямь чуть не стала призраком, мать, конечно, знать не могла.

А Клэр вообще ничего не поняла, она по-прежнему была весела и держалась по-товарищески. Наконец, без четверти семь они с Тоби поехали в пивной зал на Шеперд-маркет, где должны были встретиться с ее братом.

Дорогой она задумчиво проговорила:

— Нет, я не понравилась. Должно быть, для твоей мамы по-прежнему существует только Мейзи.

— Не надо об этом,— ответил он каким-то чужим голосом, поразившим его самого.

Но Клэр вовсе не выглядела обиженной — ей это было как с гуся вода.

— Нет так нет, милый. Пусть все будет по-твоему.

В душной, прокуренной пивной с низким потолком их уже дожидался молодой военный в чине капитана — казалось, он один занимал чуть ли не половину зала. Светловолосый с золотистыми усиками великан, ростом почти в два метра он был очень хорош собою. Те самые особенности, которые портили Клэр, придавая ей некоторую мужеподобность, его, напротив, красили. В форме он был потому, что собирался на обед, который устраивали офицеры его полка.

— Мой брат Айвор,— объявила Клэр обычным уверенным тоном.— Он терпеть не может своей клички, но рано или поздно все на нее переходят. Пусть только он сперва к тебе попривыкнет. Перчик, это Тоби Робертс, мой теперешний друг.

Перчик пожал Тоби руку.

— Клэр говорит, вы историк. Хотелось бы мне хоть немного знать эту самую историю.

— А я и сам не очень хорошо ее знаю. Историк я, в сущности, начинающий.

Когда Перчик отошел к стойке за пивом, Клэр сказала:

— Его все так обхаживают!

— Представляю себе.

— Титул,— пояснила Клэр, следуя ходу мыслей самого Тоби и тут же давая это понять в своей неприятно откровенной манере.— А к тому же впереди маячат изрядные денежки; впрочем, и мама и папа в прекрасной форме. И вообще не знаю, что бы я делала без них обоих. Но, понимаешь, им решительно наплевать на то, чем я занимаюсь. Порой мне кажется, они с легким сердцем бросили бы меня где-нибудь прямо при рождении и оставили на произвол судьбы, а вот Перчик должен делать то, что ему велят. Он, видишь ли, «продолжатель рода». Между прочим, он учился в Нью-колледже, изучал античность, так что не давай себя дурачить, он ведь только прикидывается идиотиком. Сдал вполне сносно первый экзамен на степень ба-

калавра и вдруг—с некоторым опозданием—перемахнул из Оксфорда в Сандхерст: вот там он почувствовал себя как рыба в воде.

Прежде чем Тоби успел рассмеяться — Клэр рассказала все это так живо и образно,— вернулся Перчик, неся кружки с пивом.

— Skol![1] — сказал он и поверх пивной пены глянул на Тоби внимательными синими глазами.— Значит, пишете докторскую?

Видимо, Клэр с ним всем делится и переписываются они регулярно, решил Тоби.

— Не знаю только, допишу ли.

— Должны дописать,— заявил Перчик с неожиданной напористостью.— Так не годится — начинать дело, а потом бросать на половине. Я-то знаю. Но мне удалось полностью переключиться на армию, и она стала моей жизнью, хоть я и понимаю, что в общем-то будущего у нее нет.

— Войны вроде тех, что мы вели с Наполеоном в Испании, сулили бы ей более блестящие перспективы, а? — бросил Тоби, и Перчик улыбнулся широкой и радужной улыбкой — такой же, как у сестры.

— В Германии мы сейчас только попусту переводим время. В нас там больше не нуждаются. Щеголяем в военной форме, устраиваем парады. И все это — во имя чего-то, что уже отошло в прошлое.

Знаете,— продолжал Перчик (может быть, перед другими он и разыгрывал кретина, но с Тоби такой игры явно не вел),— был я одно время на Дальнем Востоке, правда, недолго. И вот на Малакке брожу я как-то по кладбищу, смотрю — столько английских фамилий: военные, врачи, священники, торговцы. Тут меня осенило: а ведь наши деды, при всех их недостатках, были куда лучше нас. Мужества было больше — может, они находили ему не самое лучшее применение, но факт: в мужестве им не откажешь. И все же,— добавил Перчик (Клэр слушала их разговор с явным удовольствием),— не следует разводить вокруг них сантименты.

Он посмотрел на часы.

— Успеем пропустить еще по кружке, и я пошел купаться в этих самых сантиментах. Хорошо еще, что туда не допускаются женщины: не хотелось бы мне видеть, какая физиономия была бы у Клэр, окажись она там.

На этот раз за пиво заплатил Тоби.

Перчик очень ему понравился. В каком же обличье предстает он перед другими, если его считают балбесом? Да, в этом семействе каждый носит какую-нибудь личину. Исключение, видимо, составляет лишь леди Ллэнгейн.

24

Письмо от Эйдриана:

«Дорогой Тоби, мне здесь ужасно плохо и необходимо с кем-нибудь поделиться. Обычно делятся с тобой — ты ведь так хорошо все понимаешь; должно быть, потому на тебя и наваливаются со своими бедами все твои друзья, в том числе и я, хотя мне никак не хотелось бы, чтобы из-за моих жалоб ты примчался в Линкольншир.

В нашем приходе — семьсот человек, но мы вынуждены обслуживать еще два. Старенький отец Ситон, по-моему, очень болен, хоть и старается скрывать это от окружающих. Он служит только одну воскресную службу. Все остальное приходится делать мне.

Опишу тебе самую комичную из своих недавних бед (вот назвал я ее комичной, и во мне возроптала совесть: может быть, ничего тут

[1] Ваше здоровье! *(сканд.)*

смешного нет?). Одна из моих прихожанок, некая миссис Аллен, вбила себе в голову, будто одержима дьяволом.

Она вынудила меня к ней приехать, угостила чаем и тминным кексом (видишь ли, священнослужителям приходится есть, что бы — и в котором бы часу — им ни предложили, потому что они не знают, когда и где удастся поесть в следующий раз), а затем стала просить, чтобы я изгнал из нее дьявола!

Мы помолились, и она стала опять твердить, что в нее вселился дьявол, хотя видела, что я в это не верю. А потом закатила припадок: выгнулась, как акробатка, и стала биться о красивый валлийский буфет, все тарелки попадали на пол — кстати, они оловянные и, значит, разбиться не могли. Я не знал, что делать. Просто сидел и ждал, пока она не успокоится немного. Тогда я поставил ее на ноги, и тут она в меня плюнула, но не попала. Снова села на пол и говорит: «Ну так как, будете вы изгонять из меня дьявола или нет?»

Я ответил, что запрошу епископа. Она сказала: «Я вам буду очень обязана, отец мой». Наконец мне удалось выбраться из ее дома, и никогда еще я с такой радостью не вскакивал на свой старый велосипед.

Может, я и ошибаюсь, но сразу чувствуется, что все это обман. Такие вещи всегда вызывали у меня недоверие и будут вызывать.

Как я уже писал, это только начало рассказа о моих бедах, довольно комичное. Но есть у меня беда посерьезней: речь пойдет о другой прихожанке, некоей миссис Фликсби. Ей уже под сорок, и она очень хороша собой. Эта заходит ко мне чуть не каждый день, жалуется, что ей ужасно не повезло с мужем, и спрашивает, как быть. Обычно она говорит что-нибудь в таком роде: «Ах, если бы на моем пути встретился такой человек, как вы...» И мне остается лишь разъяснять ей, что́ есть брак согласно христианскому вероучению.

Скажу тебе откровенно — хоть это и отдает гнусным самодовольством,— мне кажется, она мною увлеклась».

(Не она первая, не она последняя, подумал Тоби.)

«Я понимаю, такое бывает в захолустье, когда женщина томится от скуки и неприкаянности, а приходский священник — единственный мужчина, к которому она может пойти. Право же, от этих дел у меня ум за разум заходит.

Порой я думаю, что мне не следовало принимать сан, что это ошибка и, пойди я в каменщики, пользы обществу от меня было бы больше. Спасибо за то, что ты все это терпеливо читаешь. Пишу тебе поздней ночью, другого времени у меня нет. Как поживаешь, старина? Поздновато я спохватился спросить тебя об этом, сам понимаю. Но я часто о тебе думаю. Привет. Кланяйся Мейзи».

Тоби перевернул последнюю страничку. Там он обнаружил приписку: «Рита по-прежнему мне пишет. Хоть бы кто-нибудь изгнал беса из нее».

В ответ Тоби написал теплое письмо, но помочь Эйдриану, конечно, не мог ничем, только посоветовал ему, чтобы он рвал Ритины письма не читая или же отправлял их обратно нераспечатанными; впрочем, второй вариант, пожалуй, небезопасен, добавил он: дело может кончиться тем, что Боб все узнает. Что и говорить, Рита — жуткая надоеда, он в жизни не встречал такой одержимой. О Мейзи он не упомянул ни единым словом.

После этого письма таким облегчением было встретиться с Перчиком — тот пригласил его в свой клуб. В фешенебельном мужском клубе Тоби очутился впервые в жизни и был очарован. Ему нравились покойные, с запахом старины, кожаные кресла, нравилась сама мысль, что никакая Рита — а если на то пошло, и Клэр — не может

переступить этот порог. Вообще-то женщин он любил, но теперь пришел к выводу, что порою неплохо побыть и без них. Приглашение Перчика его заинтриговало: похоже, он успешно прошел проверку у всех членов семейства Ллэнгейнов. Сознание это было приятно Тоби. Перчик поднялся ему навстречу откуда-то из глубины дивана.

— Привет. Хорошо, что ты пришел. Будет не так скучно.

— Не понимаю, Айвор, почему ты здесь скучаешь.

— Да брось звать меня Айвором,— мрачно откликнулся Перчик.— Рано или поздно все равно перейдешь на мою мерзкую кличку. Этим всегда кончается. А скучно мне потому, что, приезжая в отпуск, я считаю своим долгом два-три вечера в неделю проводить здесь — одному богу известно, чего ради. А тут все такие старые, и с каждым моим приездом становятся все старее. Ну, а мне иногда хочется просто веселого трепа. Клэр передает тебе привет.

Тоби не видел ее уже дней десять.

— А ты передай ей привет от меня. Видно, она очень занята.

— Да чем же, господи помилуй, она может быть занята? Не понимаю, почему ей не поступить на какую-нибудь постоянную работу. Мать прекрасно справится с хозяйством и без нее.

— Но необходимости работать у нее, разумеется, нет,— пустил пробный шар Тоби.

— Да я не в том смысле,— возразил Перчик.— В будущем году она вступает во владение суммой, в свое время записанной на нее родителями. Свою я уже получил.— Нет, подумал Тоби, это самый откровенный человек на свете.— Но мне не нравится, что она бездельничает.

Он спросил Тоби, какие планы у него самого.

— Да вот до конца года поработаю над диссертацией, а там надо будет принять окончательное решение.

— Клэр говорит, что если тебе надоест это дело, наш старик, пожалуй, сможет кое-что предложить.

Тоби был поражен: подумать только, такое семейство, и вдруг оказывает на него нажим, ибо это ведь явный нажим. Он подумал о доме в ЮВ и о единственном выдающемся члене его собственной семьи — о матери.

Тут Перчик сказал, что пора обедать, и они пошли в столовую, обшитую панелями из темного дерева.

После обеда он предложил Тоби «вернуться на базу» — в библиотеку,— и вот здесь начался разговор по существу.

За кофе с коньяком Перчик сказал, что они с Клэр дружат.

— Бывает, что брат с сестрой живут как кошка с собакой. Мне такое доводилось видеть. Жуткое зрелище. А мы с ней — нет. Клэр всегда умеет развеселить меня.

— По-моему, она кого угодно развеселит.

— Мы с ней много бываем вместе. Когда я уезжаю в Германию, она пишет мне длинные письма. Отец вообще не пишет, а мама отделывается открытками с видами. Вероятно, она считает, что мне следует почаще вспоминать Англию: собор святого Павла, Тауэр, Букингемский дворец — чего она только мне не шлет.— Вдруг он резко помешал кофе ложечкой.— По-моему, Клэр тобой увлеклась.

— Это я увлекся ею, если на то пошло.

— Видишь ли, она и раньше увлекалась. Но на этот раз — дело серьезное. И мне не хотелось бы, чтобы она оказалась брошенной.— Перчик впервые заговорил как будущий глава семейства, довольно родовитого. (Во всяком случае, подумал Тоби, титул оно, вероятно,

получило задолго до афер Монди Грегори[1].) Мысль эта его позабавила, но он уже насторожился.— Может, это не мое дело,— продолжал Перчик,— но, понимаешь ли, я, в сущности, никогда не знаю толком, что мое дело, а что нет. Говорю все, что приходит в голову.

Так, подумал Тоби, посмотрим, что засим последует.

— Послушай,— сказал Перчик,— если из этого и в самом деле что-нибудь выйдет, с нашей стороны возражений не будет. А с вашей?

Это было до того похоже на предложение заключить династический брак, что Тоби совершенно растерялся. Он ответил уклончиво:

— Я не собираюсь бросать ее. Но я хочу, чтобы ты знал: ни она, ни я еще не приняли окончательного решения.

— Что ты, Клэр уже приняла. А она всегда получает то, чего хочет. Ты с Мейзи Феррарс видишься? Раньше я время от времени бывал в Хэддисдоне, но, на мой взгляд, разговоры там очень уж выспренние. Я всегда до смерти боялся, вдруг меня спросят что-нибудь такое, чего я не знаю. Чувствовал себя этаким солдафоном.

Тоби ухмыльнулся. Трудно представить себе человека, в котором солдафонства было бы меньше, чем в Перчике. Но весь разговор казался ему каким-то нереальным, словно происходил во сне.

— С Мейзи я последнее время вижусь редко,— сказал он, хотя на самом деле не встречался с ней вовсе.

— У них с Клэр что-то непонятное,— сказал Перчик.— Раньше они были близкие подруги, а теперь нет.

Что ж, предостережение достаточно недвусмысленное.

— Жаль,— сказал Тоби, после чего оба сочли эту тему исчерпанной.

Тоби не покидало странное чувство, будто все это ему снится. Почему все само падает ему в рот? Перед ним — куча денег, протянуть руку, и они твои. Будущий пэр станет ему шурином. Ллэнгейн, без сомнения, подыщет ему работу, захоти он только. Он не прочь жениться на Клэр, и если бы вообще хотел жениться, предпочел бы ее любой другой девушке — из тех, кого знал до сих пор Однако время, словно горячая лошадка, норовило бежать быстрее, чем ему хотелось бы. Ну почему девушки так его добиваются? Ведь он пока ничего не может им предложить. А между тем ему по-прежнему хочется быть дающей стороной; дело тут в его обостренном чувстве независимости, решил он.

Тоби перевел разговор на Эйдриана, и остаток вечера не слезал с этой темы. Но вот Перчик взглянул на часы.

— Жаль, что пора закругляться, но утром мне рано вставать, я уезжаю. Спасибо, что помог развеять тоску.

Они вышли из клуба. Ночь была холодная и ясная, высоко над ржаво-красными туманами и неоновыми огнями Лондона мерцали звезды.

— Теперь увидимся, когда снова приеду в отпуск,— сказал Перчик.— Счастливо!

25

Тоби удивился, но и насторожился тоже, получив в середине июня вполне дружелюбное, но холодноватое письмо от Мейзи: она приглашала его в Хэддисдон на праздничный ленч по случаю пятидесятилетия матери — Аманда хочет собрать в этот день всех своих друзей.

[1] Проходимец, который в начале века за большие деньги добывал желающим титулы *(прим. автора)*.

Он не сразу сообразил: ведь Мейзи понятия не имеет, что ему известно о ее попытке покончить с собой; об этом никто не знает — только Эдуард, экономка, врач и он сам. Он еще раз все обдумал: Аманда, безусловно, считает, что его роман с Мейзи кончился; в сущности, теперь он уже и сам такого мнения.

Мейзи настаивала лишь на одном: на сей раз он должен уговорить своих родителей, чтобы они приехали вместе с ним. Письмо заканчивалось обычными формулами вежливости — расспросами о здоровье, о работе и так далее.

Когда он сообщил родителям, что они приглашены к Феррарсам, мистер Робертс объявил:

— Еще чего! А киоск я на кого оставлю, как они полагают?

Но миссис Робертс, к его удивлению, согласилась:

— Раз им так уж загорелось, я поеду. По правде говоря, я не прочь разок взглянуть на этот расчудесный Хэддисдон. И потом мне хочется повидать Мейзи. Ты отвезешь меня на машине, да? Вообще-то я там буду словно вытащенная из воды рыба; но если все эти премудрые гости миссис Феррарс что-нибудь да умеют, пусть их; я все-таки, что ни говори, умею рисовать.

К этому времени у нее уже было прочное, хоть и довольно скромное положение, и владелец галереи извлекал из ее картин порядочную прибыль.

Тоби написал Мейзи, что приедет с матерью, но встречать на станции их не нужно: они поедут на машине.

К Феррарсам они приехали в сырой, пронизывающе-холодный июньский день. Дождь сек деревья, прямо-таки вбивал цветы в землю — нет, это никак не «погода Аманды»!

— Хорошо, что я надела шерстяное белье,— заключила миссис Робертс.

Как и на выставке в Кембридже, она не проявляла ни малейшей нервозности. Ей прибавляло решимости еще и то, что ехала она со специальной целью — повидать Мейзи. В Хэддисдон они явились с некоторым опозданием — вся компания, по-видимому, уже была в сборе. Чета Ллэнгейнов (Мойра с неизменным стаканом водки в руке) и с ними Клэр, что не на шутку встревожило Тоби. Питер Коксон. Эдуард, приветливый, но какой-то отчужденный. Молодая художница-шотландка, к которой недавно пришел успех. Струнный квартет. Художественный критик. Пианист, сделавший себе имя на международном конкурсе в Советском Союзе. Несколько пожилых друзей Аманды — безымянных.

Встретила их Мейзи — такая спокойная, чинная девочка в брюках (до этого он никогда ее в них не видел) и легком свитерке. Она расцеловала миссис Робертс. Тут сверху в холл сбежала Аманда в вихре развевающихся шарфов и заключила миссис Робертс в объятия, хотя та явно предпочла бы от этого уклониться.

...Они сидели в большой гостиной, такой уютной от горящего камина. Клэр была подчеркнуто сдержанна с Тоби, и он понимал почему. Что ж, ее тактичностью можно только восхищаться.

Тоби вручил Аманде подарок: старинную коробочку веджвудского фарфора — для пилюль:

— Поздравляю вас с днем рождения, желаю долгих лет жизни.

— Прелесть какая!— воскликнула Аманда.— Я ведь всегда ношу с собой аспирин, просто на всякий случай. Долгих лет, говорите? Скольких же именно? У нас в семье нет долгожителей, но лет на двадцать я, пожалуй, рассчитывать могу.

Гости разбились на группки — время от времени кто-нибудь переходил из одной группы в другую. Только миссис Робертс сидела в

кресле, и казалось, ни самый дом, ни гости не производят на нее ни малейшего впечатления — впрочем, Тоби подметил, что лицо ее засветилось от удовольствия, когда она, войдя в холл, увидела на стенах свои картины. Сейчас она была в центре внимания образовавшейся вокруг нее группки: Клэр, Ллэнгейн, Мойра, Эдуард.

У самого Тоби завязался разговор с Питером Коксоном. Подошла Мейзи. Внешне все выглядело вполне обыденно: просто болтает девушка с двумя молодыми людьми. Как жаль, сказала она, что Эйдриан не смог к ним выбраться. Видно, он обречен сидеть в Линкольншире безвыездно.

— Слышала я про Эйдриана,— вдруг возвестила через всю комнату Клэр, которую не удостаивала взглядом восседавшая на троне миссис Робертс.— Перчик мне рассказывал.

— Ах, так ты знаком с Перчиком? — обратилась Мейзи к Тоби.

— Когда хвалят сына, это просто бальзам для моей души,— включилась в их разговор Мойра Ллэнгейн.

А ее муж спросил Тоби:

— Ну как, молодой человек, пришли вам новые мысли касательно вашего будущего?

— Мыслей у меня уйма,— ответил Тоби,— но пока они еще не выкристаллизовались.

Стоя спиной к матери, он кожей почувствовал на себе ее острый взгляд.

Но вот гости пошли к столу, и Аманда, удостоверившись, что каждый сел на предназначенное для него место, принялась выполнять функции хозяйки.

— Дети мои,— объявила она, — после того как мы поедим, Филип (так звали пианиста) нам сыграет, он дал свое любезное согласие и предлагает вам заказывать музыку самим — так сказать, à la carte [1].

Это сообщение вызвало у гостей бурный восторг.

После ленча все снова перешли в гостиную, и Филип сел за рояль. Гости не высказывали никаких пожеланий, предоставляя ему самому делать выбор. Исполнитель он был великолепный,— это понимал даже Тоби. А что касается его матери, то она, по-видимому, обладала врожденным даром понимать все виды искусства. Миссис Робертс сидела молча, чуть склонив голову, словно слушать такую музыку было для нее делом привычным.

Филип играл французских композиторов: Дебюсси, Равеля, Форе. Концерт длился целый час. Затем пианист поднялся и странно-решительным, даже несколько вызывающим жестом закрыл рояль.

Играл он так прекрасно, что никто из слушателей не нашел достойных слов для похвалы.

— Я получила истинное наслаждение,— проговорила миссис Робертс, обращаясь к Мейзи.

Аманда сказала:

— Вы устроили мне настоящий праздник, Филип,— вы и милая миссис Робертс.

Разговор стал общим; гости громко переговаривались через всю комнату, и никого это, по-видимому, не смущало.

Жужжание голосов, табачный дым, чуть загадочный блеск Хэддисдона... Возможно, я здесь последний раз, подумал Тоби; ему и в самом деле дали почувствовать, что отныне он чужак, что перестал быть общим любимцем. Однако сейчас он, по крайней мере, понимал, зачем его пригласили: для того, чтобы он привез мать; сознание это наполняло его гордостью за нее.

[1] Заказ по обеденной карточке *(франц.)*.

Но вот пришло время уезжать. Миссис Робертс буквально осыпали комплиментами. Аманда ее расцеловала, Эдуард тоже выразил такое желание, но добавил, что не осмеливается. Однако разрешения со стороны миссис Робертс не последовало. Клэр и Ллэнгейн подошли пожать ей руку. К машине Робертсов провожала Мейзи. Глаза ее ярко блестели, а позади маячил Эдуард, словно на тот случай, если ей потребуется защита. Как странно, подумал Тоби, я и впрямь больше никогда не увижу ее.

Тут Мейзи сказала:

— Скоро мы с вами опять увидимся.— Но Тоби сильно в этом сомневался.— Миссис Робертс, мы бесконечно благодарны вам за то, что вы совершили такую поездку. Представить себе не можете, какая это была радость для всех нас, особенно для мамочки.

— Вы оказали нам большую честь,— сказал Эдуард,— и мы это понимаем.

— А я понимаю, что́ все вы сделали для меня. И не забываю об этом,— ответила миссис Робертс.

Глаза ее были устремлены на Мейзи.

Тоби с места рванул машину и увидел, как девушка подняла руку, словно в приветственном жесте. Да, он будет ревновать ее к мужу: ведь выйдет же она когда-нибудь замуж. Кстати, весь этот день он почти не вспоминал о Клэр. Но теперь снова станет о ней думать.

— Чудное все-таки дело, вся эта муть,— сказала миссис Робертс. За последнее время она усвоила несколько современных словечек и не без гордости их употребляла.— Впрочем, музыка мне понравилась. Я хотела сказать: пианист.

— Из него, вероятно, выйдет великий музыкант. У тебя это не вызывает трепета?

— Любой человек, которого ждет большое будущее, вызывает у меня трепет,— объявила миссис Робертс, словно намекая, что вообще-то ее пронять трудно.— А вот Аманда — штучка. Сроду таких не видела.

— И больше уже не увидишь.

Из-за тонкой завесы дождя проглянуло солнце — пылающее, изжелта-оранжевое. Потом через небо перекинулась радуга, огромная, необычно яркая, и миссис Робертс воскликнула:

— Я непременно должна написать ее, ну, то есть если сумею!

— Конечно сумеешь.

Некоторое время они ехали молча. Мать погрузилась в грустные размышления, и он знал о чем.

Наконец она сказала:

— Не понимаю, как ты мог бросить Мейзи ради этой громадины. Это выше моего разумения.

Тоби рассудительно ответил:

— Да разве в таких делах можно что-нибудь объяснить? Мы с Мейзи не сумели поладить.— Снова он ощутил укус боли.— И ничьей вины тут нет.

(Врун, пронеслось у него в голове. Всякий раз, побывав в доме Аманды, он становился честным с самим собой.)

— А я думаю, что вина твоя.

Он взглянул на мать. Она сжала губы в ниточку — как обычно, когда чувствовала себя в чем-то уверенной и была полна решимости не уступать.

— Слушай, мама, оставим этот разговор.

— Ты что, хочешь жениться на этой самой Клэр?

Слова «эта самая» выражали всю меру ее враждебности к девушке.

— Бог ты мой, да разве я сейчас могу жениться — на ком бы то ни было? У нас с Клэр хорошие отношения, и потом, я же тебе говорил: ее родня может быть мне полезна.

— Стало быть, тут расчет. Но не собираешься же ты входить в такую семью. Ты там будешь как вытащенная из воды рыба.

— Знала бы ты, в каких водах я теперь выучился плавать,— ответил он не без наглости, которая порой забавляла ее, но на сей раз явно не доставила удовольствия.

Они опять помолчали. Радуга померкла, дождь перестал.

И вдруг она сказала:

— Я получила приглашение в Америку. Мне там устраивают небольшую выставку.

— Боже правый,— сказал Тоби.— Ну. поздравляю. Ты поедешь?

— С чего ты взял? Конечно нет. Этакий отмахать конец, да еще, может статься, зря.

— А по-моему, надо поднапрячься и поехать.

— Ты не понимаешь, чего мне стоит «поднапрячься», как ты выражаешься. Для меня это невыносимо. Порой мне даже в магазин сходить трудно — просто потому, что для этого надо выйти из дому. Стряпать — пожалуйста, готовка меня успокаивает, а вот после сегодняшней поездки я вымотана совершенно.

— Но ведь тебе там понравилось.

— Так, кое-что.

— Тебе понравилась музыка и еще то, что вокруг тебя было столько шума.

— Надеюсь, я все-таки не совсем потеряла человеческий облик,— возразила миссис Робертс, и в словах ее неожиданно прозвучало величие.

До чего же он все-таки ее любит, подумал Тоби. Отца он тоже любит, но совсем по-другому. Атмосфера всеобщей почтительности, которая окружала ее в Хэддисдоне, подействовала и на него: в другой раз он не отнесся бы к ее расспросам так терпимо, как сегодня. В глубине души она завидует тому, что он получил образование, а ведь дала ему это образование она же сама. Мать склонна к затворничеству, она остро ощущает свою классовую принадлежность и уже никогда не переменится, хотя и предпочла бы быть более гибкой... Чем дальше отъезжали они от Хэддисдона, тем больше тускнел он в их памяти — Хэддисдон, но не Мейзи. Впрочем, на следующей неделе он увидит не ее, а Клэр — счастливую, не ведающую сомнений, радостную от сознания своей силы и умения добиваться всего, чего она хочет,— умения, которое, как он надеялся, передастся и ему. Любит ли он ее? Пожалуй — да, по-своему. Насколько вообще способен любить. Она заставит его, пусть хитростью, вступить на путь успеха; позаботится о том, чтобы жизнь его шла так, как это удобно и нужно ей... И все же мысль о Мейзи, о беспредельной ее деликатности весь этот день преследовала его, неотступная, словно призрак.

26

В июле Тоби собрался с духом и пошел в банк. За неделю перед тем он сообщил о своем намерении Ллэнгейну и теперь получил письмо от Клайва Баумана: тот приглашал его на пятницу к половине двенадцатого. Что ж, час назначен по-божески.

Тоби отправился в Сити, исполненный острого любопытства. Он представления не имел, что это за штука такая, торговый банк. Придя

по указанному адресу, он увидел красивое здание, построенное, как он решил, где-то в середине восьмидесятых годов; на светлом фасаде выделялись оконные ящики с серовато-синими, как грозовые облака, гортензиями. Его провели в приемную — небольшую, обшитую красивыми панелями комнату; на стенах — хорошие репродукции, из мебели — стол и четыре кожаных кресла. Тоби ждал, что его вызовут к Бауману, но вместо этого Бауман вышел к нему, представился и сел в кресло напротив. Маленький человечек с огромными унылыми глазами, он напомнил Тоби виденный им однажды портрет Пруста в молодости. Но вот Бауман заговорил, и впечатление это рассеялось: вовсе он не унылый, держится свободно, без малейшей официальности.

Один из первых вопросов, которые он задал, был:

— Вы не родственник Эдгара Робертса?

— Насколько мне известно, нет,— ответил Тоби, слегка озадаченный.

— Я, разумеется, слышал о вас от лорда Ллэнгейна. Он славный. Знаю, что по образованию вы историк, запросто получили диплом с отличием...— (Откуда ему известно, что запросто, подивился Тоби; сам он считал, что получил диплом первой степени просто чудом),— и сейчас пишете докторскую. Почему же вы решили переменить поприще? История не слишком вас привлекает?

— По-моему, я не создан для жизни ученого. Если вдуматься, так для нее вообще мало кто создан, на удивление мало. Мне хотелось бы побольше узнать о реальном мире.

— Что ж, если вы поступите к нам, то кое-что о реальном мире узнаете. Вы имеете хоть какое-нибудь представление о том, чем мы занимаемся?

— Честно говоря,— сказал Тоби,— ни малейшего понятия. Мне надо начинать с нуля.

— Нуль — не такая уж плохая точка отсчета,— сказал Бауман.— Так мне, по крайней мере, кажется. Вряд ли вы раздумывали над тем, какая область вас больше интересует — капиталовложения, финансирование компаний или собственно банковское дело.

— Прежде всего мне надо выяснить, что все это такое.

— Ну что ж, немного погодя вам надо будет заглянуть к нашему управляющему по штатам. Он введет вас в курс дела, объяснит все эти премудрости. Кстати, я не знаю, где вы живете.

Тоби дал ему адрес и сразу понял, что этим отнял у Баумана последнюю надежду на то, что он все-таки состоит в родстве с Эдгаром Робертсом, кем бы он там ни был, этот Эдгар.

— Приятный район,— объявил Бауман, хотя, безусловно, никогда не бывал в ЮВ.

— Есть получше. Но мать у меня — человек с прочными привычками. Мне бы хотелось, чтобы родители переехали, и отцу тоже, но с ней ничего нельзя сделать.

— Должен признаться, меня это бесконечно восхищает в вашей матушке — так же, как ее работа. Вот держится человек за то, что ему дорого, и все. А мне порою кажется, что за спиной у каждого из нас постоянно стоит полицейский,— добавил Бауман, давая волю фантазии,— стоит и приговаривает: «А ну, вперед, шагай, шагай». Но я лично не понимаю, зачем куда-то шагать, если не хочется. А вы понимаете?

— Полагаю, если б за нами и впрямь стоял полицейский, пришлось бы ему подчиняться.

— Не хотите ли пройтись по нашей конторе?— предложил Бауман.— А потом можно будет подняться к управляющему по штатам.

Тоби охотно согласился. Они обошли здание, построенное — и модернизированное впоследствии — для административных нужд. Судя по всему, служащие здесь держатся приветливо и непринужденно; впечатление это усиливалось по мере того, как Бауман представлял его—одному, другому, третьему. Интересно, какой вид все это имеет в ненастную погоду; в ясную — вполне приятный. А если его примут, то какое положат жалованье? Уж наверно, оно будет побольше стипендии, подумал он, но тут же решил не предаваться чрезмерным надеждам.

— Ну так,— сказал на прощанье Бауман,— рад был познакомиться. Надеюсь, вы все обдумаете. Возможно, наше дело поначалу покажется вам очень чужим и далеким, но человек ко всему привыкает. Я в этом убедился. А вы?

Он сдал Тоби с рук на руки управляющему по штатам — седой, весьма делового вида, он нагнал на Тоби страху, и все же Тоби держался неплохо, если учесть, что на руках у него не было ни единого козыря, кроме диплома с отличием. Управляющий рассказал ему историю фирмы и ее деятельности с первых дней существования, остановился на ее международных связях и нынешних задачах. Все это заняло довольно много времени, и нельзя сказать, чтобы по окончании беседы Тоби почувствовал себя намного подкованнее, чем до нее.

— Финансирование компаний,— задумчиво произнес управляющий,— вот область, которая, пожалуй, подойдет вам больше других. Надо будет это продумать... Вообще надо все продумать основательно. Как у вас с математикой?

Тоби решил не плутовать (во всяком случае — не слишком) и потому признал, что по математике был не из первых, однако выразил надежду, что справится.

— Во всяком случае,— сказал управляющий,— в балансовом отчете, вы, надо думать, разобраться сумеете.

На этом собеседование закончилось.

— Мы свяжемся с вами — узнаем, не передумали ли вы,— сказал управляющий, и Тоби, снова очутившись на охваченных спешкой улицах Сити, зашагал к ближайшей станции подземки.

Обдумывая по дороге домой оба разговора, он решил, что провел их не так уж плохо.

Вечером он поехал к родителям и поделился с ними своими планами. О торговых банках они никогда не слышали, но, к его удивлению, пришли в ужас.

— Ты так замечательно начал, а теперь хочешь сделаться банковским клерком?— ахнула миссис Робертс.— Мы надеялись на большее.

— Ну, дело обстоит не совсем так. Вот только не знаю, как вам объяснить.

— А объяснять, как ни верти, придется,— вставил мистер Робертс, и тон у него был не такой мягкий, как обычно.— Не хочу попрекать тебя, но дать тебе образование было не так-то легко.

— Ну и не попрекай,— резко бросила миссис Робертс,— сам ведь знаешь, главное не в этом. Сдается мне, твоя неудержимая тяга к переменам как-то связана с этой самой Клэр.

— Но я-то вовсе не мечтаю быть ученым и ничего не могу с собой поделать. А что касается Клэр, то ее роль во всем этом совершенно ничтожна. Я хочу, чтобы ты поняла: она славная девушка. Ты с самого начала что-то против нее имела, не знаю что.

— Мейзи — вот что,— упрямо ответила миссис Робертс.

— Тут ты не совсем справедлива, Дора,— Мистер Робертс уже несколько поостыл.— Не можем мы указывать молодым, кого им любить, а кого нет.

— И все-таки это дурно пахнет.

— Слушай, если дело выгорит — а оно скорее всего сорвется,— я буду получать гораздо больше. И смогу помогать вам,— сказал Тоби, прекрасно понимая, что мать этого не допустит.

— Спасибо, но я в помощи не нуждаюсь. Надо же, банковский клерк,— грустно проговорила она,— будешь сидеть за решеткой: ни дать ни взять зверь в зоопарке.

В тот вечер ему так и не удалось ее умилостивить. Ужин прошел в молчании, лишь изредка они перебрасывались словом-другим; а потом мать не захотела показать ему свои новые работы.

— Да они все похожи одна на другую, тебе будет неинтересно,— только и сказала она.

Через неделю Тоби получил уведомление от управляющего по штатам: банк готов предложить ему место; для начала ему будет положено жалованье девятьсот фунтов в год. Девятьсот фунтов! По понятиям Тоби — целое состояние. Нет, это что-то невероятное. Какое будущее перед ним открывается — светлое, словно нива под солнцем. Тучная, обильная нива. Быть не может, чтобы мать не смягчилась, узнав, сколько ему будут платить. Он был так возбужден, что чувствовал потребность немедленно с кем-нибудь поделиться: с Клэр, разумеется, а еще с Бобом, Эйдрианом. И с Мейзи. Да, рассказать бы об этом Мейзи! Он скучал по ней все сильнее, но полагал, что тем дело и ограничится — поскучает и забудет. Ему просто хотелось ее видеть, и, ответив управляющему, что принимает предложение, он первым делом написал Мейзи: отправил короткую записку, в которой спрашивал только, не согласится ли она как-нибудь на днях с ним пообедать. Он не добавил: «в память о прошлом», это подразумевалось само собою.

Домой он не поехал, просто написал матери, что с сентября начинает работать в банке. Сообщил и финансовые подробности — быть может, он вырастет в ее глазах, когда она узнает, какое ему назначили жалованье? Но он понимал, что до поры до времени в глазах матери его не оправдает ничто, и на миг в нем вспыхнул гнев: за какие грехи его вдруг осиротили?

От Мейзи ответа все не было. А вот Клэр ликовала: как же, ведь ей удалось кое-что для него сделать, правда? Вернее — папочке. Да, надо, конечно, отправить Ллэнгейну благодарственное письмо.

А пока что Тоби и Клэр предавались любви. Тело ее, хоть и мраморное с виду, было на редкость умелым, и ему нравилось, что в постели она веселая. Насладившись друг другом, они садились в постели, курили, распивали вдвоем бутылочку вина. В такие моменты она бывала особенно говорлива.

— Виделась я с Алеком,— как-то сказала она,— но, господи боже ты мой, до чего ж у него маленький подбородок, и потом, он вот-вот уедет в Италию. Нет, ты должен с ним познакомиться. Смотреть там особенно не на что, но он далеко не дурак. Только не вздумай хвастать дипломом, потому что у него самого диплом с отличием, хоть по нем этого и не скажешь.

Он любит ее, верно, за то, что с нею так легко; за то, что близость с ним — для нее удовольствие.

Да, он сделает ей предложение, но торопиться некуда, времени еще вагон. И он прикинул мысленно все выгоды, которые сулит ему этот союз, хотя прежде на таких вещах не очень фиксировался — во всяком случае, сознательно. Но он знал, что пришелся чете Ллэнгейнов по душе и Перчику тоже. Теперь он, правда, сможет предложить Клэр

несколько больше, чем раньше, но все же не бог весть что. А главное, что от одного ее присутствия у него становится хорошо на душе, хотя, надо сказать, душевное неблагополучие для него вообще состояние редкое. Клэр действует освежающе, как озон.

А вместе с тем он не мог отделаться от мыслей о Мейзи, они преследовали его. Мейзи в Кембридже, Мейзи в Париже, Мейзи в Хэддисдоне. Время от времени (разумеется, когда он не занимался любовью с Клэр) мысль эта причиняла ему боль. Беда в том, что я запутался, вертелось у него в голове, но ничего, как-нибудь выпутаюсь.

Тучная нива расстилалась перед ним до самого горизонта, сверкая в благословенных солнечных лучах. Да, человек, за которого выйдет Клэр, не будет пешкой — он сумеет добиться достойного положения. Ему бросили лестницу, и он взберется по ней наверх. Кстати, надо непременно раздобыть где-нибудь балансовый отчет и хорошенько изучить его.

А Мейзи все не отвечала на его письмо. Наконец дней через десять от нее пришла коротенькая записка: «По-моему, это ни к чему. Все кончено. Может быть, когда-нибудь потом — не знаю. Но не сейчас. Привет. Мейзи».

«Привет»... что ж, формула вежливости, не более того. У него стало тяжко на душе. Вот нелепость — почему она считает, что они не могут просто оставаться друзьями? Давние и прочные узы между Глемсфордом и Хэддисдоном в конце концов все равно к этому приведут, так почему бы не возобновить отношения прямо сейчас? Он и сам не предполагал, что так расстроится.

В Глемсфорде он встретил более теплый прием.

— Так-так, рад, что у вас все прошло удачно,— сказал Ллэнгейн.— Насколько я понимаю, вы Клайву понравились, а ему мало кто нравится. Надеюсь, вам будет там хорошо.

— Тоби,— обратилась к нему Мойра, сжимая в руке неизменный стакан,— когда-нибудь вы станете биржевым магнатом.

— Еще бы,— сказала Клэр,— он будет грандиозной фигурой.

Небрежный уют ветшающего дома обволакивал его.

После обеда, когда Клэр мыла посуду, а Ллэнгейн совершал вечерний моцион, Мойра, для начала оглядевшись по сторонам, словно опасалась, что у стен есть уши, стала рассказывать ему о себе:

— А знаете, на той неделе у нас серебряная свадьба. Скажу вам, Тоби, стареть — дело невеселое, а я старею, никуда не денешься. Понимаешь, что красота ушла, теряешь интерес к тряпкам и всякому такому. Все становится серым — налейте мне еще, Тоби, что-то я так устала, сил нет подняться,— и год от года все серее, серее.

А Тоби все слушал.

27

Излияния Мойры Ллэнгейн не заставили Тоби отказаться от матримониальных намерений. А пока суд да дело, он решил написать Бобу — что-то от него давно нет вестей. И потом, интересно все-таки узнать, как идет семейная жизнь у другой пары.

Боб ответил открыткой. Может ли Тоби зайти к нему в лабораторию — в пятницу около половины двенадцатого? Прогулялись бы по берегу Кема, если погода будет сносная. Ему нужно о многом рассказать.

Тоби поехал в Кембридж и явился в лабораторию друга, как тот просил. Боб сразу же вышел с ним на улицу.

— Побродим часок, потом закусим. Идет? Вид у тебя бодренький. Как дела?

Но Тоби сперва хотел узнать, как дела у Боба. К его удивлению, Боб некоторое время шел молча. Вот у него вид был отнюдь не бодренький — глаза измученные. Впрочем, он не выглядел удрученным.

— Люблю Кембридж во время каникул — до того здесь спокойно,— сказал Тоби.

— А у меня каникул не бывает. Как и у большинства ученых.

— Слушай, может, ты чересчур налегаешь на работу?

На этот вопрос Боб не ответил, а сказал как бы невзначай:

— Рит меня бросила.

— Быть не может! — воскликнул Тоби и тут же подумал, до чего, в сущности, нелепой бывает обычно первая наша реакция.

— Говорят тебе, бросила. Вот так, вдруг собралась и уехала — недели три тому назад. Завела себе парня, и понимаешь, что странно: по-моему, он ей даже не очень нравится. Просто он совсем не такой, как я; видимо, в этом все дело. Ох, и взвились же ее папаша с мамашей!

Тоби пробормотал слова сочувствия.

— Да чего там, за меня не тревожься. Мы же с ней с самого начала не ладили. А потом я вдруг узнаю, что она донимает беднягу Эйдриана письмами; вышла жуткая ссора. Все рухнуло окончательно. Тут как раз подвернулся этот парень, и она мигом смылась. Живет теперь где-то в Лондоне, точного адреса не знаю. Чувствую себя круглым дураком, понимаешь?

Листва на деревьях уже чуть заметно бронзовела под августовским солнцем. Пронизанная его лучами река была тиха и пустынна, лишь изредка проскользнет под мостами плоскодонка и скроется снова.

Вдруг лицо Боба просветлело:

— Знаешь, а ведь дочку она подкинула мне.

Тоби ахнул.

— Как же ты управляешься с ребенком?

— Я оставил за собой те полдома на Ленсфилд-роуд. Нашел женщину — она присматривает за девочкой весь день, а я обычно прихожу к тому времени, когда ее надо укладывать. Любит она — я хочу сказать, Эстелла,— чтобы укладывал ее я. И умница девчушка, верь слову. Обожает, когда ей что-нибудь рассказывают — правда, на этот счет я не мастак,— а еще больше любит мастерить. Ты понимаешь, может не только разобрать карманный фонарик, но и собрать его! — Лицо Боба сияло от гордости. Тоби подумал, что он — воплощение отцовства, и вдруг понял, что Боб не очень жалеет об уходе жены.— И что я тебе скажу — голову готов прозакладывать,— из этой девчушки выйдет настоящий ученый. Я ее и цифрам учу, и до чего же она быстро их запоминает, чудо. С сентября будет ходить в детский сад, для начала — на полдня. Так что миссис Мэддокс будет мне все-таки нужна: кормить ее обедом, следить за ее вещичками.— Он помолчал. Потом, окинув каким-то удивленным взглядом деревья, сквозь листву которых золотыми соверенами пробивались пятнышки солнца, проговорил: — Ты понимаешь, если б мне кто-нибудь сказал так семь лет назад (потом-то, когда она родилась, мне это сразу стало ясно), что моя жизнь будет держаться на ребенке, как дом на фундаменте, я б ни за что не поверил.

Тоби спросил Боба, как идет работа.

— Ну, с этим порядок. В целом все идет очень хорошо. И жить в колледже мне нравится. Конечно, «дон» я — младший из младших и потому помалкиваю в тряпочку, но среди стариков попадаются неплохие. У них есть чему поучиться. И еще мне нравится, как сверкает в

столовой серебро, особенно по праздникам, нравится, что подают вино. Словом, не беспокойся. Во многих отношениях мне повезло. А что до Риты, так мне, знаешь ли, о ней даже вспомнить нечего, кроме вечных ссор. Сам удивляюсь. Нечего — и все тут, верь слову.

Они вернулись в город и зашли позавтракать в то самое кафе, куда Тоби обычно водил Мейзи. Он ощутил острую боль.

— А теперь о тебе, Тоб,— проговорил Боб с набитым ртом.

Тоби рассказал ему о банке, где будет работать.

— Скажи на милость, вон ты, значит, куда поступаешь! Это же жутко знаменитый и шикарный банк. У него филиалы во всем мире. А как тебе удалось туда попасть?

Пришлось рассказать про лорда Ллэнгейна; на сей раз Тоби вообще говорил больше обычного.

— Фу-ты ну-ты, вращаешься среди знати,— сказал Боб, впрочем, без малейшей зависти.— Когда надо, чтобы тебя подтолкнули в нужном направлении, эти аристократы — люди незаменимые.

— И еще вот что: может быть, я женюсь.

Боб отложил нож и вилку, уставился на Тоби.

— На ком?

— На девушке по имени Клэр Фоллз. Ты ее не знаешь. Она дочь Ллэнгейна.

— Ага, вон, значит, откуда ветер дует.

— Не совсем. Я не из-за этого женюсь. Тебе бы Клэр понравилась.

— Этакое тепличное растеньице? Ну, такие не по мне.

— Вовсе нет — высокая, очень живая, компанейская. Раньше увлекалась лошадьми, но сейчас это ей как будто поднадоело. А вообще-то пока у нас ничего определенного.

— Все равно поздравляю.— Глаза у Боба стали спокойные, выражение муки вдруг ушло из них.— С Мейзи встречаешься?

— С этим давно покончено.

— А мне она нравилась.

— Мне тоже, но все равно ничего бы из этого не вышло.

— Знаешь, ее даже Рит любила.

Тоби улыбнулся, но промолчал.

— Мне Мейзи нравилась,— повторил Боб.

— И мне, я же сказал.

На этом разговор о Мейзи закончился.

— Зайдем ко мне домой, посмотришь Эстеллу, а? — просительно сказал Боб.

Но Тоби надо было успеть на поезд. Уезжал он успокоенный: друг и сейчас почти счастлив, а когда-нибудь будет счастлив вполне. Научная карьера его упрочена, он живет такой жизнью, какой хотел, горячо любимый ребенок — при нем.

Боб проводил его на станцию.

На следующей неделе Тоби отправился на поиски нового жилища. Ему повезло: близ Фулем-роуд он нашел квартиру — две комнаты, кухонька, ванная, — и как раз ему по карману. Надо будет обратиться к матери, пусть наводит там красоту, пока ей не надоест. Это ее смягчит, можно не сомневаться. Клэр пришла посмотреть квартиру и одобрила ее.

— Недурно, котик. По-моему, ты приземлился на все четыре лапы. Что-что, а это ты умеешь, верно? Хорошо, что у тебя будет настоящая спальня. А то мне как-то не нравится, когда в одной и той же комнате и спальня и столовая — табачный дым и вечно пахнет едой.

Она обняла его. Хотя Тоби был выше ее сантиметров на семь, он буквально тонул в ее объятиях. Да, она настоящая Юнона.

В этот день они были приглашены на чай к миссис Робертс. Тоби несколько раз заставлял мать звать Клэр в гости, хотя понимал, что ей этого не хочется. И что проку от этих визитов — никакого. Чай со множеством вкусных вещей был, как всегда, нарочно подан в кухне, и Клэр, как всегда, вежливо поахала в знак восторга. На сей раз присутствовал и мистер Робертс. Ему Клэр нравилась больше, чем жене.

— С чего это Тоби вдруг решил поступать в банк? — с подлинным интересом, без тени враждебности спросил он Клэр. (После разноса, который ему устроили, когда он явился домой с этой вестью, сам Тоби предпочитал отмалчиваться.)

— Видите ли, это ведь не совсем обычный банк — я хочу сказать, не совсем такой, каким вы, вероятно, его себе представляете,— сказала Клэр.— Это банк частный. О-о яйца по-шотландски! Я это обожаю. Вы их готовите сами, миссис Робертс?

— Я все делаю сама. Не пойму я что-то; по-моему, совершенно неподходящее занятие для Тоби. И это — после всех наших надежд!

— Ты могла бы поинтересоваться и моими надеждами. Знаешь ведь, что научная работа меня не привлекает.

— Да, но ты жил бы в таком дивном городе!

— В Кембридже? Ну, нет, безусловно, куда-нибудь бы удрал.

— «Вольной воли меня не лишайте»,— добродушно пропел мистер Робертс.

— Вот именно.

— Странно, а вот вы, миссис Робертс, сами лишаете себя вольной воли — не хотите выходить из дому. Тоби явно не в вас,— сказала Клэр с оттенком почтительной наглости.

— Мне никого и ничего не надо. Я живу замкнуто.

— А мне нужны более широкие горизонты, и давайте на этом кончим,— объявил Тоби.

Разговор перешел на его новую квартиру — да, теперь у него настоящая квартира!

— Мама, навела бы ты там уют, а? — сказал он просительно: ему очень хотелось ее умилостивить.

— Позвольте мне вам помочь,— вмешалась Клэр,— обожаю покупать занавески и все такое.

— А мне как-то легче все делать самой.

— Да полно, Дора, для тебя это только лишние поездки.

— Ну и что же, могу и поездить, если захочется.

— У вас чудесный вкус. Мне б хоть немного у вас позаимствовать,— вставила Клэр.

Миссис Робертс не предложила показать им свои картины, даже ту улыбающуюся девушку на лугу. Только кое-что рассказала — без особого, впрочем, энтузиазма — о выставке ее работ в Америке.

— Вот бы мне съездить посмотреть. Уверена, что она пользуется огромным успехом! — Клэр тоже старалась ее умилостивить.

— Ну и поезжайте в Нью-Йорк,— с грубоватой прямотой бросил мистер Робертс,— это вам по средствам, ручаюсь.

— Но меня укачивает — и в самолете, и на пароходе.

— Это вас-то? А я думал, такой девушке, как вы, все нипочем.— Он подтолкнул к ней свои сигареты.— Вы же наездница и вообще.

— Так ведь на лошади меня не укачивает! — И она бросила на него лукаво-кокетливый взгляд из-под рыжеватых ресниц.— А почему бы вам самому не съездить, если у миссис Робертс нет желания? — спросила она, и Тоби подумал: до чего же мало знает она их обоих! Когда они поженятся, Клэр вряд ли по-настоящему привяжется к его родителям.

Мистер Робертс ответил — как обычно в таких случаях,— что не может оставить без присмотра киоск.

— А вот Мейзи мне говорила,— неожиданно вмешалась миссис Робертс,— что если б киоск держала она, то сама прочитывала бы все газеты, выкуривала все сигареты и съедала все сласти.

Упоминание о Мейзи нисколько не обескуражило Клэр.

— И я, наверно, тоже,— проговорила она безмятежно.— Как ни говори, соблазн немалый.

От Робертсов Клэр и Тоби ушли довольно рано.

— Осечка, котик,— сказала Клэр, когда они ехали на ее машине в дом Ллэнгейнов.— Нет, не сумею я понравиться твоей маме.

— Она необычный человек и никогда не показывает своего истинного отношения к людям.

— Я бы сказала, очень даже показывает,— возразила Клэр, на сей раз довольно резко.— А жаль, потому что она мне нравится, и твой папа тоже. Не исключено, что и я ему пришлась по душе.

— Даже очень.

На новую квартиру Тоби собирался переехать в сентябре, а к середине месяца ждали Перчика, и в тот вечер они долго обсуждали, как его получше принять.

Миссис Робертс исполнила свое обещание. Она расхаживала по квартире, вешала занавески, устилала полы коврами, наводила повсюду блеск. После нескольких приездов она наконец стала с ним немного мягче; быть может, до нее дошло, какого рода деятельность ему предстоит. Но за всем этим чувствовалось разочарование: ведь он не стал ученым и не женился на Мейзи. Тоби старался не подавать виду, что замечает это.

28

— Gesundheit![1]— возгласил Перчик и одним глотком наполовину опорожнил стакан с пивом. Он одобрительно оглядел гостиную Тоби и вытянул длинные ноги.— Рад, что ты поступаешь в нашу фирму.

— Уже поступил,— сказал Тоби.

— Ну и как, нравится тебе?

— Очень. Придется многому учиться, но, думаю, выучусь.

— Бауман — славный малый. Правда, несколько поверхностный, но таким людям жить проще. Я, во всяком случае, так считаю.

Тоби сказал, что народ в банке очень дружелюбный.

— Да, это верно. Иногда я даже жалею, что сам туда не пошел.

— Спасибо твоему отцу.

— Он любит, чтобы каждый был при деле, не болтался зря.

Перчик спросил, как поживает молодой священник, о котором ему рассказывал Тоби. Случилось так, что как раз в тот день от Эйдриана пришло письмо, и потому Тоби был в курсе его дел.

— Ну, во-первых, у него умерла мать...

— Как жаль.

— ...и потом, старик-священник еще больше разболелся, а в больницу ложиться не хочет. Одному богу известно, как Эйдриан справляется; пишет, правда, что ему очень помогает дочь местного врача.

— А как с той дамочкой — ну, она еще требовала, чтобы он изгнал из нее дьявола?

— Епископ прислал опытного каноника, и тот совершил особый ритуал — кажется, это называется «возложение дланей». Она была несколько разочарована — ожидала, видно, более торжественной про-

[1] Ваше здоровье! *(нем.)*

недуры,— но пока успокоилась. Нет, настоящая беда с другой: той, что посвящает его в свои неурядицы с мужем.

— Она на него глаз положила, это ясно. Трудно ему приходится при такой красоте,— сказала Клэр и пошла на кухню. Приготовила она тушеное мясо. Сущая отрава, решил Тоби. Нет, когда они поженятся, дома он станет только завтракать по утрам, ленч у него будет в Сити, а по вечерам они будут ходить в ресторан. Денег на это хватит с избытком. Надо не откладывая объяснить Клэр, что вкус у него самый простой, он привык к той пище, какую готовит мать,— эх, жаль, но такой еды, как у них дома, уже не будет нигде.

— Новости есть? — обратился к ней Перчик.— С Алеком видишься?

— Иногда. Бедняжка Алек! — Клэр ухмыльнулась.— Пороха он не выдумает, имени себе не сделает. Впрочем, имя у него и без того громкое. А вообще-то он крутится на Флит-стрит [1], все надеется, что его возьмут в какую-нибудь газету. Он же помешан на политике, Алек. И здорово в ней разбирается. Мне бы так.

— Перебьешься и без политики,— поддел ее Перчик.— Ведь тебе все безразлично.

— А вот в Алеке просто бушуют гражданские чувства — правда, прорезались они у него недавно. Хоть бы со мной такое произошло. Но... «Погашенный я чек, разбитый человек и неудачник...» — пропела она.— Ну и пусть, мне так нравится. Жизнь дается только раз, и прожить ее надо в свое удовольствие. А вот Алек все принимает близко к сердцу, потому и получает от жизни все меньше удовольствия. Не может заказать в ресторане авокадо, чтобы не подумать при этом о голодающих латиноамериканцах.

— А как у тебя с гражданскими чувствами? — спросил Тоби Перчика.

— Сам не знаю. Выполняю приказы, и все. Если они у меня и есть, эти самые гражданские чувства, я дам им волю когда-нибудь потом, в палате лордов. Папа до сих пор иногда бывает на заседаниях, но просто умирает там со скуки. Наверно, большую часть времени просиживает в баре. А я собираюсь посещать палату регулярно. Но все это — в отдаленном, туманном будущем. Кстати,— он повернулся к сестре,— я познакомился с очень славной девушкой. Если в дальнейшем у меня возникнут на ее счет серьезные намерения, папа начнет волосы на себе рвать и мама тоже. Она, видишь ли, немка.

— Пора все простить и забыть. По-моему, так,— сказала Клэр.— Но ты прав, предки взбесятся.

Перчик явно не был гурманом: он наложил себе еще жаркого.

— Ее зовут Аннелиза, прошлое у нее безупречное. Родители ее были антифашисты, эмигрировали из Германии в тридцать седьмом году и увезли ее с собой. Нет, они не евреи.

— А теперь это уже никого не трогает,— бросила Клэр.

— Но сразу же после войны она вернулась на родину. А они — нет. Если у кого и есть гражданские чувства, так у нее.

— Перчик, мне кажется, это у тебя серьезно!

— Сам не знаю. Может быть.

— А какая она?

— Темноволосая, ее можно принять за француженку или итальянку. Играет на рояле. Ты музыку любишь, Тоби?

Тоби в этот момент думал о Мейзи и, чтобы что-нибудь ответить, сказал, что любит и даже очень, хоть это и не главная его страсть.

— Тебе надо купить проигрыватель, они сейчас есть у всех,— сказала Клэр.— Как-нибудь уж я разовью твой отсталый вкус.

[1] Улица в Лондоне, где сосредоточены редакции газет.

И хотя Тоби знал, что сама она изысканным вкусом отнюдь не отличается и вполне может до конца дней не побывать ни на одном концерте, он страшно обрадовался: ведь она намекает на их совместную жизнь в будущем.

— А теперь — пылающие бананы,— провозгласила Клэр.— Мое фирменное блюдо.— Но бананы перестали пылать еще до того, как она подала их.— Да что это мы? — обратилась она к брату.— Даже не выпили за здоровье Тоби. Ну, поехали. За Тоби, за окружающее его великолепие, за его будущее.

— Gesundheit! — снова сказал Перчик.

Тоби почувствовал себя счастливым: Клэр принадлежит ему, стоит только протянуть руку; миляга Перчик готов видеть в нем шурина. А ведь ему мог достаться в шурины человек куда менее симпатичный. Но удовольствие было несколько отравлено смутным ощущением потери. Впрочем, разве мы не теряем почти все, что дает нам юность? Надолго ли удается сохранить ее дары, взбираясь вверх по лестнице? Ибо жизнь, считал Тоби,— не пологий пандус, а лестница с крутыми ступенями. И каждую новую ступень нужно брать рывком. Вот такой рывок он и сделал только что, но оглядываться незачем, а то как бы не увидеть у себя за плечом Мейзи, ее изогнутые в улыбке губы.

— Ну вот, теперь на тебя нашел столбняк, с тобой это бывает,— сказала Клэр.— Слишком ты много думаешь.

— Но ведь и я изредка думаю, хотя такое признание тебя, возможно, и удивит,— возразил Перчик.— Так что дай Тоби поразмыслить — над чем бы он там ни размышлял.

— Прошу прощения,— встрепенулся Тоби.— Днем мне размышлять не приходится — разве только о работе.

— До чего же сознательный, собака, а? — поддела его Клэр.

Перчик ухмыльнулся.

Вино (а оно было хорошее, Тоби покупал его сам, посоветовавшись предварительно с Бобом) слегка ударило ему в голову.

— Во всяком случае, вашего отца я не подведу.

Клэр вскинула брови:

— Нет, вы послушайте этого пай-мальчика! Ну, разумеется, не подведешь. Но при всем том, по-моему, не следует быть Эйнштейном — даже в этом.

— А я говорю, не подведу.

Перчик зевнул.

— Он, наверно, рад будет это слышать. Но если отец что-нибудь делает для человека, то тут же об этом забывает, и я никогда не слышал, чтобы он потом о чем-нибудь его расспрашивал.

— Может быть, я выражаюсь высокопарно,— стал оправдываться Тоби,— но вот так я чувствую.

— В таком случае поменьше предавайся чувствам и размышлениям, не то мы заскучаем,— сказала Клэр.— А мы хотим веселиться. Вот я и предлагаю: вымою сейчас посуду, и мы...

— Я сам вымою,— перебил ее Тоби.

— Нет, сегодня вымою я, а потом мы все поедем в пивной зал.

Она была сноровистая на свой лад: перемыла все тарелки за четверть часа.

— А теперь поехали,— потребовала она.— Хочу шуму, грохота музыкального автомата, толкотни.

...Час шел за часом, и Тоби все больше пьянел. Он решил, что сегодня к Клэр не поедет — да это и невозможно, ведь там остановился Перчик,— но непременно сделает ей предложение в ближайшие две недели. Торопиться незачем, вовсе незачем.

За четверть часа до закрытия Клэр и ее брат ушли — очень здесь душно, сказала она, и потом, Перчику надо встать на рассвете, чтобы поспеть на поезд.

Оставшись один, Тоби мысленно измерил расстояние от своего стула до стойки. Надо думать, он его преодолеет, а впрочем, как знать. Он поднялся и обнаружил, что и в самом деле твердо держится на ногах. Ободренный этим открытием, он заказал еще кружку пива, последнюю. Да, набрался он здорово, а почему? Для него это вообще необычно, и что, собственно, послужило тому причиной сегодня? Ведь ничего неприятного с ним не происходит. Клэр и Перчик обходятся с ним дружески, приняли его в свой круг. А вот не показал ли он себя подхалимом по отношению к Ллэнгейну? Беда в том, что, по сути дела, он совершенно не знает, как и на что они реагируют, Клэр и Перчик; на мгновение ему показалось, что брат и сестра — две золотые экзотические птицы и понять их так же трудно, как птиц. Но откуда возникло это сравнение? Ведь они такие простые, и, потом, нельзя сказать, чтоб он был ими околдован.

Тоби торопливо допил пиво, надеясь, что подействует оно не сразу. Он поднялся — хорошо, до его дома близко — и вышел на улицу, иссеченную лучами автомобильных фар и поблескивающую после недавнего дождя. Небо уже очистилось, на нем сияла полная луна, еще не потерявшая для него своей загадочности.

Он был в приятном подпитии, но вполне владел собой, хоть на всякий случай и держался поближе к стенам, касаясь пальцами всех оград и поручней, какие попадались на пути. Блаженство. Миг чистого и полного блаженства, может, такого мгновения в жизни больше не будет; и хорошо бы остановить его.

Очень медленно поднялся он по лестнице в свою квартиру и, войдя, сразу же отворил окно. Вот странность: Клэр так любит бывать на воздухе, а в комнате никогда не откроет окна, разве что без этого не обойтись. Сигаретный дым постепенно улетучился, в комнате стало прохладно.

Едва он разделся и залез в постель, ему пришлось встать и пойти в ванную, его вырвало, и тут он протрезвел. Но мысли по-прежнему были легкие, приятные. Довольный, он понемногу приходил в себя и думал об усах Перчика — как они золотились в свете лампы, подаренной Мейзи. Потом представил себе Клэр, прекрасную линию ее спины и плеч — это когда она выносила в кухню грязные тарелки. Попробовал представить себе Клэр на лошади — он еще не видел ее верхом. А интересно, думает ли она когда-нибудь о Мейзи? И нет ли у нее неприятного чувства оттого, что у него в комнате стоит эта лампа — подарок Мейзи? Надо будет засунуть ее куда-нибудь подальше. Но не сейчас, успеется.

29

Тоби отправил Эйдриану письмо с выражением соболезнования, сообщил ему свой новый адрес и номер телефона.

Когда Эйдриан появился, Тоби пришел в ужас от его вида: тощий, измученный, постаревший, да, именно постаревший. Красота его сохранилась, но лицо покрывала тюремная бледность.

— Как у тебя славно,— сказал Эйдриан.— Выпить? Вот это с удовольствием. Любое, что у тебя найдется.

— Мне так жаль твою маму.

— Меня это страшно подкосило. Но ведь у нее не оставалось никаких радостей в жизни, разве что Лондонская библиотека.— Он помолчал.— Право, не хочется докучать тебе своими бедами, но какое это было бы облегчение — выговориться.

— Вовсе ты мне не докучаешь. Так что у вас там происходит?

— Н-ну,— несколько неуверенно начал Эйдриан,— после так называемого изгнания дьявола миссис Аллен успокоилась.

— А та женщина, что приставала к тебе по поводу своих неурядиц с мужем?

Эйдриан помрачнел:

— Продолжает в том же духе. Я перестал к ней ходить, а то получалось очень неловко.

— Она же тобой увлеклась, это ясно.

Эйдриан не стал отнекиваться; слишком он был подавлен.

— Вероятно. У тамошних женщин скучная жизнь, и для развлечения годится все. По правде говоря, ради этого они и ходят в церковь.

В ответ на настойчивые расспросы Тоби Эйдриан рассказал ему, как изо дня в день мотается по трем приходам.

— К концу дня я выжат как лимон, но утешаю себя единственной мыслью — стало быть, есть еще что из меня выжимать. Беда в том, что из всех наших прихожан по-настоящему набожны только трое, и все они — глубокие старики. Почему человек должен столько прожить, прежде чем перед ним забрезжит свет истинной веры?

— Наверное, потому, что смолоду в этом не чувствуешь потребности. Ты же знаешь, я тоже не верю, хотя и желал бы — просто чтоб доставить тебе удовольствие.

— Сам не знаю, удастся ли мне когда-нибудь стать победителем в этой игре.— Это было совсем не похоже на Эйдриана — говорить о своем призвании столь непочтительно, но именно так он выразился.— Нет у меня ни сноровки, ни терпения, вот и живу на износ. Но хватит обо мне, ладно? Расскажи о своей новой работе. Судя по всему, ты процветаешь.

Они поговорили немного о Тоби. Потом разговор перешел на семейные дела Боба и Риты. Эйдриан считал, что это трагедия, но ее легко было избежать. Тоби объяснил, что особой трагедии для Боба в этом нет: у него интересная работа, ребенок при нем.

— Все-таки для сохранения семьи надо прилагать больше усилий,— наставительно изрек Эйдриан. Развода он не одобрял и дал понять это очень недвусмысленно.

— А может, ты все-таки молод еще — высказываться так безапелляционно,— возразил Тоби.

— Мне порой кажется, я чересчур молод для всего на свете. Но должна же у человека быть определенная позиция.— Тут он накинулся на сандвичи с такой жадностью, словно у него три дня ни крошки во рту не было.— Я так считаю: взял на себя обязательство, дал обещание — выполняй.

— Ну, вряд ли Боб и Рита много чего успели наобещать друг другу. Вся церемония регистрации заняла, по моим подсчетам, ровно одиннадцать минут. А может, и того меньше.

Осуждая Катбертсонов, Эйдриан явно думал о чем-то своем. И наконец заговорил о том, что его волновало:

— Я и сам дал обет, а теперь боюсь, что не сумею его выполнить.

— Ты это о чем?

— Я дал обет безбрачия, обещал посвятить служению господу все свое жалкое естество. А теперь не уверен, что смогу выстоять.

— Да я готов «ура» кричать! Ты не рассердишься?

— Кричи, что твоей душе угодно. Но самому-то мне кричать «ура» никак не хочется, ты уж не взыщи.

Тоби спросил, что за девушка у него на примете.

Ею оказалась, разумеется, дочь местного врача, о которой Эйдриан как-то упомянул в письме. Имя ее — Рут. Он не знает, что делал бы без нее последние месяцы. Она берет на себя всю работу, какую только в силах выполнить. Бегает по его поручениям. Навещает выздоравливающих прихожан: они знают, что она работала сиделкой, и радуются ее приходу. Словом, она для него «опора и поддержка», Эйдриан не считал зазорным употреблять избитые выражения.

— Если я все брошу и женюсь на ней, жизнь у меня наладится. Особенно бедствовать нам не придется, у меня теперь есть немного денег. А я с каждым днем все больше к ней привязываюсь.

— Ну уж тогда другие бабы от тебя отстанут.

— Может быть. Но ты не знаешь, каково это — посвятить себя делу, а потом убедиться, что оно тебе не по плечу.

— Думаю, милосердный бог вполне понял бы тебя, если б знал, что тебе приходится сносить.

— Ну, не знаю. У меня навсегда останется такое чувство, что я его предал.

Эйдриан посидел еще совсем немного и ушел, а потом очень долго не появлялся и не давал о себе знать. Кое-что, решил Тоби, Эйдриан все-таки от него скрыл: он явно влюблен в эту девушку, хоть и ограничился сухой информацией о том, что ее помощь ему полезна. Тоби мог даже понять переживания Эйдриана — умом, но не сердцем. И с чувством некоторой вины подумал, что с Эйдрианом обычно расстается легче, чем с другими друзьями. Эйдриан — хороший, целеустремленный, добрый, но умом не блещет; тут ему до него, Тоби, далеко. Сам же он — не то чтобы очень хороший человек, но и не такой уж плохой. Всегда готов выслушать друзей (они это в нем ценят), и порою, вероятно, ему удавалось хоть как-то их утешить. Слушать легко, но это особый дар и дается не каждому. О себе он никогда не распространялся, секреты свои хранил до последней возможности; впрочем, теперь (главным образом из-за успехов матери) почти все они вышли наружу, и друзьям, пожалуй, стало легче ему исповедоваться. Выходит, он хоть на что-то пригоден.

А что до Эйдриана — надо надеяться, что со временем в «Таймс» появится сообщение о его свадьбе.

...Хоть Тоби и собирался сделать Клэр предложение не позднее чем через две недели, он все тянул и тянул. Перчик уехал в Германию, они с Клэр отлично проводили время, и ему не хотелось никаких перемен, даже самых приятных. Он купил для нее серебряное кольцо с большим камнем — зеленоватой бирюзой — и сунул в ящик: пусть полежит до поры до времени. Вещица очень красивая и в то же время скромная — наверно, Клэр будет довольна.

Тем временем в Нью-Йорке состоялась выставка работ миссис Робертс. Сперва она оставалась почти незамеченной — самые беглые упоминания в печати, ничтожное число посетителей. Но потом вдруг объявилась богатая старуха из Вермонта — она страстно увлеклась картинами безвестной художницы и семь из них купила. При таком известии даже миссис Робертс проявила некоторые признаки оживления. В ожидании этих денег она купила Тоби красивый портфель. Ходить с ним в банк было ужасно неловко, особенно потому, что он редко носил домой с работы какие-нибудь бумаги.

— Ведь он тебе нравится, сынок, правда? — спросила его мать с некоторой опаской.— С ним ты — заправский бизнесмен.

По-видимому, она уже простила его, хотя бы отчасти.

— Теперь тебе только котелка не хватает,— пошутил мистер Робертс,— котелка и зонта.

Какое бы будущее ни планировала Клэр для них обоих, мать наотрез откажется его с ними разделить, решил Тоби. Если к ней придет настоящая слава — а пока мать лишь чуть-чуть вкусила ее,— она все равно не переменится. Подобно Антею, она черпает силу в соприкосновении с землей, родной почвой и будет сопротивляться всякой попытке ее от этой почвы оторвать. Они по-своему счастливые люди — его мать и Боб Катбертсон; во всяком случае, в какой-то мере. Ну и что ж, разве много встречалось ему людей, счастливых хотя бы в какой-то мере? Если бы он когда-нибудь позволял себе роскошь поддаваться настроениям, у него бывали бы периоды подавленности и тоски; в глубине души он сознавал, что это так, чуял в том опасность и решил твердо: вырваться из глубины на поверхность он им никогда не позволит.

Главное — не поддаваться эмоциям, смотреть на вещи трезво, сказал он себе. И Клэр за этим проследит, можно не сомневаться.

30

В тот необычно теплый октябрьский вечер Тоби и Клэр предавались любви в доме Ллэнгейнов в Челси. Он, как всегда, был исполнен счастливой уверенности в себе, она извивалась и выгибалась дугою в его объятиях, и вскрики ее были чем-то сродни охотничьему кличу, так, во всяком случае, казалось Тоби, хотя он в жизни не слышал охотничьего клича. А сейчас они сидели, откинувшись на обитую простеганной материей спинку кровати, оба в сладостном любовном поту, на столике возле постели — бутылка вина. Клэр надела новый халатик из легкого пестрого шелка, который привел Тоби в восторг.

— Как хорошо, что ты не поворачиваешься ко мне спиной и не начинаешь тут же храпеть, это так не по-компанейски,— сказала Клэр. С распущенными по плечам густыми волосами она была очень привлекательна. Он налил себе вина, главным образом для храбрости, но закуривать не стал.— До чего нам с тобой хорошо! — добавила она с долгим вздохом.— До чего здорово!

Он обнял ее:

— И мы скоро поженимся, да?

Она помолчала немного. Потом устремила на него нежный, насмешливый взгляд синих глаз:

— По-моему, котик, это вовсе ни к чему, а по-твоему?

Тоби опешил.

— Как, но ведь ты сама...— только и выговорил он.

Клэр не растерялась:

— Ты про ту глупость, которую я тогда сболтнула в Глемсфорде? Но как же можно было принимать это всерьез? Слушай, оставим все как есть. Нам хорошо, верно? Так чего же еще?

Он попытался разобраться в охвативших его чувствах. Горькое сознание, что это отказ, притом окончательный. Да и радужная мечта о будущем сразу померкла.

— Не понимаю,— сказал он.

— Давай-ка я выскажусь начистоту, если сумею,— с необычной серьезностью ответила Клэр.— Да, признаюсь, была у меня одно время такая мысль, но ты ужасный волынщик, разве нет?

Она закурила. Закурил и он, потом налил себе еще вина и выпил залпом.

— У, жадина. А мне?

Он наполнил стакан и молча подал ей.

— Понять не могу,— в голосе Клэр появились едва уловимые просительные нотки,— почему мы не можем оставить все как есть? Ей-богу, я пока вообще не хочу выходить замуж, ни за кого.

Пот у него на спине стал холодным, он сбросил с себя одеяло.

— А Перчик был — «за» и очень ясно дал мне это понять.

— Ну, котик, знаешь, стоит мне с кем-нибудь поздороваться, как Перчик тут же начинает строить планы насчет моего замужества. Но я это все-таки я, а не Перчик и не папа с мамой. Да, ты полюбился Перчику, и это вполне понятно. Папе с мамой тоже, но поверь, если б я решила выйти замуж за Алека — что крайне маловероятно,— им все-таки было бы приятнее. Ведь в душе они снобы, хоть и лезут вон из кожи, чтобы это не бросалось в глаза. Неужели это для тебя такая неожиданность?

Тоби взяла оторопь — он уже не испытывал ни боли, ни удивления, только молча смотрел на нее.

— Понимаешь, вот это — я хочу сказать: постель,— единственное, что нас связывает; но развлекаемся мы здесь отлично, правда? Я не такая умная, как ты, и очень скоро тебе надоем; и вообще не понимаю, зачем это нужно — закреплять отношения, разве что в возрасте куда более солидном, чем наш. Словом, забудь об этом, и оставим все как есть. Боже, какое блаженство!

Тоби пристально разглядывал узор на ее халате — голубые, розовые и пурпурные разводы — и думал о том, что будет помнить его всю жизнь. Но по-прежнему молчал.

— «Что, свет мой, ты в унынье?» [1]

Снова одна из литературных реминисценций, у нее довольно редких.

— А ты как думала?

— Не дури. Подумай, как тебе везет. Заполучил такое прекрасное место, заполучил меня — если, конечно, ты согласен иметь со мной дело на тех условиях, какие предлагаю я.

— Я глубоко благодарен твоему отцу за все, что он для меня сделал.

— Скажите, до чего важный! — воскликнула Клэр.— Знал бы ты, с каким видом это изрек.

И тут в нем заговорило еще одно чувство — оскорбленная гордость: его унизили.

— Я тебя не понимаю. Я был совершенно уверен, что ты относишься ко мне так же, как я к тебе.

— Милый, право же, я отношусь к тебе просто чудесно!

Но Тоби уже занесло.

— Первый-то шаг сделала ты и поначалу была довольно напориста,— услышал он свой голос.

— Котик, а тебе не кажется, что ты чуточку, самую чуточку вульгарен? — медленно выговорила она.

— Ты вообще считаешь меня вульгарным. В этом, видно, все дело.

Клэр по-прежнему сохраняла выдержку:

— Так вот, выбрось все это из своей дурацкой башки и начнем с того, на чем остановились.

— Еще чего.

И, встав с постели, он начал одеваться. В кармане у него лежало кольцо — счастье, что он не успел показать его ей. Клэр наблюдала за ним с явным изумлением.

— Подумать только — дуется! Я своим глазам не верю! И что же ты намерен делать, уйти во тьму?

[1] Шекспир. Укрощение строптивой, акт IV, сцена 3.

— Да.

— Иди ко мне.

— Нет, с меня довольно.

Клэр попыталась утешить его.

— Завтра ты на все это посмотришь по-другому,— сказала она и закурила новую сигарету.

— Нет.

— Никогда?

— Все кончено.

— Смех. Ведь не хуже меня понимаешь — мы получаем друг от друга огромное наслаждение и можем продолжать в том же духе.

— Я не жеребец-производитель.

Тут она рассердилась по-настоящему — во всяком случае, такой он ее еще никогда не видел.

— А вот это уже форменное хамство.

— Может быть. Не могу я сейчас выбирать выражения, не до того.

— И на ум тебе приходят не слишком вежливые.

Кончая одеваться, он с горечью подумал: да, в этот вечер вылезли наружу и его простонародное происхождение, и грубость — а он-то полагал, что давным-давно изжил их.

— Извини. Но вот так я на все это смотрю.

Прощай Клэр, прощай Глемсфорд, прощай Перчик, которого он так полюбил.

— Сбрось с себя это дурацкое барахло, иди ко мне, будь милым и славным.

Но Тоби уже закусил удила. Он сказал, что не пойдет, значит, не пойдет. Это решение окончательное и бесповоротное. И внезапно его озарило: решение, пожалуй, не было бы окончательным, если бы Клэр и впрямь разбила ему сердце; но нет, она всего-навсего причинила ему боль и уязвила его гордость.

— Бог ты мой, эти мне трагические расставания! Позвони на той неделе, когда немножко поостынешь. А теперь поди сюда, поцелуй меня хорошенько.

Но он не поцеловал ее. Она закурила еще одну сигарету, налила себе еще вина и уставилась на него округлившимися глазами.

И он ушел.

Когда Тоби добрался до дому, голова у него шла кругом, и он не мог разобраться в своих чувствах. Он тяжело опустился на диван, и тут в ягодицу ему уперлось что-то твердое — кольцо, будь оно проклято, в подбитой атласом коробочке, сулившей ему кое-что посущественней ее содержимого.

До сих пор он не отличался решимостью. А вот теперь все будет по-другому. Тоби был уязвлен, взбешен. Больше он ее знать не желает, эту дылду, эту богачку, такую уверенную и жизнерадостную в сознании своей независимости. Возможно, она в конце концов выйдет за Алека — что ж, пусть принесет ему радость, а в нем самом она радость убила.

Назавтра от Клэр пришло безмятежно-веселое письмо. Что это он в самом деле? Не надо быть балдой. Ведь они могли бы наслаждаться жизнью вовсю — до тех пор, пока он захочет. Не подобает мужчине так себя вести; ни один из тех, с кем она встречалась, не дулся на нее больше двух недель. «Тебе, пожалуй, могу дать три, потому что ты упрям, как мул. Сходим в «Коннот», ублажим себя. Я буду скучать по тебе».

На письмо он не ответил, а когда она позвонила, разговаривал с нею как с докучливой посторонней.

Ему захотелось покончить со всем этим раз и навсегда. Поэтому в субботу он приехал к родителям и поговорил с матерью.

— Между мною и Клэр все кончено. Полагаю, тебя это обрадует.

Сперва лицо ее выразило явное облегчение, но на смену ему тут же пришел гнев: как это так — нашлась девушка, которая осмелилась отвергнуть ее сына! Но вслух она сказала только:

— Мне очень жаль.

— Нисколько тебе не жаль, сама знаешь.

— Ну, вообще-то она мне никогда особенно не нравилась. Но не хочется говорить ничего такого, что могло бы еще пуще тебя расстроить.

— Ничем ты меня не расстроишь, поверь. Как-нибудь я с этим справлюсь.

Мать постаралась утешить Тоби единственным известным ей способом — прямо-таки закормила его. И он ел, не отказывался.

С болью ощутил он резкий контраст между родным домом и Глемсфордом; впрочем, разве внешний вид и убранство дома имеют для него такое большое значение? А что, пожалуй, да. Трудно сказать. Во всяком случае, Хэддисдон импонировал ему гораздо больше, чем Глемсфорд, это бесспорно. Небрежное хозяйничанье леди Ллэнгейн всегда удивляло Тоби и заставляло вспоминать безукоризненный порядок, царящий в доме матери. Чувство обиды и разочарования уже начало притупляться — притом так быстро, что ему неудобно было признаться в этом даже себе самому. Как ни странно, больше всего он думал о Перчике, симпатичном великане с золотыми усами, в которых поблескивали отсветы лампы.

— Ну что ж, пропустим по стаканчику, как обычно? За то, чтоб в следующий раз тебе повезло больше,— прервал его мысли мистер Робертс.

Поначалу отец с матерью встревожились, узнав о его разрыве с Клэр, но теперь, видимо, поняли, что это не разбило ему сердца и что, хотя гордость его и уязвлена, нанесенные ей раны быстро затянутся. Они первые утешили и успокоили его после того, как он порвал с Клэр, а порвал он с ней навсегда — это решено. Тоби почувствовал внезапный прилив нежности к ним обоим. Последние годы он был не очень внимательным сыном — впрочем, и не таким уж плохим. И вдруг он понял, что окончательно оторвался от них,— рано или поздно это случается с каждым. Мать и отец построили свою жизнь на свой собственный лад, и, хотя теперь к матери пришел успех, все равно они уже никогда не переменятся. Родительский домишко, по-видимому, так же не подвержен переменам, как Вестминстерское аббатство. И он всегда сможет возвращаться к родному очагу, вдыхать запах скипидара и все прочие домашние ароматы.

...На следующей неделе он опять написал Мейзи. Это уже не была беспечная и небрежная записочка, как прошлый раз: слова — энергичные, настойчивые — так и рвались из-под пера. Почему бы им не встречаться время от времени? Нелепо ведь — вот так взять и все оборвать разом. Можно же оставаться просто друзьями, верно? Он по ней скучает. Что правда, то правда: в прошлом он вел себя по отношению к ней не самым лучшим образом, но впредь обязуется делать все, чтобы она была им довольна.

Только б она согласилась с ним встретиться, только б он мог ей сказать, что любит ее, думал Тоби. Потому что любит он ее одну и по-настоящему, кроме нее, никого никогда не любил. Но он не написал этого, а закончил письмо просьбой передать привет Аманде.

Ответа не последовало. Вероятней всего, Мейзи отправилась вместе с матерью в одну из обычных увеселительных зимних поездок, убеждал он себя, а письма едва ли пересылаются — это было известно всем друзьям миссис Феррарс, знал об этом и он.

Тоби по-прежнему регулярно ходил на работу, но все свободное время думал о Мейзи. Кольцо с бирюзой он засунул в самую глубь ящика — под носки и платки. Может, оно еще и понадобится когда-нибудь, как знать. При этой мысли он воспрянул духом.

31

Неожиданно пришла записка от Эдуарда — короткая, но очень приветливая. Давненько они не виделись; не зайдет ли Тоби к нему как-нибудь вечером после шести на Хертфорд-стрит выпить?

Тоби решил, что его новый адрес Эдуард мог получить только от Мейзи, и преисполнился самых радужных надежд. Может быть, он действует по ее поручению? Если это так, то его, Тоби, ждет хорошая взбучка, будет ему ата-та (он любил выражения, сохранившиеся у него со времен детства), но ничего, случались с ним вещи и похуже.

На Хертфорд-стрит он отправился в приподнятом настроении и встретил там радушный прием. Красивая, запущенная гостиная чем-то напоминала холл в Глемсфорде — впрочем, у Ллэнгейнов, в отличие от Эдуарда, нет ни одной стоящей картины.

— Вы промокли,— сказал Эдуард.— Что, идет дождь? Вопрос, конечно, идиотский, но я весь день носа из дому не высовывал. Вот вам полотенце, вытрите хорошенько голову.

Тоби тоже счел, что это не лишнее; он взял предложенное ему полотенце и стакан с виски.

— Чем вы сейчас занимаетесь? — спросил Эдуард. Стало быть, о банке ему ничего не известно.

С немалой гордостью Тоби поведал ему о своей новой работе, и Крейн был явно изумлен.

— А работа интересная? Видимо, там для вас открываются неплохие возможности. Но «Сен-Жюста» жаль. Я как-то был уверен, что книга получится.

Мягкий свет ламп, уютные подушки, диван с продавленным сиденьем.

Эдуард помолчал немного. И вдруг:

— Я женюсь на Мейзи.

Тоби будто ударило взрывной волной.

— Как вы можете! — крикнул он, и собственный голос донесся до него откуда-то издалека.

Эдуард помолчал. Потом:

— Тоби, для такого человека, как вы, это, пожалуй, грубовато. Что ж, понимаю вас. По возрасту я ей гожусь в отцы. Но мне думается, я могу дать ей лет пятнадцать счастья, не меньше, а ведь мало кто может загадывать хотя бы на такой срок.

Тоби откинулся на спинку дивана. Перед глазами у него все плыло, огни ламп казались тусклыми, словно луна на ущербе.

— Не знаю, что и сказать.

— В таком случае, может быть, вы предоставите говорить мне? Я достаточно хорошо вас знаю, Тоби, и всегда знал. Знаю, как Мейзи относилась к вам раньше, но теперь этому возврата нет. Впрочем, как я понимаю, вы ищете возможности с нею встретиться. Так вот, послушайте меня. Я люблю Мейзи уже много лет. Чего ради я бы иначе постоянно бывал в Хэддисдоне, как вы полагаете? Не ради же

цирка Аманды, хотя я и к ней тоже привязан. Такого рода сборища никогда меня не привлекали. Нет, бывал я там только ради Мейзи. А теперь я хочу о ней позаботиться, и мне думается, она тоже этого хочет.

Грузный, седой старик, со всей безжалостностью молодости подумал Тоби.

— Не хотелось бы причинять вам лишнюю боль, но чем вы можете меня укорить? Разве что возрастом? А я вовсе не так уж стар. Вы знаете, как она к вам относилась; полагаю, и у вас это было не просто мимолетное увлечение; но устоять перед приманками, которые пустила в ход Клэр, вам оказалось не под силу, верно?

— Это Мейзи поручила вам говорить мне такое?

— Нет. Она просила меня только сообщить о нашем с ней решении.

Просто для того чтобы чем-то занять руки, Тоби взял лежавшее рядом на диване полотенце и опять принялся вытирать волосы. Эдуард снова наполнил его стакан.

Тоби почувствовал, что больше не в состоянии находиться с Крейном в одной комнате, но встать и уйти у него не было сил.

— Вы не думайте, я понимаю, что это для вас удар. Честно говоря, я очень и очень надеялся, что все сойдет легче. Если это может вас как-то утешить, знайте, что вы меня унизили, а унижение мне доводилось испытывать не слишком часто. Но у вас все пройдет. Так уж вы устроены. Ллэнгейн ни в коем случае не лишит вас своего покровительства — он на такое не способен,— и вы будете продвигаться по служебной лестнице. Когда мы познакомились с вами в Хэддисдоне, я сразу понял, что вы сумеете проложить себе путь наверх, вот только не знал, каким именно способом.

Да заткнись ты, заткнись, заткнись, с остервенением повторял про себя Тоби.

— Я очень хорошо отношусь к вам и надеюсь, что с годами, когда все уляжется, вы станете отвечать мне тем же. Во всяком случае, Мейзи на это надеется. Ваша беда в том, что вы старательно ограждаете свою жизнь от всякого постороннего вмешательства, а оно иной раз совсем нелишне, поверьте. И тут не только вопрос целесообразности, нет, это, кроме всего, как-то обогащает.

...Мейзи выходит за Эдуарда...

— Я лучше пойду,— сказал Тоби.

— Ну, если вы не можете иначе — что ж. Но мне бы хотелось, чтобы вы остались. Поверьте, я знаю, каково вам, вернее, ясно понял это сейчас по вашей реакции. До сих пор вас настолько редко что-нибудь задевало всерьез, что я думал, вы и на сей раз лишь посердитесь немного, не более того.

— Я должен с ней увидеться.

— Но я не могу ее заставить, это не в моей власти. Давайте договоримся полюбовно, Тоби. Может быть, с моей стороны было глупо рассчитывать, что договориться с вами будет просто. Впрочем, это отчасти и ваша вина: вы чаруете людей, но любите производить впечатление человека легковесного. Однако, если вы скажете, что теперь любите Мейзи, я вам поверю.

— Она счастлива?

— Я бы сказал — да, очень. Хоть вам это и может показаться странным.

Надо как-то собраться с силами, пронеслось у Тоби в голове. От образа Тоби Робертса, который нарисовал сейчас Крейн, ему уже было тошно. Он быстро допил виски.

— Бросьте-ка мне полотенце, а? — попросил Эдуард.— Диван намокнет.

Тоби бросил полотенце, и Крейн ловко поймал его — казалось, они играют в какую-то странную игру.

— Благодарю. Еще налить?

Пить Тоби отказался, но сигарету закурил. Слушать он больше не желал, с него было довольно. Он вообще слишком много слушал на своем веку, хватит. И он заговорил. Да, он обошелся с Мейзи дурно. Чувство ее было так глубоко, и он побоялся, что с ней будет чересчур хлопотно; вот и затеял эту бессмысленную историю с Клэр — у той все просто, никаких сложностей. Но теперь с этим покончено. Клэр ему отказала. Поначалу было муторно, но потом он понял, что она не так уж много для него значит. И все это время он думал о Мейзи, тосковал по ней и наконец понял, что любит ее и любил всегда.

— Я-то как раз ценю глубокие чувства,— проговорил Эдуард,— но, разумеется, в молодости они могут и отпугнуть: жизнь кажется такой прекрасной, что жаль портить ее из-за чужих переживаний. Мейзи и впрямь чувствует глубоко, и это вполне меня устраивает. А вот ее матери такое совершенно не свойственно.

— Если я не добьюсь ее, мне этого не вынести.

Такого Тоби еще никому никогда не говорил.

— Я могу совершенно то же самое сказать о себе. У вас вся жизнь впереди, и любить вы будете еще не раз. А у меня эта любовь последняя, и я сделаю все, чтобы ее оградить,— безжалостно отрезал Эдуард и встал.

После короткого колебания Тоби тоже поднялся.

— Пожалуй, мне лучше уйти.

— Да, пожалуй.— В голосе Эдуарда был призвук печали.— Не думал я, что причиню вам такую боль, и тон у меня был недопустимый. Но как бы остро вы это сейчас ни переживали, не рвите со мной окончательно, потому что я ведь уже сказал: вы мне нравитесь, и судьба ваша для меня не безразлична.— Выглянув в окно, он добавил уже обычным тоном: — По-прежнему льет как из ведра. Можно предложить вам зонт?

...Тоби брел по людным улицам совершенно убитый — никогда он не думал, что может быть так несчастлив. Сперва его бесила мысль о том, до чего же все это мерзко, хотя бы в чисто физическом отношении. Отвратительные видения сродни галлюцинациям вставали перед ним. Мейзи — нежная, золотистая, гибкая, такая хрупкая с виду, и этот старик! Он ненавидел Эдуарда всеми фибрами души. Пятнадцать лет счастья! А он, Тоби, дал бы ей сорок. Но даже и сейчас, на улице, он никак не мог поверить, что это конец.

Ярость сменилась душевным оцепенением. Он сам не знал, давно ли бредет и куда. Голода он не чувствовал. У него было только одно желание — идти и идти. Плащ промок насквозь, по лицу сбегали струи дождя, они слепили его, и время от времени приходилось вытирать глаза. Выпитое виски совершенно не подействовало; но все равно он был словно пьяный от горя и разочарования. И еще он испытывал острое унижение. Ведь об этом, бесспорно, узнают все. Отец и мать. Друзья. Проклятый старик! (Эдуарду было пятьдесят три.) В нем поднималось отвращение к Мейзи: как может она пойти на такую мерзость, так осквернить себя! Любить Эдуарда? Да это немыслимо, такое и представить себе невозможно.

Стой, сказал себе Тоби.

И в самом деле остановился. Куда же это его занесло? Он дошел до угла и увидел табличку с названием улицы: Лиссон-гроув. Как он сюда попал?

Тоби вдруг почувствовал, что стер ноги и очень устал. Посмотрел на часы: от Эдуарда он ушел около семи, а сейчас без десяти десять. Значит, он бродит уже почти три часа. Тоби взял такси и поехал к себе. Дома он выпил стакан молока, съел немного сыра, одно печенье, кусочек шоколада. Потом сел и написал Мейзи длинное послание. В жизни не писал он письма более бредового и сумбурного. Он упрекал ее, молил, напоминал про Кембридж, Хэддисдон, Париж. Умолял встретиться с ним — хотя бы в последний раз.

Но адреса на конверте так и не написал: прочел письмо и понял, до чего оно глупо, до чего бессмысленно. И до чего унизительно; а даже в эту минуту чувство унижения было для него непереносимо. Он разорвал письмо на мелкие клочки, бросил в унитаз и спустил воду.

Затем выдернул вилку зеленой лампы из розетки и запихнул лампу в самую глубину шкафа, чтобы никому больше не светила — ни ему, ни Мейзи, ни Клэр, ни Перчику.

Правая нога болела особенно сильно — он снял туфлю и носок и обнаружил сзади беловатый волдырь величиной с двухшиллинговую монету. Он нашел иголку, тщательно прокалил ее над огоньком спички и проткнул кожу — жидкость вытекла, и волдырь опал. А есть ли дома лейкопластырь? Нет. Пришлось обвязать пятку носовым платком — быть может, эта импровизированная повязка продержится ночь. Проделывая все эти манипуляции, он на какое-то время позабыл о своих бедах. А когда сделал все что надо, почувствовал, что вновь обретает почву под ногами, становится самим собой. Спать все еще не хотелось. Он отыскал старый детектив и принялся читать его, но как ни старался, ничего не получалось — строчки расплывались перед глазами. Ярость и горе уступили место острой печали, с этим справиться было уже легче. Каким бы дураком он себя выставил, если б отправил это истерическое письмо! Смеяться над ним Мейзи не стала бы — просто не ответила бы, и все. Да еще, чего доброго, показала б его Эдуарду, чтобы тот посоветовал ей, как быть. Впрочем, едва ли. На нее это непохоже. Никогда они не вступят в тайный сговор против него, ни на миг. Мейзи — человек безупречный; такой безупречной девушки ему больше не встретить. Он принял ванну и лег в постель; было уже около двух часов ночи. И тут он оценил те случайные и простые утешения, которые иной раз дарует жизнь, когда в них нуждаешься больше всего. Подушка у него под головой мягкая, простыни и одеяло обволакивают уютным теплом. Он проваливался куда-то, словно железный брусок, погружающийся в бездонную глубь. Горечь все еще переполняла его, и уснуть он не мог, но ощущал чисто физическое облегчение. Только нога болела по-прежнему, и повязка с нее сползла.

32

В один из ближайших дней Тоби поехал к матери — захотелось с ней поделиться. Он пытался скрыть от нее, как горько разочарован, и сперва решил даже, что это ему удалось. Но все-таки он понимал: слишком зоркий у нее глаз, чтобы обманывать ее долго. Да потом он и сам не знал толком, хочется ему, чтобы его пожалели, или нет.

Весть о предстоящем бракосочетании Мейзи и Эдуарда поначалу привела миссис Робертс в ужас — ведь у них такая разница в возрасте! Но, высказавшись на этот счет в выражениях весьма энергических, она вдруг успокоилась. Событие все же было значительное, и она машинально сняла фартук.

— Я был немного влюблен в нее, мама. Собственно, никогда не переставал ее любить.

— Даже когда водился с этой самой Клэр? Да брось ты!

Но хотя тон у нее и был суровый, Тоби знал: если он захочет получить у нее утешение, она не замедлит пойти ему навстречу.

— Просто я говорю тебе всю правду.

— И не желаешь слышать о том, чего хотелось мне. Впрочем, мало ли кто из нас чего хочет! Не всегда выходит по-нашему. Ничего не поделаешь, милый, приходится принимать жизнь такой, какая она есть. Я, во всяком случае, следую этому правилу. Непременно пошлю им свадебный подарок.

— И что же ты им пошлешь? — на миг Тоби вышел из апатии.

— Есть у меня картина — девушка на траве. Думаю, она ей понравится.

И прекрасно понимаешь, что Мейзи сразу себя узнает, пронеслось у него в голове. Что ж, мать — натура артистическая, и этот ее артистизм проявляется во многом, не только в живописи. Именно так решила она попрощаться с Мейзи, показать ей, что она бы ее любила.

— Понравится, наверное,— сказал он вслух.

Миссис Робертс сновала по кухне, расставляла цветы (теперь она могла покупать их сколько душе угодно — то была единственная роскошь, какую она себе позволяла). А когда наконец освободилась, села рядом с сыном.

— Я не люблю совать нос, куда не следует, сам знаешь.

— Знаю.

— Но тебе сейчас нелегко, да?

— Эдуард мне тоже нравится,— уклончиво ответил Тоби,— но, по-моему, она совершает страшную ошибку.

— Я хочу для тебя всего самого лучшего. А проще говоря — хочу, чтобы ты был счастлив. Так оно и будет. И не надо киснуть из-за Мейзи.— Но тут суровая прямота взяла в ней верх: — Во всяком случае, насколько я могу судить, вина тут твоя. Ты никогда не ценил ее.

— Только теперь оценил.

— Ну нельзя же быть собакой на сене. «Молодые — молодых любите, и да будет так по всей земле»,— вот мой девиз, и я не хочу притворяться, будто мне по душе их брак. Но, если я правильно разобралась в мистере Крейне, это дело решенное. Тебе нравится мистер Крейн, а мне нравятся они оба. Все у них пойдет своим чередом. А ты заставь себя с этим примириться, ты сумеешь.

Никогда он не чувствовал к матери такой близости.

Она обняла его за плечи, и он не отстранился.

— На Мейзи свет клином не сошелся, нет, не сошелся, вот так, милый. Конечно, это пока для тебя утешение слабое.

— Да, слабоватое.

— Но ты никогда не скулил и не хныкал.

— А я, мама, и сейчас не скулю и не хнычу.

Он посидел еще немного и уехал к себе. Столько семейного тепла, сколько он мог выдержать, он уже получил, и ждать, пока из киоска вернется отец, незачем: мать сама все ему расскажет.

В машине, по дороге домой, он устыдился своей слабости. Никогда еще он так не откровенничал с матерью — во всяком случае, с тех пор как стал взрослым. Но если еще когда-нибудь он и откроется хоть одной живой душе (вот и с Эдуардом он разоткровенничался — тоже позор!), это будет мать.

Перед рождеством в вечерних газетах появились свадебные снимки: мистер Эдуард Крейн, драматург, и мисс Мейзи Феррарс, дочь известной меценатки миссис Аманды Феррарс. Они были сняты пе-

ред Кекстон-холлом: Мейзи в широкополой шляпе, сияющая, как и подобает невесте; Эдуард взирал на нее с печальной улыбкой.

Вскоре после этого Тоби получил от Мейзи весть. Было это так. Он отправил ей кольцо с бирюзой — разумеется, ни словом не обмолвившись о том, что надеялся подарить его ей совсем при других обстоятельствах. Она ответила ему приветливым письмом.

Написала она и миссис Робертс, но, как ни странно, мать ему этого письма не показала, и для Тоби так и осталось загадкой, что же там могло быть.

Впрочем, после того как свадьба и все с нею связанное осталось позади, настроение у него начало выравниваться. Видимо, до последней минуты, вопреки рассудку, он не терял надежды, что у Мейзи с Эдуардом все еще может разладиться; а ведь надежда придает силы. Но теперь надежда рухнула, и надо было строить жизнь заново.

В банке все шло хорошо. Карьеру там сделать можно, это он уразумел. Бауман — в тех редких случаях, когда Тоби доводилось с ним встречаться,— всячески его ободрял. Когда же в банке — что случалось столь же редко — появлялся Ллэнгейн, он неизменно отыскивал Тоби и отечески похлопывал его по плечу.

Тоби все больше входил в курс банковского дела, все больше узнавал о деньгах. Оказалось, что деньги—штука куда более интересная, чем он предполагал. Его заворожил размах операций банка — раньше он и представить себе не мог, как обширны его владения. Тиллер и «Сен-Жюст» казались теперь далеким прошлым.

В канун Нового года ему захотелось во что бы то ни стало съездить в Хемпстед — посмотреть на Лондон с самой высокой его точки. Ночь была ясная, звездная, но очень холодная, а в мороз долго не погуляешь. Вот он и сидел в машине, глядя вниз, на дымы и сверкающие огни огромного города.

Как это сказал Эйдриан в тот далекий-далекий день на берегу Кема? «Знать бы, что станется с каждым из нас через пять лет...»

Ну что ж, Мейзи — замужняя дама (он просто-напросто делает перечень и не позволит себе поддаться чувствам, причиняющим боль). Клэр пока не замужем, но, видимо, в конце концов выйдет за Алека. Эйдриан торчит в своем злосчастном приходе, работает на износ и никак не может одолеть сомнений: нарушить или не нарушить обет безбрачия; судя по всему, он еще некоторое время будет мучиться этими сомнениями. Боб — хотя брак его и развалился — вполне доволен жизнью: его ждет блестящее будущее. Ну, а он сам? Что ж, не исключено, что блестящее будущее ждет и его. Ведь в конце концов он получил выгодную работу и будет держаться за нее обеими руками. Уже сейчас денег у него достаточно, чтобы обеспечить себе все земные блага, а в дальнейшем он будет зарабатывать куда больше.

На миг — только на миг — им овладела грусть о попусту растраченных годах, о веснах, которым нет возврата.

А ну кончай это, приказал он себе и вышел из машины. Всегда и все у него шло именно так, как ему хотелось. Так будет и впредь.

Он поднял воротник пальто — холод давал себя знать.

Весь Лондон расстилался у его ног, словно специально для того, чтобы Тоби мог овладеть им.

Он не повторил слов Растиньяка, взиравшего с высоты на раскинувшийся вдоль Сены Париж: «А теперь — кто победит: я или ты», ибо попросту не читал Бальзака.

Но расстилавшийся под ним Лондон словно бросал ему вызов, и в голове у него промелькнула та же самая мысль.

■

Критика

И. ЗОРИНА

МОМЕНТ СБЛИЖЕНИЯ

О второй советско-американской встрече писателей в Нью-Йорке

«...Почти неделю американские и советские писатели провели за одним столом и говорили об искусстве романа и о месте писателя во всемирном литературном сообществе.

Американских писателей представляли Эдвард Олби, Вера Данхем, Элизабет Хардуик, Артур Миллер, Джойс Кэрол Оутс, Гаррисон Солсбери, Уильям Джей Смит, Уильям Стайрон, Джон Апдайк, Курт Воннегут и я. В беседах нам помогал Лео Грулио.

В советскую делегацию входили Николай Федоренко, Григорий Бакланов, Нодар Думбадзе, Валентин Катаев, Александр Косоруков, Феликс Кузнецов, Фрида Лурье Миколас Слуцкис, Сергей Залыгин, Ясен Засурский и Изабелла Зорина». (Из статьи Нормана Казинса в «Сатердей ревью».)

«...Взаимное массовое приобщение к достижениям культуры США и Советского Союза будет на благо обоих народов, послужит их взаимопониманию и духовному обогащению Поэтому наши сегодняшние контакты с американскими писателями мы считаем продуктивными и весьма перспективными». (Из статьи в «Литературной газете».)

Чем больше времени проходит с момента события, с тем большей ясностью нередко его ты видишь. Но вдруг одно, а не другое проступает явственнее и обретает четкость очертаний.

Так и сейчас... Пытаясь мысленно вернуться к дискуссии, состоявшейся в Нью-Йорке поздней весной 1978 года, прежде всего думаешь о том, что она по своему характеру могла, вероятно, быть иной — при том же составе ее участников, при той же теме, выдвинутой для обсуждения: так много сил в Соединенных Штатах Америки действует на разобщение наших народов, наших культур, так тонка еще нить завязавшихся добрых отношений. Но советских и американских литераторов, собравшихся в Нью-Йорке на свою вторую встречу[1] для обсуждения проблем современного романа, заботили поиски того, что их сближает, что может объединить.

Это был момент сближения, понимания причастности писателя к положению дел на земле. И даже те американские участники встречи, которые, к сожалению, находятся в плену разного рода предубеждений и в последнее время отнюдь не дружествен-

[1] О первой советско-американской встрече писателей в Москве см. «ИЛ» № 2, 1978.

но высказывались о нашей стране, не могли не считаться с этим.

Совещания проходили в старинном здании Американской Академии и Института искусства и литературы. Где-то вдали ощущалась каменная громада Нью-Йорка, а совсем рядом за окном зеленели деревья. Со стен строгого зала, сверху донизу зашитого книжными полками смотрели произведения художников слова. Звучала английская и русская речь. В течение трех дней краски Нью-Йорка, краски Америки причудливо сочетались с красками нашей родины. И было необычно и волнующе, когда возникала краска литовская («Приезжайте к нам в Литву — и вы увидите что-то очень милое, зеленое»,—слова Миколаса Слуцкиса) или краска грузинская, которую бережно принес собравшимся Нодар Думбадзе: именно от него мы услышали прекрасные стихи Ильи Чавчавадзе на грузинском языке.

Открывая дискуссию и приветствуя ее участников, Норман Казинс, сопредседатель встречи с американской стороны, выразил надежду, что в результате обсуждения будет уменьшен разрыв в наших знаниях друг друга, что все мы собрались здесь как люди, которые должны взять на себя долю ответственности за этот мир, хотя повестка дня, казалось бы, включает другие вопросы.

Советский сопредседатель встречи Николай Федоренко с удовлетворением отметил, что первая, московская, встреча была плодотворной и вознаграждающей в том смысле, что мы смогли лучше узнать прошлое наших литературных взаимосвязей и нынешнее их состояние. Желая образно подчеркнуть направленность предстоящей дискуссии, он сказал: «Цвет нашей крови, цвет сердца дает нам природа. Отсюда могут быть разные символы. Что касается сине-голубого покрытия стола, за которым мы собрались,— то это цвет флага ООН. Его уже выбрали люди».

Итак, в целом дискуссия была творческой, ее отличали проблемность разговора, многообразие затронутых вопросов. Был спор, заинтересованный, серьезный. Он велся с позиций мировоззренческих, с учетом личного опыта писателей; он был пронизан верой в действенность слова искусства.

В основе всего обсуждения, касающегося повестки дня, лежало представление о романе как средстве исследования жизни. Ибо если говорить о назначении литературы, о призвании писателя, который стремится познать, в чем суть удела человеческого,— а писатели, как показали встречи в Москве и Нью-Йорке, не устают думать об этом,— не будет преувеличением сказать, что литература не изобрела ничего более совершенного, чем роман. Именно он обладает способностью обнять события, воссоздать историю на протяжении поколений, проникнуть в «тайное тайных» людских характеров.

Если же попробовать собрать воедино основное, чему было отдано предпочтение в ходе дискуссии, и обозначить тот угол зрения, под которым шло рассмотрение предложенной темы, то это будут в первую очередь вопросы, связанные с искусством романиста,—ведь бо́льшую половину собравшихся составляли люди, творчеством своим участвующие в живом процессе становления жанра романа. Здесь и жизненный опыт писателя, и внутренние сферы его личности, и состояние духа, в котором создается произведение, и соотношение вымысла и реальности; здесь и значение традиций, взаимодействия, взаимообогащения литератур; и как закономерное следствие этого — конкретные шаги, направленные на улучшение наших сегодняшних культурных связей.

Что же было достигнуто за три дня дискуссии? Некоторые итоги были подведены на состоявшейся после нее пресс-конференции.

Из записной книжки

«Наша дискуссия велась в основном вокруг литературных вопросов... Мы рассказывали о том, как мы пишем» (Джойс Кэрол Оутс).

«Я рад, что имел возможность познакомиться с замечательными писателями, произведения которых давно живут в моем доме в Вильнюсе и даже в сердце моей дочери, которая читает их по-английски» (Миколас Слуцкис).

«Я хотел бы, чтобы наша дружба продолжалась» (Курт Воннегут).

«Надеюсь, что здесь побывают многие советские писатели и многие американские писатели побывают в СССР» (Феликс Кузнецов).

«Я считаю, что в результате этой встречи мы смогли лучше узнать друг друга» (Норман Казинс).

«Проблема романа — это не только проблема жанра. Это вопрос содержания и смысла творчества, его предназначения» (Николай Федоренко).

Что такое роман?

Уже с интересом были выслушаны первые три выступления, относящиеся к повестке дня. Феликса Кузнецова, который остановился на проблеме духовно-нравственных исканий в современной советской прозе. Джона Апдайка, который на материале истории западного романа, начиная со времен Возрождения и кончая XX веком, его «классиками модернизма», пытался утвердить мысль о том, что наличие любовной коллизии является непременной «чертой жанра». Миколаса Слуцкиса, который поделился размышлениями об особенностях современного романа (его способности, например, «войти в симбиоз с другими элементами культуры», «регенерировать собственные умершие члены»), о миссии литераторов «сообща думать о том, как сохранить демократическое наследие романа, а интеллектуальную силу его направить на воссоединение островков отчужденности в человеческом мире»...

Уже развернулось обсуждение вопроса о том, что такое духовность. А Джойс Кэрол

Оутс, которая высоко ценит Апдайка как художника, не согласилась с его взглядом на историю романа прежде всего сквозь призму «чувствительности» — наличия в нем чувства любви, ненависти, ревности. Также обратившись к литературному опыту прошлого и настоящего, она убедительно защитила свой тезис: «великая традиция романа говорит о том, что роман всегда является политическим, он всегда социален, порою его отличает философичность, порою — глубокий психологизм, иногда ему свойственно пророческое ясновидение». А любовная история — это «своего рода маска, своего рода код», за которыми кроется вся сложность человеческой жизни...

Уже были сделаны попытки раскрыть общую значимость романа как ведущего жанра прозы в литературе наших дней...

Когда на вопрос Веры Данхем, нужна ли стабильность общественных отношений для того, чтобы писать романы («В России революция сперва принесла поэзию, а только потом появился роман. Не так ли?»), был задан встречный вопрос: «Я в принципе согласен с вами, но чтобы точно ответить — сначала скажите, что такое роман?» Это произнес Валентин Катаев. Его дразнящий, явно вызывающий на спор тон Вера Данхем поддержала: «Если бы я могла это сделать... я была бы знаменитостью, я бы только купалась в море и ела артишоки». «И я не знаю, что такое роман,— и никто не знает,— продолжал Катаев и, словно бы посмеиваясь, добавил: — Это только литературоведы знают».

Причем легко можно было ощутить, что Валентин Петрович вовсе не занимается ниспровержением литературоведческой науки, теории как таковой, что его ирония направлена прежде всего против упрощенчества. (Он не отрицал, скажем, что можно знать, что такое сонет с точки зрения формы, и тут же перечислил признаки сонета). Для вящей убедительности своего утверждения о «непознаваемости» жанра романа он выстроил целую шеренгу примеров из классической русской и советской литературы. Вот Пушкин написал поэму «Евгений Онегин», но почему-то назвал ее романом в стихах; Гоголь написал роман «Мертвые души», но назвал его поэмой; Твардовский написал поэму «Василий Тёркин», но назвал ее книгой про бойца; Чехов написал несколько сравнительно небольших вещей — «Три года», «Рассказ неизвестного человека», «Ионыч». ...А по мнению Катаева, это романы. Тургенев называл свои произведения романами, но Катаев считает их повестями или рассказами. Поймаем здесь Валентина Петровича на слове: значит, есть у него все-таки свое представление о том, что такое роман, как есть оно и у всех тех писателей, которых он привел в пример. И может быть, то, как представляет себе свое создание его автор, как осмысливает он свое творение, позволяет взглянуть на природу жанра из творческой мастерской художника. Позволяет увидеть в, казалось бы, категорическом отрицании Катаевым какой-либо специфики жанра романа одну из его особенностей, определяющих необычайную его «подвижность», свидетельствующих о его способности изменяться, обогащаться за счет других жанров в зависимости от задач, которые ставит перед собой художник слова, в зависимости от причудливой работы его воображения.

Об этом, в сущности, говорил и Н. Думбадзе, хотя искорка юмора, присущего грузинскому прозаику, придала его словам характер шутки: «Современный роман больше всего похож на пылесос, который по мере надобности всасывает существующие жанры. Потом это оценивается критикой, что также помогает развитию литературы, как астрономия — движению планет».

И как тут не вспомнить, что особое место романа в словесном творчестве, присущую ему свободную форму отмечали еще мастера реалистической прозы прошлого; об этом писал В. Белинский. Если же говорить о советской литературоведческой науке, то мысли одного из наших известных ученых, М. Бахтина, об этом «становящемся» жанре, «идущем во главе процесса развития всей литературы нового времени», этом «многостильном, разноречивом, разноголосом явлении» [1] нашли интересное и глубокое развитие в ряде работ последних лет [2].

Однако вернемся к дискуссии, в частности к выступлению Дж. Апдайка, который подводит итог своим размышлениям и говорит: «Роман нельзя сделать интересным без любви». К выводу о непременной «черте жанра» он пришел, основываясь на многочисленных примерах, которыми его снабдила история литературы, хотя легко ему было возразить и из той же истории литературы привести примеры противоположного характера. Такие романы, как «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Мертвые души», «Оливер Твист» или — из современной американской прозы — «Над пропастью во ржи» Джерома Д. Сэлинджера, «Убить пересмешника» Харпер Ли, насколько известно, вовсе лишены любовной интриги. И разве само это сопоставление не подтверждает в свою очередь мысли о переменчивой, динамической природе жанра?

Слова «нельзя сделать интересным» уже говорят о личной причастности Апдайка к искусству романиста. Человек, следящий за творчеством создателя знаменитого

[1] М. М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М., «Художественная литература», стр. 454 и 75.

[2] На живом материале современности эти проблемы разработаны, например, в книгах критиков-зарубежников Д. Затонского «Искусство романа и XX век», Е. Книпович «Ответственность за будущее» и «Мужество выбора», Т. Мотылевой «Зарубежный роман сегодня», П. Палиевского «Пути реализма», Б. Сучкова «Исторические судьбы реализма».

И. ЗОРИНА
МОМЕНТ СБЛИЖЕНИЯ

«Кентавра» и «Фермы»[1], невольно замечает в книгах, последовавших за этими романами, следы стремления «сделать интересным» произведение с помощью любовной интриги[2]. И невольно думает о том, в какой мере, когда, почему это стремление может ограничить, даже обеднить творчество художника, выключив его героев из социальных связей. И задается вопросом: насколько серьезно и надолго ушел писатель в сугубо интимную проблематику?

Беседа в Бостоне. Заметки на полях

У автора статьи была возможность спросить об этом Джона Апдайка еще до встречи в Нью-Йорке. Осенью 77 года в отеле «Риц» в Бостоне за уютной чашкой чая у нас шла беседа о его творчестве. О недавно вышедшем романе «Давай поженимся», который предполагает опубликовать «Иностраннная литература». «Это книга о браке,— говорил Апдайк,— об очень интимном чувстве, но не о сексуальной сфере, а о состоянии ума и души человека, живущего в определенном общественном кругу».

Разумеется, речь зашла и о новом, «только вчера» законченном романе об Африке, «этом неспокойном континенте», где недавно довелось побывать писателю. Герой романа «мечтает стать для своей страны тем, кем был Джордж Вашингтон для Америки». Нельзя, конечно, судить о произведении, не читая его, но когда писатель произнес: «Я попытался выйти за пределы интимной жизни. Я был там слишком долго», его признание показалось знаменательным.

Если вспомнить о теме дискуссии, то можно заметить, что «эпос частной жизни», как нередко называют роман, проявляет свои возможности весьма красноречиво — даже и на примере творчества одного американского писателя.

Однако оставим вопрос об определении жанра романа на долю теоретиков литературы — тем более что в ходе беседы за столом заседаний в Американской Академии он затрагивался лишь косвенно. Позволим себе только сказать, что богатство художественных решений, разнообразие форм романа — их мы наблюдаем, в особенности в XX веке,— очевидно, не могут не затруднять некое общее, устоявшееся определение жанра. Главное же, о чем говорили многие участники дискуссии, так или иначе сводилось к утверждению мысли, что роман есть наиболее емкая форма отражения действительности, что у него большое будущее.

«Познай самого себя»

Давно замечено, что дело, которым занимается человек, накладывает на него свой отпечаток. Не составляют исключения и писатели.

Каждая книга — это «рентгеновский снимок души», и потому писательство — опасное занятие. Что́ в этой мысли Григория Бакланова шутка, а что́ — та доля истины, которую он хочет утвердить?

Да, книга — отражение нашей собственной судьбы, и это отражение правдиво, соглашается Гаррисон Солсбери.

Но если все столь автобиографично, не значит ли это, что писатель — человек, который сам себя познал? Вопрос Нормана Казинса. Как показалось, не без иронии.

Познать себя так же невозможно, как познать мир. Совершенно серьезно отвечает Бакланов. И взгляд на проблему — сугубо писательский,— сама аргументация, с помощью которой он защищает свой тезис, не дают повода упрекнуть его в агностицизме.

Нет-нет, сужение произведения до собственного «я», до чистого автобиографизма обедняет возможности писателя, возможности романа. Слова Джойс Кэрол Оутс. И мелькает мысль: верно ли было переведено это место в выступлении Бакланова.

«Познай самого себя» — в этом изречении заключено самое главное для Валентина Катаева-писателя. И у слушателей даже не возникает подозрения, что он спорит с Баклановым.

Катаев и не спорит. Он просто подходит к той же проблеме с иной стороны. И если Бакланов подчеркивает, что он как писатель смотрит на мир пристрастно, что взгляд его субъективен, а настоящее произведение искусства рождается тогда, когда «состояние духа», в котором пишется роман, отвечает потребности людей, велению времени... то Катаев говорит, что писатель, будучи продуктом определенного времени, определенной эпохи, обладающий определенным мировоззрением, является «тем кристаллом, через который можно пропустить действительность». Так не сплетается ли воедино в формуле «познай самого себя» виденное, пережитое писателем, задуманное им — то, *что́* ложится в основу произведения, с тем, *как* именно он это увидел и воплотил в своем творении. По слову Катаева, «без меня этого нет; кто-то другой видит это по-своему». Не отсюда ли красноречивое признание автора «Мадам Бовари»: «Эмма — это я». Флобер, в сущности, говорил, что мир, изображаемый писателем, становится его личным опытом, фактом его биографии,— говорил о том, что́ делает искусство искусством.

Таким образом, разговор о субъективном начале, определяющем труд писателя, с неизбежностью упирается в вопрос о художественной правде, которая, как известно, не есть буквальное следование действительности. Только там, где найдено единственно верное соотношение между мыслью творца и средствами ее воплощения, где найдена гармония между ними, там возникает то, что зовется высоким искусством.

И тогда «рентгеновский снимок души» становится литературой и нет опасности ограничить произведение личным «я» его автора. А соображения, высказанные американской писательницей о романе — этом вместилище всей жизни человеческой: от

[1] Опубликованы в «ИЛ» № 1, 2, 1965 и № 2, 1967.

[2] См. рецензию Н. Анастасьева в «ИЛ» № 5, 1976.

интимнейших ее сторон до проблем общественно-значимых, эпохальных, как нельзя больше совпадают с точкой зрения советских литераторов. Они имели возможность сказать об этом Джойс Кэрол Оутс во время встречи.

Как видит читатель, в связи с тем, что разговор о жанре романа, о каких-то его гранях вели прежде всего сами создатели художественных произведений, разговор этот приобрел свои собственные очертания, незаметно, словно бы само собой обнаруживая те или иные особенности искусства романиста, раскрывая интимные стороны мира творческой личности. Тут и сложная специфика взаимоотношений писателя с действительностью, и значимость его личного жизненного опыта и опыта опосредствованного, и тайна возникновения произведений. Ведь писатели, как сказал Миколас Слуцкис,— такие люди, которым достаточно бросить взгляд и вдруг увидеть что-то — и это может стать началом чего-то большого.

Начало

Так как же (как и когда, в какой именно момент и почему?) замысел завладевает писателем, переворачивает его душу и его жизнь, становится самой его жизнью, не менее реальной, чем та, что окружает его?..

Классический пример из истории американской литературы (к нему обратились Оутс и Стайрон) — роман Фолкнера «Шум и ярость» [1]. Его исходной точкой послужил образ, преследовавший писателя с детства, когда мальчиком лет десяти-одиннадцати он увидел во дворе на дереве знакомую девочку в испачканных штанишках. Это детское впечатление, казалось бы незначительное, в какой-то момент взяло верх над всеми хитросплетениями жизни — и появился рассказ, в котором дерево стало символом познания добра и зла. В течение многих лет Фолкнер возвращается к этой теме, добавляя новые и новые главы, пока не возникает роман в четырех частях.

Наверно, трудно объяснить, почему именно этот образ стал огоньком, от которого разгорелось жаркое пламя знаменитого произведения. Но думается, в основе таинства творчества, хотя тут могут быть факты поразительные, казалось бы выходящие за пределы нормы, лежит многообразие действительности, с которой художник соприкасается и которая накладывает свой отпечаток на его душевную организацию. И можно понять внимание к непознанным явлениям человеческой психики — его мы наблюдаем в наши дни,— в частности, интерес участников встречи к вопросам психологии творчества. Разве не справедливо полагать, что во всем этом можно обнаружить какие-то новые возможности для обогащения образной системы, обнаружить какие-то новые оттенки того, что составляет мир человека?

Толчком к обсуждению послужила история, рассказанная Уильямом Стайроном. Несколько лет назад проснулся он рано утром, и перед ним на стене спальни вдруг возникло прекрасное лицо девушки, в которую он был влюблен в молодости. Он тогда писал свой первый роман и жил в меблирашках в Бруклине на 25 долларов, присылаемых отцом. Девушка была родом из Польши, католичка, пережившая лагерь смерти в Освенциме. Она любила другого человека, уехала куда-то, и вскоре Стайрон узнал, что она покончила с собой.

Это было как наваждение, признается писатель. После стольких лет, казалось бы, полного забвения, возникшее «неизвестно откуда» воспоминание о юной польке стало преследовать его: «И я понял, что мне что-то поручено. Что я как романист должен написать об этой девушке». Сейчас роман, в котором уже около 700 страниц, приближается к концу.

...Да, есть удивительное мгновение в душевном состоянии писателя, когда в его сознании рождается некая мысль — а может быть, это лишь образ, лишь первотолчок, какой-то совсем маленький, казалось бы, незначительный факт?! — и ничто уже не может остановить работы его воображения. И то, чем он сейчас неотступно захвачен, должно обрести в художественном строе произведения свой голос.

Из записной книжки

Уже после дискуссии, на встрече наших писателей с советской колонией в Вашингтоне, Г. Бакланов и Н. Думбадзе рассказали, что послужило точкой отсчета в творческой жизни произведений, над которыми они сейчас работают.

Шли съемки фильма о войне, рыли траншеи. На месте прежних траншей вырыли скелет сидящего человека. «Наш? Немец?.. И молодые зубы... Мое поколение»,— подумалось Бакланову. Вдруг — звезда на пряжке. «Наш! Работал над другими вещами, но он был со мной».

«Как у тебя, такого молодого, мог сделаться инфаркт?» — случайно оброненная фраза. Неожиданно она дает писателю толчок мысли (он ведь сам недавно болел), и вот уже Думбадзе — весь в новой книге. О том, как жил человек и стоила ли эта жизнь того, чтобы платить за нее жизнью...

«Одержимость»

Об этой поглощенности, этой приверженности определенной теме, идее, об этой «одержимости», этом «наваждении» продолжали говорить американские писатели.

И мы узнали, что у Оутс одной из таких «навязчивых идей» является приверженность к исследованию природы власти и ее функционирования в современной Америке. У Апдайка это — эротические мотивы, любовные связи (и здесь его сравнивали с

---

[1] Опубликован в «ИЛ» № 1, 2, 1973.

И. ЗОРИНА

МОМЕНТ СБЛИЖЕНИЯ

Флобером), которые занимают большое место в ряде его произведений. А один из английских критиков, по словам писателя, назвал его «знатоком предательства». И соглашаясь с ним («Это верно, меня очень интересовало исследование природы предательства — сам не знаю почему»), Апдайк перебрасывает мостик к тому, о чем говорил Бакланов (вспомним: каждая книга — это «рентгеновский снимок души...»). «Наши произведения,— заметил он,— становятся нашими отпечатками пальцев».

Мы узнали, что Стайрон и в новом романе, как и в предыдущих, поглощен все той же темой: как проявляется стремление людей «господствовать друг над другом».

Этот взгляд писателя на свои произведения позволяет словно бы изнутри посмотреть на то, как замысел, выраженный в столь общей, несколько абстрагированной форме, вступает во взаимодействие с его воплощением, с конкретной реальностью жизни и истории; может пролить дополнительный свет на его произведение. И здесь, вероятно, обнаружится, в какой мере угол зрения, под которым автор собирается исследовать действительность, помогает ему глубже проникнуть в материал, а в какой — становясь некой ограничивающей силой — может и сковывать его.

Скажем, в новом романе У. Стайрон поставил своей задачей исследовать вопрос о том, как могли появиться чудовищные гитлеровские лагеря смерти,— по мнению автора, это еще один пример «стремления людей к тотальному господству над себе подобными». Возникает вопрос, не вступит ли идея, сформулированная в столь общей форме, которая скорее говорит лишь о чем-то испокон века присущем человеческой природе,— не вступит ли эта идея в противоборство с историей гитлеровской Германии? И в какой мере правда жизни, преображенная силой таланта, возьмет верх над умозрительной концепцией?

В. Катаев также подчеркивает, что первичная основа творчества заключена в жизненном опыте писателя. И, вспоминая историю создания своих произведений, рассказывает, что обычно он заранее не ставит себе никакой цели: вначале есть «позыв» написать какую-то сцену, «а сюжет вещи, ее конструкция появляются где-то в первой трети,— тогда начинаешь понимать, что же ты пишешь...»

Пытаясь постичь тайну возникновения замысла, С. Залыгин не может скрыть недоумения. В самом деле, как, например, случилось, что он стал писать на исторические темы? Отчего он пишет о человеке, которого никогда не видел, и не пишет о людях, которых хорошо знает, которых встречает каждый день? «Я сам в какой-то мере удивлен... Мне кажется, что день сегодняшний мы сможем понять, когда оглянемся немного назад. В нас всегда живет наше прошлое...» — произносит он задумчиво, отвечая на вопрос, который сам себе задал.

Рассказ Стайрона (надо сказать, завороживший присутствующих и свидетельствовавший о самой атмосфере обсуждения — в какие-то моменты такой доверительной), примеры, к которым обращались другие участники встречи, подтверждают мысль о том, что творческий процесс движим импульсами живой действительности, что впечатления, полученные когда-то, неожиданно способны стать побуждением к творчеству.

Об этом же говорит — если перейти к рассмотрению писательского пути в целом — и опыт, скажем, того же С. Залыгина, который бóльшую часть жизни прожил в Сибири, и все, что им написано, так или иначе связано с этим краем. Писатель признается: то, что ему еще «удастся написать, также будет почерпнуто из Сибири».

Об этом же говорит и приверженность Стайрона, Воннегута, Бакланова военной теме. Стоит обратиться к известным произведениям: «Долгий марш» Стайрона [1], «Бойня номер пять» Воннегута [2], «Июль 41 года» Бакланова,— обозначим лишь некоторые. Для всех них опыт участия во второй мировой войне является определяющим.

Стайрон: «Думаю, что я, как и Курт Воннегут, принадлежу, так сказать, к военному поколению. Вторая мировая война оказала наибольшее влияние на всю нашу жизнь...»

Воннегут: «Меня освободила Красная Армия. Я был военнопленным в Саксонии...»

Бакланов: «Из ста человек моего поколения, ушедших на фронт, вернулось три—четыре, не больше. И тем не менее это поколение создало литературу, которая дала представление о войне. Пуля не разбирает, в кого попадет: уцелел тот, кто уцелел, а не самые одаренные. И если был среди нас Лев Толстой, он остался на поле боя...»

Писатели и сегодня продолжают осваивать опыт военных лет. Но интересно, что, как бы живя творчески в одном и том же времени, они подходят к нему с разных сторон. И это также закономерно, потому что их опыт — при всем, казалось бы, возможном сходстве — определяется в конечном счете той разницей в доле участия в этом важнейшем событии истории. И очевидно, поучительно сравнить произведения советских и американских писателей на военную тему. Но мы позволим себе лишь небольшое отступление и попробуем сопоставить две точки зрения в связи с мыслью, высказанной У. Стайроном не так давно в статье «Прощай, оружие» [3].

Точка зрения. Заметки на полях

Скажем сразу, нас объединяет с американским писателем его неприятие войны, всего ее ужаса. По этому вопросу нет с ним у нас двух точек зрения.

[1] Опубликован в «ИЛ» № 7, 1967.
[2] Опубликован в «Новом мире» № 3, 4, 1970.
[3] «New York Revue of Books», 23. VI. 1977.

Но последим за ходом мысли Уильяма Стайрона.

Считая сегодня задачей военного писателя дегероизацию войны вообще (ибо как война ни постыдна, она рождает некий «восторг», война — «сильное переживание»), он пишет: «Отвлечемся от того, что мы ...воевали против агрессора (речь идет о второй мировой войне.— *И. З.*), а война во Вьетнаме представляла собой только отвратительное и своекорыстное вмешательство,— что тогда отличает эту войну от вьетнамской, с точки зрения рядового солдата?» И дальше: «Свое варварство было и на второй мировой войне...»

Стайрону противно упоение войной. Он справедливо восстает против этого. Но нельзя не заметить, что вместе с тем он словно бы сбрасывает со счетов понятие справедливости и несправедливости.

Если бы Стайрон попытался взглянуть на проблему глазами советских людей или глазами вьетнамцев, он бы понял, что, с точки зрения рядового советского солдата или солдата вьетнамского, «отвлечься» от указанных обстоятельств просто невозможно. Эти солдаты защищали свою землю, видели в страшной, немыслимой беде свой народ, когда весь народ — на фронте и в тылу — был солдатом.

И вот суть разницы в опыте: ненависть американского писателя к войне направлена на войну, как таковую. Мы же не можем закрывать глаза на ее характер и выносим свой приговор капиталистической системе, порождающей войны.

Разница в военном опыте рождает расхождение во взглядах, но там, где есть сходство в устремлениях, может возникнуть единство во взглядах; пример тому — наша общая борьба против фашизма, создание антигитлеровской коалиции. Вероятно, У. Стайрон и сам ощутил уязвимость своей позиции (писателю свойственно пытаться делать чужой опыт своим). Он закончил свои размышления словами: «Мы не в силах почитать мужество, если оно служит неправому делу».

Что такое духовность?

Что является ее источником? Это спросил Н. Казинс после того, как Ф. Кузнецов рассказал о «взрыве» интереса к духовно-нравственной проблематике в современной советской прозе и причинах этого «взрыва», а Дж. Апдайк выразил мнение, что многим из его американских коллег близок этот поиск смысла человеческой жизни.

И возник разговор, который взволновал присутствующих. Формулировка вопроса обратила Ф. Кузнецова и Н. Федоренко к философским истокам понятия. Они были так увлечены обсуждением, что один из них углубился в сопоставление христианского понимания гуманизма и гуманизма реального, другой — потревожил тень Конфуция... Оба отстаивали марксистскую, конкретно-историческую точку зрения: духовные богатства человеческой личности зависят от реальностей окружающего ее мира.

Э. Хардуик призналась: ее смущает слово «духовность», она предпочла бы говорить об идее добра, о том, как мы приходим к пониманию того, что есть хорошо, а что — плохо.

У. Стайрон поддержал мысль о долге писателя отстаивать идеи духовности — «даже если трудно определить, что это такое». Вместе с тем он сказал, что не может отрешиться от пессимистического взгляда на будущее в этом вопросе: люди все больше становятся рабами «неценных» вещей. И «не желая советским людям этого», он предположил, однако, что у них в скором времени будет столько же цветных телевизоров, сколько в Соединенных Штатах. Так выразил американский писатель свою тревогу по поводу угрозы бездуховности для души современного человека.

Что ж, тревога насущная, тревога и в самом деле в чем-то общая. Но думается, проблема эта по-иному ставится и решается у нас, нежели в Америке.

Признают это или нет недруги советской литературы, важнейшая традиция нашего искусства — говорить о том, чем живет народ. Эта жгучая современность обращает писателя ко все новым проблемам. И сегодня, в условиях роста благосостояния советских людей, отнюдь не праздным является для нас разговор о хлебе духовном, о том, чтобы «материальные блага были не более чем условиями человеческого существования, а не целью и смыслом бытия» (Ф. Кузнецов). Отнюдь не праздной является та борьба за духовное содержание человеческой жизни, за воспитание человека высоких нравственных принципов, которую средствами слова ведут советские писатели. И не здесь ли возникает параллель с той борьбой, которую ведут американские писатели против «общества потребления»? Параллель, проведенная, в сущности, У. Стайроном. Ведь он является свидетелем того, что может быть материальное изобилие и не быть духовности.

Но если американскому писателю современный мир не внушает доверия, нам присущ оптимистический взгляд на жизнь, который, однако, «принимает в расчет драматизм и сложность эпохи» (М. Слуцкис).

И, может быть, стоит попытаться оттолкнуться от разговора с одной американкой — назовем ее Мэри,— которая старалась познакомить меня с культурной жизнью Нью-Йорка: музеи, нашумевший спектакль, новый фильм, новые книги.

Разговор с Мэри. Заметки на полях

— Но и у вас нет равенства!..

Уже эти слова, что вспомнились сейчас, говорят о том накале, который приобретали порой наши беседы. И углубляясь мыс-

ленно в эти беседы, хочется как бы продолжить разговор с Мэри, тем более что понимание равенства и справедливости каждый из нас по-своему связывал с пониманием роли человека в борьбе за нее, связывал с понятием духовности в высоком смысле слова.

Фраза, произнесенная Мэри, боялась детализации: на юную американку производили впечатление конкретные факты нашей жизни, рассказ об обычной, казалось бы, каждодневности. Здесь и то, что сделано нами, и то, что предстоит сделать. Конечно, исторического срока, пройденного после нашей революции, еще недостаточно, чтобы осуществить распределение по потребностям, которое в конечном счете имела в виду Мэри.

Начнем чуть-чуть издалека и скажем, что извечно духовность сковывалась нуждой, борьбой человека за кусок хлеба. (Стоит ли говорить Мэри, что проблема эта постоянно стояла перед нашим народом, чей путь был нелегок.) И сегодня, в условиях социализма, продолжая борьбу за лучшую материальную обеспеченность советских людей, мы рассуждаем так: пусть будут цветные телевизоры и холодильники, хорошее жилье, и тогда человек сможет полнее выявить свои дарования.

Вы будете возражать: мечты, мечты! Вот у нас в Америке больше, чем у вас, легковых машин и телевизоров, а каков результат? Почитайте хотя бы произведения наших писателей.

Да, Мэри, процесс этот трудный, еще труднее, быть может, чем обеспечение людей материальными благами. Но процесс необходимый.

Да, Америка — очень богатая страна, но у вас несправедливое распределение благ. Может быть, мы не так богаты, как вы, но у нас нет такого богатства в руках одного человека, какое есть у вас, как нет жуткой нищеты и безысходности, которые можно встретить в Гарлеме или Даун Тауне. В этом смысл нашей революции и источник нашей веры в будущее — при всех наших недостатках. И может быть, именно под этим углом зрения, обращаясь к терминологии Э. Хардуик, мы смотрим на понимание того, «что есть хорошее государство»...

К анализу причин...

После дискуссии советских ее участников пригласили совершить поездку по стране. Нью-Орлеан, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сент-Луис, Вашингтон... Новые впечатления, новые встречи. Эти впечатления и эти встречи были интересны и поучительны во многих отношениях, они показали, что обе стороны — советская и американская — могли бы, очевидно, больше знать друг о друге. Но рассказу об этом — иной день и час. Здесь же хочется заметить, что мы, советские люди, сталкиваясь с ограниченными, подчас нелепыми, искаженными представлениями о нашей стране, нередко говорили о том, что мы являемся обладателями сравнительно бо́льших знаний о жизни Соединенных Штатов, нежели американцы — о жизни Советского Союза.

И может быть, одна из причин такого положения состоит в том, что произведения американских писателей, во всяком случае наиболее крупные и значительные из них, широко издаются у нас в стране. Как подчеркнул во время дискуссии Я. Засурский, советские люди имеют возможность судить о жизни и литературе США не по произведениям низкопробных авторов, а по высшим достижениям американского духа. И он проанализировал направления работы наших издательств, особо остановился на продукции, которая была выпущена за год, истекший после первой встречи. Обзор, сделанный советским американистом, свидетельствовал о внимании к классике и к новейшим произведениям, к исследованиям, принадлежащим перу критиков и литературоведов обеих стран. Словом, «у нас знают американскую литературу столько людей, что тут этого себе, пожалуй, не представляют» (М. Слуцкис). А то, что может сделать литература по грандиозности охвата действительности, как известно, ни одно из искусств сделать не может. И потому столь убедительно прозвучал ответ В. Катаева на вопрос Н. Казинса о том, из чьих произведений советский прозаик почерпнул больше сведений об Америке — Маяковского или Бунина: «Из произведений американских писателей». Или признание Н. Думбадзе: «Я бы не знал эту страну и этот народ, если бы не американская литература».

Мы были бы рады услышать в свою очередь подобные признания из уст американцев. К сожалению, советская литература в США почти не издается, а общий политический климат таков, что слово правды о нашей стране услышать трудно. Читая во время путешествия американскую прессу, слушая радио, смотря телевизионные передачи, мы сами могли судить об этом.

В сущности, то же подтвердило и выступление на дискуссии Артура Миллера, который присоединился к ее участникам лишь в последний день. Как ни жаль, но приходится констатировать, что слова маститого драматурга своей тональностью оставили неприятный осадок, хотя, казалось бы, он говорил о необходимости расширения культурного обмена. Его аргументация, касающаяся причин недостаточного издания книг советских авторов в США, свидетельствовала о том, что он находится в плену ложных стереотипных представлений о нашей литературе, имеющих давнее хождение на Западе. Как нам показалось, известное высокомерие, прозвучавшее в речи А. Миллера, было воспринято с огорчением не только советскими участниками встречи.

О том, до какой степени доходит это непонимание, это незнание реального положения дел в нашей стране, говорит и такой пример. Один из американских участников

встречи, человек несомненно уважаемый, немало делающий для улучшения советско-американских отношений, написал потом, что Ф. Кузнецов (он, как уже отмечалось, поставил в центр своего выступления проблему духовно-нравственных исканий советской прозы 70-х годов) якобы говорил о потере советским обществом духовных ценностей. Что это — степень незнания, которая ведет к такому непониманию, когда мысль оппонента переворачивается до такой степени, что становится прямой противоположностью?..

И вот взаимозависимость: наш уровень знания Америки ведет к тому, что разного рода «басни» об этой стране (прибегнем к такой метафоре) практически не могут иметь места; их уровень знания жизни в Советском Союзе, когда право голоса прежде всего получают люди, представляющие нас в искаженном виде, создает благоприятную почву для распространения «басен».

Стоит, очевидно, несколько подробнее сказать о явных диспропорциях во взаимном издании литературы: эта проблема, как и во время первой встречи в Москве, вставала вновь и вновь — и на самой дискуссии, и на приеме, устроенном издателями, и на пресс-конференции, и, разумеется, в личных беседах. И попробовать от описания следствия подвести к анализу причин этого явления — тем более что эти попытки делались как одной, так и другой стороной.

Врезались в память запальчивые слова видного американского писателя, с которым довелось беседовать,— «Иностранная литература» печатала его произведения, и мы хотели, как всегда в таких случаях, узнать о его ближайших творческих планах: «У нас в Америке никто не станет читать ваш социалистический реализм». В словах этих не было желания обидеть — просто желание как-то объяснить создавшееся положение. А собеседнице его с грустью подумалось, что таков, очевидно, уровень представлений о советской литературе, да и откуда ему быть иным?.. Ведь выбор для перевода случаен, комментарии же американской прессы нередко подчинены желанию дискредитировать литературу социалистического мира: слабые произведения (а они, естественно, есть у нас, как и всюду) — это социалистический реализм, а художественно полнокровные — отход от него.

Вопрос этот острый, и стороны не часто поднимают его на такого рода собраниях, резервируя за собой возможность высказаться позже. Дискуссия в Нью-Йорке отличалась тем, что и по этому кругу проблем говорили тут же. Исключения не составляло и выступление автора этих строк.

К сказанному добавлю лишь один пример, который свидетельствует о том, до каких курьезов доходит порой дело. Некий Харлоу Робинсон в рецензии[1] на талантливый роман Распутина «Живи и помни» (он вышел осенью 78 года в издательстве «Макмиллан») поступает согласно упомянутой выше схеме. Вместе с тем художественную несостоятельность другого романа (он тоже вышел в США, но являет собой образчик эмигрантской литературы) американский критик относит за счет социалистического реализма, ибо-де требованиям его продолжают по инерции повиноваться даже писатели-диссиденты.

По отзывам такого рода рецензентов можно попытаться составить едва ли не свод «правил», по которым якобы пишутся произведения советских авторов. Здесь и заданность в обрисовке положительных и отрицательных героев, и обязательный счастливый конец, и безоблачный оптимизм; и как следствие этого — полное отсутствие «критического начала», которое столь устраивает их в произведениях диссидентов. Об этом не раз приходилось слышать, особенно настойчиво это прозвучало на встрече советской делегации с издателями и было выдвинуто в качестве важнейшей причины, по которой книги советских авторов не могут иметь рынка сбыта в США. Вот если бы в их книгах, как в диссидентских произведениях, были...

Из записной книжки

Катаев: «Я выслушал нескольких издателей. До сих пор я слышал с Запада, что советские писатели пишут под диктовку властей. Мне лично никто никогда ничего не диктовал. Я писал, как хотел. С большим удивлением я услышал, как мне следует писать, чтобы меня издавали в Америке. Я хочу быть свободным и писать, как хочу».

Слуцкис: «Я — литовский писатель. Хочу поблагодарить за прекрасный ужин, за прекрасное вино; виноград не растет у меня на родине, но книги хорошие растут; на родине Думбадзе есть хорошее вино и есть хорошие книги. И хочу очень вежливо спросить: сколько сил и энергии потратили американские издатели в поисках хороших книг, которые растут не только в Литве и Грузии, но и в других республиках Советского Союза? И соответствует ли эта энергия той, что они потратили на издание диссидентской литературы?..

Я был бы Тартюфом, если бы сказал, что мне не было бы приятно увидеть свои книги изданными в вашей стране. Одно обстоятельство удерживает меня: мы так подружились с американскими писателями, что не хотели бы составить им конкуренцию»...

Бакланов: «Не удивляюсь тому, что сказали уважаемые мною Слуцкис и Катаев. Ни один советский издатель не позволил бы говорить со мной таким тоном, каким говорили со мной здесь. Вы умные, воспитанные люди, неужели вы думаете, что мы приехали сюда торговать своими книгами? Как вы, господа американские писатели,

[1] «Nation», 9.IX.1978.

разрешаете издателям разговаривать с вами таким образом?»

К анализу причин (продолжение)

Крутой поворот разговора. Нелицеприятный.

Но сразу оговоримся: мы далеки от намерения «стричь под одну гребенку» все то, что делается в США в отношении популяризации советской литературы. Некоторые издатели подчеркивали свое желание знакомить Америку с лучшими образцами нашей литературы; и мы не можем не отнестись с благодарностью к честным усилиям такого рода, подобно тому как с благодарностью приняли мы в подарок из рук видного американского поэта Уильяма Джея Смита [1] прекрасно изданную в его переводе книгу К. Чуковского «Телефон». Верно сказала переводчик и специалист по современной американской литературе Фрида Лурье: дружески протянутая рука в нашей стране «всегда встретит дружескую руку, протянутую ей в ответ».

Здесь нельзя не сказать о важности вопроса об отборе произведений для перевода, о его критериях. К примеру, выбор семи книг советских авторов, которые изданы недавно «Макмилланом» — их принес на дискуссию Н. Казинс,— тут есть удачи и есть просчеты. Но мы могли понять это, в особенности те советские участники встречи, которые по роду своей деятельности являются еще и издателями. Члены редакционной коллегии «Иностранной литературы» (напомним читателю, что журнал — один из инициаторов встреч советских и американских писателей) — Н. Федоренко, А. Косоруков, И. Зорина—делились опытом своей работы, рассказывали, какое большое значение придают точности отбора у нас в журнале, как мы следим за тем, чтобы, представляя американскую литературу на суд советского читателя, не уронить достоинство этой литературы. Ведь можно печатать, скажем, поделки Микки Спиллейна с его культом насилия, кровавыми фантазиями (он издается в США многомиллионными тиражами), а можно — произведения Оутс, Апдайка, Воннегута, Стайрона.

И когда президент издательства «Даблдей энд компани» Сэмьюэл Воган, рассказывая о конкуренции, господствующей на американском книжном рынке, подчеркнул, что он руководствуется самыми высокими художественными критериями при отборе произведений для перевода, эти его слова (хотя мы не допускаем мысли, что он говорил неискренне) вступали тем не менее в известное противоречие с практикой работы американских издательств. И вопрос о том, как объяснить, что у нас в стране произведения писателей буржуазного мира издают больше, чем советских в США, оставался открытым, как остался открытым вопрос о границах писательской свободы в условиях американского книжного рынка, о котором интересно говорил Я. Засурский и на который как бы изнутри взглянули Дж. К. Оутс и К. Воннегут.

Мы не хотим, конечно, самоутешиться и сказать, что очень хорошо отбираем произведения для публикации. У нас в журнале, например, существует постоянная неудовлетворенность, что знаем мы мало, что предстоит еще многое сделать. А недавно в Союзе писателей СССР было совещание группы американистов с издателями. И мы говорили о том, что из богатейшего наследия американской литературы не все еще дошло до наших читателей, что у нас тут есть «белые пятна», есть произведения, которые не нашли еще своего переводчика,— это тоже очень важная проблема. Тут мы в долгу перед американской литературой, но прежде всего — перед советским читателем. Все это — еще один из аргументов в пользу творческих встреч советских и американских литераторов, когда мы действительно можем посмотреть друг другу в глаза и поделиться своими сомнениями и заботами.

В частности, хотелось бы, чтобы о достоинствах и недостатках советской литературы имели возможность в Америке судить не по шпаргалкам, изготовленным «советологами», чтобы на смену мифам пришло знание предмета, о котором идет речь.

Но обратимся к американскому книжному рынку. Мало-помалу там начинают появляться произведения советских авторов: Стругацких, В. Распутина, Ф. Абрамова, Ю. Трифонова. Произведения, обращенные к анализу сложных проблем нашей жизни, о которых нельзя сказать, что в них нет «критического начала...». Как ведет себя американская пресса? Ведь читающая публика в этой стране привыкла к рекламе, сопровождающей издание книги.— об этом неоднократно приходилось слышать во время дискуссий в Москве и Нью-Йорке.

Ни в коей мере не претендуя на всесторонний анализ проблемы, приведем лишь один свежий пример, тем более что автором статьи, о которой пойдет речь, является профессор Вера Данхем, участница обеих писательских встреч.

Если следовать логике. Заметки на полях

В недавней статье[1], посвященной творчеству Юрия Трифонова, В. Данхем пытается проанализировать вопрос о том, почему книги видных советских писателей — кроме Трифонова она называет Тендрякова, Шукшина, Распутина, Белова, Залыгина, Аксенова — не могут рассчитывать на признание американских читателей: «западные законодатели вкусов», дескать, отдают предпочтение произведениям, экспериментирующим в области формы и разочарованы русской прозой, которая «вторит Чехову и Толстому».

Можно было бы принять на веру умозаключение Данхем, однако сразу напрашивается несколько вопросов. И прежде всего вопрос о том, что есть живая тради-

[1] Стихи У. Дж. Смита публиковались в «ИЛ» № 1, 1971.

[1] «Nation», 9.IX.1978.

ция и в чем заключается подлинное новаторство. Однако оставим его за скобками и попробуем рассуждать согласно логике В. Данхем. И тогда читатель, не знакомый с американским рынком, вправе предположить, что произведения писателей, развивающих отечественную классическую традицию, не издаются в этой стране, что критерий «успеха» — единственное мерило в оценке достоинств литературы. И продолжая следовать этой логике, задается еще одним вопросом: что же в таком случае происходит? Произведения талантливых писателей, получившие признание у нас в стране и которые, как отмечалось, иные критики за рубежом упорно пытаются отторгнуть от социалистического реализма, также, оказывается, не могут рассчитывать на признание — теперь уже по другой причине... И возникает новый недоуменный вопрос: уж не хочет ли В. Данхем заранее предположить, что их книги не будут иметь успеха?

Однако статья В. Данхем адресована американской читающей публике, и, очевидно, трудно сказать, возникнут ли у нее те же вопросы, что и у автора данной статьи, но справедливо ожидать, чтобы лучшие книги советских авторов при издании в США получали бы, подобно книгам американских собратьев по перу, рекламу (раз уж это имеет там такое значение), чтобы «законодатели вкусов» посвящали им статьи и рецензии, помогающие их продвижению к читателю. В том числе и статьи В. Данхем, которые были бы объективны и которые были бы тем более уместны, что она не отрицает художественной значимости этих произведений.

И тогда, быть может, не пришлось бы искать «объяснений», отчего книги советских писателей не могут рассчитывать на успех у американского читателя.

Впрочем, как заметил один из советских участников дискуссии, Запад с известным опозданием открыл для себя русскую литературу XIX века. Мы надеемся, что настанет время, когда он откроет для себя и современную советскую литературу. Она заслуживает того.

Встреча вторая. Момент сближения

Что ж, состоялись две встречи. Очевидно, предстоит третья. Снова в Москве. Можно ли говорить уже о каких-то результатах, прийти к каким-то выводам — ведь опыт сотрудничества только накапливается, он сравнительно еще мал?..

Эти встречи в первую очередь показали, что обсуждение проблем подлинно творческих, когда вопросы о смысле труда писателя сплетались воедино с вопросами о смысле человеческого существования, сближало участников дискуссии. А завязавшиеся личные контакты положили начало размышлениям, смею сказать, полезным для обеих сторон. У нас были и общие раздумья, и общая тревога — при всей подчас разнице во взглядах. Главное же, эти встречи прокладывают путь к взаимопониманию, которое лежит в основе того, что есть сегодня насущнейшая наша забота — сохранение мира.

◆

ХЕНРИК ГРУНВАЛЬД. ПОЛЬША.
Иллюстрация к «Шинели» Н. Гоголя

Критика

ГЕЙНЦ ПЛАВИУС

СЛОВО АННЫ ЗЕГЕРС

Имя старейшей писательницы ГДР Анны Зегерс, революционера, антифашиста выдающегося деятеля движения сторонников мира, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», почетного президента Союза писателей ГДР, известно миллионам читателей разных стран мира. Недавно в 11 номере 1978 года журнал «Иностранная литература» опубликовал ее новую повесть «И снова встреча», вышедшую год назад в Берлине вместе с повестью «Каменный век»[1]. В связи с выходом этой книги редакция попросила видного литературного критика ГДР Гейнца Плавиуса поделиться своими раздумьями о творчестве писательницы, которые мы и публикуем в этом номере.

«По-моему, каждое слово родного языка способно вместить не только отдельного человека, но и целый народ».

Эту фразу я прочитал в повести Анны Зегерс «Встреча в пути» и сделал ее эпиграфом своего эссе. Признаюсь, я долго колебался, прежде чем решился на это, колебался потому, что всякий эпиграф обобщает, а обобщить богатое творческое наследие Анны Зегерс необычайно трудно. Ведь сама личность писательницы, присущая ей особая манера повествования невольно настраивают на торжественный лад. Если вдуматься, фраз, достойных цитирования, ставших крылатыми, в произведениях Анны Зегерс сотни, а может быть, и тысячи.

Почему же я все-таки выбрал эту фразу? Объяснение самое простое: в ней выражена прекрасная мысль. Это итог более чем пятидесятилетней творческой жизни, вывод огромной силы и динамизма, опыт прошлого и устремленность в будущее, то есть целая творческая программа. Слова повествуют о судьбах людей и народов, а значит, литература служит на благо этих людей и народов, помогая им — как любит говорить сама Анна Зегерс — осознавать действительность. Сквозь призму литературы человек раскрывается в своей истинности. Конечно, в широком смысле суть человеческого характера обнажается реальными жизненными обстоятельствами, но ведь эти жизненные обстоятельства как раз и являются предметом литературы. Недаром Маркс, подчеркивая непреходящую ценность искусства, говорил о том что художественное провидение и обобщение сохраняют свою подлинность и вне конкретной ситуации.

«Седьмой крест» Анны Зегерс, например, повествует об обстоятельствах, в которых от познания истинного лица человека зависела жизнь или смерть. Ныне тех экстремальных обстоятельств, чьей жертвой пал герой романа «Седьмой крест» Валлау, казалось бы, нет. Но ведь совсем недавно вопросы жизни и смерти были более чем актуальны во Вьетнаме, который американцы стремились вернуть к каменному веку, они и по сей день таковы в некоторых районах Южной Америки и Карибского бассейна, а косвенно эта дилемма существует и в молодых, развивающихся государствах, делающих первые шаги в социалистическое будущее. Вот почему перед литературой — так, как ее понимает Анна Зегерс,— стоит задача устранять угрозу смерти.

[1] Опубликована в «ИЛ» № 12, 1975.

Но если слово способно вместить целый народ, то, даже не говоря об идеальных, поэтических возможностях языка, фраза-эпиграф содержит в себе программную веру в почти безграничную силу слова. А существует ли сила слова? Та сила, на которую столь часто ссылаются, причем тоном безропотного смирения: «Словами драться сподручнее», «Твои бы слова да богу в уши» и т. д.

Все творчество Анны Зегерс опровергает безропотность и смирение. Сила слабого не в последнюю очередь вырастает из слова. Из нужного слова в нужный момент. Именно таково значение слова в гражданском сознании, в литературном творчестве писательницы. Не случайно основной ее принцип: «Повествуя, преодолевать». Принцип этот рожден самой жизнью, реальными будничными событиями, являясь как бы их итогом.

Вера в силу слова рождает силу рассказа. В 1956 году Анна Зегерс вспоминала о возвращении из эмиграции, о тревоге, снедавшей эмигрантов после стольких лет смятения и неопределенности, ибо их надежды и чаяния столкнулись с суровой действительностью послевоенной Германии. И вот встреча у Анны Зегерс. Поначалу все ошеломленно молчали, не зная, о чем говорить. В этот момент неожиданно вошел Вильгельм Пик. «Он стал расспрашивать, и все почувствовали облегчение; каждый с готовностью отвечал на его вопросы, говорил, потому что испытания кончились и теперь можно о них рассказывать». Очевидно, чтобы рассказать о пережитом, человеку необходима завершенность событий во времени и определенная временная завершенность должна соединиться с завершенностью осмысления. Писать можно только о том, что пережито в действительности, а потом еще раз переосмыслено самим собой. Тогда видна общая картина и можно дать объективную оценку того, что произошло во всех его взаимосвязях.

Герой повести «Через океан» Эрнст Трибель подчеркивает, что, «только рассказывая, он поймет», чем же необычна его история, и этот мотив становится стержнем всего повествования. В новелле «Прогулка мертвых девушек» воспоминания о пережитом помогают героине преодолеть острый духовный кризис. Однако формула «повествуя, преодолевать» приложима не только к рассказчику и его героям, она обращена и к читателю как соавтору каждого произведения писательницы. Кто из нас не согласится с мыслью Анны Зегерс, высказанной в конце повести «Через океан» [1]: «В нашем теперешнем, изменяющемся, стремительно рвущемся вперед мире хорошо, если в душе человека есть нечто прочное, даже если это неослабевающая боль».

«Повествуя, преодолевать» — эта мысль свидетельствует об огромнейшей ответственности того, кто избрал делом жизни поиск верного слова, сильного слова.

[1] Опубликована в «ИЛ» № 1, 1972, стр. 65.

Вера в силу слова всегда была характерна для Зегерс. Ее романы и новеллы—произведения высокого искусства. Но нередко среди высказываний критиков встречаешь замечание, что язык писательницы скуп и суховат. Кое-кто из западных критиков пытался таким образом бросить тень на все ее книги вообще. Еще десять лет назад отрицательное отношение к творчеству Зегерс было на Западе господствующим и широкие круги читателей ФРГ не имели возможности познакомиться с произведениями художника. Поверхностная критика языка и стиля — особенно тех произведений Анны Зегерс, которые написаны в ГДР и рассказывают о социалистической действительности,—не что иное, как эстетская попытка дискредитировать последовательную коммунистическую позицию Анны Зегерс. Не случайно подобные критические голоса на Западе ныне образуют сектантское меньшинство. Значение творчества Зегерс невозможно более замалчивать, подтверждение тому — выход в ФРГ десятитомного собрания ее сочинений.

Скупость речевых средств у Анны Зегерс отнюдь не недостаток, скорее — следствие убеждения писательницы в силе воздействия словом. «Зависимость между языком и народом, который на нем говорит,— писала Анна Зегерс,— настолько тесна, что язык влияет на события, а события на язык». Действительно, если говорить о своеобразии языка и стиля Анны Зегерс, то его нельзя свести к одной только скупости и суховатости. Более того, это своеобразие определяется теми задачами, которые ставит перед собой автор. Язык Зегерс необычайно емок, именно поэтому при чтении ее произведений создается впечатление, что ты — непосредственный участник повествования. Как же это достигается?

Анна Зегерс — один взгляд на все ее обширное творчество подтверждает это — всегда была тесно связана с реальностью, с классовой борьбой. Действие ее произведений развертывается на самых разных континентах в самые различные эпохи. И для передачи многоликости жизни писательница выработала свою манеру письма. Все ее большие и малые полотна сотканы из множества историй, но истории эти нередко сжаты до телеграфной краткости, которая будоражит фантазию, воображение читателя. Приведу один пример.

Почти в конце новеллы «Последний путь Коломана Валлиша» говорится о том, как австрийский канцлер Дольфус пригласил делегацию итальянских офицеров-фашистов. Рассказ сопровождает единственная ремарка: «Народ нашпиговал дороги гвоздями, так что этим гостям придется раз десять менять шины, прежде чем они доберутся до Земмеринга». То, о чем скупо сообщает одна фраза, можно было бы развернуть в целое повествование об опасно-

ГЕЙНЦ ПЛАВИУС
СЛОВО АННЫ ЗЕГЕРС

стях, связанных с диверсией, о ярости итальянцев, когда они меняют шины, скажем в третий раз, и об их бешенстве, доходящем до апогея, когда они делают это в десятый раз. Но дело тут не столько в потенциальных возможностях этой емкой фразы. Лаконичность высказывания и глубина мысли придают особую убедительность ненависти народа к надвигающемуся фашизму и любви простых людей к своему герою — руководителю австрийских антифашистов Коломану Валлишу. Даже после смерти он жив в делах своих соратников — «не так уж он и мертв, этот Валлиш».

На вопрос о ее творческой манере Анна Зегерс отвечает: «Я пишу скорее всего так, как строят», или просто говорит, что пишет истории, воссоздающие окружающий мир.

Писать — значит строить мир, быть созидателем. Нет литературы вне связи с действительностью. Литература — это воссозданная жизнь, отражение жизни прожитой, как писала Зегерс в предисловии к новому изданию романа «Спутники» в 1948 году. Литература немыслима вне связи с действительностью, но в то же время необходимо подчеркнуть, что она есть также и провидение новой действительности. «Порой писателю даже удается отыскать нечто, еще не осуществленное самой жизнью»,— пишет Анна Зегерс в повести «Встреча в пути». Литература утверждает и отрицает, излагает факты и фантазирует. Она целостна и противоречива. Литература одновременно искусство чистое и искусство тенденциозное, как писала Анна Зегерс в 1962 году в одном из писем к Жоржи Амаду. Такая точка зрения на литературу отмечена яркой диалектичностью, что связано опять-таки с ее глубокой привязанностью к действительности, той самой, которая является главной наставницей всякой диалектики. И именно потому, что в литературе все течет и изменяется, так же как в жизни, она отражает в своих образах мир.

В повести «Саги о неземном» (1970) писательница словно создает проекцию окружающей нас реальности. Кому же, как не пришельцу, посланному фантазией автора из другой цивилизации на Землю, неземному существу, без наших предрассудков и привычек, не замешанному в страстях человеческих, дано изучить эту цивилизацию, поставить ей диагноз. Что же он находит на нашей планете? Многое ему непонятно. Почему люди разжигают войны? Почему убивают и преследуют друг друга, разоряют нивы и города? Но, конечно, неземное существо познает и очень привлекательные стороны этого мира, столь же неведомые ему: музыку, пение, искусство. Все это завораживает его, пробуждает глубокую симпатию к Земле, хотя жизнь людей не становится понятнее от того, что война и искусство в ней сосуществуют. Мир этот изменчив и противоречив, а произведения искусства «делают человека и в несчастье счастливым». Такова, очевидно, самая краткая формула, которой можно выразить мировосприятие художника.

Восприятие действительности у Анны Зегерс, как я уже говорил, ярко диалектично, и весьма знаменательно, что взаимоотношение человека и мира стало одной из центральных тем ее творчества. Когда в новелле «Встреча в пути» писательница свела в пражском кабачке Гофмана, Гоголя и Кафку, их беседа, конечно же, сосредоточилась на литературе и ее взаимосвязи с жизнью. Так средствами художественной прозы Анна Зегерс включилась в неумолкающую дискуссию между сторонниками и противниками реализма. Устами своих героев писательница обращается к нынешним деятелям и теоретикам искусства, призывая их отказаться от упрощенческого, однобокого подхода к действительности, ибо подобный подход приводит либо к глубокому пессимизму, либо к лакировке. А ведь действительность на самом деле сложна, полна противоречий и конфликтов.

Трое писателей-собеседников вновь и вновь возвращаются к собственному творчеству, говорят об антагонизме нищеты и богатства, справедливости и несправедливости, добре и зле. Гоголь замечает, что никогда нарочито не акцентировал эти противоречия: «Все получалось само собой, просто я был верен действительности». И эта фраза, пожалуй, объясняет многое в мировосприятии самой Анны Зегерс. Полностью разделяет она и конечный вывод бесед трех писателей: для искусства важна только «действительность как целое».

Резко полемизирует Зегерс и с теми современными концепциями, авторы которых пытаются свести все многообразие бытия лишь к тому, что можно увидеть и ощутить. А почему не могут быть реальны мечты об идеальном, но достижимом, ведь это мечты вполне реального человека? Эти раздумья Анны Зегерс вносят свой вклад в дискуссию о понимании реализма, дают определенную оценку и нынешней литературной ситуации в ГДР. Подчеркивая решающую роль тесной связи литературы и действительности, она постоянно ратует за поиск новых, более совершенных путей отображения реальности, адекватности постоянно возникающим проблемам.

Сведение действительности только к сущему несет в себе упрощенное понимание реализма, подмену его натуралистической фотографичностью. Напротив, Анна Зегерс отстаивает право реализма на воображение, «реалистическую фантазию», и не случайно в сборник «Странные встречи» входят две новеллы, фантастические по сюжету, но рассказывающие о вполне земных проблемах. Тем самым писательница отстаивает право на существование тенденции отображать и постигать действительность средствами фантастического, столь ярко проявившей себя в последнее время в молодой литературе ГДР.

Требование рассматривать «действитель-

ность как целое» противостоит тем художественно неубедительным опусам, авторы которых нарочито выдают часть за целое, предают диалектику, выхолащивают из литературы свойственный ей гуманизм, подменяя его тотальным пессимизмом. Нередко эту позицию всеобщего отрицания, при которой роль литературы сводится лишь к огульному обличению и мрачным пророчествам, оправдывают тем, что это, дескать, своего рода реакция, ответ тем, кто ждет от литературы только утверждения, только принятия существующего порядка вещей и его восхваления. Что подобные заявления говорят сами за себя. Нельзя оправдывать одну ложную позицию существованием другой, столь же ложной. Или искать некую золотую середину, ибо между ложными концепциями ее нет. От них можно только избавиться, изображая действительность такой, какова она есть, со всеми ее положительными и отрицательными сторонами. Поддерживать стоит лишь то, у чего есть будущее, а бороться против того, что реакционно и антигуманно.

Примером изображения действительности как целого стали две недавно опубликованные повести Анны Зегерс «Каменный век», «И снова встреча». Оба эти произведения в известном смысле противостоят друг другу, но вместе образуют удивительно емкое и полное, диалектичное полотно. «Чудо, что они нашли друг друга между жизнью и смертью в изломанном и запутанном мире». Эта фраза из повести «И снова встреча» не просто говорит о том, что герои произведения, коммунисты-подпольщики Селия и Альфонсо, разлученные диктатурой Франко, нашли друг друга. Одновременно эта фраза несет в себе как бы диагноз состояния мира в период качественного скачка. Он еще таков, что в нем преступления — почти норма. Преступления, подобные тому ограблению самолета, которое совершил Гэри, герой повести «Каменный век», один из американских «зеленых беретов», что думали вернуть Вьетнам к каменному веку. Но миру присуще и стремление к торжеству гуманизма, к победе добра над злом.

Гэри кончает одиночеством, гибнет: деньги, символ счастья в западном мире, в действительности оказались только его призраком. Гэри не просто погибает, его жизнь (и в этом истинный гуманизм Анны Зегерс!) была настолько противна нормам человечности, что заслужила полное забвение, и символично, что антрополог Хилсом, которому повстречался на пути Гэри, стирает дневниковые записи о нем.

Да, на первый взгляд пессимисты и мизантропы как будто правы. Но одновременно этот мир уже таков, что позволяет Селии и Альфонсо встретиться вновь, в нем достаточно сил, защищающих любовь, сил истинно гуманных, вырастающих из доверия, человеческого взаимопонимания и солидарности.

На всем протяжении литературной деятельности — более полувека! — диалектика состояния мира для Анны Зегерс нечто гораздо большее, чем просто повод к созданию очередных повестей, это — стимул ее творчества. И в ранних новеллах, и в самых последних произведениях писательница размышляет о современности, о социальных противоречиях и классовых боях, о нищете маленького человека. Она всегда видит в нем не слабость, а силу. «Я бы не смогла жить и писать,— сказала она однажды,— не намечая перспективы». Тем и объясняется впечатляющая внутренняя цельность ее творчества. Читая последние повести Анны Зегерс «Каменный век», «И снова встреча», неизбежно сталкиваешься с мотивами, ситуациями, персонажами, без которых эти произведения столь же немыслимы, как полные трагизма новеллы «Прогулка мертвых девушек», «Человек и его имя», «Грубеч» или «Настоящий синий цвет». Взять хотя бы мотив путешествия. Ведь он присутствует практически во всех произведениях писательницы — от «Транзита» до повести «Через океан»; между ними «Седьмой крест», «Прогулка мертвых девушек», «Последний путь Коломана Валлиша», «Дочь делегатки». И все это (sit venia verbo [1]) путешествия, предпринятые для постижения действительности.

Ведущий мотив последних работ Анны Зегерс — поиски счастья. Однако, как и в более ранних произведениях, эта тема отнюдь не является дидактическим намерением автора, априорно заданной формулой. Здесь просто рассказываются истории людей, а из них нетрудно вывести составляющие человеческого счастья. Я не случайно говорю «вывести», ибо проза мастера, как всегда, предельно конкретна, лишена общих рассуждений. Сами эти составляющие, условия человеческого счастья, определяются обществом, господствующей в нем системой ценностей, его традициями, отношением к прошлому, его надеждами, представлениями о будущем — они не лежат на поверхности произведений Зегерс, а скорее читаются между строк.

Да, нынешний мир таков — он изломан и запутан. Но он уже переменился, в нем появились силы, которые делают возможными и счастье, и доверие, и надежду. Появление этих сил связано у Зегерс с коммунистами, с теми гуманистическими идеалами, которые они отстаивают. А ведь построить новый, счастливый мир равносильно претворению в жизнь чаяний человечества, легенд о «золотом веке», равносильно свершению невозможного. Но предстоят годы борьбы. Потому вряд ли случайно повесть «И снова встреча» завершается не встречей героев Селии и Альфонсо, а лишь надеждой на встречу.

Счастье оказывается немыслимым в стороне от людей, жизни. Поэтому кажущееся благополучие одиночки Гэри логикой

[1] Если можно так выразиться *(лат.)*.

ГЕЙНЦ ПЛАВИУС
СЛОВО АННЫ ЗЕГЕРС

действительности оборачивается его несчастьем, становится причиной его гибели. Напротив, Селия и Альфонсо находят счастье именно потому, что живут одной судьбой с испанскими тружениками. Так Анна Зегерс в своей художественной практике претворяет формулу «рассматривать действительность как целое»; ее книги — своего рода защитник людей, который отнюдь не внушает человеку иллюзий относительно трудностей на этом пути.

Однако представление о человеческом счастье невозможно без провидения будущего. И то, что у Анны Зегерс чрезвычайно редко встречаются подобные провидения, связано с уже упоминавшимся мной особым чувством реального у писательницы. Например, в романе «Доверие» она сосредоточивает внимание на определенной этической проблеме, без которой построение будущего невозможно. Это проблема доверия между людьми в новом обществе, не имеющем пока законченных очертаний, в рамках новой системы, это складывающийся новый характер человеческих отношений. И все же роман «Доверие» посвящен вовсе не описаниям райски-утопической перспективы. Писательница отреклась бы от своих художественных принципов, если бы в провидении будущего не опиралась на конкретную действительность. Не случайно в одном из своих эссе о Льве Толстом Зегерс писала: «Читатель, чтобы увлечься изображением успеха, должен сопережить все хорошее и дурное, все взлеты и падения на пути к этому успеху».

Центральное место в романе занимают события 17 июня 1953 года, когда, воспользовавшись экономическими трудностями ГДР, силы, враждебные социализму, попытались организовать контрреволюционный переворот и потерпели сокрушительное поражение. Прежде всего потому, что трудящиеся ГДР и особенно молодежь, выросшая после войны, оказали доверие своей республике, стали на ее защиту.

Писательница подходит ко всем этим проблемам прежде всего с точки зрения морально-психологической: как сочетать в условиях напряженной борьбы необходимую бдительность к врагам с доверием к честным людям, то есть речь здесь идет о гуманистическом содержании социалистических общественных отношений. И потому в концепции романа, согласно которой социализм — это общественная формация, ныне далеко ушедшая от своей исходной точки и развивающаяся как организм социалистический во всех своих проявлениях,— одновременно заключено и провидение будущего.

Тема будущего проходит через многие работы Анны Зегерс. Вспомним, что именно в романе «Седьмой крест», произведении, изображающем коммунистов в период тяжелейших испытаний, высказаны раздумья, в которых сама мечта о грядущем обретает удивительно четкие очертания, вырастает в картину современного социализма. Без подобной утопии как моральной опоры духовного провидения была бы немыслима полная достоинства гибель Валлау, да и вообще сопротивление фашистскому варварству. Уверенность в возможности такого будущего, не утраченная даже в жутких условиях фашистского режима, помогла нам возводить новое, социалистическое общество, помогла принять «Решение» и выработать «Доверие» к социализму. Так надежды и чаяния, высказанные героями «Седьмого креста», становятся реальностью.

В то время как на Западе утопия все больше и больше вырождается в лжеутопию, в то время как не обузданные общественными силами возможности науки и техники становятся угрозой и кошмаром, марксистское представление Анны Зегерс о будущем несет в себе семя истинного провидения. Эта устремленность в будущее подкупает своей простотой и человечностью, и ей не мешают даже некоторые наивные черты. Ведь Анна Зегерс никогда не брала на себя роль ментора, поучающего читателя. Она всегда претворяла в своей работе те три ступени творчества художника, которые были открыты Толстым. «Сначала художник,— писала Зегерс,— непосредственно и свежо переживает действительность; так природа воздействует на ребенка. На второй ступени художник пытается осознать взаимосвязи. Но при этом его искусству грозит опасность утраты свежести и непосредственности. Ему нужно достичь третьей ступени, на которой результаты его мысли станут как бы второй природой».

Жизнь с пером в руке продолжается вот уже более пяти десятилетий. В мире свершились перевороты и катаклизмы гигантских масштабов, которые коснулись и лично Анны Зегерс,— коснулись, но не сломили. Этим катаклизмам посвящен роман-эпопея «Мертвые остаются молодыми». Молодые революционеры, персонажи романа, четко представляли себе, что новая жизнь, которую они стремились построить, «имела с прошлым столь же мало общего, сколь потусторонний мир с миром живых».

Трудно встретить человека, более ненавидящего фашизм, тупую милитаристскую жестокость, чем Анна Зегерс. По ее книгам можно изучать европейскую историю XX века, вместе с тем повествуя о мире старой жизни, она учит нас преодолевать его, строить день нынешний и провидеть грядущий. И немалая роль в становлении нынешнего дня немецкой социалистической республики, которая в краткий исторический период успела создать новую культуру, принадлежит Анне Зегерс — человеку, писателю, коммунисту.

Перевод с немецкого М. ФЕДОРОВА

◆

М. ШНЕЙДЕР

ПАМЯТИ ДРУГА

К 80-летию со дня рождения Лао Шэ

24 августа 1966 года после очередного бандитского налета хунвэйбинов, не выдержав надругательств и унижений, ушел из жизни Лао Шэ — выдающийся китайский писатель, известный во многих странах мира, пламенный патриот своей родины, народный депутат и почетный гражданин города Пекина. 3 февраля 1979 года ему исполнилось бы восемьдесят лет...

Дружба разных народов складывается в значительной мере и из мельчайших крупиц — из отношений взаимной привязанности, симпатии, преданности друг другу отдельных их представителей. В Китае у меня было немало друзей. И на протяжении почти десятилетия глубокая человеческая приязнь связывала нас с Лао Шэ. Казалось бы, что общего может быть между людьми столь несхожих судеб и разных поколений? Тем не менее с ним всегда было легко и просто — очевидно, потому, что мы друг друга прекрасно понимали. Нас объединяла вера в торжество коммунизма на земле, в непоколебимость дружбы между нашими народами. Оба мы испытывали чувства любви и уважения к богатейшей и самобытной культуре китайского народа, его революционным традициям. И конечно же, в старшем друге меня всегда привлекал его неизбывный интерес к нашей родине, его искреннее преклонение перед величайшим событием мировой истории — Октябрем.

«Великая Октябрьская революция явилась для нас огромным даром»,— писал Лао Шэ. И далее: «Великая Октябрьская революция разбудила народы всего мира. В ослепительном сиянии Революции... родилось новое могучее искусство; его содержанием стали кровь и пот человека, его благородный труд, его революционный энтузиазм, его счастье. Оно рассказывает о горячей любви людей к сегодняшней жизни, об их борьбе за счастливое завтра»[1]. В другой его статье говорится: «Выражение «Советский Союз сегодня— это наше завтра» стало одним из самых любимых у китайского народа... После Октябрьской революции передовая советская литература стала духовным учебником для китайской литературы. Герои советских романов и пьес стали нашими героями»[2].

К сожалению, видеться с Лао Шэ мне доводилось не так уж часто, но встречи с ним — и в Пекине, и в Москве — запечатлелись в памяти до мельчайших подробностей. Каждая беседа, как и каждое письмо Лао Шэ, обогащали все новыми сведениями о стране и народе, изучению которых я себя посвятил. Лао Шэ, знаток истории и литературы, культуры и искусства, нравов и обычаев своего народа, был к тому же превосходным рассказчиком. В самый серьезный разговор он неизменно вносил присущий ему юмор, завоевывая сердца слушателей огромным обаянием, умением выслушать собеседника, своей откровенностью и прямотой.

Первое наше знакомство состоялось в 1957 году, когда с делегацией китайских трудящихся он приехал к нам на празднование 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

В мае 1959 года ежедневно в течение двух недель мы виделись и подолгу беседовали в дни работы III съезда писателей СССР, на котором Лао Шэ вместе с другими китайскими литераторами представлял Союз писателей Китая. Он был под впечатлением творческого духа, царившего на заседаниях съезда, единства и целеустремленности его участников.

[1] Лао Шэ. Лицом к жизни. «ИЛ» № 5, 1955, стр. 251—252.

[2] Лао Шэ. Это наше завтра. «Литературная газета», 7 ноября 1954 г.

Возвратившись на родину, Лао Шэ писал 16 июня 1959 года в газете «Гуанмин жибао»: «Каждая поездка в Советский Союз доставляет мне такую же радость, какую испытывают дети во время встречи Нового года!»

Осенью того же, 1959 года Лао Шэ, радушный и приветливый хозяин, принимал автора этих строк в Пекине и в кругу домашних, и среди близких друзей — известных китайских писателей и ученых-литературоведов. Побывав у Лао Шэ дома, я полнее осознал и некоторые личные его качества. Например, что духовные силы для борьбы со всяческим злом он черпает в неистощимой любви ко всему живому и прекрасному. На эти мысли наводили, в частности, хризантемы, которые писатель сам выращивал в домашней теплице, подыскивая каждому выведенному сорту свое название.

Лао Шэ всегда с гордостью говорил о народном Китае, освободившемся от многовекового рабства, о его успехах в строительстве новой жизни. С глубокой благодарностью он отзывался о бескорыстной помощи его народу со стороны Советского Союза и других братских стран. Радовался их победам и достижениям в строительстве социалистического общества. Уроженец Пекина, его вдохновенный певец, Лао Шэ считал этот город самым чудесным в Китае и всегда в раздумьях и мечтах связывал с ним будущее своей родины. Но какой гнев и какое негодование звучали в его голосе, когда речь заходила о коварных планах и делах империалистов — поджигателей новой войны! Вспоминая о пребывании в США, он рассказывал, как не раз подвергался там издевательствам со стороны расистов.

Но о чем бы беседа ни шла, она обычно заканчивалась разговором о литературе. Свои творческие замыслы Лао Шэ связывал с созидательной работой, которую вел в то время китайский народ, выполняя решения VIII съезда КПК. «Теперь каждый китайский писатель,— говорил Лао Шэ,— понимает, что должен трудиться не жалея сил и до конца выполнить свой долг — создавать подлинно художественные произведения, обладающие силой эмоционального воздействия».

Радуясь несомненным успехам, достигнутым его собратьями по перу в свободном Китае, Лао Шэ с требовательностью говорил о задачах еще не решенных, о предстоящих делах. Но тут же, как обычно, с бесстрашием и суровой прямотой он замечал: «Художественное творчество имеет свои законы. И если художественную литературу подменить политическими лозунгами, то ее, разумеется, читать никто не станет». Уже в 50-е годы Лао Шэ осуждал порочные методы, как он говорил, «некоторых руководящих работников» в Китае за то, что они допускают грубое администрирование и вмешиваются в творческие дела представителей культуры и искусства [1].

Тонкий ценитель китайской старины и классической литературы, Лао Шэ постоянно подчеркивал необходимость бережного отношения к культурному наследию, призывал творчески осваивать его. «Нам надо изучать это наследство,— любил он повторять мысль, высказанную еще в октябре 1954 года на пекинской конференции работников литературы и искусства,— не только для того, чтобы овладевать формой классиков. Мы должны также научиться тому, как выходить за пределы этой формы в соответствии с требованиями действительности... Новая литература должна создавать свою форму — простую, прозрачную, действенную» [1].

Лао Шэ, которому была совершенно чужда националистическая кичливость, подчеркивал: «Мы ценим традиции нашей литературы... мы ценим также сокровища мировой литературы и современные произведения. Данте, Шекспир, Сервантес, Гёте, Гюго, Пушкин, Толстой, Уитмен, Ибсен, Тагор, Ромен Роллан, Горький и другие — наши учителя. Произведений этих великих мастеров литературы и выдающихся произведений современных авторов различных стран мы перевели уже немало, и они широко распространены по всей нашей стране. Например, на сценах пекинских театров мы можем увидеть спектакли «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Нора» Ибсена, «Дядя Ваня» Чехова, «Слуга двух господ» Гольдони, «Мещане» Горького». И далее: «Да, мы не можем отрицать того, что у нас имеются древнейшие культурные традиции, но и не следует также скрывать нашу культурную отсталость. Мы должны повышать свою культуру, поэтому нам нужно упорно учиться у всех стран»[2].

За четыре десятилетия напряженного творческого труда Лао Шэ — сатирик, беспощадный обличитель мещанства, всего мрачного и косного в своей стране, борец за свободный и счастливый Китай — создал галерею ярких, запоминающихся образов. Творчество его отличалось углубленными психологическими характеристиками героев, отточенным языком произведений, богатым и сочным юмором. Выступал он в разных жанрах литературы — и в романе «Рикша», и в памфлете-фантазии «Записки о Кошачьем городе», и в пьесе «Драконов ус», и в рассказе «Серп луны», и в комическом диалоге «сяншэн» или в публицистических статьях. (Они хорошо известны нашим читателям по многочисленным переводам.)

В 50-е годы Лао Шэ, первому из всех литераторов Китая, было присвоено почетное звание народного писателя КНР. Много сил, времени и энергии он отдавал воспитанию начинающих писателей. Тогда, в первые годы существования Китайской Народной Республики, официальная китайская критика ставила Лао Шэ в пример литераторам разных поколений. «Лао Шэ,— говорилось в одной из статей, опубликованных

[1] См. Лао Шэ. Свобода и писатель. Журнал «Народный Китай» № 1, 1957, стр. 16—17.

[1] «Литературная газета», 26 февраля 1955 г.

[2] «Народный Китай» № 1, 1957, стр. 18.

в «Жэньминь жибао»,— почерпнул в революции новые творческие силы, очень многому научился и, что особенно важно, продолжает учиться. И мы хотим пожелать всем работникам литературы и искусства идти по пути, которым идет Лао Шэ»[1].

В последний раз я видел Лао Шэ у него дома 6 февраля 1966 года, по сути, в самый канун пресловутой «культурной революции». В нашей беседе принимали участие и его жена Ху Цзе-цин, известная художница, ученица великого Ци Бай-ши, и сын, приехавший в Пекин в командировку из Нанкина,— тоже мой старый знакомый. Выглядел писатель плохо, как-то очень постаревшим, жаловался на ухудшение здоровья.

Лао Шэ было хорошо известно, что многие его произведения уже изданы в Советском Союзе в переводах на русский и другие языки народов нашей страны. Знал он также, что в издательстве «Художественная литература» вышел в свет двухтомник его сочинений. Но он очень оживился, когда я вручил ему незадолго до того изданную в Москве книгу под названием «Последняя монета», в которую вошли переводы некоторых его юмористических рассказов разных лет. С большой радостью писатель отнесся к тому, что перевод его широкоизвестного романа «Развод» вот-вот выйдет в Советском Союзе.

Упоминание об этом произведении, созданном еще в 1933 году и, как я знал, едва ли не самом любимом детище автора, естественно перевело беседу в новое русло. Разговор зашел о том, как нелегко бывает подчас писателю полностью воплотить свой первоначальный замысел даже в удавшемся в целом произведении. Я высказал мнение, что роман «Развод», на мой взгляд, и являет собой пример полного соответствия замысла художника и его воплощения.

Китай начала 30-х годов. Бэйпин (так назывался Пекин в годы гоминьдановской реакции) с его шумными рынками и пассажами, увеселительными заведениями, всевозможными департаментами, канцеляриями и присутствиями. Многочисленные чиновники без особого рвения служат, но зато охотно сплетничают и подсиживают друг друга, берут взятки, пьянствуют и развратничают, ссорятся с женами, а иногда и поколачивают их, то разводятся, то снова сходятся с ними.

Но еще ужаснее, что при всем своем мещанском благополучии живут они словно в пустоте и, как метко определил кто-то, в разводе с действительностью. Стоит только с кем-нибудь из них приключиться несчастью — и недавние его дружки-собутыльники тут же от него отворачиваются. Так было, например, когда арестовали сына самого процветающего из них — «старшего брата» Чжана, хлебосольного хозяина, мастера сватовских дел.

Единственным человеком, кто посочувствовал Чжану, кто помогал ему, чем мог, и даже пошел на сокрытие убийства, был простодушный и скромный чиновник Ли, судьба которого стоит в центре романа. Выходец из деревни, Ли успешно заканчивает университет и получает приличную должность в управлении финансов. Но вскоре чиновничья служба начинает тяготить его, мещанский быт семьи, словно трясина, все глубже его засасывает. Мечты Ли о романтической любви, об интересной и содержательной жизни терпят крах, и он бежит из опостылевшего ему Бэйпина в деревню. Так он пытается спастись от той огромной тюрьмы, которой представляется ему окружающая действительность. Так он хочет «развестись» с ней...

И тут как-то получилось, что разговор зашел о другом, более раннем творении Лао Шэ — о романе «Мудрец сказал...». По моему глубокому убеждению, роман этот, впервые появившийся в 1927 году на страницах популярного в ту пору в Китае журнала «Сяошо юэбао» («Ежемесячник прозы»), следует рассматривать в самой непосредственной связи и с романом «Развод», и с рассказом «Последняя монета», и с другими произведениями Лао Шэ, рисующими быт и нравы пекинского люда, особенно чиновничества. Более того, в романе «Мудрец сказал...» перед читателем раскрываются картины жизни студентов — повес и бездельников, обитателей сомнительного свойства пансионов и гостиниц, любителей вина, азартных игр и женщин. Сами они ничего не зарабатывают и живут за счет родителей-провинциалов. В общем, как мне представлялось, в этом романе превосходно показано, откуда брались и как формировались разные типы чиновников — взяточников и казнокрадов, которые заселили впоследствии многие произведения писателя, в том числе и его роман «Развод».

Лао Шэ согласился с моим мнением о взаимосвязи его произведений, написанных в разное время. Но с присущей ему скромностью стал отвергать мои утверждения о том, что уже в самом начале писательского пути проявилось его мастерство сатирика и юмориста. Однако доказать свою правоту в возникшем споре мне помогли образы, созданные писателем в романе «Мудрец сказал...». И, конечно же, в первую очередь образ главного героя романа Чжао Цзы-юэ, доведенный им до гротеска. Немаловажную роль в этом сыграли и отталкивающий внешний облик героя, и раскрытие жизненного кредо Мудреца («с самого сотворения мира главное в жизни — это еда, одежда, женщины и азартные игры»), и убийственная ирония художника по поводу квасного патриотизма студентов, особенно по поводу «революционной» деятельности самого Чжао.

А чего стоят разительные характеристики действий и поступков главного героя романа! Чем только он не занимался, за что только не брался! То он рьяно выступает

[1] См. статью А. Тишкова «Большой художник» в «Литературной газете» от 11 октября 1966 г.

М. ШНЕЙДЕР
ПАМЯТИ ДРУГА

за эмансипацию женщин, а сам всячески издевается над ними и собственную жену бросает на произвол судьбы, то вдруг принимается за репетиторство, но ничего начатого до конца не доводит. Он — болтун, краснобай и никчемный бездельник, лентяй и недоучка. Подобными же качествами отличается и подавляющее большинство тех, кто окружает Чжао в романе.

Лао Шэ беспощаден ко всем этим «вечным студентам», к той среде, из которой произрастают будущие продажные чиновники — плоть от плоти, кровь от крови реакционного чанкайшистского режима, его основа, опора и надежда. Одну из немаловажных сторон жизненной философии этих самозваных «верхов» тогдашнего китайского общества писатель-реалист усматривает в философии «моральных побед», в «акьюизме» — поразившем старый Китай социальном зле, синониме рабского повиновения, самообмана и пораженчества, блистательно развенчанном Лу Синем в его повести «Подлинная история А-кью».

Примечателен и метод контраста при воссоздании действительности в романе «Мудрец сказал...». Именно на контрастах построено описание праздника Начала лета в Пекине: наряду с окружающим богатством и красотой, очаровательными девушками, хризантемами, расцветающими деревьями, резвящимися в небе птицами в нем изображены рикши, нещадно подгоняемые седоками и мчащиеся во всю прыть, пыль, грязь, навоз, свиные и бараньи туши на бойне, вонь, роящиеся зеленые мухи. Таким и был Пекин до Освобождения...

Беседа наша проходила в канун «культурной революции», и тучи уже, как говорится, достаточно сгустились. Кое-чего я так и не досказал Лао Шэ, а мне так хотелось выразить восхищение его поразительным даром словно бы видеть многое на десятилетия вперед. С особой силой это проявилось в сатирическом романе-памфлете Лао Шэ «Записки о Кошачьем городе», вышедшем в свет еще в 1933 году (перевод его на русский язык вызвал большой интерес советских читателей в конце 60-х годов, уже после гибели его создателя), а также в предмете нашего разговора — романе «Мудрец сказал...». Как злободневно для Китая 1966 года, когда там назревала, а вскоре и началась «культурная революция», выглядели, например, описанные в романе выступления студентов — тогдашней «золотой молодежи» — против ректора университета и их «воззвания», направленные против него или в его защиту, или же сцена избиения ректора. И вообще в этом романе то и дело наталкиваешься на звучащие весьма современно высказывания о том, что профессора Чжана «действительно не грех избить», и тому подобные. Прожженный же лентяй и бездельник Оуян Тянь-фэн, один из героев, прямо выступает против экзаменов и подбивает студентов на бунт.

А вот еще один пример поразительной «переклички» романа «Мудрец сказал...» и воссозданного в нем с китайской действительностью 60-х, да и не только 60-х годов. Чжао Цзы-юэ рассуждает: «...в новом обществе есть две великие силы: солдаты и студенты. Солдаты способны драться со всеми, кроме иностранцев, а студенты — со всеми, кроме солдат. Вот почему обе эти силы идут рука об руку, помогая народу понять, что такое подлинная воинственность. Если солдаты перестанут обижать простых людей, они перестанут быть солдатами, а если студенты не будут избивать преподавателей, их никто не станет считать мужественной молодежью...»

Такими виделись главные особенности и этого, тоже полюбившегося мне произведения Лао Шэ. Но подошло время расставаться, и, право же, трудно было предположить, что видимся мы в последний раз. Перед моим уходом Лао Шэ подарил мне изумительной работы старинную чашку из китайского фарфора — тонкого, как яичная скорлупа. Его слова: «Думаю, что у вас она сохранится лучше» оказались вещими и приобрели особый смысл через полгода, когда в Москву дошла печальная весть...

Вновь и вновь перечитывая произведения Лао Шэ — одного из выдающихся художников слова современного Китая,— которые до сих пор так и не переиздаются у него на родине, вспоминая о встречах и беседах с ним, еще острее понимаешь, какого огромного духовного богатства лишают китайский народ нынешние пекинские лидеры. И более того — они еще бессовестно при этом лицемерят. Недавно, посмертно реабилитировав Лао Шэ и словно бы восстановив его доброе имя, они нарекли его, бесспорную и прямую жертву «культурной революции», не только горячим поборником, но и активным ее участником. Непосредственная же вина за трагическую гибель великого писателя возложена официальным Пекином на одного из столпов маоистского режима — маршала Линь Бяо, а также на повергнутую ныне «банду четырех»[1]. Цель этой фарисейской акции все та же: во что бы то ни стало обелить виновника всех бед китайского народа — Мао Цзэ-дуна, главного вдохновителя как самой «культурной революции», так и всех хунвэйбиновских бесчинств.

Более двенадцати лет тому назад Лао Шэ не стало. Но, как у каждого великого художника, у него две жизни. Одну отняли хунвэйбины. По наущению сверху они разгромили дом, оранжерею с хризантемами, уничтожили богатейшую библиотеку писателя и собранную им за многие годы коллекцию старинного китайского фарфора. Другой жизни у нашего доброго старого друга не отнять никому и никогда — она в его замечательных книгах и делах, которым жить вечно. И хочется верить, что настанет время, когда китайский народ, особенно молодежь, вновь сможет читать творения этого замечательного мастера слова и наслаждаться ими.

[1] См., например, «Chinese Literature», 1978, № 11, p. 3.

Заметки на полях

МОЖЕТ ЛИ СВОБОДА БЫТЬ БЕЗОТВЕТСТВЕННОЙ?

На первый взгляд заголовок статьи «Наша слишком робкая пресса», в которой речь идет об американской журналистике, рассчитан на то, чтобы привлечь внимание содержащимся в нем явным противоречием. Это американская-то пресса слишком робкая? Такому представлению никак не соответствуют бесцеремонные американские репортеры и назойливые фотографы, да и постоянные утверждения самой американской прессы о ее якобы противоборстве с правительством.

Тома Уикера, автора статьи, опубликованной под таким заголовком в еженедельнике «Сатердей ревью», тоже никак не отнесешь к журналистам робкого десятка. Его карьера в самой престижной американской газете «Нью-Йорк таймс» началась с того, что в день убийства президента Кеннеди он оказался единственным репортером этой газеты в Далласе. Уикер не растерялся и немедленно отправил в редакцию огромный репортаж на целую газетную полосу. За 15 лет работы в «Нью-Йорк таймс» он был корреспондентом в Вашингтоне, заведующим вашингтонским бюро, заместителем редактора и вот уже длительное время является, наряду с Джеймсом Рестоном, ведущим политическим обозревателем газеты.

Статья Уикера— своеобразное философское эссе на тему о свободе и ответственности, о том, как эти понятия соотносятся (или должны соотноситься) применительно к средствам массовой информации. Том Уикер начинает с утверждения, что «в первой поправке к Конституции США ничего не говорится об «ответственности». Исходя из этой посылки, он делает следующие выводы:

> «Нужно выступить за определенную терпимость к безответственности. Я имею в виду, что, если мы хотим, чтобы американская пресса оставалась свободной — даже в том ограниченном смысле, который неизбежно вытекает из конфликта между свободой печати и другими свободами, в равной степени гарантированными Конституцией и Биллем о правах,— ей нельзя навязывать ответственность путем законодательства, юридической интерпретации или любым иным способом.
>
> Понятие свободы содержит в себе возможность безответственности. Ни один человек и ни одна организация не могут считать себя подлинно свободными, если им не позволено время от времени быть безответственными. Ясно, что ответственность чрезвычайно важна и что, возможно, высочайшая свобода — это свобода жить и работать ответственно, но только тогда, когда каждый сам себе устанавливает стандарты ответственности».

Таким образом, Уикер с самого начала выступает как еще один адвокат «абсолютной свободы и независимости» буржуазной прессы. И, как и множество адвокатов «абсолютных свобод» до него, он (сознательно или бессознательно) совершенно не учитывает характера социальных отношений при капитализме, всех унизительных ограничений свободы творчества, вытекающих из системы частной собственности (в том числе и в газетно-издательском деле). Еще в 1905 году, обращаясь к таким, как Уикер, буржуазным индивидуалистам, В. И. Ленин писал:

«...Ваши речи об абсолютной свободе одно лицемерие. В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть «свободы» реальной и действительной... Ведь эта абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза (ибо, как миросозерцание, анархизм есть вывернутая наизнанку буржуазность). Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания»[1].

В социалистическом обществе — и мы это открыто признаем — нет фатального противоречия между понятиями «свобода» и «ответственность». Согласно классической формулировке, «свобода есть осознанная необходимость» и, в частности, осознанная ответственность. Причем ответственность, определяемая не только личными представлениями о морали и нравственности, но также нуждами и потребностями общества, превалирующими в нем этическими и правовыми нормами.

Уикер утверждает, что в американской журналистике «каждый сам себе устанавливает стандарты ответственности». Но это либо непонимание, либо нежелание понять, что в любом буржуазном обществе — американское не исключение — пресса действует не в вакууме, а в определенной социальной окружающей среде, диктующей свои законы и нормы поведения. Если говорить конкретно о самом Томе Уикере, то ему стандарты ответственности (в творческой журналистской деятельности по крайней мере) устанавливают владельцы «Нью-Йорк таймс». И он будет оставаться обозревателем этой газеты, одним из самых высокооплачиваемых журналистов в Америке до тех пор, пока его статьи и комментарии будут устраивать (с политической и философской точек зрения) Артура Окса Сульцбергера. Расхождения возможны в оценках по непринципиальным вопросам, но если Уикер начнет проводить линию, радикально отличающуюся от фундаментальных взглядов работодателя (например, ставить под сомнение добродетели системы частного предпринимательства), он долго на своем посту не задержится.

В двух строчках первой поправки к Конституции США, имеющих отношение к журналистике, действительно ничего не говорится об ответственности печати. Что, как видим, дает возможность трактовать эту поправку как допускающую «определенную терпимость к безответственности». Интерпретация, довольно широко распространенная в американской буржуазной журналистике и вообще в жизни американского общества.

Каково, однако, мерило «определенной терпимости» к безответственности? Находятся ли, например, в рамках «допустимой» безответственности следующие случаи из практики буржуазной прессы?

...Бывший режиссер молодежной танцевальной программы «Клэй Коул» нью-йоркской телестанции WPIX—TV показал на слушаниях Федеральной комиссии связи, что при подготовке передачи применялась специальная техника редактирования для того, чтобы на экране мелькало меньше черных, чем их на самом деле было в зале. Он также сообщил, что «когда этого нельзя было достичь путем редактирования, в передачу вставлялись ранее записанные видеопленки, на которых была изображена преимущественно белая аудитория».

...Гарри Карафин, ведущий репортер крупной газеты «Филадельфия инкуайрер», проработавший в ней около 30 лет, в течение длительного времени собирал компрометирующую информацию об «отцах города» и затем предъявлял им эти сведения, обещая не разглашать их за соответствующие вознаграждения и услуги. В результате читатели газеты оставались в неведении о многих темных делишках в городе.

Можно указать на множество явлений в американской прессе, которые, по нашим представлениям, чисто относятся к категории неэтичных и безответственных. Например, тесное «сотрудничество» многих американских журналистов, в том числе и ведущих, с ЦРУ и другими секретными службами. Или так называемые «фрибис», когда дирекции театров, концертных и спортивных залов щедро рассылают в редакцию лучшие билеты на спектакли, представления и соревнования в надежде — далеко не тщетной — получить бесплатную рекламу в виде благоприятных откликов прессы. К той же тактике прибегают авиалинии, продовольственные, туристические, гостиничные и другие компании, организуя для журналистов бесплатные увеселительные уик-энды где-нибудь на Гавайских островах или «дегустационные турне» по западноевропейским столицам. Несомненно, безответственно и неэтично использование в прессе сомнительных анонимных «источников», предвзятое освещение событий при помощи искусственного подбора только негативной информации, ведение расистской пропаганды и пропаганды милитаризма, распространение растлевающих порнографических материалов и т. д.

Впрочем, почему все это «несомненно» неэтично и безответственно? Это мы так считаем, а американские журналисты, может быть, с нами отнюдь не согласны. «Торжеством свободы слова» назвала, например, «Нью-Йорк таймс» разрешение американским фашистским организациям открыто проводить свои сборища (хотя формально газета и предпочла отмежеваться от наследников фюрера).

Конечно, нелегко, даже внутри американской системы, дать всех устраивающие определения таких понятий, как «этика», «справедливость», «ответственность». Можно,

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., изд. пятое., том 12, стр. 103.

например, понимать этику как тот торговец, о котором писал журнал «Католик дайджест».

«Этика жизненно важна для преуспевающего бизнесмена,— поучал он своего сына.— Например, постоянный покупатель заплатил мне сегодня по счету стодолларовой бумажкой. Позднее я обнаружил, что он дал мне две стодолларовые купюры, которые слиплись. И сразу возникает этическая проблема: должен ли я сообщить об этом своему компаньону?»

И все-таки проблема заключается не в том, что нет разработанных норм этического и ответственного курса действий для средств массовой информации — их создано очень много. Не говоря уже об общечеловеческом опыте и традициях, о библейских заповедях и капитальных теоретических трудах, в США разработано множество этических кодексов и «канонов» журналистики — как отдельными изданиями, так и многочисленными объединениями и ассоциациями. Проблема заключается в другом: создав множество этических кодексов, американские издатели, редакторы и журналисты напрочь отказываются им следовать.

В американском телевизионном этическом кодексе, например, есть такие параграфы:

«4. Расовые или национальные особенности не должны показываться по телевидению в такой манере, которая представляла бы расу или национальность в нелепом виде.

22. Викторины и другие аналогичные программы, участники которых соревнуются в знаниях, искусстве или удаче, должны быть подлинными соревнованиями, и их результаты не должны зависеть от договоренности авторов программы с участниками или договоренности между самими участниками или любого другого действия, которое поставило бы одного участника в предпочтительное положение по отношению к другому.

30. Операторы должны избегать таких ракурсов выступающих перед камерами людей, которые подчеркивали бы их анатомические недостатки».

Любой зритель американского телевидения без труда укажет на явные нарушения всех этих положений в ежедневных программах общенациональных телесетей и городских телевизионных станций.

Такое же положение сложилось и в печати. Наиболее полные этические кодексы для работников прессы разработаны Американским обществом редакторов газет и Общенациональным обществом профессиональных журналистов «Сигма Дельта Кай». Вот несколько выдержек из этих кодексов:

«Основная функция газет заключается в том, чтобы сообщать человеческому роду, что его представители делают, чувствуют и думают... Тот факт, что газета привлекает внимание общества, которому она стремится служить, определяет ее чувство ответственности, которое она разделяет со всеми сотрудниками редакции. Журналист, который использует свою власть в любых эгоистических или иных недостойных целях, не заслуживает высокого доверия... Газета не должна вторгаться в частную жизнь граждан и должна проводить четкую грань между обывательским любопытством и правом общественности быть осведомленной.

...Подарки, услуги, бесплатные путешествия, особое обращение или привилегии компрометируют репутацию журналистов и их работодателей. Нельзя принимать подарков, представляющих хоть какую-нибудь ценность.

...Нет оправдания ошибкам, неточностям или недостаточно полному освещению вопроса.

...Фотографии и телепрограммы должны давать точную картину событий и не должны выхватывать из контекста мелкий эпизод.

Предвзятость в редакционных комментариях, сознательно искажающая правду, противоречит духу американской журналистики».

Даже беглый взгляд на практику американских средств массовой информации показывает грубейшие нарушения всех вышеприведенных положений, глубокую пропасть между звонкими декларациями принципов и повседневной работой американских журналистов. На память тут же приходят классические примеры циничной предвзятости бывших «лордов прессы»:

приказ Уильяма Рэндольфа Херста всем редакторам принадлежащих ему газет никогда не упоминать имени Мэй Уэст — голливудской соперницы любовницы Херста;

приказ Роберта Маккормика, владельца «Чикаго трибюн» и других изданий, известного своими антибританскими взглядами, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах в его газетах не появлялись материалы, показывающие Великобританию в положительном свете,— и наоборот, чтобы появлялось как можно больше статей и репортажей, культивирующих антибританские настроения;

и, наконец, предельно откровенное заявление бывшего владельца «Уолл-стрит джорнэл» Уильяма Питера Гамильтона:

«Газета является частным предприятием, которое ничего не должно общественности. Общественность не предоставляет газете никаких привилегий, поэтому

газета не должна связывать себя никакими соображениями общественного интереса. Необходимо вновь подчеркнуть, что газета — это собственность владельца, который продает готовый продукт на свой страх и риск».

В наш «утонченный» век уже не встретишь столь прямого выражения истинных намерений. Однако характер нарушений этических кодексов и стандартов ответственности от этого не меняется. Так, когда газеты «Нью-Йорк таймс» и «Балтимор сан» опубликовали в середине прошлого года идентичные клеветнические материалы своих московских корреспондентов о программе «Время» Гостелерадио СССР и затем, после доказательства несостоятельности их репортажей, отказались опубликовать опровержения, они «чисто» нарушили по крайней мере три положения этических «канонов журналистики» Американского общества редакторов газет:

...«Сообщения сведений из так называемых «частных источников» должно быть раз и навсегда прекращено, если эти сведения не подтверждаются как по существу, так и по форме надежными и достойными доверия источниками.

... Отсутствие правдивости не может быть оправдано небрежностью или недоброкачественностью контроля.

... Газета должна давать быстрые и исчерпывающие опровержения во всех тех случаях, когда она допускает ошибку, каков бы ни был источник этой ошибки».

Том Уикер выступает против этических кодексов, против Национального совета новостей, против более строгих законов о клевете и вторжении в частную жизнь, против фактически любых норм, разумно регулирующих деятельность прессы в интересах общества (а служение обществу — декларированная цель почти всех американских изданий). Он считает, что ответственное поведение средств массовой информации достигается другим:

«Учет многочисленных факторов при принятии редакционных решений является лучшей гарантией против безответственности и дезинформации. Не обязательно все редакторы принимают одинаковые решения на основе одного и того же набора фактов: материал, поданный в «Нью-Йорк таймс» на первой полосе, может быть помещен глубоко внутрь «Вашингтон пост»; цитата, приведенная в одном репортаже, может не появиться в другом; различные интерпретации одного и того же события могут появиться в двух газетах — и в огромном множестве других... Это разнообразие не только предохраняет от возможности того, что какое-либо событие будет скрыто или, наоборот, выпячено, но также обеспечивает определенную гарантию того, что различные точки зрения на одно и то же событие станут известны общественности».

Что ж, аргументы о «плюрализме» средств массовой информации, о «свободном рынке идей и мнений» не новы. Они не были убедительны и ранее, в период «свободного предпринимательства»,— просто в силу классового и имущественного неравенства, а значит, и неравных возможностей распространять идеи и мнения. Но эти аргументы никогда не были столь несостоятельны, как в наше время, в период резкой концентрации и монополизации всех каналов журналистики.

Сейчас в Соединенных Штатах попросту нет «огромного множества» общенациональных каналов информации. На мой взгляд, существует не более десятка таких каналов: два агентства (Ассошиэйтед пресс и Юнайтед пресс интернэшнл), три телевизионные сети (Си-би-эс, Эн-би-си, Эй-би-си), два информационных еженедельника («Тайм» и «Ньюсуик») и три ежедневные газеты («Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост» и «Лос-Анджелес таймс», информационные службы которых распространяют свои основные материалы по всей стране). Но и внутри этой «могучей десятки» интерпретация и подача событий не слишком уж разнятся друг от друга. Случается, конечно, как пишет Уикер, что материал, опубликованный на первой полосе «Нью-Йорк таймс», будет помещен на внутренних страницах «Вашингтон пост». Однако такое вероятнее всего произойдет с каким-то второстепенным материалом. Если дежурный по номеру редактор «Вашингтон пост» поставит важный (по американским меркам, разумеется) материал на внутреннюю полосу, у него будут крупные неприятности на следующее утро (от владелицы газеты Катарин Грэхем или главного редактора Бенджамина Бредли).

То же самое можно сказать и о телевидении. Автор этих строк в течение многих месяцев изучал в Нью-Йорке вечерние выпуски новостей по всем трем телесетям. Изредка бывало так, что одна телесеть опережала другие в оперативности, но в целом как по подбору информационных сюжетов, так и по характеру комментариев все телесети демонстрировали удивительную стандартизацию.

Так что не «плюрализм» и «свободный рынок идей и мнений» характерны для наиболее могущественных каналов информации, а униформность отбора и интерпретации. И если, как пишет Уикер, «цитата, приведенная в одном репортаже, может не появиться в другом» (что справедливо), то в общем идеологическом подходе к событиям и явлениям все они демонстрируют все возрастающий конформизм.

Огромная масса других изданий воздействует на ограниченную региональную или

специализированную аудиторию и не оказывает существенного влияния на формирование сознания и общественного мнения в масштабе всей страны. И они также в значительной степени монополизированы.

Ситуация в газетном мире США очень показательна. Сегодня почти во всех городах страны осталось только по одной ежедневной газете или, в лучшем случае, комбинация утренней и вечерней газет, принадлежащих одному владельцу. Часто такой владелец находится за тысячи километров, и ему также принадлежат газеты во многих других городах страны. Вот что пишет профессор журналистики Джон Халтенг:

> «Когда 20 лет назад я приехал работать в Орегон, только одна ежедневная газета в штате принадлежала владельцу, находящемуся за пределами Орегона. Теперь (в 1976 году.— А. Б.) 53 процента ежедневных газет штата являются собственностью групп, базирующихся за пределами Орегона, а все остальные газеты, кроме двух, принадлежат группам, образовавшимся внутри самого штата».

Менее чем в трех процентах американских городов еще сохраняется прямая конкуренция между двумя владельцами газет (об «огромном множестве» говорить не приходится). Все попытки возродить конкуренцию и начать издание новых газет с достаточно большим тиражом оказывались убийственно дорогостоящими, приносящими ежегодно многомиллионные убытки, и почти все неизменно заканчивались провалом (не говоря уже о том, что такие попытки предпринимались лишь очень богатыми людьми или крупными корпорациями).

Кроме того, и содержание единственной газеты в американском городе в значительной мере состоит из материалов той самой «могучей десятки» и небольшого числа пресс-синдикатов (материалы самих читателей — то есть широкое демократическое участие граждан в издании печатного органа — практически отсутствуют в американской журналистике). Не только информация, но и комментарии, и даже передовые редакционные статьи поступают на газетные полосы всей страны с конвейеров мощных коммуникационных центров, которые известный писатель и журналист Теодор Уайт называет «мафией создателей общественного мнения, расположившейся в Нью-Йорке в радиусе одной мили, если считать от угла Пятой авеню и 51-й улицы».

В 1973 году в США было проведено исследование ежедневных газет Новой Англии — одного из высокоразвитых в коммуникационном отношении районов. Руководитель этого исследования Лорен Гиглионе так писал о «законсервированных» передовицах:

> «Если редакционная страница — душа газеты, то большое количество ежедневных газет Новой Англии находится под угрозой отправиться прямо в ад. По меньшей мере треть газет этого региона время от времени — или почти ежедневно — публикует передовые статьи, купленные у одного из пяти синдикатов, расположенных за пределами Новой Англии».

Отметив, что «законсервированные» передовицы публикуются в газетах как якобы выражающие мнения местных редакторов, Гиглионе продолжает:

> «Синдикаты поставляют передовицы сотням газет по всей стране. В этих пресных кусках обсуждаются аполитичные темы, и в них редко выражается позиция по какому-либо более острому вопросу, чем материнство (мы — за материнство!) или инфаркт (мы — против инфаркта!)».

И здесь мы возвращаемся к той проблеме, которую Том Уикер вынес в заголовок своей статьи. Потому что мелкотравчатость критики и тривиальность информации гораздо более характерны для современной американской прессы, чем широко разрекламированные «противоборствующие отношения» печати и правительства.

> «Глубокое убеждение, которое я вынес из моей жизни в журналистике — около 30 лет опыта — от «Сэндхилл ситизен» до «Нью-Йорк таймс»,— пишет в конце своей статьи Уикер,— заключается в том, что американская пресса, несомненно могущественная и защищенная Конституцией и законами, часто не является «строптивой и неукротимой», а, наоборот, обычно бывает робкой и озабоченной — как респектабельностью, так и в значительной мере прибыльностью. Те, кто судит о прессе по расследованиям (уотергейтского дела) Вудуорта и Бернстина или по публикации документов Пентагона, обычно не понимают, что эти примеры журналистских усилий являются редкими исключениями из давно установившейся практики».

Уикер далее справедливо добавляет, что особенно робко американская пресса ведет себя при «освещении деятельности бизнеса и финансовых учреждений».

Эта робость, эта озабоченность респектабельностью и прибыльностью определяются всей логикой капиталистических отношений, коммерческим развитием средств массовой информации США. Ведущие издательские и телевизионные корпорации сами превра-

лись в многомиллиардный бизнес. «Радиус в одну милю» от перекрестка Пятой авеню и 51-й улицы, по мнению Теодора Уайта, контролирует «95 процентов общественного мнения в США». Пресса сама стала частью «истэблишмента», определяющего политическую, экономическую и социальную жизнь страны. Среди 12 наиболее влиятельных американцев журнал «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт» называет, наряду с президентом страны, трех представителей индустрии массовой информации: Артура Сульцбергера, Катарин Грэхем и Уолтера Кронкайта. Управляющие крупнейшими корпорациями и банками, бывшие и будущие политические лидеры входят в советы директоров коммуникационных монополий. Политики нуждаются в поддержке прессы не меньше, чем пресса нуждается в доверии политиков, ибо близость к вашингтонским «коридорам власти» определяет курс акций на журналистской бирже Америки.

«Большинство ведущих вашингтонских корреспондентов,— отмечает профессор Джон Халтенг,— имеет множество знакомств среди руководителей и сотрудников всех департаментов правительства. Принадлежность к избранному кругу тех, кто «вхож», кто встречается раз в неделю с этим членом кабинета за обедом или с тем лидером конгресса за интимным ужином, определяет статус в вашингтонском пресс-корпусе. Во время таких обедов и ужинов политики кормят репортеров лакомыми кусками информации, и репортеры подхватывают эти деликатесы, которыми они начиняют свои репортажи «из авторитетных источников, близких к...». Это производит впечатление на публику и на боссов корреспондентов. В свою очередь политики получают возможность запускать пробные шары, вонзать анонимные ножи в спины оппонентов или предупреждать возможные неприятности».

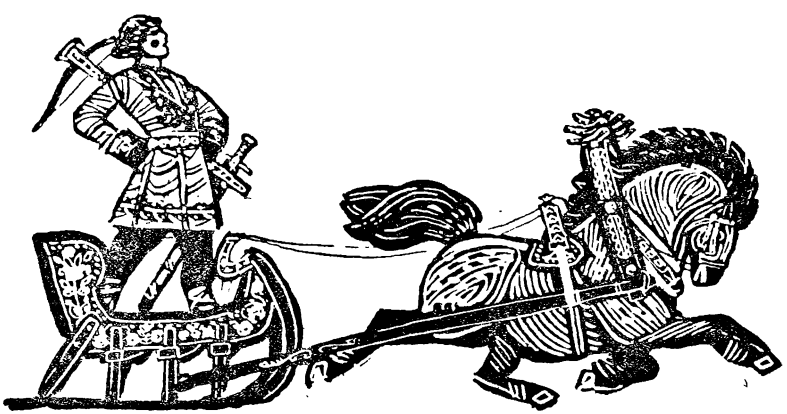
Такой альянс журналистской элиты, финансовой олигархии и политического руководства в условиях все возрастающего воздействия коммуникаций на все стороны жизни можно назвать «медиакратией», которая приходит на смену аристократии прошлого и технократии «постиндустриального» общества.

Уикер призывает бороться с «медиакратией». Он видит «губительную угрозу свободе печати» в самой американской прессе, ее «стремлении занять достойное место в установившемся политическом и экономическом порядке». В этом можно согласиться с Уикером. Однако не означает ли это необходимости бороться и с самим Томом Уикером, обозревателем «Нью-Йорк таймс», уже занявшим достойное место в буржуазном политическом и экономическом порядке? Ведь и он, в числе других, выполняет — идеологическими средствами — охранительные функции этого порядка.

Бороться с «медиакратией» действительно необходимо. Но для этого нужны более радикальные средства, нежели призывы к абстрактной свободе печати.

АЛЕКСЕЙ БУРМИСТЕНКО

◆



МИХАЛ БЫЛИНА. Польша.
Иллюстрация к финскому эпосу «Калевала»

Публицистика

ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ, ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ

Л. ДЕЛЮСИН

«ТЕАТР ТЕНЕЙ» И РЕАЛИИ МАОИЗМА

По страницам одного свидетельства

В годы «культурной революции» и после нее на Западе появилось немало статей и книг, в которых делались попытки оправдать эту кампанию. Немало ученых и публицистов, завороженных звонкими маоистскими лозунгами, ослепленных блеском знамен и плакатов, оглушенных барабанным боем маоистских шествий и демонстраций, старались найти смысл в бессмыслице, усмотреть добрые намерения в диких, варварских действиях, отыскать рациональное зерно в безумии и иррационализме. Одни из этих сознательных или бессознательных адвокатов писали о событиях в Китае, ни разу не побывав в этой стране; другие, кому удалось проехаться туристами по Китаю, смотрели на окружающую жизнь сквозь розовые очки, простодушно или лицемерно доверялись официальной пропаганде. И, как говорит китайская пословица, «любовались цветами, не сходя с лошади». Положительных оценок событий, происходивших в Китае во второй половине 60-х годов, явно прибавилось после поездки Никсона в Пекин и улучшения американо-китайских отношений, когда количество американских и западноевропейских туристов в КНР заметно возросло. Побывавшие в Китае туристы и журналисты, как правило, или восторженно отзывались о виденном и слышанном, или же, хотя и в сдержанных тонах, положительно судили о «новых явлениях», порожденных «культурной революцией». Пишущие восхищались тем, что наконец-то, дескать, в Китае нашлось средство ликвидации бюрократии, борьбы с коррупцией, что благодаря митингам и демонстрациям массы активно влияют на политику, что китайская молодежь, при всех крайностях ее поведения, обрела право на свободное самовыражение. В книгах о Китае можно было встретить суждения о том, что Мао Цзэ-дун оздоровил китайское общество и внедрил «большую демократию», расправившись с теми сторонниками «советской модели развития», которые установили бюрократические порядки. По мнению этих наблюдателей, Мао, начиная свою кампанию разгрома оппозиции, преследовал якобы цель «восстановить славные традиции прошлого». К числу таких авторов, которые пытаются на основании официальной информации судить о процессах, протекающих в Китае, относится, к примеру, Р. Пфеффер, узревший в «культурной революции» возврат к былым «революционным традициям», в результате чего якобы повысилась роль масс, которые «перестали быть пешкой в руках элиты», а стали осуществлять «общественный контроль» над бюрократией. По мнению этого американского политолога, «институты, вызванные к жизни культурной революцией, сыграли положительную роль в усилении активности масс и общественного контроля». Высоко оценивал Р. Пфеффер и маоистские эксперименты в системе образования, которые якобы покончили с насаждавшейся Лю Шао-ци и его сторонниками узкой специализацией, академизмом и «элитизмом». Типичным примером облагораживания Мао Цзэ-дуна и затеянной им «культурной революции» является статья его итальянской поклонницы Р. Россанды. Эта представительница «левых коммунистов» до небес пре-

возносила «культурную революцию», усматривая в ней воплощение марксистских идей о социализме как всеобъемлющем перевороте. По ее мнению, Мао Цзэ-дун восстановил связь между партией и массами, сумел осуществить «введение элементов коммунизма до коммунистической фазы».

О том, что Мао Цзэ-дун в ходе «культурной революции» был намерен «сохранить дух китайской революции, не дать остановиться ей на полпути, установить определенный контроль над партией, преобразовать умы китайцев, внушив им идеал «нового Китая», и утвердить принципы эгалитарного социализма», писал канадский ученый Р. Уайли в книге «Китай после культурной революции». Основываясь главным образом на официальных документах и выступлениях китайских лидеров, некоторые западные синологи и политологи утверждают, что «культурная революция» способствовала росту политического веса рабочего класса Китая, «позволила молодежи выработать гораздо более зрелый взгляд на общество и на свою роль в нем».

На фоне такого рода литературы книга бельгийского синолога Пьера Рикманса, выступившего некоторое время тому назад под псевдонимом Симона Лейса, сразу же привлекла к себе внимание своим критическим подходом к китайской действительности. Во французской и американской печати ее называли правдивым повествованием о современном Китае, книгой, срывающей с «культурной революции» мистический покров, которым ее украшала официальная китайская пропаганда и слепо вторящие ей западные журналисты. После выхода в свет во Франции книга была переведена на английский язык и издана в США и Канаде.

В книге «Китайские тени» автор воспроизводит впечатления от поездок по Китаю во время своего шестимесячного пребывания в этой стране в 1972 г. Объясняя, почему он так назвал свою книгу, Лейс пишет, что не претендует на свой вариант точного портрета — к нарисованному другими он добавляет лишь тени, без которых портрет выглядит неживым, а потому и искажающим правду. Приводя китайское изречение, гласящее, что «даже самый мудрый может сделать одну глупость, как и самый глупый может совершить одну мудрость», автор иронически называет свой труд «скромным дополнением глупца к наблюдениям мудрецов».

Написать правдивую книгу о Китае — дело исключительно трудное, замечает Симон Лейс. «Я утверждаю, что в тех условиях, в которых сегодня в Китайской Народной Республике живут постоянно или временно иностранцы, написать что-либо, кроме поверхностных пустяков, невозможно. Те же, кто полагает, что сможет написать что-нибудь серьезное, когда передает свои впечатления о Китае, или те, кто, претендуя на ознакомление с китайской действительностью, на самом деле описывают спектакль на сцене китайского театра теней, поставленный для них маоистскими властями, либо обманывают читателя, либо, что еще хуже, обманывают самих себя».

В отличие от тех, кто пишет о Китае, не сознавая размеров собственной неосведомленности, автор вполне отдает себе отчет в ограниченности своих представлений и знаний о китайской жизни. «Если я сумею помочь читателю понять, в какой степени мы не знаем Китая, я совершу огромный подвиг»,— пишет он в предисловии к американскому изданию «Китайских теней».

Критикуя книги и статьи, написанные теми, кто побывал в Китае в составе делегаций или туристских групп, Симон Лейс подчеркивает их однообразие, стандартный характер. Чаще всего они представляют собой некритический пересказ официальной информации, получаемой из уст китайских чиновников. «Перечитав все, что пишут о Китае,— замечает С. Лейс,— любой новичок может, не отходя от своего письменного стола, сочинить живой, яркий и убедительный репортаж о Китае: ведь, поехав в Китай, он увидит все то, что до него повидали другие... Он совершит те же самые поездки с теми же гидами, будет ночевать в тех же отелях, посещать те же учреждения, встречаться с теми же людьми, которые будут рассказывать ему те же самые вещи».

Маоистские власти лишают иностранцев возможности познакомиться с реальными условиями китайской жизни. Кто бы ни оказался в Китае, он сможет соприкоснуться лишь с тем абстрактным, далеким от реальности миром, который маоистские бюрократы соорудили специально для иностранных гостей. Во время поездок по Китаю все заранее спланировано, превосходно организовано, а неожиданные и случайные встречи полностью исключены. Дни обычно заполнены до отказа, жизнь во время таких поездок автор называет «принудительным трудом в условиях политического туризма». Из многочисленных городов страны иностранцам доступны лишь немногие, а о деревнях и говорить не приходится. Огромная китайская земля сплющена до размеров булавочной головки.

С. Лейс справедливо отмечает, что, провозглашая лозунг «за дружбу между народами», маоисты начисто исключают малейшую возможность личных дружеских контактов иностранцев с китайцами. Единственные китайцы, с кем можно разговаривать, не рискуя навлечь неприятности на себя и на них,— обслуживающий персонал, бюрократы, гиды и переводчики, а также так называемые «профессиональные друзья».

Автор зло издевается над зарубежными поклонниками Мао Цзэ-дуна, которые, не зная ни китайского языка, ни истории и культуры Китая, ни современного положения страны, повторяют азы маоистской пропаганды. «У них,— замечает С. Лейс,— от-

сутствует подлинный интерес к конкретной реальности, именуемой Китаем. Я знаю таких авторов, которые в течение двадцати лет регулярно посещали Китай и никогда ни разу не ездили на автобусе, ни разу не попробовали съесть миску лапши на уличных лотках, разделить ужин, проведя неформальный вечер в дружеской семье. Зачем им ездить в автобусе, когда в их распоряжении всегда правительственные машины? Зачем рисковать посещением «туземной» харчевни, когда можно насладиться прекрасным банкетом, оплаченным государством? Зачем разделять интимную трапезу в кругу семьи, когда встречаешься с «профессиональными друзьями», доставленными правительством?»

По наблюдениям автора, эти зарубежные почитатели маоизма, не зная ни географии, ни истории Китая, не имея ни малейшего представления о жизни китайцев — рабочих и крестьян, без тени смущения послушно повторяют все то, чем их пичкают хозяева-маоисты, которые хорошо платят за такое послушание. Они не задумываются над вопросами о том, почему Чэнь Бо-да, личный секретарь Мао Цзэ-дуна, оказался «мошенником», а Линь Бяо, ближайший соратник Мао,— «заговорщиком и убийцей». Иногда, саркастически замечает автор, эти апологеты маоизма не вовремя соображают, что ветер переменился, и попадают впросак, повторяя те лозунги, которые уже отвергнуты Пекином, но это их не смущает, они быстро перестраиваются.

Рассказывая о своих встречах и беседах с так называемыми «индивидуальными друзьями» Китая и главами делегаций «коллективной дружбы», автор убедительно показывает, что большинство из них легко поддаются манипуляциям, проделываемым над ними маоистскими бюрократами.

На конкретных примерах С. Лейс убедительно показывает, что в современном Китае иностранец может увидеть и услышать лишь то, что ему демонстрируют, и то, что ему рассказывают,— не более того, особенно если он сам не владеет китайским языком. Вышколенные, натренированные гиды, не способные ответить на вопросы, не предусмотренные бюрократами-дрессировщиками; не смущаются тем, что над их ответами смеются. Главное для них — не отойти от предписанных шаблонов.

Автор не осуждает китайцев за их скрытность, нежелание разговаривать с иностранцами. «Кто может упрекнуть их за это? — спрашивает он и отвечает: — Их осторожность понятна: иметь дома роман Диккенса или пластинку Бетховена достаточно, чтобы быть обвиненным в контактах с космополитами-реакционерами».

Справедливость умозаключений С. Лейса подтверждает сегодня китайская печать. 23 июня 1978 года в статье, опубликованной в «Жэньминь жибао», сообщалось о том, что один работник Всекитайского комитета по делам спорта был объявлен иностранным агентом за то, что в письме своей сестре, живущей за границей, он писал с восторгом о том, что в новом Китае производят автомашины и реактивные самолеты. Это письмо во время «культурной революции» послужило свидетельством «передачи врагу важной военной и экономической информации».

Заглядывая в будущее, автор не предвидит серьезных изменений в характере обращения с иностранцами: при сложившейся в Китае системе, возглавляемой военно-бюрократическим классом, период напряженности может смениться этапом ее ослабления, но в целом сущность останется неизменной.

Меткие наблюдения автора приводят читателя к заключению, что в маоистской Поднебесной отличительной стороной поведения людей — от забитых гидов до высших чинов бюрократии — является трусость. Страх — двигатель винтиков административного аппарата. В ходе кампании против «группы четырех», которая, начавшись в октябре 1976 года, продолжается и по сей день, вопрос о трусости кадровых работников — одна из постоянных тем китайской печати. Активисты «культурной революции» боятся разоблачения со стороны масс, а массы боятся разоблачать чиновников, еще не снятых со своих постов. Официальные призывы сверху «быть смелыми», «не бояться критиковать кадровых работников» воспринимаются далеко не всеми. «Культурная революция» и кампании, проводившиеся вплоть до смерти Мао Цзэ-дуна, посеяли в китайском обществе семена страха, породили глубокое недоверие к лозунгам и призывам сверху.

Сегодня в китайских газетах можно прочесть о том, что во время «культурной революции» во многих министерствах и учреждениях КНР были созданы свои тюрьмы, где людей пытали и доводили до смерти за несогласие со стоящими у власти подручными Мао Цзэ-дуна в лице «четверки». Так, по свидетельству «Жэньминь жибао» (24 мая 1978 года), в министерстве машиностроения КНР «фактически была установлена фашистская диктатура». Работников этого министерства, возлагавших венки в память Чжоу Энь-лая к монументу павших героев на площади Тяньаньмынь в апреле 1976 года, самоуправно арестовывали, беззаконно осуждали, бросали в местную тюрьму, пытали. Газета пишет, что «одни из рядовых кадровых работников, подвергшись нападкам, не выдержав пыток, сошли с ума, другие, которым переломали ноги, стали калеками, третьи простились с жизнью». В научно-исследовательском институте ученого забили до смерти за то, что он, выполняя указания премьера Чжоу Энь-лая, выступал против вмешательства Линь Бяо и «четверки» в дела института. «Жэньминь жибао» отмечает, что даже спустя два с лишним месяца после ареста «группы четырех» «некоторые товарищи» по-прежнему сидели в тюрьме. Говоря о страхе, во власти которого пребывали работники этого министерства, газета пишет, что они, во-

первых, боялись трудностей, во-вторых, боялись возврата к прежним временам, в-третьих, боялись недоверия со стороны масс.

В июле 1978 года на конференции, обсуждавшей вопрос о восстановлении деятельности Ассоциации литературы и искусства, распущенной и разгромленной во время «культурной революции», приводились примеры того, как под предлогом расправы с «контрреволюционерами» осуществлялось избиение писателей, артистов, художников.

«Многие писатели и деятели искусства,— говорил министр культуры Хуан Чжэнь,— из-за действий «четверки» страдают от болезней, превратились в калек-инвалидов, а иные даже расстались с жизнью».

В общем, было откуда взяться страху, который обнаружил в Китае бельгийский синолог. Не случайно маоистской системой, развязанной маоизмом «культурной революцией» восхищаются те, кто «питает своего рода ностальгию по тоталитаризму и кто бессознательно тоскует об ушедшей в прошлое инквизиции»,— пишет автор.

Усилившийся и раздутый до фантастических размеров во время «культурной революции» культ Мао выглядит особенно нелепым на фоне монотонной и пока еще убогой жизни китайского народа. «Изображения Мао — повсюду, они выполнены в самых разных материалах и во всевозможных размерах»,— пишет С. Лейс, называя культ Мао религиозным.

Рассказывая о своих впечатлениях от Гуанчжоу, автор высмеивает тех, что считает, что в КНР исчезло воровство; в доказательство обратного он приводит беседу с официантом, который поведал ему о том, что случаи воровства и грабежей, убийств и насилий не являются редкостью, но о них строго запрещено рассказывать иностранцам. Автор считает, что склонность определенной части китайской молодежи к насилию, характерный для нее цинизм — неизбежное последствие «культурной революции». И хотя нет статистических данных о самоубийствах или помешательстве среди подростков, автор все время ощущал, что «атмосфера насыщена электричеством». За шесть месяцев пребывания в Китае он видел больше ссор и драк, чем за пять лет жизни в Гонконге.

Психологическое и моральное влияние маоизма на китайское общество С. Лейс называет пагубным. С возмущением говорит он о том невосполнимом ущербе, который причинил традиционной культуре Китая маоистский режим. С этим трудно спорить. Китайская печать пишет сегодня о том, что в течение длительного времени над культурой и искусством страны осуществлялась «фашистская диктатура». «Черная» линия этой диктатуры привела к тому, что китайский читатель был лишен возможности наслаждаться великими творениями таких поэтов, как Ли Бо и Ду Фу, Тао Юань-мин и Бо Цзюй-и. На сцене китайских театров перестали ставить классические спектакли, которые любили смотреть и слушать отнюдь не эстеты, а простые китайские труженики. Их место заняли псевдореволюционные антихудожественные поделки, состряпанные под руководством жены Мао Цзэ-дуна Цзян Цин, которая долгое время безнаказанно изгоняла с китайской сцены классическую драму. Возлагая всю ответственность за это на пресловутую «четверку», которая служит сегодня в Китае козлом отпущения, Хуа Гофэн в докладе на сесии ВСНП в феврале 1978 года говорил, что эта правящая группа «бешено насаждала фашистский деспотизм в культуре и политику запретов» и что ее «бесчинства и произвол, приведшие к обеднению и застою в культурной жизни, вызвали острое недовольство широких народных масс». Сейчас в Китае, критикуя «четверку», прямо говорят о том, что в течение долгого времени ее господства (а она правила страной, опираясь на авторитет Мао) проводилась политика оболванивания, оглупления народа, низведения его до положения пещерных людей или обезьян.

Кроме Пекина и Гуанчжоу, С. Лейс побывал в Тяньцзине, Шанхае, Лояне, Сиане и других городах. И нигде ему не удавалось избавиться от бдительного надзора гидов. В Чанша ему повезло. Отделавшись от сопровождающих, он отправился бродить по улицам города. Ему казалось, что за ним никто не следует, но это, как выяснилось на следующий день, было ошибочным впечатлением. «Нелегко затеряться в Народной Республике»,— замечает автор, рассказывая об этом эпизоде. И все же иногда С. Лейсу выпадала возможность завязать разговор с проводником в поезде, официантом, прислугой в отеле, и это давало шанс хоть на несколько минут подсмотреть сквозь узкую щелку в занавесе, отделяющем зрителя от сцены, реальную жизнь китайцев.

Немало страниц посвящает С. Лейс китайским бюрократам. По его мнению, маоистская бюрократия превзошла все рекорды прошлого. Если в древности социальная иерархия насчитывала всего 10 рангов, то маоистская — 30, и «культурная революция» не внесла в эту систему никаких изменений. Пристрастие маоистских чиновников к титулам, ритуалу, точному соблюдению рангов достигает анекдотических форм. Известно, что маоисты в ходе «культурной революции» создали школы имени Седьмого мая, официальная цель которых состояла в «перевоспитании зараженных бюрократическим стилем кадровых работников». Многие синологи на Западе, простодушно поверив маоистской пропаганде, всерьез писали об этих школах как об эффективном средстве борьбы с бюрократизмом. По мнению Лейса, эти школы стали

«бюрократическими островками в окружающей их сельской среде. Заключенные в этих школах выращивают капусту, выкармливают свиней, это так; но они делают это вместе с другими бюрократами, на школьной земле. Разве у них есть возможность ознакомиться с жизнью крестьян? Конечно нет! Раз или два в неделю к ним приходит кто-нибудь из крестьян и проводит с ними беседу, рассказывает, как председатель Мао и партия неузнаваемо изменили их жизнь».

С. Лейс констатирует сохранение привилегий у бюрократов, оставшихся на своих постах. Если в старом Китае чиновников называли «те, кто ест мясо», то в современном Китае их можно назвать «те, кто ездит в машинах». «В Китае нет обычных машин, есть только машины мандаринов: все мандарины передвигаются в машинах, и только одни мандарины ездят в машинах». А поскольку это так, машина обычно заменяет пропуск. Если вы идете в учреждение пешком, вас остановят; если подъехали в машине — перед вами услужливо распахивают ворота. «В профессиональной бюрократической жизни,— шутит автор,— быть без машины иной раз так же неприлично, как ходить на людях в нижнем белье».

Что касается «культурной революции», то она «лицемерно прикрыла наиболее броские формы классовых различий, не изменяя их сущности»,— пишет Лейс. Бюрократический характер маоистской системы не изменился: процветает непотизм, кумовство, семейственность, примером чему служил сам Мао.

Бюрократическая машина в Китае малоэффективна. Девизом многих работников служат слова: «бездействие — лучший шанс на выживание». Кадры должны все время изворачиваться, чтобы уловить новое направление ветра, быть способными разгадывать казуистику «Жэньминь жибао».

Мрачными красками рисует С. Лейс культурную жизнь современного Китая. По его словам, маоистская политика в области литературы и искусства привела к подлинному истреблению и вымиранию китайской интеллигенции. «Культурная революция» привела к полному застою в культурной жизни страны, и автор книги «Китайские тени» убедительно доказывает это, опираясь как на собственные наблюдения, так и на свидетельства очевидцев. Сегодня его выводы подтверждаются китайской печатью.

С. Лейсу было разрешено посетить университеты. Обобщая свои впечатления от этих визитов, он пишет: «После посещения некоторых китайских университетов мне легче писать о китайском способе набивки чучел, чем о высшем образовании». Туда, куда он хотел пойти, его не пускали, зато заполняли его время бесконечным осмотром пыльных витрин с чучелами животных. Принимавшие его чиновники уклонялись от ответов на его вопросы, поговорить с профессорами и студентами не удавалось, на лекции совсем не допускали. Касаясь реформы в средней школе, он пишет, что многие привлекательные лозунги об улучшении преподавания на деле оказывались всего-навсего пустыми декларациями-однодневками. Вывод С. Лейса: Мао Цзэ-дун со своими политическими догмами поставил серьезные преграды на пути развития в Китае системы среднего и высшего образования. «Здесь снова видно, какой тяжелый груз возложил Мао на плечи нации, насколько парализующим фактором стало его наследие в жизни Китая».

И, наконец, заключение. По сравнению с первым визитом в Китай — это был 1955 год — страна произвела мрачное впечатление, и не только внешним видом. Поразили изменения в психологии и настроениях людей, многие стали жить двойной жизнью — внутренней и внешней,— говорить предпочитали на газетном жаргоне, чтобы обезопасить себя от неприятностей.

Подводя итог увиденному в сфере отношений между кадровыми работниками и массами, между управляющими и управляемыми, С. Лейс указывает, сколь заметны «ножницы» между истинным положением вещей и тем, как искаженно трактуется эта проблема в статьях и книгах, посвященных «культурной революции» и продолжавшим ее дело политическим кампаниям. Многие буржуазные журналисты и ученые, воспринимая на веру маоистскую демагогию, пишут о росте политической активности народных масс Китая, о торжестве «подлинной демократии»: каждый может с помощью «дацзыбао» высказать свое мнение, выступить с критическими замечаниями в адрес руководителей, полагают они. Внимательный анализ статей, публикуемых в китайской прессе, свидетельствует, что такие суждения весьма далеки от реальной действительности. На эту маоистскую демагогию наш автор не поддается. В завершающей книгу главе, суммируя свои впечатления и наблюдения, он приходит к выводу о том, что «лидеры Китая цинично манипулируют народом». Правители Китая злоупотребляют терпением народа, но это терпение имеет свои пределы, ибо «народ похоронил двадцать династий, похоронит и эту»,— пишет он. «Народ не изменился. Как всегда, он терпелив, он не спешит. Он знает намного больше того, что знают те, кто правит им». Недаром бюрократы испытывают страх перед народом, видят в нем потенциального судью и прокурора, поэтому они и стремятся держать народ в слепоте. Однако прозрение неминуемо придет, полагает он.

«Перед лицом свидетелей китайцы обычно говорят о довольстве и счастье, пользуясь терминами, заимствованными прямо из журнала «Китай на стройке». Но, оставшись наедине, они, случается, рассказывают о своих печалях собственными словами». При этом он отнюдь не берется однозначно отвечать на вопрос, счастливы ли китайцы в нынешних условиях: иностранцу невозможно судить об этом, не зря способ-

ность китайцев обретать островки счастья даже в морях самых тяжелых страданий неизменно удивляла иностранных наблюдателей.

Почему же то, что увидел и о чем написал он, не замечали другие? Ответ не слишком сложен, утверждает С. Лейс: «Западные идеологи трактуют сегодня реалии маоистского Китая точно таким же образом, как философы XVIII века — конфуцианский Китай: как миф, как воплощение абстрактного идеала, как утопию, позволяющую им осуждать все плохое на Западе, не утруждая себя самостоятельными размышлениями. Мы погрязли в миазмах индустриальной цивилизации, наши города гниют, наши дороги забиты из-за катастрофического распространения машин и т. д. Поэтому они спешат прославить Народную Республику, где нет загрязнения окружающей среды, преступлений, транспортных проблем. Подобным же образом можно хвалить безногого за то, что его ноги не в грязи».

Правители Китая и те западные идеологи, которые действуют в согласии с пекинской пропагандой, обвиняют всех критиков маоизма в том, что они будто бы выступают против Китая, против китайского народа. С. Лейс резко возражает тем, кто отождествляет маоизм и Мао Цзэ-дуна с Китаем и с китайской нацией. Он напоминает, что в свое время гоминьдановские писаки клеймили Лу Синя, обвиняя его в «ненависти» к Китаю за то, что он смело критиковал существовавшие тогда порядки, но «именно любовь к Китаю может и должна породить критическое отношение к маоизму». С этим заключением автора нельзя не согласиться.

■

ЭКРАН И ВРЕМЯ

А. КАРАГАНОВ

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОГО КИНО?

14 мая 1978 года итальянский журнал «Эспрессо» опубликовал материалы дискуссии Уго Пирро, Дамиано Дамиани, Элио Петри и Франческо Рози с французским кинокритиком Пьером Бийяром, которая была вызвана тем, что незадолго до этого Пьер Бийяр в редактируемом им журнале «Ле Пуэн» выдвинул против ряда режиссеров итальянского кино тяжкое обвинение— соучастие в убийстве Альдо Моро.

Свою обвинительную статью Бийяр начинает с комплиментов неореализму: это было самое реалистическое в мире кино, французы восхищались и завидовали... Но вслед за комплиментами прошлому ставится прокурорский вопрос ведущим режиссерам, развивающим традиции неореализма: чисты ли у них руки в нынешней ситуации ужасного кризиса, который лихорадит Италию в связи с убийством Альдо Моро и другими актами терроризма? В обоснование своего первого вопроса Бийяр ставит второй: что обличают итальянские кинематографисты в своих фильмах? И отвечает: превышение власти со стороны полиции, беспомощность судей, взяточничество именитых граждан и взятки, получаемые партиями, коварные интриги секретных служб, религиозное лицемерие, социальное неравноправие, молчаливое соглашение между власть имущими любого ранга в целях поддержания своего господства... Такого рода обличениями итальянское кино ослабляет доверие к своему государству. А террористические группы? Им кто-нибудь бросил обвинение? В каких фильмах показаны вербовка, подготовка и организация этих фанатичных преступников? Кино обличает только полицию, только власти. Убийц никто и никогда не видел на экране. Они не интересуют итальянских кинематографистов. Получается странная диалектика, продолжает свои обвинения Бийяр. Многие итальянские режиссеры, создающие «обличительные» фильмы, являются социалистами и коммунистами. Почему же они игнорируют существование «красных бригад», на вредоносность которых указывают их партии? Как можно объяснить то, что в настоящее время кинематографисты, о которых идет речь, становятся невольными сообщниками «красных бригад», содействуя уничтожению слабой веры у итальянского народа в эффективность и добропорядочность власти, в общественное устройство страны?

Почти одновременно с появлением статьи Пьера Бийяра депутат парламента от христианских демократов Джузеппе Костаманья предложил председателю палаты депутатов начать расследование, чтобы установить происхождение средств, на которые был поставлен фильм «Тодо модо» Элио Петри (в гротескной форме фильм показы-

вает коррупцию, столкновения карьеристского коварства, взаимную вражду в верхушке одной из буржуазных партий: в фильме содержатся намеки на демохристиан, в одном из действующих лиц довольно отчетливо «читается» Альдо Моро).

Совпадение — по времени — статьи Бийяра и парламентского запроса Костаманьи потрясло итальянских кинематографистов. Журнал «Эспрессо» так сформулировал — «со стороны» — их недоумения и переживания: что́ это начало охоты за ведьмами или, что более вероятно, начало новой главы того драматического процесса, который левые круги вынуждены будут сами себе устроить, чтобы выяснить, «в чем мы ошиблись»?

Вскоре после этого состоялась встреча Пьера Бийяра с «обвиняемыми» — Уго Пирро, Дамиано Дамиани и Элио Петри.

«Статья Пьера Бийяра,— заявил на ней Уго Пирро,— злой выпад против итальянского кино. Наши руки не в крови: мы обличали общество и его господствующие классы, считая это своим долгом».

«Можно поставить вопрос еще проще,— включается в дискуссию Дамиано Дамиани: — Итальянское кино обличало реальные или несуществующие факты? Оно говорило правду? Если оно лгало — судите его, но если оно говорило правду, оно тем самым просто выполняло свой долг».

Более сложно и противоречиво отнесся к выступлению Бийяра режиссер Элио Петри: «Возникновение терроризма, который называет себя левым, вызвало замешательство и у авторов, работающих в кино,.. Против черного терроризма мы выступали, А почему он стал «красным»? И кто они такие, «красные террористы»? Не знаю».

Пользуясь этими вопросами, этим замешательством, Бийяр продолжал свое: «Не проводится анализ ответственности левых кругов... Когда критика общества носит слишком общий характер, систематический и всеобъемлющий, тогда кино тоже является одним из средств дестабилизации. Бывают исторические моменты, когда защита устоев становится более важной, чем их критика».

Наиболее решительную и последовательную позицию в дискуссии занял Франческо Рози, обратившийся к Бийяру с большим письмом. Статью Бийяра он охарактеризовал как выражение «безудержного желания открыть новую «охоту за ведьмами». Рози напоминает, что когда он ставил «Сиятельные трупы», «красные бригады» еще не превратились в ту трагическую реальность, какой стали они в самое последнее время: тогда реальностью была угроза правого переворота в целях подавления демократической оппозиции существующему строю. Обращаясь к текущему моменту, Рози продолжает: «Я не вижу причины, почему сумасшедшие и трагические действия «красных бригад» должны помешать нам в настоящее время и в дальнейшем заниматься всеми теми явлениями, которые и сейчас остаются величайшими бедами нашей страны, в течение долгого времени остававшимися забытыми, скрываемыми, безнаказанными. Или, может быть, Бийяр хочет, чтобы мы их подвели под единый закрытый баланс, с тем чтобы сейчас все мы объединились против терроризма?» Рози клеймит «красные бригады». В их преступных методах он видит угрозу распространения черной опасности будущего, подавления и разрушения тех ценностей свободы и демократии, которые удалось завоевать в борьбе с фашизмом и правыми силами. «Я,— заявляет в заключение Рози,— горжусь тем, что всегда намеренно и упрямо выбирал процесс познания и углубления дискуссии по основным проблемам нашей гражданской жизни, именно в целях защиты этих демократических устоев».

Дискуссия в «Эспрессо» интересна, поучительна не только тем, что в выступлениях Пирро и Дамиани, в письме Рози вполне отчетливо отражаются идеология и психология политического кино левого направления, обозначены основные направления социальной критики буржуазного общества и решимость ее продолжать. Дискуссия интересна, поучительна и нотками растерянности в выступлении Петри, порождающей противоречивость суждений, и рекомендациями журнала левым кругам начать «драматический процесс» с целью выяснения допущенных ошибок... Все эти мотивы и оттенки дискуссионных выступлений, включая откровенно охранительную и демагогическую статью Бийяра, имеют непосредственное отношение к вчерашним и сегодняшним судьбам политического кино на Западе.

Анализируя процессы современного развития капитализма, Л. И. Брежнев говорил на XXV съезде КПСС: «Усилился идейно-политический кризис буржуазного общества. Он поражает институты власти, буржуазные политические партии, расшатывает элементарные нравственные нормы. Коррупция становится все более явной, даже в высших звеньях государственной машины. Продолжается упадок духовной культуры, растет преступность» [1].

Реальность кинематографического процесса такова, что политическое кино, обличая существенные проявления этого кризиса, само несет в себе и на себе его влияния. В условиях господства буржуазной идеологии оно не может занять островного или «хуторского» положения, обособившись от других потоков культуры. Отстояв некоторые свободы и права в борьбе с полицейско-цензурными ограничениями, оно не может освободиться от власти капитала. А это — и постоянно действующая экономическая цензура (по принципу: кто платит за ужин, тот и музыку заказывает), и труднопреодолимые инерции, вторжения, влияния бур-

[1] Л. И. Брежнев. Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики. М., Политиздат, 1976, стр. 34—35.

жуазно-интеллигентского индивидуализма, ограничивающие свободу творчества.

■

Некоторые из современных трудностей политического кино были заложены в нем уже в пору его подъема. Среди десятков и сотен вышедших тогда политических фильмов было несколько произведений, созданных революционно мыслящими художниками, показывающими историю и современность с марксистско-ленинских позиций. Но преобладали фильмы, в которых социальный анализ и критика собственнического общества, его политических институтов ослабляются противоречивостью идейных позиций и эстетических исканий их авторов.

Чтобы конкретнее представить себе сложности развития политического фильма, надо вспомнить, что генетически оно связано не только с советским революционным кино. И не только с неореализмом, оказавшим сильное влияние на поэтику политического фильма в Италии и других странах. Политическое кино так или иначе взаимодействует — не просто соседствует — с самыми разными направлениями современного киноискусства, в том числе и с кинематографом, сосредоточившимся на исследовании морали и психологии одиночества, отчуждения, нравственных деградаций буржуазного человека.

Известно, что уже в годы увядания неореализма на экранах буржуазного Запада появилось немало фильмов, драматически ставивших вопрос, фактически остававшийся «за скобками» искусства неореализма: собственническая среда подавляет человека, делает его несчастным, ну а сам человек — в какой степени виноват в своих несчастьях, насколько он деформирован бесчеловечной жизнью, устранимы ли эти деформации?

В поисках ответа на этот вопрос далеко не все художники критического направления удерживаются на позициях анализирующего реализма. Один за другим выходят фильмы, в которых драмы отчуждения и одиночества трактуются как тотальное поражение человека, хаос в душе художника транспонируется на общество, на весь мир.

Вполне понятно, что искусство, сосредоточенное на такого рода драмах, и только на них, не может стать ни телескопом—для обозрения социальных далей, ни микроскопом — для исследования укрупненных близей. За пределами хаоса, который высвечивает оно сквозь туман абстракций остается много других драм, наполняющих повседневную жизнь человека, в том числе и таких, что впрямую связаны с экономической структурой собственнического общества. Характерно, что практически ни в одном из произведений, показывающих мир как конгломерат окаменевших уродств, даже не упоминаются заработки действующих лиц, реальные проблемы материального неравенства, а вместе с ними выводятся за пределы художнического наблюдения и размышления конкретные проявления репрессивно-охранительной политики властей, дискриминации, ущемления прав человека по расовым, политическим и экономическим причинам.

Киноискусство, отвергающее разочаровывающий мир отчуждения и одиночества с позиций отвлеченного интеллектуализма, находит свои психологические и нравственные обоснования в позиции буржуазного интеллигента-индивидуалиста, считающего, что его личное освобождение — это и есть освобождение общества. При таком эгоцентризме мышления художнику трудно, невозможно бывает понять, что его «свобода творчества» мало что может дать, скажем, рабочему, если он остается существом эксплуатируемым, отчуждаемым от результатов своего труда. Защита свободы и прав человека — понятие социальное. От того, чьи классовые интересы при этом защищаются, зависит фактическое содержание свободы, фактический характер защищаемых прав. Эти элементарности ускользали из поля зрения художников, поднимавших свой протест в небо абстракций, отрывая от реальностей классовой борьбы.

Практика показывает, что буржуазия почти всегда находит в искусстве таких художников моменты, помогающие нейтрализовать, обезопасить выражаемую ими оппозицию собственническому строю. Всячески акцентируются идеи о бессилии философии и вообще идеологии, о кризисе морали, которую не стимулирует, а еще больше подрывает научно-технический прогресс, о тотальном поражении человека в его попытках найти выход из тупика. Буржуазию вполне устраивает и то, что произведения искусства отчаяния часто ставят человека перед выбором между «научным духовенством», проповедующим невразумительный пессимизм, и «теологическим духовенством», проповедующим фантастические надежды.

По всем этим причинам не следует переоценивать критическую силу однокрасочного изображения мира как средоточия окаменевших уродств, как царства замкнутых одиночеств. Ведь чтобы раскрыть движение жизни, нужно увидеть ее не только из темницы, в которую замкнул себя индивидуалист, но и со стороны — увидеть не только отчужденного одиночку, но и отчуждающее его общество, противоречия этого общества, их развитие, ведущуюся в нем борьбу социальных сил.

Как известно, действительность особенно страшна, когда пугает непонятными туманностями, нераскрытыми тайнами, непознанными сложностями. По мере того как туман агностицизма рассеивается, завладевшие душой художника иллюзии и мифы перестают мешать трезвому размышлению, искусство начинает проникать в тайны бытия. Действительность не становится менее ужасной, она не преобразовывается одними только пожеланиями, но, познаваемая, понимаемая, перестает быть пугающе-таинственной, полнее открываются внутренние импульсы и закономерности ее движения, заключенные в ее противоречиях. Нужна громадная сила художественного «преодоления» отталкивающей, обескураживающей,

разочаровывающей действительности, чтобы даже при изображении ее свинцовых мерзостей сохранить реализм мышления, перспективу, действенное человеколюбие.

Процесс «преодоления» сложен. К примеру, после «Амаркорда» с его лирическими зарисовками провинциального быта, с гротескными сценами приезда фашистского начальника, с «Интернационалом» на колокольне, который «портит» фашистскую «обедню», Феллини заявил в одном из своих тогдашних интервью: «Я иногда говорю себе, что пора бы покончить с самодовлеющим и нервическим изображением отрицательного. Если бы можно было разбить беспокойное зеркало хаоса и упадка, найти, наконец, силы предложить что-то: персонаж, мысль, фантазию,— что давало бы новые жизненные силы художнику и человеку». Но — поставил «Казанову».

Герой фильма — по характеристике самого режиссера — это хитрая посредственность, мерзавец, просвещенная и самодовольная скотина. Объясняя свое обращение к такому человеку, Феллини сообщает интервьюировавшему его журналисту (не знаю, сколько тут было правды, сколько мистификаций, которые так любит Феллини), что впервые прочитал мемуары Казановы уже после того, как заключил договор на постановку фильма. Прочитал — и ужаснулся. Как можно делать фильм о таком мерзавце? Под каким углом? Решил — под углом пустоты: «Никакой идеологии, никакой сенсации, никакого чувства — даже эстетического — и никакого XVIII века. Никакой социологической критики. Отсутствие чего бы то ни было. Погребальный фильм. Ну и что, скажете вы, от него останется? Формы, которые организуются в объемы, чеканные, леденящие и гипнотические перспективы. Как будто у меня снова начинается безнадежное головокружение, единственная отправная точка, которая позволяет рассказать о Казанове и его несуществующей жизни. И в конце концов моя позиция не беспочвенна, потому что в этих остекленелых глазах, которые скользят по реальности, ни на чем не останавливаясь, мне кажется, усматривается жизненная позиция, очень близкая к нашей. Сегодня это не жизнь. Обаяние аквариума. Опьянение забвением».

Более последовательной оказалась эволюция другого лидера «интеллектуального» кинематографа 60-х годов — Антониони. Антониони не стал поборником политического кино, но в фильмах «Забриски Пойнт», «Китай», «Профессия: репортер» он становится более отзывчивым на проблемы социальной жизни. Мотивы «некоммуникабельности» и одиночества человека остаются, но, выведенные за пределы «изысканного цвета буржуазии», пересаженные на иную почву, они теряют свою былую абсолютность (характерную для таких фильмов, как «Приключение», «Ночь», «Затмение», «Красная пустыня»).

Поклонники Антониони, знающие его творчество не только по готовым картинам, но и по авторским замыслам, не раз писали о том, что Антониони никогда не желал быть таким понятным, прямым, резким и немногословным, как в «Забриски Пойнт». Для постановщика этого фильма Америка — не просто страна невротического насилия, замаскированного под добропорядочность и патриотизм, это еще и страна, в которой за фасадом упорного карьеризма прячется умственное и физическое разложение. Отчетливо саркастическим изображением «потребительского общества» Антониони как бы обосновывает и освящает бунт молодых героев фильма — Марка и Дарии. Но тут же свидетельствует: усилия бунтарей бесполезны. Бунтари благородны, но не вооружены действенными средствами, чтобы противиться «системе». Они преследуют справедливые, но неосуществимые идеи. Неверие в американскую демократию дополняется неверием в силы протеста. Рождается отчаяние, которое находит выход в утопии: коллективная любовь в первобытной пустыне возникает на экране как уход из мира жестокости и одиночества в пространство и время, недоступные рациональному вычислению. В небывало — для Антониони — определенном по своему языку фильме снова возникают неопределенные символы, мифы иллюзорной свободы вне жизни и над жизнью.

Вчерашние инерции кинематографического мышления дают о себе знать и в фильме «Профессия: репортер». Но «некоммуникабельный» герой Антониони, в данном случае журналист Дэвид Локк, пытается выпрыгнуть из своей собственной шкуры, найти какие-то иные модели жизни. Пусть он не слился с партизанами, с которыми связался, переодевшись в платье умершего соседа по гостинице Робертсона, взяв его документы. Пусть дело партизан не стало еще его делом. Попытка найти дорогу к действию была, и это ново для героев Антониони.

К фильмам «Амаркорд», «Забриски Пойнт», «Профессия: репортер» можно было бы прибавить фильмы «Война окончена» Алена Рене, «Проклятые» Лукино Висконти, «Змеиное яйцо» Ингмара Бергмана — движение кинематографа, сосредоточившегося в 60-е годы на углубленном исследовании одиночества и отчуждения, в сторону социальных тем и мотивов оказалось довольно широким. Но на первый план вывели эти темы и мотивы другие режиссеры — Франческо Рози, Джулиано Монтальдо, Элио Петри, Джило Понтекорво, Дамиано Дамиани, Нанни Лой, Стенли Креймер, Стенли Кубрик, Коста Гаврас, Бу Видерберг...

С кинематографом, занимающимся исследованием одиночества, политическое кино связывает общая оппозиция собственническому обществу: политический фильм доводит эту оппозицию до прямых изображений и обличений конкретного зла. Почти никогда не ограничиваясь туманностями от-

влеченного интеллектуализма и не претендуя на элитарную утонченность, политический фильм выводит историю стачки или биографию революционера, перипетии судебного разбирательства или процессы роста классового самосознания рабочего человека на крупные планы, на авансцену экранного действия. И говорит он об изображаемых явлениях с прямотой и простотой публицистического или судебного очерка.

Однако при всех различиях сюжетов и стилевых построений между фильмами этих двух потоков кинематографического развития нередко возникают сближения самого парадоксального свойства. В рассказы о драмах человека труда, о сложностях становления революционной сознательности рабочего или о конфликтах внутри класса хозяев то и дело проникают, скажем, фрейдистские комплексы, мотивы «некоммуникабельности», кинематографические модели отчуждения. Сказанное не означает, что политическое кино не создало своих оригинальных принципов сюжетосложения и стиля. Создало. О них у нас много писали. Повторяться не следует. Сейчас — для развития темы — важно акцентировать связи, о которых идет речь: они существенны для понимания тенденций политического кино.

Связи эти сложны: освоение опыта, доходящее до прямых заимствований, сопровождается полемикой. Связи эти подвижны: они не остаются одинаковыми в разных потоках политического кино и в разные моменты движения этих потоков.

■

Взлет политического кино во второй половине 60-х годов был для многих наблюдателей явлением неожиданным и парадоксальным. Трудно было свыкнуться с этим феноменом: не только левые кинокооперативы, но и вполне капиталистические студии стали производить политические фильмы левого, демократического направления. Как такое могло случиться?

Прежде всего тут в полную силу действовали конкуренция и конъюнктура. На волне освободительных движений, приведших к бурным событиям мая 1968 года, резко повысился интерес к политике, к политической теме на экране. Особую роль тут сыграл так называемый взрыв молодежного бунта — надо иметь в виду, что молодежь составляет примерно 75—80% зрительской аудитории кинематографа, от ее отношения к фильму зависит его успех или провал. Произошли заметные сдвиги влево в среде художественной интеллигенции (сильным катализатором ее социальной активизации стала борьба против «грязной войны» американского империализма во Вьетнаме).

При изучении биографии политического кино нельзя не учитывать и того обстоятельства, что искусство, выражавшее неприятие собственничества в усложненных формах отвлеченного интеллектуализма, испытывало тогда серьезные затруднения при встречах с массовым зрителем. В кинематографе 60-х годов появилось немало мастеров и теоретиков, которые наивно верили, что искусство утонченного исследования жизни постепенно пробьет себе дорогу в массовые зрительские аудитории. А если не пробьет, тем хуже для зрителей: пусть оно останется искусством для «единоверцев», для «родственных душ». Люди, оправдывавшие элитарность, считали, что кино может сохранить себя как высокое искусство только на путях постоянного эксперимента, считающегося лишь со своими задачами и целями. Надо освободить кино от власти торговцев, претендующих быть рупорами публики, выразителями ее запросов. Иначе можно получить публику без искусства.

Нельзя сказать, что поклонники таких концепций не любили кино. Они его любили, но любили неразумной, нерассуждающей любовью Донкихота: хотели сохранить кино как некую идеальную Дульцинею, чья привлекательность не проверяется общением с публикой. Они отделяли кино от массовой аудитории, уподобляя фильм изысканному полотну живописца, который может обойтись вниманием одного зрителя, достаточно изощренного, чтобы оценить очередной каприз художнической фантазии, и достаточно богатого, чтобы купить его. Между тем фильм каждый день «покупают» многие. Сам способ «потребления» киноискусства предопределяет его массовость. Донкихоты были обречены — с природой кино они сладить не могли.

В 60-е годы часто случалось, что утонченные «исследовательские» фильмы получали большие награды на фестивалях, превозносились кинокритикой и не завоевывали зрительских аудиторий. Они почти без боя отдавали массового зрителя Голливуду, его европейским и азиатским подражателям и собратьям. Без учета этого обстоятельства нельзя по-настоящему оценить тот факт, что к концу десятилетия на первый план в общественном признании вышли те политические фильмы, которые сильно повлияли на перераспределение публики между развлекательной «киношкой» и серьезным кинематографом. На политические фильмы массовый зритель пошел. Это не единственная, но важная причина происшедших тогда перемен в отношении публики к искусству экрана: в странах развитых кинематографий приостановилось сокращение посещаемости кинотеатров, а кое-где посещаемость снова стала расти, несмотря на конкуренцию телевидения.

Как всякому понятно, зрительский успех не мог не повлиять на отношение продюсеров и прокатчиков к политическому кино. Но понятно и другое: при всем значении такого успеха, при всем могуществе торгашеских принципов «деньги не пахнут» и «прибыль любой ценой» буржуазный продюсер не пошел бы на финансирование политических фильмов левого направления, если бы сомневался в силе и возможностях своей власти. Финансируя создателей политических фильмов, он надеялся на то, что с помощью рычагов экономической цензуры он останется хозяином

положения, не даст процессу выйти из-под контроля. Надежды эти в определенной степени связывались и с настроениями, взглядами, устремлениями кинематографистов, обратившихся к политическому фильму. Ведь среди них не так уж много последовательных революционеров. Зато очень много художников либерально-демократического направления, критикующих не основы буржуазной демократии, а отклонения от ее принципов, воображаемых в «идеальной форме», сближающих эти цели и принципы с традициями гуманизма.

Нелишне упомянуть в этой связи, что в политическом кино, особенно на первых порах, в конце 60-х и самом начале 70-х годов, очень активно заявляли себя кинематографисты левоэкстремистского толка, внедрявшие в создаваемые ими фильмы идеи и концепции маоизма, троцкизма, анархизма. Левоэкстремистские искажения революционной идеологии, да к тому же часто сопровождавшиеся нападками на политику и тактику марксистско-ленинских партий, тоже в определенных условиях могли послужить интересам и расчетам кинокапитала.

К этому надо прибавить, что прямое обращение к политическим реальностям современного мира, социальная критика, оставававшаяся в пределах либеральной оппозиции собственничеству или искажавшаяся левацкими завихрениями, могла быть использована, и часто использовалась, буржуазией как сильная пропагандистская карта. Расширение сферы критикуемых явлений, известная либерализация политики кинокапитала — шаги, во многом вынужденные, представлялись как акт «свободного выбора», как выражение демократизации культуры и углубление свободы творчества.

Все эти факторы и соображения принимались в расчет. Все до единого. Но главной целью оставалась прибыль, погоня за прибылью. Парадоксальность положения состоит в том, что в ориентации на массового зрителя продюсеры получают поддержку в настроениях и устремлениях многих авторов и постановщиков политических фильмов, которые тоже думают, не могут не думать о расширении аудитории. Под влиянием этих устремлений, поддерживаемых продюсерами и прокатчиками, политическое кино активно интегрирует в своем искусстве традиционные жанры, формы, приемы кинематографа.

■

Одновременно происходит политизация «коммерческого», «потребительского» кино. Социально-политические мотивы активно включаются в сюжеты фильмов о Джеймсе Бонде; Альфред Хичкок ставит «Топаз», Анри Верней — «Змею», старательно оснащенные антисоветскими мотивами, происходит политизация детектива. Социальные мотивы внедряются и во многие из произведений, не касающихся противоборства двух социальных систем. Даже в таких фильмах о катастрофах и ужасах, как «Челюсти» или «Ад в поднебесье», есть сцены «обличительного свойства», навеянные влияниями политического кино. Рождаются фильмы-кентавры, фильмы-гибриды, такие как «Крестный отец», соединяющий в себе свойства гангстерского и социально-критического фильма. Во всех этих сближениях, взаимопроникновениях действует механика сообщающихся сосудов: политическое кино, повторяю, не может оставаться на изолированном острове, не может сохранять свою тематическую, жанровую и стилевую стерильность. Точно так же и «потребительский» кинематограф не может не приспосабливаться к эволюциям зрительских запросов, двигаемых многими факторами, в том числе и влиянием политического кино.

Следствия всех этих взаимодействий многообразны. Для того чтобы политическое кино прогрессировало, оставаясь живым искусством, оно должно было идти вперед, завоевывать все новые высоты, осваивая новые темы и образы, не позволяя себе повторять ранее найденные модели, которые — от повторения — неизбежно превращаются в стереотипы. Но такие продвижения оказались затруднительными для многих мастеров политического фильма: чтобы сохранить свое положение в буржуазном кино, отмежевываясь от «системы», они должны были искать такие туманные способы выражения, при которых отмежевания не связывались с революционной перспективой. Одни делали это, приспосабливаясь к «предлагаемым обстоятельствам», другие потому, что сами — по своим убеждениям и взглядам — не поднимались выше либеральной оппозиции «системе», либеральной ее критики.

Характерен в этом смысле фильм Сиднея Поллака «Какими мы были». Он во многом автобиографичен. Посвященный истории кинодраматурга Хаббла и его подружки Кэт, ставших жертвами маккартизма, фильм дает основания его критикам считать, что коммунистке Кэт Сидней Поллак отдает предпочтение чисто рационально. Зато он слишком хорошо знает, слишком хорошо чувствует Хаббла, чтобы осуждать его. Да, Хаббл нерешителен и слаб. Да, в его изображении есть нотки иронии. Достаточно сказать, что Хаббл, сначала — не без влияния возлюбленной — качнувшись влево, потом отказывается от подвижнической принципиальности, отходит от увлекавших его замыслов, порывает с Кэт и заключает себя в убогую, но позолоченную клетку. Все это так. Однако же в образе Хаббла есть и иные мотивы — исповеднические. Ведь подобно Хабблу и сам Поллак незадолго до этого был недалек от мысли, что политика — «зловещая и опасная игра», что она является делом профессионалов и не надо в нее встревать; она дурна особенно тем, что заставляет интеллиген-

та душить в себе демона сомнения, на что тому трудно пойти.

Характерно, что когда постановщик фильма атакует ЦРУ, он невольно придает этому ведомству иррациональный характер. Показывая, как бюрократическая машина размалывает человека, фильм не вскрывает пружин и основ ее действий: получается, что ей невозможно сопротивляться, от нее можно только с отвращением отвернуться.

Существенную роль в размывании политического кино играют ныне фильмы «ретро». Среди них есть по-настоящему антифашистские («Аньес идет умирать» Джулиано Монтальдо или «Джулия» Фреда Циннемана). Но многие из них, особенно во Франции, сосредоточиваются на пересмотре не только самой истории антифашистского сопротивления и борьбы, но и традиций той кинематографии военных и первых послевоенных лет, которая изображала сопротивление патетически — как взлет героики и мужества борющегося народа. Появляется поток фильмов, снижающих подвиг, «опрокидывающих» на поведение и характеры участников сопротивления мещанские нравы и мораль сытой послевоенной буржуазной жизни. Дело доходит до прямых насмешек над сопротивлением («Китайцы в Париже»), до фактической реабилитации эсэсовцев и гестаповцев под знаком утверждения всесилия человеческих чувств и страстей («Люсьен Лакомб», «Ночной портье»).

Особенно часто и особенно отчетливо упадок политического кино проявляется в «коммерциализации» его сюжетов. В великом изобилии и разнообразии выпускаются на экран коктейли из порнографии и политики. В структуры политического фильма все чаще внедряются мотивы жестокости и насилия. Во многих случаях они форсируются сверх всякой меры — совсем в духе «потребительского кино»: оттуда перемещенные, они сохраняют приметы своего происхождения, ибо поступают на рынок конкурирующих товаров.

Драматические эволюции и «смены вех» происходят не только путем замены одних мастеров другими, более покладистыми, наделенными постоянной готовностью служить рынку. Очень часто эти эволюции вмещаются в творческие биографии мастеров, чьими усилиями был вызван недавний взлет политического кино.

Фильм «Женщина в окне» поставил тот же самый режиссер, который за несколько лет до этого создал глубокую антифашистскую ленту «Поезд»,— Пьер Гранье Дефер. Героиней «Поезда» была стойкая антифашистка, женщина, наделенная твердостью характера, обаянием ума и мужества. Ее роль стала значительной победой Роми Шнайдер. И вот теперь та же Роми Шнайдер играет богатую барыньку, светскую красавицу, которая приобщается к делам антифашистского подполья скорее по влечению тела или капризу ума, нежели по убеждению. «Женщина в окне» — это рассказ о богатой аристократке, ее муже, любовниках, нарядах, развлечениях. Среди отмеченных ее женским вниманием случайно оказался коммунист, антифашист. Героиня фильма «приказывает» своим друзьям спрятать его. Те прячут, подыгрывая причудам светской красавицы.

В разговорах действующих лиц фильма то и дело слышатся рассуждения о коммунистах, фашистах и фашизме. Но они как бы уравнены с фривольными спорами о любви, адюльтере... Можно сказать определеннее: политика отодвинута в фильме на периферию сюжета и действия, а на авансцену выведены стереотипы «потребительского кино».

Есть своя закономерность и в том, что на смену «Космической одиссее» пришел в американском кино «Козерог-один». Если в фильме Стенли Кубрика фантастическая история полета на далекую планету использовалась для того, чтобы показать — на космическом уровне—драмы индивидуализма, испорченность человека, то в «Козероге» Хаймерса космический полет — только обрамление, только исходный момент сюжета. А главное место в фильме заняли снятые с характерным для Голливуда высоким профессионализмом, можно сказать — с блеском, перипетии бегства и погони.

...На Марс отправляется космический корабль. В последнюю минуту из него тайно извлекаются космонавты (полет не подготовлен, рисковать ими не стоит — считает организатор «кражи» трех космонавтов). Чтобы операция «кражи» была не замечена, космонавтов тут же отправляют в безлюдную местность, где заранее приготовлен марсианский пейзаж, установлены телекамеры — можно вести «телерепортаж с Марса». На обратном пути космический корабль сгорел. Следовательно, погибли и космонавты. А они живы. И вот, чтобы скрыть обман, их решают уничтожить. Собственно, весь фильм и посвящен бегству космонавтов, почуявших неладное, и погоне убийц за каждым из трех беглецов. Двоих убивают; третий, самый ловкий, спасся, чтобы прибежать на Арлингтонское кладбище на свои собственные похороны.

В фильме есть, кажется, все элементы политического кино прежних лет. И разоблачение коррупции. И борьба карьеристов. И подвижничество благородных людей, готовых на любую опасность во имя правды и чести. Однако же все это не более как внешний пунктир, поверхностные зарисовки. А сутью содержания, построения фильма остается традиционная развлекательность, заслоняющая обозначенные в фильме социальные идеи. При всей необычности, новизне сюжета фильм становится явлением «инерционного» искусства Голливуда.

Непоследовательность многих политических фильмов, смешение в них разных элементов всячески поощряются кинокапиталом — открывается еще один путь «возлечения» политических фильмов, их присоединения к «системе».

«Все то, против чего до сих пор «система» боролась,— пишет по этому поводу итальянский кинокритик Джорджо Кремонини,— теперь медленно, но вполне откровенно усваивается «системой», искусно использующей то самое оружие, которое раньше служило для борьбы против нее».

■

Противоречивость новейшего развития политического кино — на уровне идеологии — имеет аналоги в движении его поэтики.

В пору своего подъема политический кинематограф особенно активно искал такие сюжетные построения и монтажные ходы, которые позволяли бы впрямую, с впечатляющей наглядностью показать реальности политической истории и социальной борьбы, характеры ее участников. Не настроение и атмосфера действия занимают режиссера прежде всего, хотя и они не уходят из поля режиссерского внимания, а наиболее острые перипетии изображаемого события, наиболее отчетливые проявления социальных позиций действующих лиц. Оппозиция «системе», достаточно туманная и неопределенная в «интеллектуальных» фильмах разочарования и отчаяния, здесь выражается через конкретные истории событий и характеров. На этой стадии и в этом своем потоке политическое кино продолжает характерные для 60-х годов поиски объективности и подлинности экранного образа жизни, простоты и прямоты в экранном выражении мысли.

Однако поиски эти не стали, не могли стать всеохватывающей тенденцией. Некоторые горячие головы из «левых» экстремистов начали абсолютизировать документализм киноизображений в духе раннего Вертова. Дело дошло до того, что даже эйзенштейновский монтаж был поставлен под сомнение: в нем почудился возможный отход от «аутентичности». По логике Годара и некоторых других кинематографистов левоэкстремистского толка получалось, что любые монтажные соединения двух кадров, выводящие мысль за пределы их конкретного содержания, открывают дорогу деформации действительности. При этом не принималась в расчет социальная направленность монтажа, даже вопросы такие не ставились: кто монтирует, что монтируется, во имя чего из двух монтируемых кадров извлекается третий смысл и какой он, этот смысл? В качестве точки отсчета при осуждении монтажа брался опыт буржуазного кино, действительно очень часто использующего монтаж в качестве оружия деформации.

Довольно широкое хождение в «левых» кругах получает мысль о том, что нельзя провозглашать «Долой полицию!» на том же языке, на котором полиция прославляется. От ограниченно понятого брехтовского отчуждения некоторые режиссеры идут к идее «деконструкции». Предполагается, что разрушение аристотелевской драматургии, отказ от катарсиса и «зрелища» обязательно должны сопровождаться заменой «линеарного рассказа» коллажем и «аудиовизуальным контрапунктом», соединением несоединимостей.

Одновременно с усложняющими восприятие «коллажами», с «деконструкцией» фильма, переключающей оппозицию «системе» в сферу стилевого бунта, языкового эпатирования зрителя, на экране появляются упрощения, схематизация жизни в духе неверно понятых и неверно истолкованных лозунгов рабочего движения.

Когда Марко Беллоккио снимал фильмы «Паола» и «Красный май» из рабочей жизни, он поехал в беднейшие районы Паолы с концепцией, выработанной в левацком «Союзе коммунистов», к которому принадлежал тогда молодой итальянский режиссер: героем фильмов должен быть трудовой народ мысли народа — правильные мысли, стало быть, выражать их должен сам народ. По приезде на место действия обнаружилось, что в бедняцких кварталах живут люди, почти начисто лишенные политического сознания, им в драматической степени свойственны взаимное недоверие, отчаяние, пригибающий человека фатализм в восприятии настоящего и будущего.

«Во время монтажа.— рассказывает режиссер,— все сцены, где действовали брошенные старики, больные, эпизоды, воспроизводящие самые отвратительные лики нищеты, были вырезаны, ибо партия («Союз коммунистов».— А. К.) справедливо отмечала, что это было декадентской снисходительностью, и еще потому, что она хотела показать эксплуатируемый и страдающий народ, но активный, оптимистический, революционный. Все «пораженческие» фразы были вырезаны».

Таким образом, в параллель наигранному оптимизму буржуазных рекламных фильмов возникла «лакировка слева». Жизнь редактировалась. Драмы неразвитости классового самосознания, недостатка революционности выводились за пределы изображаемого. По фильму получалось, что все сознательны, все оптимисты, все критикуют политиканов и «систему» в целом. А почему же тогда так трудно развивается революционный процесс? Выборочное изображение отредактированной жизни не давало ответа на этот естественный вопрос.

Есть концепции действительности, выработанные на основе практики: рожденные жизнью, они помогают углублять ее познание. И есть концепции «над жизнью», в которых авантюризм мысли становится отражением авантюризма действий «левацких» групп. Работа Беллоккио над фильмом «Паола» — предметное выражение одной из таких концепций. А их много. И они разнообразны: мифологизация жизни в голливудском стиле в ряде случаев соседству-

ет с ее мифологизацией в стиле левацкого волюнтаризма.

■

В настоящее время политический кинематограф под влиянием внешних давлений и внутренних противоречий почти повсеместно, даже в Италии, пошел на спад. Я пишу «даже в Италии» по той причине, что родина неореализма стала, что вполне логично, страной наивысшего — на Западе — подъема политического кино: традиции неореализма получили в нем новое развитие.

Кризисные проявления в политическом кино драматически отзываются на уровне и состоянии всего кинорепертуара. Обратимся к свидетельствам самих кинематографистов. Не так давно в «Панораме» (№ 616, февраль 1978 г.) под характерным названием «У кого есть идея» был опубликован весьма содержательный обзор итальянского кино.

«Мало зрителей, мало денег, мало фильмов,— пишут авторы обзора.— Но это вызвано не только экономическим кризисом. Итальянскому кино не хватает также мужества и вдохновения. Постановщики фильмов делают ставку на низкопробные и порнографические фильмы. Не появляются новые режиссеры и актеры. Лишь некоторые «киты», все те же самые, находят выход».

В 1959 году, сообщается в обзоре, кинотеатры Италии посетило 513 миллионов зрителей, в 1976—453 миллиона, в 1977 — менее 400. При этом доля доходов американских фильмов в итальянском прокате повысилась с 30,4% в 1974 году до 35% в 1977 году. Сокращается объем национального кинопроизводства. В 1976 году было выпущено 195 полностью итальянских фильмов и 38 фильмов совместного производства, в 1977 году — соответственно 135 и 21. За один только год 500 работников студий — это десятая часть состава съемочных групп — были вынуждены сменить профессию, чтобы не остаться без работы. Элио Петри, Бернардо Бертолуччи, Франко Дзефирелли, Серджо Леоне собираются поехать снимать фильмы в США...

Итог печальный. «Выпускаются в основном жанровые и пародийные фильмы. Итальянское кино зачастую использует заимствованные ходы и сюжеты. «Наша страна никогда не имела запасов сырья и была вынуждена обрабатывать чужое сырье,— объясняет режиссер Элио Петри.— Так же как и экономика, культура является обрабатывающей».

А вот что говорит один из «китов», Микеланджело Антониони: «Всем итальянским продюсерам я надавал бы оплеух. Навыпускали идиотских, гротескных, банальных историй, вызвавших отвращение у публики».

Еще несколько свидетельств.

Бернардо Бертолуччи: «Мы являемся свидетелями регресса. Сейчас делают только зрелищные фильмы, такие, как «Война галактик» и «Челюсти», предназначенные для зрителей во всем мире. Это означает, что нет места для кинопроизводства средних масштабов, для содержательных фильмов, единственных, благодаря которым происходит процесс развития кино».

Джило Понтекорво: «Налицо картина упадка и безнадежности — страх перед продюсерами и авторами, концентрация производства, абсурдная конкуренция между государственным и частным телевидением. Но и американское кино находится в состоянии упадка. Новые режиссеры, все как один, заняты производством зрелищ для инфантильной публики. Стивен Спиллберг после такого мужественного фильма, как «Дуэль», снял «Челюсти», тут же приспособившись к «системе». Сейчас главные действующие лица «системы звезд»— режиссеры. Они зарабатывают миллионы, сопротивляться трудно... Время отлива совпадает с временем усталости в американской политической жизни — после годов напряжения, связанного с войной во Вьетнаме... С нами случилось то же самое. Неореализм совпал с периодом больших надежд. Возможно, что у молодых итальянских авторов этих надежд больше не осталось».

На проблемах молодых художников сосредоточился и Франческо Рози. Проблемы эти приобрели в итальянском кино особую остроту. Ведь, кроме Бернардо Бертолуччи, за последнее десятилетие на итальянских киностудиях не появилось ни одного яркого молодого режиссера. «Вся молодежь,— подчеркивает Рози,— стала одинаковой, похожей друг на друга как близнецы — в одежде, в разговоре, поведении. Вплоть до того, что даже соматические черты изменились, приобретая общее единообразие... Только старики сопротивляются, пытаются отстоять собственную культуру. Удел остальных — нищета, отсутствие перспектив. Тысячи дипломированных безработных устраивают собрания в кабачках по деревням, объединяются в театральные кооперативы. Возможно, они очень активны, но это признак отчаяния. Они все хотят стать режиссерами, но требуют всего и сразу, без подготовки, без усилий. Это бегство от действительности. А тем временем итальянское кино страдает от отсутствия серьезных и подготовленных кадров».

В своем выступлении в журнале «Позитиф» Марк Феррери обращается непосредственно к осуществлению итальянским кино его социально-критических функций: «Нынешний кризис проистекает из того, что мы не умеем конкретизировать свои взгляды ради того, чтобы произвести лишенную сектантства атаку на реальность. Единственное средство атаковать структуры общества — революция, а интеллигент находится вне этой перспективы».

Расшифровка глубокого замечания Феррери подсказывается самой практикой итальянского, да и не только итальянского кинематографа: лишенная сектантства атака на реальность — это атака, основанная на анализе и понимании реальности, а не на очередной концепции, которая стала оче-

редным увлечением, чтобы не сказать модой кинематографа. Ведь, к примеру, бесконечная повторяемость одних и тех же сюжетов и тем, связанных с деятельностью полиции или судебного аппарата,— это не только отражение повторяемости изображаемых жизненных явлений. Косяки однотипных произведений возникли из-за сужения «сектора» наблюдения, поля исследования. В политическом кино очень быстро, слишком быстро появились свои стереотипы конвейерного происхождения.

О внутренних, а не только о внешних причинах нынешних трудностей кино говорят кинематографисты и в других странах.

Несколько лет тому назад польский журнал «Фильм» опубликовал интервью с режиссером Линдсеем Андерсеном, который в свое время так много сделал для подъема английского «Свободного кино». Когда зашла речь об упадке кинематографа Англии, Андерсен заявил: «Обычно указывают на экономические, финансовые причины. Лично я думаю, что дело заключается скорее в ином: люди, руководящие нашим кинематографом, переживают кризис теоретических идей, воображения и энергии. Но в этом никто и никогда не признается. Если вы испытываете творческое бессилие, то вы охотнее всего припишете вину экономическим или техническим трудностям.

Конечно, это затухание энергии и жизнеспособности не было бы столь опасным, если бы английское кино располагало ясной идейно-художественной программой. Но такой программы нет. Когда-то она существовала — она была заключена в кинематографической традиции «Свободного кино». Сегодня наше кино сошло с того пути развития. Оно стало искусством выдуманного ухода от действительности».

Драматизм положения серьезных политических и социальных фильмов (а такие при всех трудностях продолжают выходить, хоть и в меньшем количестве) состоит помимо всего прочего в том, что буржуазное «потребительское» кино умело вытесняет и подавляет «соперников». Оно старательно эксплуатирует «проверенные» модели, подчиненные вполне определенной идеологической тенденции, целенаправленно использует технику кино для отрицания диалектики. Утверждается миф «объективности объектива» — даже в тех случаях, когда на экране происходит мистификация истории или современности. «Потребительское», чаще всего жанровое кино демонстрирует высокое мастерство в обращении с формой, в угадывании привычек и требований массового зрителя. Оно умело работает над тем, чтобы убрать из сознания людей беспокоящее отражение конфликтных ситуаций и явлений жизни, трезвое о них размышление. Если раньше это делалось в форме отключения зрителей от противоречий жизни, распространения утешающих мифов и грез, то теперешняя кинопропаганда буржуазных стереотипов мышления учитывает, что эскейпизм заметно упал в цене и действенности. Она «упоминает» и конфликтные ситуации (например, на американском экране в свое время можно было часто видеть репортажи с фронта из Вьетнама), но вставляет их в такие контексты, которые мешают их анализу, располагают к «бесконфликтному» восприятию конфликтов. Очень часто беспокойства и тревоги переключаются на созвучные им, но лишенные животрепещущего и конкретного социального содержания экранные драмы и катаклизмы.

Очень точно пишет о социальной логике рассматриваемых перемен французский критик Жорж-Альбер Астр. Голливуд, напоминает он, десятилетиями работал над тем, чтобы найти «тип фильмов, который в данный момент, в данном социальном и культурном контексте будет привлекать наибольшее количество зрителей; найти нечто вроде тематического и стилистического «общего знаменателя», чтобы по возможности исключить проникновение в фильмы всякой сомнительной отсебятины; привести этот общий знаменатель в соответствие со стандартами доброкачественного «американизма» (годного также для экспорта) или, что предпочтительнее, унифицировать интересы разнородной публики, руководствуясь интересами правящих классов, которые относительно однородны».

В контексте этой хитрой работы по унификации интересов разнородной публики большой социальный интерес и значение приобретает вопрос: а что и сколько берет зритель от фильма? Что ему нравится и что доступно? Что он унесет с собой из кинозала? Вопрос непростой. На него невозможно ответить, основываясь только на художественном анализе того или иного фильма. Ведь зритель воспринимает каждый данный фильм в контексте увиденного ранее, на основе сложившихся привычек. А это означает — так бывает не всегда, но часто,— что он и настоящие произведения искусства воспринимает привычно и поверхностно — только на уровне сюжета, привлекательности звезд, красивости интерьеров и пейзажей, откровенности в изображении секса, остроты сцен жестокости и насилия, внешней комедийности, если речь идет о комедии, мелодраматического напряжения и трогательности, если речь идет о мелодраме.

■

Не хочу, чтобы из всего сказанного сложилось впечатление: политический фильм умер, наполовину задавленный кинокапиталом, наполовину подорванный своими внутренними противоречиями. Такой вывод был бы слишком категоричен.

В свое время у нас нередко появлялись статьи и высказывания, по логике которых получалось, что прошла эпоха кинематографа Феллини, Антониони, Бергмана, Рене и других исследователей отчуждения и некоммуникабельности — настала эпоха политического кино, которое даже «потреби-

тельскую», развлекательную «киношку» подминает. Одна из тенденций киноискусства возводилась в некий абсолют. Затем появились основанные на анализе многих фильмов выступления критики о «диффузии», взаимопроникновении разных потоков кинематографического развития. И опять же в некоторых случаях феномен «диффузии» расширялся за пределы его реальных границ — умалялась пестрота, многослойность кинопроцесса, в котором по-прежнему большое место занимают произведения «инерционного», развлекательного кино «староголливудского» стиля.

Логика абсолютизаций неприменима и к рассматриваемому явлению. Упадок политического кино, его внутренние деформации заставляют говорить о кризисных явлениях. Но они не охватывают всех потоков кинематографа, критикующего буржуазный миропорядок.

Прежде всего следует иметь в виду ту неоспоримость, что нынешний спад бунтарских движений молодежи не отражает динамику всего освободительного движения трудящихся. Многие явления политического кино конца 60-х—начала 70-х годов появились на волне молодежного бунта, его противоречивую идеологию и психологию отражали, его потребности обслуживали. Они пошли на убыль вместе с затуханием молодежного бунта, что естественно. Но остаются и не затухают, а в ряде случаев нарастают борьба рабочего класса, процессы объединения демократических сил на платформе антиимпериализма, антимилитаризма, защиты дела мира и социального прогресса. Остается их влияние на кинематограф. Ему нелегко бывает «вырваться наружу», реализоваться в последовательно революционных, последовательно гуманистических фильмах. Но прорывы возможны. И, конечно, реальны перспективы проявления демократических и социалистических мотивов в фильмах, лишенных такой последовательности.

Жизнь кинематографа показывает, что наибольшим деформациям, наибольшим влияниям нынешнего кризиса подвергаются наименее устойчивые явления политического кино, связанные с непоследовательностью мелкобуржуазной революционности, с воздействием буржуазного интеллигентского индивидуализма. В этом «секторе» политического кино возникает особенно много самых невероятных завихрений и колебаний. Им стчетливо противостоят те кинематографисты левого крыла, для которых политическое кино — не мода и не товар, не место для экстремистских истерик и не повод для самолюбования, а выражение правды жизни, освещенной передовой социальной мыслью, выражение критического отношения к буржуазной действительности, в которой антидемократические уродства прикрыты флером демократической фразеологии.

Когда Бернардо Бертолуччи обратился в фильме «XX век» к истории освободительных движений крестьянства свободолюбивой Эмилии, он сделал это как революционер и гуманист. Когда Фред Циннеман экранизировал автобиографическую повесть Лилиан Хеллман, поставив фильм «Джулия», он выступил как давний антифашист, уже в годы войны ярко заявивший себя на этом направлении кинематографического творчества. Сидней Люмет политически далек от левых кругов. Но это крупный художник, чья принадлежность критическому реализму и гуманистической традиции проявлялась во многих фильмах. В его новом фильме «Телесеть» зритель попадает в контору одной из американских телекомпаний, где создаются идолы, свергаются авторитеты, конструируются все новые способы удержания зрителя перед экраном телевизора. История телекомментатора, который после предупреждения начальства насчет предстоящего увольнения сообщает зрителям о своем намерении покончить жизнь перед телекамерой, позволяет Люмету показать — с полугротескными заострениями — грязную кухню манипулирования общественным мнением, сложные переплетения карьеризма, безнравственность, ложь.

Такие фильмы выходят теперь реже, чем восемь — десять лет тому назад. Их производство затруднено политикой продюсеров, которые на рубеже 60—70-х годов «обслуживали» взрыв молодежного бунта, шли за тогдашней конъюнктурой, обещавшей сверхприбыли, а сейчас «сменили вехи» — ищут новые источники дохода в сексуальных боевиках, фильмах о катастрофах и т. п. Появление новых политических фильмов затруднено и теми противоречивыми взглядами и настроениями в творческой среде, о которых шла речь выше. И все-таки политический кинематограф живет.

Гадать трудно — наступит ли в близкое время его новый подъем, появится ли новая волна политического кино. Ясно одно: развитие освободительных движений будет воздействовать на художественную интеллигенцию, на творческие замыслы и устремления прогрессивных кинематографистов. А это значит, что будет жить и кинематограф, непосредственно отвечающий на растущие интересы масс к политике. Он не сможет вырасти в некое мощное и тем более господствующее течение: в условиях капитализма господствовать будет буржуазная культура. Но и оппозиция капитализму будет пробиваться на экран, в том числе в формах фильма, впрямую обращающегося к политике, к фактам и явлениям классовой борьбы.

БОРИС ГАЛАНОВ

«БЕРЛИНАЛЕ» 77-78: репортаж из «Цоо-паласта»

Ранней весной 1978 года западноберлинский кинофестиваль «Берлинале» проводился в двадцать восьмой раз. В долгой истории «Берлинале» было всякое — попытки превратить его в инструмент политики «холодной войны» и в развлекательное, коммерческое зрелище, «коктейль на распродажу» с обязательным участием кинозвезд. Любители автографов еще вздыхают по тем временам, когда на Курфюрстендамм собирались толпы людей поглазеть на шествие знаменитостей в кинотеатр «Цоо-паласт», совсем как в Канне вдоль набережной Круазетт. Впрочем, что за фильмы демонстрировались тогда на фестивальном экране, едва ли вспомнят даже самые завзятые киноболельщики. Помнят только, что весьма посредственные. Правда, в Западном Берлине и по сей день не отказались от конкурентной борьбы с Каном. В 1978 году даже передвинули календарные сроки «Берлинале», проведя его на два месяца раньше Каннского фестиваля. Таким образом надеялись заманить в Западный Берлин побольше режиссеров, актеров, продюсеров вместе с их фильмами.

Однако международную свою репутацию в глазах прогрессивных кинематографистов Востока и Запада «Берлинале» утвердил или, скажем осторожнее, утверждал не тем, что тянется за Каном и соблазняется подчас сомнительными лаврами. «Берлинале» становился фестивалем политического и антифашистского фильма. Пусть с издержками, недостаточно твердо и последовательно, но такой курс уже несколько лет проводили его руководители. «Берлинале-79» покажет, сохранит ли фестиваль это направление впредь. Стоит здесь, кстати, напомнить, что в позапрошлом году главная премия «Берлинале» «Золотой медведь» досталась советскому фильму «Восхождение» режиссера Ларисы Шепитько, а в 1978 году «Золотой медведь» был присужден программе испанских фильмов, продемонстрировавших, как говорилось в решении жюри, успехи испанской кинематографии после конца диктатуры Франко. Высоких наград фестиваля удостоились фильмы социалистических стран — Польши, Кубы, Болгарии, Чехословакии.

Пожалуй, к западноберлинскому фестивалю в большей степени, чем к любому другому западному фестивалю, подходит слово «работа». По соседству с «Цоо-паластом» не плещется, как в Канне, Венеции или Сен-Себастьяне, теплое море и нет золотых песчаных пляжей, куда можно улизнуть на часок-другой, пока в фестивальном зале прокручивается бог знает до чего же убогий фильм. В большом городе, с утра настраиваясь на трудовой ритм, и сам трудишься до поздней ночи. В прямом, а не в переносном смысле. Впрочем, иначе не пересмотреть даже пятой части огромной массы конкурсных и внеконкурсных фильмов, специальных программ и ретроспектив, не успеть познакомиться с молодыми, интересно себя заявляющими кинематографиями, например австралийской, которая была представлена на фестивале остросоциальными фильмами. Запомнилась «Последняя волна» (режиссер Петер Вайс) о поисках молодым адвокатом из Сиднея следов исчезнувшей древнейшей цивилизации, о драматической судьбе аборигенов. Запомнилась и «Вечеринка у Дона» (режиссер Брюс Бересфорд), своего рода фильм-провокация, сатирическое обличение во время дружеского семейного застолья собравшихся здесь политиков, бизнесменов, интеллектуалов, поначалу кажущихся людьми гуманными, отзывчивыми, порядочными, а по существу — грубыми, циничными и лицемерными (с аналогичным по сюжету фильмом «Форели» выступали на «Берлинале» испанцы).

Я дважды ездил в Западный Берлин на кинофестиваль и, естественно, ответ на многие актуальные вопросы современной жизни искал на фестивальном экране. Но прошлое и настоящее по-разному напоминают о себе не только фильмами. Мне хочется начать с одного своеобразного памятника. Все, кому доводится бывать в Западном Берлине, не минуют, конечно, развалины Кайзеркирхи на шумной городской площади, прямо против киноцентра фестиваля. Ее воздвиг накануне первой мировой войны в память воинственного кайзера Вильгельма I другой воинственный кайзер, его внук — Вильгельм II. А разрушили кирху в разгар второй мировой войны бомбы союзнической авиации. Сквозь проломы в стенах можно разглядеть тяжеловесные мраморные скульптуры и золотые мозаики, напоминающие о том, что кайзер очень любил воевать. Кирху не стали восстанавливать. В этом есть нечто символическое. Ее развалины говорят о минувшей войне, о суровых уроках истории, о позорном крахе милитаристской кайзеровской — и гитлеровской — Германии.

Вокруг старой кирхи сновали люди, поглощенные своими сегодняшними, повседневными делами и заботами. По стально-

му тросу, протянутому высоко над площадью, ездил отважный гимнаст-мотоциклист, а внизу его товарищи по головоломной профессии собирали в толпе зрителей скромное подаяние. Четверка лошадей тащила рекламу какой-то мюнхенской фирмы — колоссальную пивную бочку, которую оседлал тучный пивной король Гамбринус. В новой кирхе — круглом, просторном, с виду похожем на цирк сооружении из толстого синего стекла — прихожане собирались на послеобеденную мессу. В нижнем этаже соседнего дома за дверью с красной бархатной занавесью начиналось очередное стриптиз-шоу. Площадь шумела, молилась, развлекалась. Похоже было на то, что в пестрой ярмарочной сутолоке давным-давно позабылась символика старой разоренной кирхи. Живописные руины с четырьмя светящимися циферблатами электрочасов, повернутыми на четыре стороны света, смотрелись скорее как красивая декорация, удачно вписавшаяся в интерьер городской площади.

Не будем, однако, торопиться с однозначными выводами.

С афишного столба глядит мрачная физиономия Рудольфа Гесса. Престарелый нацистский преступник отбывает пожизненное тюремное заключение в западноберлинской тюрьме Шпандау. А в Западном Берлине открывается международный симпозиум, отнюдь не для осуждения нацизма и неонацизма, а для восхваления Гесса как политика, государственного деятеля и даже тонкого ценителя литературы. Ожидаются гости из Франции, Швейцарии, ФРГ. Обещаны кинофильмы, слайды, воспоминания близких, рефераты: Гесс вчера, сегодня и даже завтра. Что сказал бы Гесс, что мог бы сказать о проблемах современного мира?

Не знаю, много ли поклонников нашлось у Гесса на сборище в Западном Берлине и как долго кликушествовали ораторы. Но по соседству с портретом Гесса, на том же афишном столбе,— другой: знаменитая немецкая актриса, давний активный враг нацизма Марлен Дитрих. За углом, в кинотеатре «Астор», демонстрируется обширная ретроспектива фильмов с участием Марлен, которая, похоже, по сей день остается кумиром многих зрителей, и программа немецких фильмов, запрещенных в третьем рейхе. У входа в кино «Астор» всегда оживленно, всегда длинные очереди. Я посмотрел фильм «Завещание доктора Мабузе». В свое время «Завещание» вызвало неудовольствие Геббельса. Постановщик фильма, маститый немецкий режиссер Фриц Ланг, был приглашен для объяснений. После свидания с Геббельсом он счел за лучшее поспешно покинуть Германию. Многое сегодня в «Завещании доктора Мабузе» кажется старомодным, наивным. Но сопоставления между действиями опаснейших преступников в фильме и главарей третьего рейха напрашиваются сами собой. Думаю, что жгучий интерес западноберлинской публики к старым немецким лентам определялся не столько модным ныне на Западе увлечением «ретро», как желанием узнать, увидеть то, что было запрещено, похоронено на долгие годы, упрятано в архивы, а сегодня помогает разглядеть день минувший. И день нынешний тоже...

Чем дальше от сияющей огнями реклам площади «Европа-центр», тем более старых угрюмых домов. С фасадов до сих пор не стерты следы минувшей войны — повреждения и вмятины от осколков артиллерийских снарядов. На стенах выведены лозунги: краской, мелом, углем—от крайне левых, анархистских до крайне правых, неонацистских. И не только на стенах. Мой друг, кинокритик, коммунист, пропагандист и переводчик Эйзенштейна в ФРГ, читает вслух надпись на ветровом стекле проезжающего мимо них грузовика: «Мы не болтаем о погоде, мы работаем». Такого взгляда, говорит он, придерживаются коммунисты. Перекресток у входа на станцию метро встречает своими плакатами: «Метро нам не по карману», «Метро — дорогой вид транспорта». И еще: «Бойкот, бойкот, бойкот метро!» В рабочем районе Крёйцберг свои заботы. Родители требуют открытия новых школ. Старых давным-давно уже не хватает. Кстати, такая мера поможет сократить хроническую безработицу среди учителей... Переходя от дома к дому, от перекрестка к перекрестку, порой трудно отделаться от ощущения, что ты читаешь сегодняшнюю, сиюминутную хронику житья-бытья обитателей Западного Берлина, их забот и тревог.

Между прочим, в Крёйцберге, в бывшем здании больницы для неимущих «Бетания», где теперь находится Дом искусств, была развернута выставка «Маяковский — 20 лет работы». Под плакатом-призывом поэта

Мы
дрались,
Мы
не собирали.
Товарищи!
Сами
пополняйте
Выставку

лежал лист бумаги, покрытый десятками подписей. Среди посетителей выставки тоже велась кампания за открытие в Крёйцберге новых школ. И я подумал: наверное, Маяковский остался бы доволен, что его выставка в Западном Берлине пополнилась таким живым, действенным материалом.

Но, быть может, среди западноберлинских впечатлений, непосредственно как будто и не связанных с фестивалем, два остались в памяти как наиболее яркие. Первое: воскресный сеанс в кинотеатре «Глориэтта». Вот уже несколько лет подряд в небольшом зале каждое воскресенье в 11 часов утра идет документальный фильм «Сражение за Берлин», смонтированный из кадров более чем тридцатилетней давности. Последние дни гитлеровского рейха. Хаос битого кирпича и обгорелого железа. Пустые коробки сожженных домов на берлинских улицах. Старики, женщины, дети, выбирающиеся из-под развалин. Длинные очереди у наших походных солдатских кухонь. Первый кусок хлеба, первая миска горячей похлебки, после

долгих голодных дней, из рук советского солдата! И первая, такая пока еще робкая улыбка: маленькие берлинцы облепили вращающуюся немецкую зенитную установку. Теперь она совсем не страшная, можно в нее поиграть, а если хватит силы покрутить, то можно покататься, как на карусели. В зале напряженная, сосредоточенная тишина. Этот единственный в неделю сеанс посещают старые и молодые, приходят целыми семьями, приводят детей. Память прошлого продолжает жить в настоящем, тревожить совесть. Горькая память о том, что больше не должно повториться — сегодня, завтра, никогда.

И другое впечатление: после взволнованной, драматической тишины зрительного зала «Глориэтты» вечером того же дня я попал на озорное, задиристое, с пением, музыкой и танцами представление полупрофессионального театра «Центрифуга». Смех и аплодисменты здесь не смолкали до глубокой ночи. Зал театра набит до отказа. Собственно говоря, назвать залом подвальное помещение больницы «Бетания» можно с очень большой натяжкой. Кресел в партере нет. Да и партера тоже. Молодые зрители расположились прямо на полу. Актеры самоотверженно носятся, не без риска для себя и своих гостей, буквально по головам. Шаткие мостки, сооруженные между полом и потолком, подозрительно скрипят и сотрясаются. Иногда мне кажется, что опасность свернуть себе шею здесь ничуть не меньше, чем на проволоке, у того акробата-мотоциклиста. В верхних этажах здания развернута выставка «Маяковский — 20 лет работы», а в подвале идет представление «Мистерия-буфф». Представление «с агитационным уклоном», как советовал играть актерам «Мистерию» сам Маяковский.

Этот свой «агитационный уклон» спектакль приобретает уже в тот момент, когда актеры представляются публике, ведь многие, называя роли, которые исполняют в пьесе, и свои профессии, добавляют: «Сейчас безработный». А в финале, когда после долгого плавания ковчег с семью парами чистых и нечистых на борту прибывает в «обетованную страну» (в Западный Берлин, разумеется) и актеры приглашают зрителей вместе, коллективно обсудить, такая ли уж она обетованная, эта страна, действие непосредственно перебрасывается в зал. Теперь никто не остается равнодушным и никто не уклоняется от ответа. С места поднимаются парни и девушки. Высказываются начистоту о самом насущном: о нейтронной бомбе, о растущей безработице и растущей плате за жилье. Водитель поезда метро (в спектакле он играет Попа) заводит разговор о цене билетов в метро. Всеобщее негодование и осуждение вызывают недавние наглые вылазки реваншистов и неофашистов в Западном Берлине. Я сравниваю напряженное молчание в «Глориэтте» с бурными спорами в «Центрифуге» (организаторы театра рассказали мне, что в каждом их спектакле есть еще один, хотя и не появляющийся на сцене, но совершенно обязательный персонаж — номер сегодняшней газеты, сегодняшние политические новости). И думаю о том, что это только кажется, будто на сеансе в «Глориэтте» время как бы остановилось, а на спектакле в «Центрифуге» — стремительно движется. Горькая память года сорок пятого живет в бурных протестах года семьдесят восьмого против нейтронной бомбы, против новых коричневых, против бредовых планов реванша. Спорят друг с другом лозунги на стенах западноберлинских домов, спорят афиши, извещающие об открытии симпозиума, посвященного Гессу, и о ретроспективе фильмов Марлен Дитрих. Полемически, если только можно так сказать, вписывается в западноберлинский пейзаж силуэт разрушенной Кайзеркирхи. И конечно же, спорят друг с другом фильмы на экране «Берлинале» 77 и 78.

В 1977 году фестиваль открывался фильмом известного американского режиссера Петера Богдановича «Никкельодеон». Это был своего рода пролог. Ведь фильм рассказывает историю кинематографа, историю его восхождения от ярмарочного аттракциона до настоящих вершин искусства, от глупеньких немых коротышек, которые снимают на заре развития киногерои Богдановича — и маленькая николевая монетка красная им цена,— до первых шедевров американского кино, таких как фильмы великого режиссера Гриффита.

Я был бы необъективен, не предупредив, что на фестивальном экране, не говорю уж об экранах западноберлинских кинотеатров, с лихвой хватало никельодеонов, коммерческих пустяков (от них хорошо спасаться на солнечном пляже), оставшихся в близком соседстве с ярмарочным аттракционом. Ни превосходный цвет, ни широкий формат, ни стереофонический звук не смогли прикрыть или восполнить убогость и ничтожество содержания. Но эти фильмы не заслуживают специального анализа. Достаточно и беглого упоминания.

Если не самыми многочисленными, то, пожалуй, самыми впечатляющими на двух последних «Берлинале» были фильмы, посвященные героям и жертвам антифашистской борьбы, фильмы, которые, вновь и вновь вызывая фашизм на суд истории и подвергая его политическому, социальному, моральному, нравственному анализу, предостерегали от опасности возрождения фашизма.

Назову, к примеру, документальную ленту «Каудильо». Испанский режиссер Басилио Мартино Пачино смонтировал ее еще при жизни Франко, но получил возможность показать только после его смерти. Первые уникальные кадры фильма относятся к 1926 году. Тогда Франко был произведен в генералы и, как напоминает фильм,

«Мистерия-буфф» в театре «Центрифуга»

чуть ли не с той поры повел войну против своего народа, чтобы господствовать над ним. «Упражнением в преодолении прошлого» назвал режиссер свой фильм. Упражнение оказалось поучительным. Мне еще предстоит говорить о другом испанском фильме, показанном на фестивале,— «Черные выкормыши». Уже сошел в могилу Франко, но разве преодолено прошлое? Вот вопрос, который не раз прозвучал с экрана. И в Испании он тревожил всех истинных сторонников демократии. Как написал однажды Бертольт Брехт: чрево, из которого вышел фашизм, еще способно плодоносить.

Польский режиссер Ежи Кавалерович в фильме «Смерть президента» воскресил полузабытую страницу истории: период кратковременного правления в 1922 году президента Польши Габриэля Нарутовича. В фильме скрупулезно восстановлены приметы времени—костюмы, обычаи, городской пейзаж... Я бы даже сказал, восстановлены с музейной добросовестностью, если бы не побоялся, что от слова «музейный» может повеять холодком. Ведь идеи, проблемы, которыми жив и этот фильм, остаются злободневными в современном мире. В начале 20-х годов фашизм еще только-только выходил на сцену, завязывая бои с демократией. Убийство польского президента стало одним из первых в длинном перечне кровавых преступлений фашизма, первым предостережением всем, кому могло недостать твердости в борьбе. Многим прогрессивно мыслящим, благородным, но излишне мягким душевно людям фашизм готовил судьбу Нарутовича.

Другой характер, другая биография раскрываются в фильме итальянского режиссера Паскуале Скутьери «Железный префект». Герой фильма не выдуман, Чезаре Мори существовал в действительности. В 1925 году Муссолини назначил его префектом Сицилии, наделив чрезвычайными полномочиями. Мори был человек храбрый, неподкупный, решительный и твердый, вернее даже сказать, крутой и жестокий. В Сицилию он отправился с намерением выполнить то, что до него никому не удавалось,— искоренить мафию. Приверженец железного порядка, он и в Сицилии насаждал порядок железными методами. И, как ему казалось, в борьбе с мафией добился значительного успеха. Но это было чистым заблуждением. Если бы Мори даже сумел справиться с мафией, все равно он не смог бы уничтожить неграмотность, безработицу, нищету — этих извечных спутников мафии. И пока существует нужда, будут пополняться ряды мафии. Вот к какому убеждению постепенно приходит Мори. А дальше... дальше он добывает неопровержимые доказательства тесных связей мафии с влиятельными функционерами фашистской партии. Он хотел навести порядок в Сицилии, а надо было навести порядок в Италии. Это ему не под силу.

Падение Мори предопределено. Правда, его не уничтожают исподтишка. Его убирают из Сицилии, дают отставку. Все, все оказалось ненужным, бесполезным — вечный

Кадр из фильма «Никкельодеон» (США)

Кадр из фильма «Мама, я жив» (ГДР)

риск, дерзкие поединки с вожаками мафии, перестрелки, погони (кстати, приемы вестерна порой откровенно перевешивают в этом серьезно задуманном фильме). С одинаковым хладнокровием фашизм убирает с дороги и Габриэля Нарутовича, в котором угадывает будущего своего политического противника, и Чезаре Мори, случайного своего попутчика, который, недальновидно соединив свою судьбу с фашистскими хозяевами, сам себя загнал в ловушку.

Ингмар Бергман в новом фильме «Змеиное яйцо», который он снял в Мюнхене, после эмиграции из Швеции, также обращается к драматическим судьбам и биографиям людей в период возникновения фашизма. Но главное действующее лицо фильма — сам фашизм. И главная задача автора фильма, как понимал ее Бергман, определяя меру ответственности художника перед зрителем, состояла в том, чтобы, проецируя прошлое в настоящее, вновь и вновь предостеречь людей от угрозы фашизма.

Для Бергмана точкой отсчета стала одна неделя 1923 года: «черная неделя» с 3 по 11 ноября, когда закончилась провалом попытка фашистского путча.

В Западном Берлине я видел документальные короткометражки той поры. Какой разительный контраст с бергмановскими кадрами «под хронику» в «Змеином яйце»! В хронике 1923 года нарочитое благополучие берлинских улиц: толпы оживленных людей, магазины, бойко торгующие разной снедью, переполненные кабаре и рестораны — молодые и старые, все, все самозабвенно танцуют фокстрот. А в бергмановском фильме, снятом в цвете сепии, коричневый дождь сечет крыши домов, улицы, торцы мостовых. Тускло светят фонари. На пустынной площади коричневые молодчики колотят кого-то головой о булыжники. «И ты тоже хочешь попробовать?» — рявкают они случайному свидетелю этой сцены, одинокому прохожему, на миг вынырнувшему из мглы и сгинувшему во мгле. Скажут: но ведь там были документальные съемки, а здесь реконструкция. Да, реконструкция! Но такая, которая помогает взглянуть правде в глаза.

Отвратительный зародыш фашизма пока не вылупился из змеиного яйца, но просвечивает сквозь тонкую его скорлупу. Уже в подвалах клиники святой Кристины будущие гитлеровские ученые, специалисты по фильтрации и «оздоровлению нации», производят страшные опыты над людьми, подавляя их волю, заставляя подчиняться чужой, превращая свои жертвы в бессловесных животных, в жалких рептилий. Кто-то уже погибает при невыясненных обстоятельствах, кто-то пропадает без вести, и в качестве очередной жертвы уже намечен герой фильма — безработный цирковой актер Розенберг. «Кстати, Гитлеру не удался путч в Мюнхене,— бодро говорит некий поли-

цейский чин.— Я не думаю, что после этого он оправится. Все-таки немецкая демократия подавила его». Однако герои фильма рассуждают по-другому. Слишком очевидны слабость, бессилие, податливость немецкой демократии. Правители могут еще разглагольствовать о гармонии, о единстве, хотя даже самый воздух вокруг, кажется, уже отравлен...

В своеобразной антологии антифашистского кино на «Берлинале» 77—78, которая складывалась при участии кинематографистов из разных стран мира, привлек к себе внимание фильм режиссера Конрада Вольфа «Мама, я жив» (ГДР). По контрасту с фильмом западногерманского режиссера Теодора Котуллы «Из жизни одного немца» фильм Вольфа можно было бы, наверное, назвать еще и так: «Из жизни четырех немцев». Котулла выбрал сюжетом своего фильма (его показали на форуме «Молодого кино») жизнь Ланга-Гесса, с 1941 по 1944 год коменданта самого большого лагеря уничтожения — Освенцима. Жизнь этого немца стоила жизни десяткам и сотням тысяч людей, хотя сразу оговоримся, фильм Котуллы не о трагедии людей, уничтоженных Лангом-Гессом, а о психологических переживаниях нацистского преступника, который, непрерывно отправляя людей в газовые камеры, якобы мучится угрызениями совести, кается и страдает. Не отправлял бы в камеры, не катился бы вниз по наклонной плоскости, да вот беда: как «дисциплинированный» немец, он не может ослушаться своего начальника и покровителя рейхсфюрера Гиммлера. Четверо немцев в фильме Конрада Вольфа, «ослушавшись», своей жизнью заплатили, помогая спасти жизнь других людей. Бывшие солдаты гитлеровской армии, оказавшись у нас в плену, стали антифашистами и, выполняя боевое задание советского командования, погибли на фронте. Но до этого все четверо пережили мучительно долгие часы сомнений, раздумий, колебаний, потому что принять окончательное решение им было нелегко.

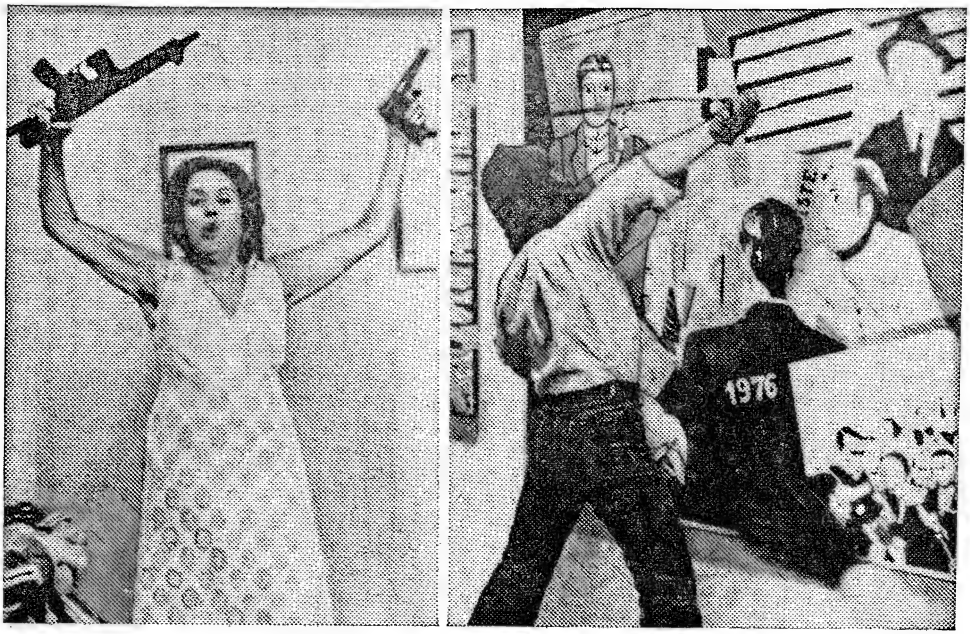
И для зрителей, скажем прямо, это тоже был нелегкий фильм. На пресс-конференции Вольфа спросили: «Могло ли такое случиться, что немцы стреляли в немцев?» Я думаю, что спрашивали не только люди с короткой памятью, которым хотелось бы напрочь позабыть горькое прошлое. Спрашивали и молодые, те, что не пережили трагедию минувшей войны, а знания о ней получили искаженные, урезанные. Но разве Гитлер не расстреливал немцев? А можно ли сосчитать, сколько казненных соотечественников, стариков, женщин и детей числилось в послужном списке Ланга-Гесса, в нескончаемом кровавом досье этого «бухгалтера смерти»?

Кстати, продолжая разбор двух столь разных фильмов, выразивших как бы противостояние, противоборство разных идей, разное отношение к историческому прошлому, добавлю, что фильм «Из жизни одного немца» оказался весьма трудным для своего автора. За попытки обелить нацистского преступника его резко критиковали многие зрители. Даже те западноберлинские газеты, которые встретили фильм весьма благосклонно, стыдливо признавались, что нельзя дать спокойную художественную оценку произведению, где, например, показан комендант Освенцима, нетерпеливо подсчитывающий, сколько «подлежащих особому обращению» узников лагеря можно пропускать в день через различные типы камер, а сам Освенцим изображается в пастельных тонах... Впрочем, все это не помешало министерству внутренних дел ФРГ наградить Серебряной лентой в числе лучших западногерманских фильмов 1978 года и фильм Котуллы.

По единодушному признанию критиков и публики, самый большой успех на «Берлинале-77» сопутствовал советскому фильму «Восхождение» режиссера Ларисы Шепитько. В антологию антифашистского кино он вошел как фильм о подвиге советского человека в минувшей войне, стойкости его духа, решимости выстоять и победить. О «Восхождении» у нас много писали, картина хорошо знакома советским зрителям. Здесь мне хочется привести несколько отзывов западноберлинской прессы: «Этот фильм стоит посмотреть», «Величие духа советского человека ошеломляет», «Сильное впечатление производят безграничность пространства, суровость зимы, жестокость врагов... Шепитько сделала фильм в строгом, богатом контрастами, черно-белом изображении». Поразило, что фильм о войне решилась снимать женщина, которая сумела, как считали одни, последовательно нарисовать жестокую картину человеческого страдания и, как считали другие, шире, глубже, точнее понявшие замысел автора,— нарисовать картину необыкновенного человеческого мужества и героизма. В образе Сотникова, каким его сыграл Борис Плотников, молодой талантливый актер из Свердловска, увидели не страдальца, восходящего на Голгофу, а убежденного борца, для которого фашистский плен, пытки и самая смерть на виселице из поражения превратились в победу. Когда в 1978 году я снова приехал на кинофестиваль в Западный Берлин, там в одном из кинотеатров была организована ретроспектива фильмов Ларисы Шепитько. И не случайно. Еще не изгладилось впечатление, произведенное «Восхождением».

Второй по значительности и многочисленности стала на экране «Берлинале» тема молодежи. Ей почти целиком была посвящена программа форума «Молодого кино», традиционно проводящегося в рамках западноберлинского фестиваля. Но форум требует особого разговора. Я коснусь только конкурсных лент.

В конечном счете успех или неуспех фестиваля определяют фильмы, идеалы, которые средствами искусства в них утверждаются, идеи, которые авторы этих фильмов отстаивают, исповедуют, хотят передать под-



Кадры из фильма «Черные выкормыши» (Испания)

Кадр из фильма «Мориц, милый Мориц» (ФРГ)

растающему поколению: гуманные, миролюбивые или откровенно реваншистские.

В фильмах о молодых людях 70-х годов каждый раз по-своему отразились мысли, чувства, настроения, интересы определенных слоев западной молодежи: аполитичных юнцов и девиц, которые, как герои французского документального фильма пят-

надцатилетней давности на вопрос, что они слышали о Гитлере, отвечали: «Гитлер?.. Такого не знаю!» (фраза эта и дала полемически броское название картине); или же, напротив, юнцов и девиц, намагниченных фашистскими идеями. Для этих «бум» Гитлера на Западе не прошел бесследно. Сколько было издано и переиздано мемуаров самих нацистских главарей или людей из ближайшего окружения! Сколько выпущено пластинок с речами фюрера! Сколько симпозиумов посвящалось персонально Гессу! В разгар «Берлинале-77» состоялась шумная премьера почти трехчасового документального фильма «Гитлер — история одной карьеры». И по рукам ходили листовки, где говорилось, что нацизм отнюдь не умер. Все это, естественно, не могло не отражаться в умах. Путаные неофашистские, маоистские, анархистские идеи иногда трагически, иногда со зверской агрессивностью, а иногда карикатурно, грязно, нелепо молодые герои кинокартин пытаются претворить в жизнь.

Вот уже упоминавшийся выше фильм испанского режиссера Мануэля Гутьерреса Арагона «Черные выкормыши». Время действия — наши дня. Действующие лица — духовные наследники дуче, фюрера, каудильо, темные и грубые. Одни могут скромно копаться на своем огороде, другие — торговать в лавке, третьи, как сыновья Бланки, вдовы бывшего фалангиста, по воскресеньям собираться в хоровом обществе и проникновенно распевать религиозные гимны. Сама Бланка целый день хлопочет по дому. Но она же, фанатически исповедуя какую-то странную смесь идей терроризма и христианства, собирает под свое крыло банду неофашистов, где верховодят ее сыновья Хосе и Рамиро. Замолив грехи в воскресные дни, банда совершает в будни акты террора, нападает на беззащитных людей, громит книжные магазины и выставки прогрессивных художников, провоцирует уличные беспорядки, сея вокруг ужас и панику.

Третий сын Бланки, Татин, слишком молод. Ему едва исполнилось пятнадцать. Его время пока не наступило. Так думает Бланка. Но маленький «черный выкормыш» уже нетерпеливо рвется в драку, пугая своей жестокостью даже старших братьев. А старшим, как говорится, жестокости не занимать. Татин хорошо усвоил принципы, которыми должен руководствоваться «настоящий» испанец: «Сумей пожертвовать всем, что любишь». И решив доказать свою преданность банде, Татин зверски убивает Розу, несчастную молодую женщину, которая уже успела повидать в жизни много горя и с которой Татин испытал счастье первой любви.

Характер юного подонка, его гнусность, подлость, преступность Гутьеррес Арагон выводит непосредственно из характеров, поступков окружающих Татина ярых франкистов, хорошенько позаботившихся о том, чтобы превратить его в опасного для общества фашистского молодчика.

Западногерманский режиссер Харк Бом избирает не столь прямое и наглядное решение. 15-летний герой фильма «Мориц, милый Мориц», выросший в достатке сын преуспевающего коммерсанта, мальчик чуткий и отзывчивый, любящий музыку, природу, зверей и птиц, неожиданно открывает для себя, что мир, в котором он живет, далеко не столь благополучен. Разоряется отец. Бабушку, которую так нежно любит Мориц, отправляют в дом для престарелых. Когда Мориц навещает ее, бабушка просит раздобыть для нее яд. Мамина кошка съедает приученную Морицем крысу. Негодяем оказывается школьный учитель математики. И Мориц, вопреки своей робости и мягкости, решительно порывает «с прошлым»: уходит из родительского дома, вешает в саду коварную кошку, устраивает пакость учителю математики.

Однако в своем воображении Мориц рисует куда более жуткие сюжеты: сто способов — один страшнее другого! — расправы над теми, в ком он разочаровался и обманулся. И тут уж бурная мальчишеская фантазия поистине неисчерпаема. Безобидные с виду дети начинают строчить из автоматов, ненавистный учитель математики лежит под ножом хирурга с разрезанным языком, любимая мамина кошка грызет свою хозяйку... Добавим, что эти и другие кошмарные видения переданы в фильме с отталкивающей натуралистичностью, так же, впрочем, как и показанный по ходу действия несчастный случай на дороге: железобетонная балка сносит голову молодой автомобилистке.

Не будем гадать, как сложится судьба Морица. Милого Морица. Встретит ли он в жизни истинную сердечность и доброту или, еще больше ожесточившись, захочет наяву осуществить жуткие свои фантазии: распрощавшись с подростками из рокк-ансамбля, принявшими его в свою компанию, возьмет да и свяжется с какими-нибудь «черными выкормышами».

Итальянский режиссер Паоло Пьетранджели в фильме «Свиньи с крылышками» приводит молодых неустойчивых юнцов в некую левацкую политическую группочку, где все они оказываются во власти циничных, распущенных лжеучителей. А те своей проповедью безнравственности и секса, как «истинно революционных средств коммуникации и общения», своими постоянными насмешками над дружбой и любовью, которые связывают две юные души—Антонию и Рокко, в конце концов отлучают их друг от друга. Наверное, фильм Пьетранджели мог бы стать социально значительным, если бы не решался в столь грубой, вульгарной, откровенно эрнической манере. Именно в связи с дискуссией, разгоревшейся вокруг «Свиней с крылышками», Альберто Моравиа писал, что быть юным— серьезная, а часто и драматическая проблема. Но она требует к себе и столь же серьезного отношения. Всякая иная трактовка может вызвать лишь активное неприятие, как это случилось с фильмом Пьетранджели.

И еще фильм о судьбах молодых в буржуазном обществе, наверное, самый трагический из всех — «Возможно, дьявол» (специальная премия жюри «Серебряный медведь»). Его снял один из крупнейших фран-

Кадры из фильма «Возможно, дьявол» (Франция)

цузских режиссеров старшего поколения Робер Брессон. Снял, как заявил сам Брессон, потому что испытывал страх перед нашествием «массовой культуры», которая уже сейчас почти не оставляет места для естественных чувств, страх перед огромным размахом уничтожения природы, истощением всех земных богатств. И еще его волновала мысль, что часть молодежи вообще заражена опасным безразличием. Прочитав в газетах сообщение о самоубийстве подростка на кладбище Пер-Лашез, Брессон решил восстановить историю самоубийства, домыслить недостающие факты. Однако свой взгляд он направил не столько на отдельных людей, сколько на общую атмосферу окружающей жизни. «Возможно, дьявол»,— говорит одинокий пассажир грохочущего автобуса, направляющегося неизвестно куда. Дьявол этот — разочарование, тревога, растерянность, лицемерие. Правители подготавливают мир к смерти, писал рецензент газеты «Франс-суар», а мы удивляемся, что часть молодежи утратила вкус к жизни. В городе Брессона, как и в городе Бергмана, нет ничего, что напоминало бы о радостях и надеждах. Смех словно бы не проникает в эту страну. После выхода фильма его противники заговорили, что французское кино не обретет недостающих ему кровяных шариков, пока будет вновь и вновь перетолковывать страдания молодого Вертера. Может быть. И все же мне кажется, более правы те критики, которые, услышав в фильме «Возможно, дьявол» печальное, горькое предостережение и озабоченные этим предостережением, писали: «Пожелаем же, чтобы его услышали».

Писарев однажды заметил: «Общество виновато во всем том, что совершается в его пределах: всякая дрянная личность самым фактом своего существования указывает на какой-нибудь недостаток в его общественной организации». Сколько дрянных личностей — «коричневых», «черных», нацистов, неонацистов, экстремистов и реваншистов — прошло перед нашими глазами на экране «Берлинале»! Не просто прошло. Ведь авторы фильмов хотели, чтобы мы пристальней вгляделись и хорошенько запомнили, лучше узнали, сильнее возненавидели. Ради этого, собственно, и создавались фильмы. А сколько трагически искалеченных судеб, сколько обманутых молодых душ, оказавшихся орудием насилия или его жертвами...

И конечно же воспоминания о «Берлинале» связываются с образом Сотникова, с теми четырьмя немцами, которые начинали войну в фашистской армии, а заканчивали, сражаясь против нее, и еще со многими другими героями антифашистской борьбы— живыми, борющимися, побеждающими, все равно остающимися в строю живых, даже если им пришлось заплатить жизнью за победу.

◆

У наших друзей

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА «ВСЕСВИТ»

В декабре 1978 года вышел 600-й номер основанного в 1925 году украинского журнала «Всесвит» («Весь мир»). Журнал ставит своей целью всестороннее ознакомление республиканского читателя с современным литературным процессом в зарубежных странах, с наиболее интересными явлениями мировой культуры.

Редакция журнала «Иностранная литература» поздравляет украинских коллег с юбилеем и желает им дальнейших творческих успехов. В предлагаемой ниже статье ведется разговор о некоторых существенных проблемах и тенденциях зарубежной литературы наших дней, нашедших отражение в публикациях «Всесвита».

Выявить главное в литературной панораме сегодняшнего мира — задача не из легких. Мы уже не в состоянии размышлять над судьбами европейского романа, не сопрягая их с художническим и социальным опытом романистов Латинской Америки; поэзия Черного континента воздействует на богатые традициями литературы Запада; достижения советских младописьменных литератур становятся стимулом и ориентиром для народов Азии и Африки.

Сложность заключается, однако, не только в том, что расширилась литературная география. Сегодня, пожалуй, как никогда трудно разнести литературу по отдельным рубрикам, тематическим или даже проблемным. Можно, разумеется, выделить среди публикаций «Всесвита» «рабочие» романы или «деревенскую» прозу, произведения, посвященные национально-освободительной борьбе или борьбе с фашизмом и неофашизмом. Выделить можно; размежевать их нельзя.

В самом деле: о чем написан роман Ю. Кавалеца «Переплывешь реку...» [1]? О превращении группы деревенских парней и девушек, пришедших на стройку, в городских рабочих новой Польши? Конечно, и об этом. Или о мучительном отрыве от земли, от психологических и поведенческих канонов, какие столетиями питали духовную жизнь польского крестьянина? Однако любая из перечисленных тем, взятая отдельно, будет для романа тесна. А «Превратности метода» А. Карпентьера [1] и «Осень патриарха» Г. Гарсиа Маркеса? Антитоталитаристский пафос их бесспорен, но сколько других тематических и проблемных линий, далеких исторических параллелей, богатейшего фольклорно-мифологического арсенала вплетено в причудливый повествовательный узор. Именно переплетение тем и проблем в мировой литературе, именно синтез идейных и нравственных исканий, ведущийся писателями непохожих и даже несопоставимых на первый взгляд творческих почерков, составляет знаменательную особенность сегодняшнего литературного процесса.

Одна из самых болевых точек, нащупанных современной литературой,— фигура «обыкновенного человека» в контексте антифашистской темы. Кто они, «обыкновенные»? Антифашистский потенциал? Или опасный резервуар профашистских тенденций?.. То и другое — отвечает современная литература, обращающаяся к антифашистской тематике. Которая из этих возможностей одержит верх, зависит от выбора. И не только глобального, однократного, впечатляюще драматического. Сплошь да рядом проблема выбора предстает тоже «обыкновенной».

[1] См. «ИЛ» № 6, 7, 1976 г.

[1] См. «ИЛ» № 9, 10, 1977.

Чехословакия последних предвоенных лет. Гитлеровская разведка и пособники рейха изнутри страны бдительно следят за «антигермански настроенными элементами». Рабочим типографии предлагают явиться на службу в белых носках — по случаю дня рождения Гитлера (З. Плугарж. «Стеклянная дама»). «Лояльность» или «нелояльность» к фашизму определяется цветом носков.

Уже в наше время социологами Запада была разработана система тестирования, получившая название «Ф-пробы» (то есть пробы на фашизм). Вопросы в тестах специально подобраны как бы вне политики, идеологии, расовых осложнений — они нарочито строятся на «бытовых мелочах». Подобному тесту подвергает своих героев З. Плугарж. И как, оказывается, великолепно моделирует эта проверка состояние умов в среде «обыкновенных»!

«Имеет ли право начальник такое от нас требовать?» — мучительно соображает один работник... «А ты надень носки, но поверх натяни брюки подлиннее»,— советует другой... «Хорошо тебе говорить, а я все-таки немец»,— звучит сокрушенный ответ. Небольшой эпизод становится «конспектом романа» в целом. Ибо и на большом эпическом пространстве, очерченном З. Плугаржем, будет вставать — понятное дело, трансформируясь и приобретая различные конкретные оттенки — та же великая маленькая проблема: надеть или не надеть белые носки? Подчиниться или не подчиниться натиску фашизма?

Зоркость к любым проявлениям неофашизма особенно важна сегодня, когда система традиционных понятий капиталистического общества оказывается то и дело поставленной с ног на голову. Правые — левые, демократия — тоталитаризм, борьба за человеческие права — попрание прав... Полюса меняются подчас местами: крики о защите демократии успешно резонируют полицейским сиренам.

На контрасте зверского убийства трех ни в чем не повинных ирландцев и благолепно-пропагандистских похорон строит свою пьесу «Почетные граждане» Б. Фрил. С убийственным сарказмом изображает подобные перевертыши и западногерманский прозаик М. фон дер Грюн («Местами гололед») [1]. Роман последнего может быть назван «рабочим», и в этом не будет никакой жанровой натяжки. Но с не меньшим правом «Местами гололед» можно отнести к романам политическим и антифашистским.

Идиллия «производственного патриотизма» взрывается изобличением тотального подслушивания и доносительства: «Это вынюхивание взглядов и настроений недостойно демократического государства, это прямое преступление, вопиющее нарушение прав человека... Будьте бдительны! Сегодня же, немедленно! Завтра будет поздно!».

Призыв к «бдительности немедленно» актуален для всей современной прогрессивной литературы. Но немедленность не равнозначна поверхностному, упрощенно-сиюминутному пониманию задач политической борьбы. Особенно в сверхсложном нынешнем мире, где иные юные «протестанты» вешают на стену портрет Че Гевары рядом с бессмысленно-сладким, успокоительным плакатцем «Любовь — это любовь»; где лидеры Пекина в разгар вьетнамской войны заявляли — с полным спокойствием и совершенно всерьез: «Вьетнамский народ может бороться с врагом на своей родной земле из поколения в поколение» («Женьминь жибао», 27 марта 1967 года — выразительный комментарий к подобным заявлениям дал С. Юрков в статье «Пекинские герострать»).

«Парадоксов истории», подобных этим, не счесть. И потому бдительность в современных условиях требует прежде всего исторической дальнозоркости. Вторая половина XX века отмечена повышенным вниманием к истории. Внимание это окрашивается во все цвета эмоционального спектра: от панического страха в стане классово обреченных до растущего осознания людьми из народа своей личной причастности к ходу истории, своей личной ответственности перед тем, куда этот ход приведет.

Страх творит масс-культовские «мифы», пытающиеся подменить подлинное осмысление исторического процесса. Амплитуда такого мифотворчества широка: от пресловутой серии романов про Анжелику, где хитросплетения большой политики как с гуся вода скатываются с вечно обольстительной блондиночки,— вплоть до детективов и комиксов, в которых «историческая справедливость» является в облике полицейского комиссара или секретного агента-супермена. Сознание своей личной причастности к истории рождает и особенное социально-историческое самочувствие. Его хочется определить как «тройное зрение».

Произведения, появившиеся за последние годы во «Всесвите», по большей части обращены непосредственно к настоящему. Однако настоящее живет в ощущении авторов и героев как проекция прошлого и прогноз будущего. Понять «родословную» современного явления — значит не только глубже постичь его само, но и увидеть, чем оно станет завтра.

Художественный принцип «тройного зрения» вызвал к жизни особую литературную волну. Она вторично возвращается к эпохам, человеческим типам и конфликтам, вроде бы достаточно полно освещенным литературой «синхронной» — шедшей по горячим следам событий. Так, «Гнездо аиста» Я. Козака [1] неоднократно получало у критики название «чехословацкой «Поднятой целины». Сама тема — становление кооперативного хозяйства или организация колхозов; сочетание социально-напряженного конфликта с детальной психологиче-

[1] См. «ИЛ» № 6, 7, 1974 г.

[1] См. «ИЛ» № 7—9, 1978 г.

ской обрисовкой характеров и азартным вкусом к вещному, предметному миру; даже прямые параллели между персонажами (скажем, своенравная Зузка — и шолоховская Лушка)... Все это общее; но существенно и другое.

Явно используя художнические открытия Шолохова, Козак не менее отчетливо стремится реализовать возможности с е г о д н я ш н е й оценки процессов тридцатилетней давности. По-видимому, строго замкнув себя избранными хронологическими рамками, нигде не «вмешиваясь» в прошлое, писатель тем не менее судит о нем (и судит его) с позиций настоящего. Следовательно — и будущего.

В сущности, по такому же принципу созданы и «Стеклянная дама» З. Плугаржа, и «Плод гранатового дерева» Г. Аудерской. Тематически эти произведения объединены между собой (все они так или иначе могут быть отнесены к антифашистским), но как будто бы далеки от эпического полотна Я. Козака (по традиционной рубрикации — романа «историко-социального», или «посвященного жизни села»). Родственными их делает сопряжение времен, «тройное зрение» авторов.

«Плод гранатового дерева» знаменателен еще и в другом аспекте. Кажется, невозможно было после Б. Апица («Голый среди волков») написать что-либо более обнаженно-правдивое на тему, едва ли не самую беспощадную в «концлагерной» военной прозе: о детях в гитлеровских лагерях смерти. Г. Аудерская не побоялась взяться за нее снова. Нашему читателю такое «перерешение» трагедийной темы на иной ступени исторического опыта, исторического сознания напомнит о «Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина. Ведь и о блокаде Ленинграда было уже произнесено, как думалось, самое «последнее» — по прямоте и мужеству — писательское слово. Но и документальный эпос советских прозаиков, и «лирическое дознание» польской писательницы сказали об этом по-новому.

Польские подростки, обреченные на медленное умирание от голода или скорую гибель от эпидемий в лагерных бараках, не совершили никаких «особых» подвигов. Просто выжили. И остались людьми, поляками; не забыли о матерях и о Родине даже под насильно присвоенными, перечеркнувшими их жизнь лагерными именами. Это — подвиг, и это — воистину История. Всенародная История с большой буквы.

И напротив: какой приговор «благополучной» истории США выносится в стихах американских индейских поэтов Саймона Ортиса («Стихи о войне») или Юджина Тсо («Я голодал»):

Я голодал
а вы высадились на Луне...
Я голодал
а вы созвали комиссии
Я голодал
а вы требовали чтобы я платил
по вашим счетам за ракеты...
Я голодал
а вы говорили: «Закон и порядок
прежде всего».

Большая политика, «великая история» вызываются на очную ставку с голодным гражданином Америки — и этой очной ставки не выдерживают. Взаимная ответственность великого и малого, о которой шла речь в связи с антифашистской темой, подтверждается заново. Опять произведения несхожих жанров, далеких регионов оказываются вовлеченными в единую проблематику современного мира — проблематику и политическую, и философскую, и литературную.

«Контекст журнала» (в нашем случае «Всесвита») — явление вообще чрезвычайно интересное. Объединение произведений различных национальных культур и эпох, разных направлений и стилей под одной обложкой неискушенному глазу представляется достаточно внешним. Один читатель ищет в журнале прежде всего прозу, быть может, публицистику; другой предпочитает поэзию. Одних привлекают вещи злободневные, других — классика.

Однако журнальный контекст несводим к вкусовым категориям. Когда-то Е. Винокуров прекрасно сказал об органической целостности к н и г и стихов, которая отнюдь не равняется с у м м е отдельных стихотворений. В книге «происходит общение стихов. Идет какая-то общая подспудная жизнь... Я буквально слышу, как они переговариваются». Аналогичное «общение» возникает между разными публикациями журнала. И ни в чем, пожалуй, не проявляется эта «общая подспудная жизнь» так неожиданно (а в то же время так ярко), как в новом звучании классических творений.

Сегодняшнее обращение к классике нельзя уяснить вполне, если не учитывать моду на «ретро». О ней писалось у нас много и убедительно. М. Твен, словно предугадывая социологическую фальшь ретромифов, иронически вопрошал когда-то: «Неужели наши времена тоже назовут старым добрым временем?..» И впрямь: истинный политический и духовный драматизм европейской истории между двумя мировыми войнами «паракультуру ретро» не интересует. Прошлое предстает «Девушкой моей мечты». Языком стихов эти «пасторали XX века», где за воркующими голубками невидимо маячат зловещие «распятия», разоблачал мастер современной американской поэзии К. Пэтчен.

На фоне ретро обращение к классике настоящей, к не фальсифицированным духовным сокровищам прошлого играет совершенно недвузначную роль: роль п р о т и в о д е й с т в и я. Классика воспринимается не как музейный экспонат, но как опыт истории, выступающий против мифов истэблишмента. Как «соль» истории (Дж. Китс) — в противовес сахарину анти- или псевдоисторизма.

«Всесвит» уделяет классике много места и знакомит с нею в разных формах. Это

прежде всего регулярные подборки переводов. Диапазон их простирается от «Гильгамеша», от памятника древнеяпонской поэзии «Манъёсю», от нового прочтения «Гамлета» Л. Гребинкой до творчества писателей, ставших «классиками» на глазах нашего столетия (Р.-М. Рильке, Ф. Гарсиа Лорка, Я. Рицос и др.).

Кроме того, классику представляют биографические произведения (Я. Парандовский «Петрарка» [1], С. Х. Арбо «Сервантес», А. Моруа «Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго», А. Перрюшо «Жизнь Мане»), а также развернутые критические статьи, сопровождающие переводные подборки. Наконец, следует упомянуть серию фундаментальных очерков «Из истории мировой культуры», начатую в 1975 году. Воспринимая классические творения в прямом смысле рядом с современными, мы прочитываем классику по-другому — обновленно. Ее актуальность обнаруживает себя и многосторонней, и ясней. При этом классика начинает самым непосредственным образом воздействовать на писателей-современников. Далеко не случайным «совмещением профессий» кажется мне, например, переводческая деятельность Миколы Бажана. Если даже взять лишь последние несколько лет, за это время появились десятки его переводов — причем из сложнейших поэтов, таких, как Норвид и Гёльдерлин, Микеланджело и Рильке, Целан и Ивашкевич. Поборник философской, интеллектуально насыщенной поэзии в собственном творчестве, непримиримый оппонент «квазилиричности и псевдонародности» в своих статьях и эссе, Бажан утверждает аналогичные нормы и мерила своими переводами. Несомненно, для развития украинской поэзии труд этот даст очень многое.

О роли перевода в межкультурном взаимообогащении народов не раз говорил и Олесь Гончар. Опережая республиканскую критику, он едва ли не первым предугадал, какое большое значение будет иметь латиноамериканский роман для одной из интереснейших ветвей украинской прозы — фантастико-метафорической (используя прижившийся ныне термин — «химерной»).

Контакты между культурами — область постоянных открытий. При этом новое: писательские имена, художественные формы, национальные традиции — не просто расширяет и уточняет культурную карту мира. Новое переосвещает старое: факты, знакомые и привычные, открываются под неожиданным углом.

Так, поэзия эскимосов уводит читателя к праистокам того художественного мышления, которое в последующей своей эволюции (и, конечно же, в иных социальных условиях) дало современную литературу народов Крайнего Севера СССР. Но и обратное: знакомство с книгами Ю. Рытхэу или В. Санги облегчает наше читательское приобщение к этим первоистокам.

Не только с детства памятные романы Фенимора Купера или поэма о Гайавате — вся «индейская тема» в американской литературе подвергается суровому пересмотру, когда в диалог с ней вступают сами индейцы США. Подборки из индейской поэзии поражают. Это не «просто поэзия», не одно словесное искусство, это резко сдвинувшаяся точка наблюдения. Благодаря ей мы иначе видим индейский мир — но также и всю историю Соединенных Штатов.

Точно так же самоопределение литературы ирландской меняет ракурс нашего восприятия литературы английской (на это справедливо указывалось в статье, предварявшей переводы из Йитса).

Взаимодействие, взаимное «общение» художественных тем и жанров, национальных культур, историко-литературных традиций нельзя отграничить от битвы идей в сегодняшнем мире. Ведь в конечном счете сами социальные проблемы, решаемые сегодня человечеством, все очевиднее демонстрируют свою взаимосвязанность. Гуманистические ценности нельзя отстоять «отдельно» борьбой за духовное наследие прошлого, «отдельно» — развитием национальных творческих ресурсов, «отдельно» — сопротивлением буржуазному масс-культу. Все формы борьбы должны быть осознанны в едином общественно-историческом и идеологическом контексте.

Эту взаимосвязь подтверждает диалог культур, звучащий со страниц журнала «Всесвит».

М. НОВИКОВА

[1] См. «ИЛ» № 6, 1974 г.

Антирубрика

ЗАОЧНЫЙ КРУГЛЫЙ АНТИСТОЛ ЮМОРИСТОВ

Казалось бы, совсем недавно открыт в нашем журнале отдел «Антирубрика». А между тем с того времени — первая «Антирубрика» помещена в десятом номере за 1976 год — прошло уже несколько лет.

В канун 1979 года редакция журнала обратилась к юмористам разных широт, долгот и острот с анкетой. Вот она:

«Поэт Михаил Светлов говорил, что он может обойтись без необходимого, но без лишнего он прожить не может. Очевидно, юмор и принадлежит к тому, на первый взгляд, «лишнему», без которого жить нельзя.

Давались самые различные определения юмора. Но все исследователи — смехологи и смеховеды — сходились на том, что юмор делает нас не только веселее, а и жизнеспособнее.

Исходя из всего этого, редакция «Иностранной литературы» открыла «Антирубрику», которая и была отдана писателям — любителям и приверженцам юмора — в безраздельное владение.

Раз есть «Антирубрика», стало быть, нужна и «Антианкета».

Мы обращаемся к разным писателям с вопросами, на которые надеемся получить содержательные «антиответы»:

1. Ваше определение юмора. Если у вас его нет, какое определение юмора вам больше всего нравится?

2. Расскажите, пожалуйста, о смешном случае, который произошел с вами за границей.

3. Что вы могли бы предложить «Антирубрике»? Какою хотели бы ее видеть?

В заключение желаем вам от всего сердца, чтобы у вас было вдоволь всего — и необходимого и лишнего».

Первой мыслью редакции было: собрать ответы юмористов и устроить на их основе круглый стол. XX век — век симпозиумов, коллоквиумов, конференций и, конечно же, круглых столов.

Но затем, вспомнив, что речь идет не о простой рубрике, а о неповторимой «Антирубрике», редакция поняла, что вместо обычного круглого стола должен быть «антистол». Чем он отличается от обычного? Тот стоит на обыкновенных дубовых ножках, «антистол» держится на чистом воображении.

И вот за этим условным антистолом рассаживаются юмористы.

Первый вопрос антианкеты принадлежит к числу вечных проблем, над которыми издавна бьется человечество. В самом деле — говорят, от великого до смешного один шаг. Так какой же шаг и в какую сторону надо сделать, чтобы получилось смешно?

Слово берет **Джанни Родари** (Италия).

— Может быть, я и не прав,— говорит он,— но мне кажется, что юмор создается не жизнью, скорее это дело рук самих юмористов.

Однажды я видел двух почтенных, хорошо одетых синьоров, которые бросали друг в друга куски торта. Но это было в кино. Другой раз мне довелось увидеть корову, игравшую на арфе. Но то была карикатура. Я встречался также с неким чиновником, который гонялся за собственным носом, но встреча эта состоялась на страницах одного известного литературного произведения. Очевидно, действительность не обладает столь богатой фантазией, чтобы без вмешательства режиссера, писателя или художника веселить нас комическими сценами. Люди не смеются над тем, что

им встречается на пути. Они смеются над тем, что создают юмористы.

Могут сказать: а как же быть с определением юмора? Не знаю. Можно было бы, конечно, обратиться с вопросом к самому юмору: простите, пожалуйста, как бы вы сами себя определили? Думаю, однако, что с таким же успехом можно спросить у птицы, какой вид клетки она предпочитает.

— А может быть, точнее было бы сказать так, — говорит **Айзек Азимов** (США),— юмор — это чувство, вызванное внезапной и непредвиденной переменой угла зрения. И чем стремительнее, неожиданнее эта перемена, тем острее чувство смешного. Маленький пример.

Впервые в жизни я был приглашен выступить в телевизионной программе и очень этим гордился. Неделю спустя кто-то сказал, что видел меня по телевидению.

— Да,— ответил я с улыбкой,— меня показывали по телевидению.

Мой собеседник решил пошутить:

— Вы что, читали там объявления?

— Нет,— парировал я,— демонстрировал технику секса.

— О? — произнес он учтиво.— Вы еще помните?

Так из знатока любви, способного поделиться опытом, я превратился в болтливого и беспамятного старика. Все засмеялись. Засмеялся и я сам, признав себя побежденным.

— Примите и мой антиответ,— предлагает **Григорий Горин** (СССР).

Прежде всего должен отметить, что «антиответы»— не выдумка сатирического отдела «Иностранной литературы». К сожалению, они уже давно и прочно вошли в нашу жизнь, и мы ими пользуемся буквально на каждом шагу.

Например, на работе:

ВОПРОС: Николай Иванович, к вам— посетитель. Вы в кабинете или вас нет?

АНТИОТВЕТ: Верочка, я вас еще вчера предупредил, что уже неделю назад уехал в командировку!

На собрании:

ВОПРОС: Товарищ докладчик, скажите, когда наконец пустят горячую воду?

АНТИОТВЕТ: Товарищи, с волнением хочу вам сказать, что наше строительно-монтажное управление включилось в соревнование за досрочное выполнение первого квартала.

И т. д. и т. п.

«Антиответы» стали настолько модны и популярны, что сейчас уже более оригинальным выглядит просто ответ по существу поставленного вопроса, что я и собираюсь сделать...

Лучшим определением понятия «юмор» считаю то, которое дано в толковом словаре В. Даля: «Юмор (слово английское)— веселая, острая, шутливая складка ума, умеющая подмечать и резко выставлять странности обычаев, порядков или нравов».

Определение, естественно, не совсем полное, но вполне приемлемое. Однако и оно требует некоторых уточнений.

Тот факт, что «юмор»— слово английское, еще не значит, что до появления англичан человечество не острило. И в Древнем Риме, и в Древней Греции, и в Древнем Египте юмор существовал и высоко ценился по тогдашнему интеллектуально-валютному курсу. Конечно, в то время еще не могли додуматься до такого фейерверка остроумия, как, скажем, «Кабачок 13 стульев», но древние греки, римляне, египтяне все же шутили в меру возможностей. Вспомним хотя бы тот розыгрыш, который устроил Нерон, подпалив Рим, или изящный каламбур Архимеда насчет «тела, погруженного в жидкость», хотя естественней поступать наоборот.

Но и это еще не начало. В первобытном обществе, на заре человеческой цивилизации юмор тоже существовал, несмотря на тяжелые условия. Свидетельством тому является найденный археологами череп улыбающегося неандертальца, а также сохранившиеся первобытные анекдоты про тещу.

Вообще, я лично уверен, что юмор возник на земле сразу же с появлением человека. Как известно, животные смеяться не умеют. Правда, хохочут шакалы и гиены, но это у них чисто нервное.

Юмор — привилегия «хомо сапиенс»! Как только труд превратил обезьяну в человека, так человек сразу же отнесся к этому с юмором. И когда первый первобытный взял в руку палку, чтобы убивать, то второй, более остроумный первобытный, отнял у первого эту палку и пошел играть в городки.

Таким образом, проведя этот исторический экскурс, я могу ответить на первый вопрос так, как отвечают в Одессе: «Юмор — это юмор!» По-другому не скажешь. Будет более понятно, но не смешно...

— Все это верно,— соглашается **Марко Ганчев** (Болгария),— но можно сказать короче: юмор — самая добровольная вещь на свете. До сих пор никто не смог развеселить кого-нибудь насильно.

— А мне больше всего нравится такой девиз юмора,— говорит **Ласло Таби** (Венгрия): — «Видеть в малом значительное, а в большом—незначительное» (заметим в скобках, что за словами Ласло Таби — большой жизненный опыт. С 1945 по 1976 г. он был главным редактором журнала «Матьи Лудаш»— венгерского «Крокодила»).

— Если искать короткое определение юмора,— замечает **Эрскин Колдуэлл** (США),— предлагаю такое: юмор — это всеобщее признание братства между

людьми всех наций и языков без тех бед, которые принесла цивилизация.

— Смех по природе настолько свободен,— продолжает **Александр Мнродану** (Румыния), что он не укладывается в рамки какого-либо точного определения.

— А я,— берет слово **Петр Незнакомов** (Болгария),— не буду давать определения юмора. Расскажу лишь один случай. Однажды, еще в школьные годы, я оказался в центре внимания дружеской вечеринки. Я просто превзошел себя: острил, пародировал, гримасничал. Девочки плакали от смеха, рукоплескали, а ребята, мои соученики, сгорали от зависти. Смех женщин и зависть мужчин — вот что питает талант юмориста. Но... вечеринка подошла к концу. Мои приятели исчезали один за другим, и каждый уводил с собой девушку. И только я был один как перст.

Потом подобные истории повторялись бесконечно. Вот это и есть мое определение юмора: он всегда начинается со смеха, а кончается ощущением, что тебе не до смеху.

— Друзья!— восклицает **Леонид Ленч** (СССР),— уже дано много определений смешного, но самое смешное в том, что это смешное не стало нам более понятным. Предлагаю на этом первую, теоретическую, часть нашего круглого антистола считать законченной и перейти ко второму пункту, кажется, более простому: смешной случай в заграничной поездке. Здесь хоть по крайней мере не надо мудрить и симулировать мыслительный процесс.

— Случай, о котором я хочу рассказать, произошел во время моего свадебного путешествия,— неторопливо начинает **Марко Ганчев.**—Мы путешествовали втроем — взаимно влюбленные: я, моя жена и автомобиль. Естественно, все мы были еще молоды. Отправились мы в одну не очень далекую страну. Но для этого нужно было пересечь соседнюю страну. Я не знаю, как теперь, но тогда границу этих двух стран можно было пересечь только до заката солнца. Мы гнали свой несчастный автомобиль. Как в фильме с хэппи-эндом, мы подъехали к шлагбауму в самые последние минуты. Осмотр багажа, проверка документов — и шлагбаум поднялся. Но солнце уже село. И в соседнюю державу впустить нас не захотели ни при каких условиях. Вернуться же обратно мы тоже не могли, поскольку въездных виз у нас не было. Так мы остались между двумя барьерами ждать восхода солнца.

Я заявил своей жене, что объявляю себя главой государства княжества Интербарьерии, а ее — своей подданной. Она не на шутку испугалась и немедленно начала выполнять все мои приказы: приготовила мне ужин, постелила на троне постель, а утром разбудила меня возгласом: «Король, вас ждут великие дела!»

На следующий день, сразу же после восхода солнца, шлагбаум поднялся. Свадебное путешествие продолжалось. Но никогда уже я не мог вернуть себе такую же власть, которая была у меня в счастливом княжестве Интербарьерии.

Все взгрустили, и каждый начал думать о чем-то своем, заветном.

— Это случилось в Лиссабоне,— нарушает тишину **Петр Незнакомов.**— Я там был вместе с нашей футбольной командой. Она проводила свой последний матч. На следующий день мы должны были отправиться на родину. На аэродроме каждый турист, улетающий из Лиссабона, получал по одной маленькой бутылочке знаменитого португальского вина «порто». Это было традицией аэродрома. Бутылки получали в окошечке, где регистрировали билеты на самолет. Наша группа стала в длинную очередь, каждый отдавал свой багаж, получал вино и шел в зал ожидания. Я же купил литровую бутылку того же самого «порто» в одном из лиссабонских магазинов. У меня было правило — никогда не покидать чужую страну, не попробовав ее вина. Я нес эту бутылку в руке, собираясь вместе с товарищами выпить ее в самолете. Получив и маленькую бутылку, я запихнул ее в карман и отправился в зал ожидания. Внезапно там на меня налетел один из членов группы — это был не футболист, а какой-то спортивный деятель. С невероятной тревогой в голосе он спросил меня, почему мне дали большую бутылку. Не знаю, что меня на это подтолкнуло, но я самым спокойным голосом ему сказал, что это вопрос удачи — каждый десятый человек в очереди получает такую бутылку. Мой знакомый ужасно огорчился. Спустя пять минут я снова увидел его стоящим в очереди — он прошмыгнул где-то под веревкой и двигался к окошку. Там ему дали, как и полагалось, еще одну маленькую бутылку, но он категорически отказывался ее брать, показывая, как глухонемой, растопыренными пальцами на обеих руках, что он десятый в очереди и, следовательно, ему полагается большая бутылка — такая же, какую получили некоторые счастливчики до него. Очередь остановилась. Позвали переводчика группы, и через четверть часа инцидент был исчерпан. Но мой знакомый до самого приземления в Болгарии сердито ворчал, а может быть, ворчит до сих пор, думая, что его обманули, пожалели для него большую бутылку.

Эрскин Колдуэлл рассказывает, как однажды в самолете он нечаянно подслушал разговор двух самовлюбленных, завистливых писателей. Один обращается к другому:

— Я только что прочитал вашу автобиографию. Кто ее за вас написал?

— А кто ее вам прочел?

Григорий Горин признается, что ниче-

го смешного в его зарубежных поездках не было, очевидно, все впереди.

— Поэтому я перейду к третьему пункту нашего антистола: к пожеланиям «Антирубрике». Как только читатель начнет открывать «Иностранную литературу» с конца — можно будет сказать, что отдел сатиры и юмора стоит на правильном пути.

— Мне трудно что-нибудь посоветовать «Антирубрике»,— говорит **Джанни Родари,**— но я должен сказать, что она мне симпатична. Я поклонник приставки «анти». Могу похвастаться: однажды я изобрел «Антиточилку» для карандашей, которая не точит карандаши.

Александр Миродану предостерегает:

— Пусть «Антирубрика» будет живой, не становится скучной, не превращается в простую рубрику.

— И совсем не обязательно стараться только высмеивать других,— советует **Айзек Азимов.**— Наверное, лучший юмор — тот, что направлен против себя самого. Давайте не будем бояться такого смеха.

— А нельзя ли внести такое предложение,— раздумчиво произносит **Эрскин Колдуэлл,**— чтобы всех поэтов обязали перестать писать стихи и заставили перечитать все, что они написали раньше?

— Я бы хотел увидеть на страницах «Антирубрики» произведения моих друзей,— мечтательно произносит **Леонид Ленч.**— Азиза Несина (Турция), Василя Цонева, Христо Пилитева, Генчо Узунова (Болгария), Руди Штраля (ГДР), Валентина Сильвестру (Румыния), Стефании Гродзеньской, Анатолия Потемковского (Польша), Ласло Таби (Венгрия).

— Жребий брошен, Антирубрикон перейден!— торжественно восклицает **Марко Ганчев.**— Меньше древнего юмора, старинных шуток, да здравствует сегодняшний смех!

— Человечество как никогда нуждается в смехе! — ободряет участников круглого антистола **Петр Незнакомов.**

И юмористы расходятся, спеша к письменным столам. Их радует и веселит сознание своей необходимости.

Антистол юмористов подготовил
ЗИНОВИЙ ПАПЕРНЫЙ

■

ШВЕДСКИЙ ЮМОР

ЛАРС ЮЛЛЕНСТЕН

Ars Amandi[1]

Перевод со шведского КАТАРИНЫ МУРАДЯН

Одна типичная история с типичным счастливым концом.

Некто, студент юридического факультета Упсальского университета, из благопристойной семьи, питал глубокую склонность к литературным занятиям. Особенно его увлекала лирика, и он поглощал стихи безостановочно и без разбора. Он и сам грешил иногда сочинительством и часто читал свои опусы очень громко и выразительно много раз подряд для себя самого, но, что еще печальней, для других тоже. Он имел смелость и печатать свои произведения в изданиях, предназначенных для гимназистов и студентов. А еще Некто интересовался музыкой и играл на флейте.

На первом весеннем балу он встретил студентку — блондинку, которая изучала историю литературы, скандинавские языки и историю. К концу вечера он был уже окончательно влюблен в нее. После бала они целовались в Дворцовом парке, где она призналась, что отвечает взаимностью на его чувство. Некто вернулся домой в шесть часов утра, когда рассвело и птицы бодрствовали.

Они встречались каждый день, целовались. Он читал стихи. Он думал о ней неотступно и написал следующий стих под названием «Китайская ночь»:

Моя любовь
почти прозрачная флейта
маленькая нефритовая флейта.
Голубое небо
в окно проникает ночная прохлада.
Шторы колышет ветер.
Некто в комнате
играет
на почти прозрачной флейте
нефритовой флейте.

По окончании семестра она должна была поехать на летние каникулы к родителям, а Некто должен был отправиться на военные сборы. Сердца их наполнились тоской и болью. Они удрали из Упсалы, прихватив с собой еду и флейту. С загородного уик-энда они вернулись с мучительными угрызениями совести. Этот факт молодой человек запечатлел в следующем стихотворении:

Весна нас сбила
с пути. Мы заблудились
под кронами берез.
Под венцами.
Под венцами.

Это было уже немного лучше. Перед тем как разъехаться на каникулы, они обручи-

[1] Искусство любви (*лат.*).

лись. Летом они переписывались, и особенно усердно в июне. Но уже в августе эпистолярный роман чуть-чуть притормозился.

В конце осени угрызения совести уже почти не мучили их. Молодой человек уже не столь часто читал свои стихи. Он отметил также, что девушка уже не так напряженно и внимательно слушает его, как весной.

Он сделал еще одно открытие: существуют и осенние балы.

Однажды после очередного бала он вернулся домой, проводив свою невесту. Мысли его блуждали. Блуждали вокруг одной студентки, которую он встретил накануне вечером. Он понял, что именно ОНА может понять до конца его и его стихи. А еще он понял, что у нее прекрасный бюст. Он сочинил стихотворение под названием «Свечение моря». Он, правда, еще не совсем понимал, кого именно он имеет в виду, свою невесту или новую девушку. Вполне вероятно, что и ту, и другую. Наверняка он думал о них обеих.

Свечение моря.
Едва-едва
мои руки
прикасаются
к тебе
мои глаза
мои уста.
Ты свечение
моря.
Свечение моря.

В конце февраля невеста рассталась с юристом. После душераздирающих признаний выяснилось, что она любит другого. А он почувствовал, что любовь вернулась к нему после того, как она призналась, что любит другого. Он написал следующее стихотворение:

Зима.
Зима поселилась в парке.
Снег на ветвях деревьев.
На подоконниках
белый как слоновая кость.
Угольки пылают алые
алые как ее уста
той с которой я только что
расстался навсегда.
С грустью я играю на флейте
на моей флейте из слоновой кости.
Она пылает кажется
горящая как уголь
но ее уста
алые слишком алые
кажутся прохладными
холодными как снег.

Через несколько дней молодой человек понял, что вновь вспыхнувшая любовь была лишь рецидивом уязвленного мужского самолюбия, прекрасно сдал экзамены.

Следующей весной он уже целовался с двумя другими студентками, а потом с другими и другими.

После чего первая любовь молодого человека была сдана в архив его воспоминаний. Он успешно служил Немезиде, и, когда дослужился до прокурора верховного суда, умер его отец. Благодаря своему юридическому образованию молодой человек оттяпал у своих родственников львиную долю наследства.

ТАГЕ ДАНИЭЛЬССОН

МЕДИТАЦИИ В БУДКЕ СУФЛЕРА

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ,— хорош актер;
Едва передвигается по сцене,
Еще и принца корчит из себя.
ИЛЬ, ОПОЛЧАСЬ НА МОРЕ СМУТ, СРАЗИТЬ ИХ
ПРОТИВОБОРСТВОМ? Вряд ли до конца
Спектакля он продержится, бедняга,
На сцене рухнет — КАК ТАКОЙ РАЗВЯЗКИ
НЕ ЖАЖДАТЬ? Мне, суфлеру... УМЕРЕТЬ,
УСНУТЬ! И встать актером — ВОТ В ЧЕМ ТРУДНОСТЬ;
А если мы, суфлеры, забастовку
Объявим,— СБРОСИМ ЭТОТ БРЕННЫЙ ШУМ...
Потребуем прибавки, ГДЕ ПРИЧИНА
ТОГО, ЧТО БЕДСТВИЯ ТАК ДОЛГОВЕЧНЫ;
Принц в стельку — впереди еще два акта.
ГНЕТ СИЛЬНОГО, НАСМЕШКУ ГОРДЕЦА,
Когда я, наконец, разбогатею,
ЗАНОСЧИВОСТЬ ВЛАСТЕЙ И ОСКОРБЛЕНЬЯ,
Я собственный открою театр — тогда
КОГДА Б ОН САМ МОГ ДАТЬ СЕБЕ РАСЧЕТ
Я выучил бы эти монологи,
Чтоб не искать спасения в суфлерах,

Я и без них все помнил бы прекрасно.
БЕЗВЕСТНЫЙ КРАЙ, ОТКУДА НЕТ ВОЗВРАТА,
Увольте, быть суфлером не хочу,
...ВНУШАЯ НАМ ТЕРПЕТЬ НЕВЗГОДЫ НАШИ
И НЕ СПЕШИТЬ? Суфлеру стать актером?!!!
ТАК ТРУСАМИ НАС ДЕЛАЕТ РАЗДУМЬЕ
И ТАК — какой длиннющий монолог!
Нет, быть актером — тоже не подарок.
И НАЧИНАНЬЯ, ВОЗНЕСШИЕСЯ МОЩНО,
Так, может, лучше уж суфлером быть?
ТЕРЯЮТ ИМЯ ДЕЙСТВИЯ.
НО ТИШЕ!
ОФЕЛИЯ! (Ну, ты, не видишь, что ли, что
Офелия пришла? Да кончился, кончился
монолог, сейчас она с тобой поздоровается,
не забудь ей ответить).

ПЕККА ЛАНГЕР

ПРОШЕНИЕ ПО ПОВОДУ РУКИ ПРИНЦЕССЫ МАРГАРЕТЫ

Королю

Подписавшийся под нижеследующей эпистолией — проситель руки принцессы Маргареты. Причиной, побудившей обратиться к Вам с этим прошением, является моя пылкая страсть к принцессе, потому что уж очень она мне нравится. И совсем не потому, что она принцесса. То есть, конечно, можно быть принцессой, и очень даже хорошенькой. Но принцесса Маргарета сначала очень мила, а потом уже она принцесса.

Впервые я увидел принцессу, когда ее посещала английская королева. Королева тоже ничего — вполне смазливая, но принцесса еще даже лучше. Я вообще заметил, что принцессы обычно более хорошенькие, чем королевы. И тогда я ее увидел — принцессу то есть. Она стояла во дворце и помахала мне рукой из окна. Так поверите, что-то во мне екнуло. Я надеюсь, Его Величество Король поймет меня. (Ведь короли тоже когда-то бывают молоды). Да, так все началось. Потом я много раз звонил, но принцесса вешала трубку. Я понимаю, принцессы целомудренны и избегают случайных знакомств. Так как Вы считаете, Ваше Величество? Что касается меня, то я готов к свадьбе когда угодно, хоть сейчас, и я надеюсь, что мое чувство взаимно. Нет, Вы ради бога не подумайте, что я какой-нибудь легкомысленный юнец... Я все предусмотрел. Когда я решил жениться, я пошел к своему шефу и попросил у него о повышении. Он спросил, а по какому, собственно, случаю? А я ответил: «А по случаю моей предстоящей женитьбы...» Он сказал, что на свете есть великое множество умалишенных, которые уже женились, а еще больше таких, которые собираются это сделать, так что же, теперь каждому подавай повышение? Но когда я ему объяснил, что собираюсь жениться на принцессе, он немножко смягчился и сказал: «О, конечно, на принцессе — это совсем другое дело... Тогда повышение вам гарантировано...».

Так что, как видите, Ваше Величество, я обо всем позаботился.

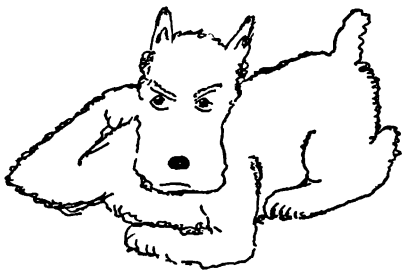
Мои родители были немножко удивлены, когда я им сообщил о своем решении. Но ведь главное, чтобы бракосочетающиеся нравились друг другу, так ведь, Ваше Величество? Зато моя тетушка Эльза очень рада предстоящему с Вами знакомству, Ваше Величество.

Все будет хорошо, вот увидите, Ваше Величество.

Всех Вам благ!

Преданный короне
Эрик.

ДЖЕЙМС ТЭРБЕР



Собака, которая кусала людей

Перевод с английского АЛЕКСЕЯ СМИРНОВА

Наверно, никто не имел в своей жизни так много собак, как я, но они доставляли мне скорее удовольствия, чем огорчения, за исключением эрдельтерьера по кличке Магс. Он причинил мне много неприятностей, больше чем пятьдесят четыре или пятьдесят пять собак, хотя серьезные затруднения у меня были с шотландским терьером Дженни. Дженни как-то произвела на свет шесть щенков в платяном шкафу в квартире на четвертом этаже в Нью-Йорке и вдруг неожиданно ощенилась седьмым, и последним, на углу Одиннадцатой улицы и Пятой авеню во время прогулки, на которой она сама настояла. Был у меня и французский пудель, огромный, черный — ничего общего с белыми, безобидными, миниатюрными созданиями. Однажды во время поездки со мной в открытом автомобиле на выставку собак в Гринвиче пуделю стало не по себе. На нем был красный резиновый нагрудник, завязанный вокруг горла, и когда мы находились на полпути от Бронкса, разразился ливень. Мне пришлось держать над пуделем небольшой зеленый зонтик, напоминающий зонтик от солнца. Дождь хлестал ужасно. Внезапно шофер нашего автомобиля въехал в большой, хорошо оборудованный гараж. Это произошло так быстро, что я забыл опустить зонтик. Мне неприятно вспоминать, с каким недоверием и ненавистью посмотрел на нас механик. Ему, вероятно, вздумалось узнать, что нам здесь нужно. Все работники гаражей и люди такого же нетерпимого характера ненавидят пуделей с их курьезной стрижкой, особенно с помпонами, которые приходится оставлять на их бедрах, если вы хотите, чтобы собаки получали призы.

Но этот эрдельтерьер, как я уже говорил, был худшей из всех моих собак. Собственно, он фактически и не был моей собакой: однажды летом я возвратился домой после отпуска и узнал, что брат Рой купил его в мое отсутствие. Большая и сильная холерическая собака всегда вела себя так, словно думала, что я не член нашей семьи. А принадлежность к семье давала одно небольшое преимущество: собака кусала нас реже, чем посторонних. И все же за то время, что псина жила у нас, она искусала всех, кроме матери, причем однажды бросилась и на нее, но промахнулась. Это случилось в том самом месяце, когда у нас неожиданно завелись мыши. Ни у кого никогда не было таких мышей, какие появились у нас. Они вели себя как дрессированные. Как-то вечером мать устраивала обед для клуба «Фрайрлайрас», к которому она и отец принадлежали двадцать лет. Она поставила на пол в буфетной много маленьких блюдец с едой. Мыши были настолько деликатны, что вполне довольствовались этим и не показывались в столовой. Магс оставался в буфетной, вместе с мышами. Он лежал на полу и негромко рычал — но не на мышей, а на гостей, собравшихся в соседней комнате, на которых ему так хотелось бы наброситься. Улучив свободную минуту, мать прокралась в буфетную, чтобы выяснить, как там обстоят дела. Дела были прехорошенькие. Мать просто перестала владеть собою, когда увидела, что Магс лежит там, не обращая никакого внимания на мышей,— они быстро подбежали и облепили ее,— и тогда мать шлепнула собаку, а та кинулась на нее, но промахнулась. Мать отметила, что Магс сразу пожалел о случившемся. Она утверждала, что он всегда чувствует свою вину, когда кусает кого-нибудь, но мы не могли понять, каким образом она об этом догадывалась.

Каждое рождество мать посылала по коробке конфет тем, кого укусил наш эрдельтерьер. Этот список в конце концов возрос до сорока или более фамилий. Никто не мог понять, почему мы не избавимся от

собаки. Я тоже ничего не понимал, но мы так и не отделались от нее. Мне казалось, что один или два человека пытались отравить Магса — временами он вел себя так, будто проглотил отравленную пилюлю, а старый майор Моуберли выстрелил в него однажды из боевого револьвера вблизи отеля «Сенека» на Ист Броуд-стрит, но Магс прожил после этого почти до одиннадцати лет и даже тогда, когда с трудом передвигался, укусил одного конгрессмена, который зашел к отцу по делу. Этот конгрессмен матери никогда не нравился — она говорила, что знаки его гороскопа показывают, что ему нельзя доверять (он родился под знаком Сатурна, когда луна проходила в созвездии Девы), но на рождество она все-таки послала ему коробку конфет. Он немедленно возвратил ее назад, видимо подозревая, что конфеты с подвохом. После того как собака укусила его, мать убеждала себя, что все это к лучшему, несмотря на то, что отец потерял важное деловое знакомство.

— Я бы не имела дел с таким человеком,— говорила мать,— Магс видел его насквозь.

Обычно мы по очереди кормили Магса, чтобы заслужить его расположение, но это не всегда помогало. Он не бывал в хорошем настроении даже после еды. Никто определенно не знал, что с ним происходило, но по каким-то причинам он оставался раздражительным, особенно по утрам. Мой брат Рой тоже никогда себя не чувствовал достаточно хорошо по утрам, особенно перед завтраком, и однажды, когда он спустился вниз и увидел, что Магс с угрюмым видом жует утреннюю газету, он запустил ему в морду грейпфрутом и затем прыгнул на обеденный стол — расшвырял блюда, столовое серебро и расплескал кофе. Магс без труда перепрыгнул через стол, стукнулся о медный каминный экран, но через мгновение снова оказался на ногах и в конце концов настиг Роя и злобно укусил его в ляжку. На этом все кончилось: он никогда никого не кусал более одного раза. Мать всегда приводила это обстоятельство как аргумент в его пользу. Она утверждала, что он вспыльчив, но без причины не злится. Она беспрестанно защищала его. Мне кажется, она так сильно любила его потому, что он не мог похвастать своей силой.

— Он не сильный,— обычно говорила мать, но это было не совсем так. Магс здоровьем не отличался, но был достаточно силен.

Как-то мать отправилась в отель «Читенден» к одной женщине — лекарю-психоаналитику, которая читала лекции в Колумбусе на тему «Гармонические вибрации». Мать хотела выяснить, можно ли вселить гармонические вибрации в собаку.

— Это большой эрдельтерьер рыжевато-коричневого цвета,— объяснила она.

Исцелительница ответила, что никогда не лечила собак, но посоветовала матери стараться думать, что наш эрдельтерьер не кусается и не будет кусаться. Утром следующего дня мать старательно думала об этом, а Магс тем временем укусил мороженщика.

— Если бы вы не боялись, что он укусит вас, он бы вас и не укусил,— сказала мать мороженщику.

Мороженщик выскочил из дома со страшными звуковыми вибрациями.

Однажды утром, когда Магс слегка укусил меня, вроде как бы между прочим, я внезапно нагнулся, быстро схватил его за короткий и толстый хвост и поднял собаку в воздух. Поступать так было безрассудной храбростью, и последний раз, когда я видел мать, около шести месяцев тому назад, она сказала, что до сих пор не может понять, что же тогда нашло на меня. Я сам этого не понимал. Но в тот момент я был прямо как помешанный. Пока я держал собаку за хвост над полом, она не могла броситься на меня, но так вертелась, дергалась и рычала, что я почувствовал, что не смогу больше держать ее так. Я отнес Магса на кухню, швырнул на пол и захлопнул дверь в то самое мгновение, когда он, бросившись на меня, с шумом ударился об нее. Но я забыл о черной лестнице — Магс поднялся по черной, спустился по парадной лестнице и в гостиной загнал меня в угол. Мне удалось вскочить на каминную полку. Она со страшным стуком рухнула вниз, увлекая за собой мраморные часы, несколько ваз, и сам я тяжело грохнулся на пол. Магс был настолько встревожен всем этим шумом, что исчез еще до того, как я поднялся с пола. Мы нигде не могли его найти. Вечером, после обеда, к нам зашла старая миссис Детвэйлер. Когда-то Магс укусил ее за ногу, и миссис Детвэйлер согласилась войти в гостиную лишь после заверения, что Магс удрал. Но только она уселась, как Магс, громко рыча и царапая когтями, появился из-под кушетки, где он спокойно скрывался все это время, и снова укусил ее. Мать осмотрела укушенное место, положила на него арнику и сказала миссис Детвэйлер, что это всего-навсего синяк.

— Он только ударился о вас,— заметила она. Однако миссис Детвэйлер ушла от нас в отвратительном настроении.

Много людей заявляло о нашем эрдельтерьере в полицию, но в то время отец занимал должность в муниципалитете и был с полицией на дружеской ноге. Тем не менее полицейские побывали у нас дважды — один раз, когда Магс укусил миссис Рифес Стартевэнт, и второй, когда он укусил вице-губернатора Мэллоя, но мать заявила, что виноват не Магс, а люди, которых он кусает.

— Когда он подходит к ним, они визжат,— объяснила мать.— Это возбуждает его.

Полицейские предположили, что неплохо было бы собаку связать, но мать сказала, что это унизит собачье достоинство и Магс откажется от еды.

АНТИРУБРИКА

Кормежка Магса представляла собой зрелище необычайное. Из-за опасения, что он будет кусаться, мы всегда ставили миску с едой Магса не на пол, а на кухонный стол, рядом с которым стояла скамейка. Магс обычно прыгал на скамейку и таким образом дотягивался до стола. Я вспоминаю, что дядя матери Горацио, который хвастался, что был третьим по храбрости человеком во время сражения у Мишнэри Ридж, кипел от негодования, когда узнал, что мы кормим собаку на столе, потому как не решаемся ставить миску на пол. Он заявил, что не боится ни одной из существующих на свете собак и обязательно поставит миску на пол, если мы ее дадим ему. Рой заметил, что если бы дяде Горацио удалось покормить Магса на земле перед самым сражением, он был бы первым по храбрости у Мишнэри Ридж. Дядю Горацио охватило неистовство.

— Приведите его! Приведите его немедленно! — кричал он.— Я буду кормить эту... на полу!

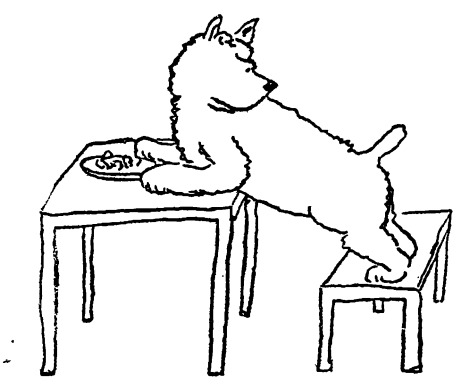
Рой был целиком за то, чтобы предоставить ему такую возможность, но отец и слышать не хотел об этом. Он сказал, что Магса уже кормили.

— Я еще раз накормлю его! — вопил дядя Горацио. Потребовалось некоторое время, чтобы успокоить его.

В последний год своей жизни Магс обычно проводил чуть ли не все время на открытом воздухе. По тем или иным причинам он не любил оставаться в доме: возможно, там его беспокоили слишком неприятные воспоминания. Во всяком случае, мы с трудом уволакивали его в помещение, и в результате мусорщик, мороженщик и рабочий прачечной избегали подходить близко к дому. Мы были вынуждены таскать мусор за угол, носить белье в прачечную и встречать мороженщика на расстоянии квартала от дома. Но наконец мы нашли хитроумный способ заманивать собаку в дом, когда снимали показания с газового счетчика и тому подобное. Магс боялся только грозы и молнии. Гром и молния страшно пугали его (мне кажется, в тот день, когда рухнула каминная полка, он подумал, что началась гроза). Он вбегал в дом и заползал под кровать или прятался в чулане для одежды. Тогда мы придумали специальное приспособление, которое производило гром, соорудив его из длинного узкого листа железа и деревянной палки. Мать изо всех сил трясла этим листом железа, когда хотела заманить Магса домой. Имитация грозы, наверное, была самой страшной системой ведения домашнего хозяйства, которое когда-либо существовало.

За несколько месяцев до смерти у Магса появились «галлюцинации». Негромко рыча, он медленно поднимался с пола и куда-то крался на онемевших ногах, вовсе никому не угрожая. Иногда то, к чему он крался, находилось правее или левее от посетителей, что приходили в наш дом. Однажды с торговцем из фирмы «Фуллер Браш» случилась истерика. Магс, как Гамлет, следовавший за духом своего отца, блуждая, забрел в комнату. Его взгляд остановился немного левее от человека из «Фуллер Браш», застывшего на месте, когда Магс был от него в трех шагах медленного хода. Потом этот человек закричал. Покачиваясь, Магс двинулся мимо него, но торговец продолжал кричать. Наверно, матери пришлось вылить на него кастрюлю холодной воды, чтобы он замолчал. Обычно таким способом она раньше останавливала нас, ребят, когда мы затевали драки.

Магс умер совершенно неожиданно в одну из ночей. Мать хотела похоронить его на семейном кладбищенском участке под мраморным камнем с такой надписью: «Да успокоит тебя пение летающих ангелов»,— но мы убедили ее, что это противоречит закону. В конце концов мы лишь установили гладкую доску над его могилой на краю уединенной дороги. На доске я написал химическим карандашом: «Cave Canem» («Берегись собаки»). Мать была вполне удовлетворена простотой и классическим достоинством этой старой латинской эпитафии.



ЛАСЛО ТАБИ

Об одном критике

Перевод с венгерского ЕЛЕНЫ ТУМАРКИНОЙ

— А теперь пойдем домой, Марика. Ты мне сваришь черного кофе покрепче, и я сегодня же ночью напишу рецензию об этой ерунде, которую осмелился написать в своей новой пьесе Цобор.

— Но ведь ты сказал, что это хорошо!

— Когда я это сказал?

— В антракте.

— А, вот оно что. Но я имел в виду антракт, дорогая, ибо пьеса плохая.

— Мне понравилась. И я видела, что другим тоже. Не скажу, что я не видела лучших пьес, но это была очень хороша, милый. Очень культурно написана. И человечная. Я видела, что ты даже прослезился.

— Просто у меня возобновился конъюнктивит.

— Но теперь у тебя на глазах нет слез.

— Конъюнктивит прошел. Сколько он может длиться?

— А что тебе не понравилось в этой пьесе, милый?

— В ней не отражено.

— Что именно?

— Откуда мне знать, если в ней не отражено? Это не типично.

— Что не типично?

— Типичность не типична. И вообще все. И она затянута.

— Почему затянута?

— Потому что ее затянули, милочка. Ты этого не поймешь. Ты не заметила, что ее затянули?

— Интересно... Нет!

— Ну, конечно, потому что ты не критик.

— Да и ты не критик. Просто ты сейчас будешь писать рецензию. И я уже чувствую, что ты раскритикуешь Цобора.

— Так оно и есть. Я его раскритикую, выпущу из него потроха, разрежу на части.

— К сожалению, ты груб, дорогой мой. И зол. Зачем тебе резать Цобора?

— Мне, Марика, во-первых, надо зарезать Цобора потому, что если я его не зарежу, то послезавтра его зарежет Мишански из «Будапештских новостей». И тогда станут говорить, что я менее требователен, и не так сведущ, и более либерален, чем Мишански. Во-вторых, я должен зарезать Цобора, потому что кого же резать, если не Цобора? И в-третьих, Цобора надо зарезать, потому что авторов нужно резать.

— Возьми платок, у тебя на губах пена, дорогой, и скажи: если ты так будешь обращаться с Цобором, кто станет писать новые венгерские пьесы?

— Раз ты такая оппортунистка, Марика, можешь не варить мне кофе. Я даже не приму его от тебя. Критика должна быть суровой и конструктивной. О том, достаточно ли она сурова, скажет Цобор. О том, достаточно ли она конструктивна, скажу я. С Цобором надо обращаться строго, потому что он талантливый писатель.

— А если бы он был бездарным?

— Тогда почему бы с ним не обращаться строго?

— Цобор молод.

— Значит, у него есть время сделать выводы.

— Цобор стар.

— И тогда еще не поздно.

— Цобор коммунист.

— Значит, он должен уметь прислушиваться к критике.

— Цобор не коммунист.

— Значит, ему надо показать правильный путь.

— Скажи, мой дорогой... Ты не мог бы написать о пьесе Цобора так же уважительно, как, предположим, в прошлом году писал о каком-то французском авторе?

— Нет, Марика, потому что если бы я зарезал француза, в Париже мой авторитет не стал бы выше. Но если я зарежу Цобора, то здесь, в Будапеште, меня будут считать умным, знающим и сильным.

— Тебя вообще-то интересует венгерская драма?

— Разумеется. Но только хорошая венгерская драма.

— А что ты называешь хорошей венгерской драмой?

— Хорошей венгерской драмой я называю такую, которую напишут в будущем. Ну, мы пришли, Марика, доставай ключ!

◆

Наши гости

Джилиан Кларк, Мейк Стивенс, Джераллт Джонс

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Многое из сказанного литературным директором Совета искусств Уэльса, поэтом и ученым Мейком Стивенсом, поэтом, переводчиком и эссеистом Джераллтом Джонсом и преподавательницей колледжа искусств, редактором журнала «Энгло-Уэлш ревю» Джилиан Кларк перекликалось с тем, что несколько месяцев тому назад мы услышали от приходивших в редакцию шотландских литераторов[1]. И это вполне естественно — Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию объединяет стремление добиться экономического и политического равноправия, возродить национальную культуру. В Кардиффе не патрулируют, как в Ольстере, солдаты королевской армии и не гибнут от осколков снарядов дети. Но менее ли трагична судьба валлийского народа, практически утратившего свой язык, свою культуру!

— А ведь Уэльс можно считать колыбелью Англии,— говорит Джераллт Джонс.— Валлийцы — прямые потомки бриттов и кимров, древнейших кельтских племен, населявших наши острова. Саксы, пришедшие к нам в V веке, сумели подчинить себе все королевство, кроме Валлиса. Хроники времен норманского завоевания повествуют о том, как валлийцы сражались за религиозную и гражданскую независимость. Особенно отличился в борьбе против иноземных поработителей поэт Жиро де Барри. Одним из первых действий норманской власти было искоренение духовной автономии. «В жизни не допущу, чтобы валлийцы имели архиепископа»,— говорил король Генрих I.

Французский историк XIX века Огюстен Тьерри в своем сочинении «История завоевания Англии норманнами» пишет: «Действительно, в XII столетии в Европе было очень мало людей, заботившихся о том, чтоб последний остаток древнего кельтского населения не совершенно потерял свою независимость. К такому несчастью у чужестранцев не было тогда большого сочувствия; но в самой середине страны валлийцев, куда страх норманского копья еще не проник, труды Жиро для валлийского отечества составляли общий предмет разговоров... При дворе Левеллина, главы всей Северной Камбрии, во время торжественного пиршества один из бардов встал из-за стола и взял арфу для восхваления Жиро: «Пока будет существовать наша страна, да напоминает о его благородной смелости перо пишущих и уста поющих».

— С тех пор,— продолжает Джонс,— «перо пишущих и уста поющих» восхваляют подвиги народных героев. Общественная, социальная функция поэтического слова, таким образом, чуть ли не изначально присуща нашей поэзии. Сегодня все чаще сталкиваешься с пристальным вниманием литераторов к исконно валлийской культуре. И как следствие этого — стремление молодых писать на родном языке. Правда, сталкиваешься и с другой стороной явления. Вот Дилан Томас, поэт англоязычный, добился всемирной славы. А сколько талантливых писателей Уэльса вовсе не известны зарубежному читателю!

Мы говорим нашим гостям, что советский читатель знаком не только с Диланом Томасом. «Литературная газета» опубликовала стихи Мейка Стивенса; в подборке «Молодые поэты Великобритании», напечатанной в «Иностранной литературе»[1],

[1] См. «ИЛ» № 7, 1978.

[1] См. «ИЛ» № 2, 1976.

поэзия Уэльса представлена стихами Глина Хьюза. Роман Нормана Льюиса «От руки брата его»[1], посвященный жителям Уэльса, тоже печатался на страницах нашего журнала. Впрочем, можно ли творчество Нормана Льюиса, родившегося в семье валлийцев, получившего образование в средней школе Юго-Западного края Уэльса, а потом — в Лондонском университете, пишущего на английском, с определенностью причислить к какой-нибудь одной из этих двух культур?! Вряд ли. И тем не менее стремление к дифференциации в подходе к явлениям литературы обусловлено как общественно-экономическими факторами, так и многовековой традицией. Льюис пишет о Кросс Хэндсе, месте действия романа «От руки брата его»: «...Британская металлургическая компания, в просторечии «Металл», построила здесь завод, владела всеми домами в деревне, давала работу ее жителям».

— Промышленная революция не только сломала патриархальный уклад жизни валлийского крестьянина, она оказалась губительной для нашей культуры,— замечает Стивенс, автор большого исследования «Лингвистические меньшинства Западной Европы».—В начале XX века на родном языке говорило 76 процентов трехмиллионного населения Уэльса, теперь — всего лишь 21 процент. Промышленные города, такие, как Кардифф, поглощали все больше и больше народу; бросая родные места, люди расставались и с языком — они стремились адаптироваться в городе, стать «такими же», как англичане...

— Двуязычие валлийцев,— добавляет Джилиан Кларк,— это чрезвычайно важный, если не определяющий фактор исторического прошлого и современной действительности Уэльса. И потому журнал «Энгло-Уэлш ревю» преследует не только информативные или даже просветительские цели, он призван служить мостом между двумя столь тесно переплетенными культурами.

Мы просим Джилиан рассказать о работе редакции.

— Редакции? — улыбается она. — Это сказано несколько громко. Нас всего двое, а наше «помещение» — письменный стол у меня дома. Конечно, трудновато делать большой журнал вдвоем, да еще бесплатно. Но мы не унываем. Если говорить серьезно, то наша задача — представить читателю панораму современной английской и валлийской литературы, мы публикуем прозаические и поэтические произведения, критические статьи и рецензии. На наших страницах фигурируют имена как маститых валлийских писателей, так и начинающих свой путь в литературе. Среди них—Джордж Эварт Эванс, Эмир Хамфриз, Лесли Норрис, Глин Джонс.

А в заключение нам рассказали о том, что составляет предмет гордости валлийцев, о празднике, который живет в народе вот уже восемь столетий,— о фестивале поэзии. Вернее, не рассказали, потому что то не было бесстрастное изложение фактов — наши гости упоенно читали вслух стихи, дополняли друг друга (а порой и перебивали), а самые «драматические» места разыгрывали в лицах. Мы слушали и думали: как все-таки здорово, что люди не утратили способности — желания! — радоваться... Вот краткая запись услышанного:

Каждый год в каком-нибудь городе Уэльса валлийцы собираются на фестиваль поэзии. В последнее время он превратился в национальный праздник, порой в нем участвуют до тридцати тысяч человек. Победителю вручают премии — кресло и корону. Корону — за стихотворение, написанное в свободной манере, а кресло — за стихотворение, выполненное по законам консонантной системы.

Еще в XII веке в Валлисе возникли школы бардов, где и были разработаны каноны валлийского стихосложения. Его особенность — консонантная рифма. Вы, верно, знаете великого поэта Уэльса Дэвида Гвилема, родоначальника нашей поэзии, современника Чосера, непревзойденного мастера этой сложнейшей метрической формы. Существует двадцать четыре типа консонантной рифмы. В начале века поэты стремились «взорвать» прокрустово ложе и писать свободным стихом, да и сейчас порой предпочитают свободный стих. К примеру, сидящий здесь Джеральт Джонс.

Тема, на которую участники состязания должны писать стихи, объявляется заранее. Решение жюри абсолютно беспристрастно — все выступают под псевдонимами. И вот в огромном зале, при полной тишине председатель жюри произносит имя победителя. Но в ответ — молчание. Зрители с напряженным любопытством вытягивают шеи,— увы! — победитель не откликается. Снова звучит голос председателя. Снова молчание. И только когда уже потерявший терпение председатель с мольбой выкрикивает имя в третий раз, тот медленно поднимается со своего места. Зал облегченно вздыхает. А поэт идет к сцене. Ему навстречу движется процессия в ярких национальных костюмах. Возглавляющий ее вытаскивает из ножон меч и, держа его над склоненной головой поэта, декламирует: «Да будет мир!» Зал вторит ему. И поэт медленно опускается в кресло. Ну, а потом — репортеры, поклонницы, интервью, цветы.

Хотя из года в год «сценарий» фестиваля повторяется, всякий раз зрители с неподдельным интересом ждут момента, когда увидят Поэта года.

Конечно, во всем этом много озорства, игры, импровизации, но разве любовь к поэзии может быть без веселья?

А. НИКОЛАЕВСКАЯ

[1] См. «ИЛ» № 9, 10, 1969.

Мухаммед Садик Рухи

АФГАНИСТАН

Наш гость приехал из Демократической Республики Афганистан, трудящиеся которой недавно открыли новую страницу истории своей страны. Мухаммед Садик Рухи закончил литературный факультет Кабульского университета, затем учился в Бейруте. Он автор учебника языка пушту, основатель журнала по изучению народного творчества Афганистана, написал немало статей о фольклоре своего народа. Рухи — первый афганский литератор, посетивший наш журнал после апрельской революции. Поэтому прежде всего мы просим его рассказать, какие изменения произошли за это время.

— Старый режим оставил нам в наследство огромную армию неграмотных. Сейчас по данным статистики среди взрослого населения их около 90 процентов. До сих пор наша система образования охватывала на всех своих ступенях лишь 14 процентов детей и молодежи. Конкурсный экзамен, проводившийся после восьмого класса, был преградой для получения дальнейшего образования. Власти не были заинтересованы в подготовке квалифицированных специалистов, во-первых, потому что для них в стране не находилось работы и, во-вторых, правящая верхушка боялась их как потенциальных революционеров.

Сейчас революционное правительство отменило конкурсный экзамен. По всей республике открываются курсы по ликвидации неграмотности, вечерние школы для рабочих и крестьян. Преподающие в них активисты не только вооружают народ необходимыми знаниями, но и разъясняют смысл революции. Политический аспект просвещения очень важен. Мы должны воспитать массы, и прежде всего молодое поколение, в духе новых, революционных идеалов. Для этого необходимо в корне изменить систему образования. Ведь раньше основным просветителем был мулла, защищавший интересы эксплуататоров.

Одним словом, задачи стоят огромные. Составляются учебники на разных языках для всех национальных меньшинств. Мы используем богатый опыт Советского Союза, приглашаем ваших педагогов. Многие наши студенты обучаются в советских институтах, в других социалистических странах.

Большую роль в разъяснении народу того, что происходит в Афганистане, играет пресса. Она ведет решительную борьбу за единение афганцев независимо от национальной, родовой, религиозной принадлежности, против реакции, против так называемых «мусульманских братьев». Газеты и журналы часто печатают стихи, короткие рассказы.

— Кого из современных афганских писателей и поэтов вы могли бы выделить?

— Прежде всего следует сказать, что при старом режиме афганские писатели были лишены возможности свободно писать и открыто выражать свои взгляды. Многие были вынуждены издавать свои произведения подпольно или за границей. Лишь теперь мы получили свободу творчества.

Среди писателей прогрессивного, демократического направления я хочу в первую очередь назвать председателя Революционного Совета и премьер-министра ДРА Нур Мухаммеда Тараки. Его перу принадлежит множество остросоциальных рассказов, которые переведены на разные языки мира, в том числе и на русский. Особую популярность принесли ему повести «Белый», «Одинокий» и «Скитания Банга», напечатанные за границей. Они рассказывают о формировании пролетариата в Афганистане, о том, как бывшие крестьяне, покинувшие из-за крайней нищеты свои деревни, пришли в город и стали рабочими. Подпольно были изданы и многие другие книги, в том числе работа Голам Мохаммада Кубара «Афганистан на перепутье истории» и сборники стихов Кярима Мисака и известного у вас Сулеймана Лаика. Уже после революции изданы стихи Бахтаная Хедматкара и рассказы Кобры Мазхари.

Сейчас для нашей литературы начался новый этап. Она встала на службу обществу и революции. В последнее время широкую популярность приобрела драматургия. Часто стали организовываться радиоспектакли. При некоторых предприятиях созданы литературные кружки, которые знакомят рабочих и служащих с отечественной и мировой литературой. В настоящее время обсуждается вопрос о создании Союза писателей Афганистана. С этой целью мы запросили у вас устав Союза писателей СССР, чтобы иметь возможность использовать опыт дружественной страны.

ДЖ. ДОРРИ

◆

Среди книг

Издано в СССР

СЛОВА, БРОШЕННЫЕ ВО ТЬМУ

Ричард Райт. Черный. Долгий сон. Рассказы. Перевод с английского. Предисловие Е. Романовой. Москва, «Прогресс», 1978.

Подавив волнение, он переступил порог литературного журнала коммунистов «Нью мэссиз» и попросил посмотреть его стихи. Дело происходило в начале 30-х годов, когда в журнале печатались крупнейшие американские писатели, а начинающие считали для себя честью дебютировать на его страницах. Редактор «Нью мэссиз» Джозеф Норт вспоминает, с какой тревогой и надеждой смотрел на него молодой чернокожий рабочий, пока он читал рукопись. Стихи оказались шероховаты по стилю, неопытность выдавала себя в каждой строке. Тем не менее Норт их опубликовал — и не раскаялся в этом. Он почувствовал правду в этих неуклюжих словах и неловко построенных фразах, уловил в них живую жизнь негритянских масс на Юге, в штате Миссисипи, откуда был родом автор, и в цветном гетто Чикаго Саутсайде, где прошла юность Ричарда Райта.

Норт посоветовал ему писать прозу. Через несколько лет был издан сборник рассказов «Дети дяди Тома» (1938), вслед за ним роман «Сын Америки» (1940). Впечатление, произведенное этими книгами, было потрясающим. Открылся огромный пласт жизненного опыта, до Райта едва затронутый американской литературой. Во всей своей суровой истинности предстала действительность черной Америки, «другой страны», особого мира с его трагедиями, надеждами и борьбой. Райта сравнивали с Драйзером, называли его черным Достоевским. А ведь когда вышел «Сын Америки», автору было всего тридцать два года.

Может показаться, что его писательская судьба сложилась необыкновенно легко и удачливо. На самом деле она скрывает в себе глубокий драматизм. За свою недолгую жизнь Райту выпало испытать и нужду, и унижения, обычные для негритянского интеллигента в США, и яростную травлю со стороны расистов. Он пережил мучительные духовные противоречия и боль многолетнего изгнания, пусть и в результате собственного выбора. Он столкнулся с непониманием и нападками самых талантливых негритянских писателей следующего поколения — Ральфа Эллисона и Джеймса Болдуина, хотя оба они, в сущности, шли теми путями, которые были намечены Райтом еще в 30-е и 40-е годы.

В нелегких испытаниях, во взлетах Райта и его заблуждениях, теперь очевидных, с неизменной отчетливостью ощущаются конфликты времени, в которое ему довелось жить. Путь Райта в литературе охватывает всего два десятилетия, однако в истории черной Америки этот короткий временной отрезок отмечен настолько существенными сдвигами, что для самосознания негритянского народа США здесь целая эпоха — быть может, важнейшая за все триста лет его существования.

Подростком у себя на Юге, а потом в Чикаго, куда он уехал без гроша в кармане, когда ему исполнилось восемнадцать, Райт видел одно и то же: бесправие и нищету негритянских кварталов, забитость, отчаяние, дегенерацию, самые грубые формы

расизма, который лишь одиночки вроде него отказывались признать чем-то само собой разумеющимся для американской системы общественных отношений. Система осталась прежней, когда он писал свой последний роман «Долгий сон» (1958), вышедший за два года до смерти Райта. Но теперь против нее выступали не одиночки, а сотни тысяч. Уже набирало размах ведомое Мартином Лютером Кингом движение за подлинное равноправие. Уже прозвучали и нашли массовый отклик простые и ясные требования этого движения: «Свобода сейчас! Равенство сегодня!»

Творчество Райта засвидетельствовало этот перелом в самосознании черных американцев, и противоречия писателя — отражение тех острейших исторических коллизий и тех трудностей, которые неизбежно сопутствуют процессам подобного масштаба и значения. В 30-е годы имя Райта называли одним из первых, размышляя о молодой революционной литературе США, затем начался идейный и творческий кризис и Райтом надолго овладели настроения обреченности, а его философией стал экзистенциализм. Подобно герою «Долгого сна» Рексу Таккеру он в 1945 году навсегда покинул США, жил в Париже, сблизился с Камю и Сартром, написал полный безнадежности роман «Аутсайдер» (1953), где судьба героя-негра — типичная судьба обездоленного и гонимого — предстает метафорой абсурдного и жестокого человеческого удела. Говорили об отступничестве Райта, оплаченном творческим бесплодием. Лишь «Долгий сон» опроверг представления о непоправимом упадке большого таланта.

Сам факт затяжного кризиса, постигшего Райта, несомненен, важно понять причины, сделавшие его в известной мере неизбежным. Объяснить их пытается сам Райт в «Американской жажде» — продолжении его автобиографии «Черный» (1945), которым открывается однотомник, вышедший на русском языке. В 40-е годы «Американскую жажду» отвергли издатели, напуганные социальной остротой этой книги, и она увидела свет только три десятилетия спустя. Это рассказ о первых годах жизни в Чикаго, когда «великая депрессия» вышвырнула на улицу толпы безработных. Перебиваясь случайными деньгами Райт по ночам читал Маркса и пробовал писать. Дорогу в литературу открыл ему «Нью мэссиз». Все впечатления его жизни — и на Юге, этом «символе бедности, невежества, беспомощности... унижений и страха, бессмысленной боли и неизбывного горя», и в трущобах Саутсайда, где царил голод и вызревали гроздья гнева,— подводили Райта к единственному выводу: необходима социальная революция, к которой призывают коммунисты.

Этот вывод сделан в «Детях дяди Тома», в таких рассказах, как «Утренняя звезда», где очевидно влияние Горького. Но уже в «Сыне Америки» он поставлен под сомнение. Герой романа Биггер Томас, совершивший непредумышленное убийство белой женщины и потрясенный открытым им в самом себе бездонным страхом перед белым миром, как и бездонной ненавистью к нему, оказывается первым в ряду персонажей Райта, силою обстоятельств вынужденных вступить в заведомо безнадежную схватку один на один с враждебной действительностью, которая угрожает им не только повседневным унижением, но и физической расправой. Этот юноша, «сын Америки», изуродованный ее расистскими порядками и ставший их жертвой, по признанию Райта, живет на «ничьей земле»: негритянское гетто отпугивает Биггера перспективой полуживотного существования, только и возможного для его обитателей, а белая Америка никогда не признает его одним из подлинных своих сыновей. Его удел — изоляция и жизнь в пустоте, распад личности, вспышки слепой ярости и гибель.

Новое поколение негритянских писателей, выступившее в 50-е годы, не приняло «Сына Америки». Райта обвиняли в том, что он изобразил негра неполноценным, ущербным существом, невольно помогая укрепиться расистским мифам. Это явная несправедливость. В романе создана объективно трагическая ситуация, а сам характер глубоко достоверен. Но для Биггера и в самом деле нет никакого выхода, никакой надежды. «Дети дяди Тома» были книгой о солидарности, «Сын Америки» — книгой об одиночестве. О «ничьей земле». О том, что Болдуин впоследствии назовет «метафизической реальностью расы»: непреодолимым барьером раса встает на пути человеческой общности, требует либо принять гетто как единственно возможную судьбу, либо в одиночку противостоять миру за стенами гетто и помнить об опасности, подстерегающей на каждом шагу.

Отчего так настойчиво подчеркивал Райт изоляцию своего героя, отчего одиночество станет отныне важнейшим мотивом его творчества, предопределив и увлечение экзистенциализмом, и бескрайнюю горечь всех последующих произведений писателя, и трагизм всего его мироощущения? Конечно, здесь сказывались не только субъективные заблуждения Райта, но и сложность процессов, происходивших в его стране. Он чувствовал, как в гетто, разбросанных от океана до океана, начинает пробуждаться национальное самосознание, и пытался разгадать природу негритянской личности, какой она сложилась в условиях векового рабства, гнета и отверженности Он вовсе не идеализировал эту личность, показывая ее как средоточие самых противоположных устремлений — страха и гордости, приспособленчества и бунтарства. Стремясь проникнуть в потаенные уголки души своих героев, он использовал весь инструментарий новейшей прозы — поток сознания, смещение временных пластов, элементы народной мифологии, причудливо переплетающиеся с почти натуралистическими зарисовками убожества и грязи, царящих в цветном квартале, и репортажной точностью жестоких подробностей и штрихов.

В его книгах черный американец впервые серьезно размышляет над своей духовной сущностью. Это явилось истинным завоева-

нием Райта, без которого невозможно было бы дальнейшее движение негритянского романа в США. Рассказывая в «Американской жажде» о том, как он обрел чувство своего творческого призвания, Райт пишет: «Мне казалось, что вокруг меня тьма и я бросаю в нее слова и жду отзвука. А если отзвук доходил, хотя бы совсем слабый, я бросал во тьму новые слова — пусть они расходятся, пусть звучат, чтобы пробудилось ощущение, что все мы одарены чем-то трудноуловимым, но истинно человеческим». И на юге, и в Саутсайде, где написаны первые его вещи, Райта окружала «тьма», но отзвуки уже доносились — отзвуки брожения, начинавшегося в этой «тьме», чтобы двадцать лет спустя привести к невиданно мощному подъему освободительной борьбы.

Но опыт этой борьбы как раз и выявил — на многих, нередко трагических примерах — всю ошибочность попыток представить черную Америку обособленным, замкнутым в самом себе миром, у которого свои законы и своя судьба. В «Американской жажде» Райт упрекает былых друзей за догматизм: они смотрели на негра только как на обездоленного, такого же, как и белый, не понимая, что самое непереносимое для черных американцев — это пометившее их клеймо расы. Отчасти эти упреки небеспочвенны. И тем не менее историческая правота осталась за теми, кто никогда не отделял расовые проблемы от социальных.

В конечном итоге подошел к тем же выводам и сам Райт, но подошел кружным и мучительным путем — через разочарование в идеалах молодости, через приступы отчаяния, выплескивающегося на страницы «Аутсайдера», через националистические заблуждения, сказавшиеся в сборнике публицистики «Черная власть» (1956). Искания Райта, даже явно бесперспективные, поучительны тем, что во многом предвосхитили идейные конфликты и противоречия 60-х годов, когда движение за равноправие достигло своего апогея.

Тем существеннее, что духовным завещанием писателя стал «Долгий сон» — книга, содержащая глубокий социальный анализ той «негритянской сущности», которую Райт стремился понять и воплотить на протяжении всего своего творчества, а поколение 60-х годов готово было защищать с оружием в руках, нередко оказываясь под властью опасных иллюзий о расовом единстве и «черном превосходстве».

«Черный человек, сынок, это сон, мечта, которой никогда не сбыться»,— говорит герой этой книги Тайри Таккер своему сыну Рексу. На Юге, в Клинтонвилле, где границей между расовыми мирами пролегла Кинг-стрит, «черный человек», негр, добившийся, чтобы его воспринимали как полноправную личность, и впрямь только «долгий сон», которому не исполниться вовек. Расизм здесь — норма бытия, и в этом еще подростком убедится Рекс, когда, по ничтожному поводу схваченный на пустыре, попадет в полицию, где над ним будут измываться, калеча его психику. А у себя, по левую сторону от Кинг-стрит, он с тоской всматривается в однообразные будни себе подобных, в их «вялое безразличие и тупую бесцельность» и чувствует, что он такой же чужак дома, как и в запретном белом мире, приманивающем своей мишурной красотой и страшащем всегда реальной угрозой.

Снова «ничья земля». И время действия то же, что и в «Сыне Америки»,— опять 30-е годы.

Но иным стал Райт. Ни Тайри, ни Рекс больше не являются для него воплощением «негритянской сущности», будто бы обрекающей всех на одинаковую судьбу. Оба они — четко очерченные социальные типы, каких до Райта не знал американский роман. Оба в своем роде мечтатели, только мечтают они «с разбором» — о том, что осуществимо: разбогатеть, как Тайри, содержанием публичных домов, стать «почти белым», обирая квартирантов разваливающихся лачуг и не забывая делиться с полицией, обзавестись шикарным автомобилем и светлокожей любовницей, выбиться в негритянские вожаки...

В книге, полемически названной «Записки сына Америки» (1955), Болдуин обвинял Райта в том, что его герои — безвольные жертвы, предназначенные только служить иллюстрацией бесчеловечности порядков и взывать к совести белых. «Долгий сон» был лучшим ответом на такие упреки. Путь Тайри Таккера завершается трагически, как и путь многих других персонажей Райта, но здесь нет жертвенности; гибель Тайри — это прежде всего расплата за сделку с институтом насилия и попытку извлечь выгоду, поступаясь элементарным нравственным законом.

Путь Рекса ведет через тяжкие испытания — сначала соблазном преуспеяния за счет того же двурушничества, которому подчинил свою жизнь его отец, затем жестокой действительностью Юга, где бесчинства и расправы с «цветными» — повседневность. У Рекса нет духовных сил, чтобы бросить вызов этой действительности, и все-таки он одерживает победу. Это моральная победа над самим собой, потому что ему теперь неведомы страх перед миром и трусливое стремление добиться максимально возможного благополучия, приладившись к несправедливости и приняв расистские установления как неизбежность. И он становится человеком — не той несбыточной мечтой, которая тревожила и дразнила Тайри, толкая его на бесчестье, не «черным человеком», ставшим вровень с хозяевами клинтонвиллей, а личностью, сбросившей духовный гнет взрастившего ее мира.

Герой Райта бежит из Америки, чтобы никогда не возвращаться в эту страну, где отношения между людьми отравлены ядом своекорыстия и предрассудка. Райт предлагает ему компромиссное решение, которое нашел для самого себя. Сомнительность такого выхода сознавал и сам писатель. Этому научили его трудные годы эмиграции. Он писал в эти годы о Гане и об Испании, ко-

лесил по свету, но его интересами по-прежнему владела прежде всего Америка.

И туда, в эту рассеивающуюся тьму, летели через Атлантику его слова, чтобы найти ширившийся отклик — подчас полемический, даже резкий и все-таки благодарный, потому что творчество Райта сыграло выдающуюся роль в духовном возмужании черной Америки.

А. ЗВЕРЕВ

ЗЕРКАЛО ХОСЕ

Франсиско Сионель Хосе. Избранное. Притворщики. Повесть. Рассказы. Перевод с английского, составление и послесловие И. Подберезского. Москва, «Наука», 1977.

Повесть «Притворщики» — основа однотомника филиппинского прозаика Франсиско Сионеля Хосе. Основа, потому что остальные произведения представляют собою как бы более детальные разработки отдельных сюжетных линий повести. Основа, потому что касается всех основ филиппинской жизни.

И не только филиппинской.

«Притворщики» Ф. С. Хосе. Роман «В подвешенном состоянии» вест-индского писателя В. С. Найпола и его же «Подражатели». «Интерпретаторы» нигерийца Воле Шойинки. Пьеса «На полдороге» индийского драматурга Мохан Ракеша. Даже по названиям видно, с каким упорством литература вчерашних колоний ищет ответа на вопрос о сути своего «я». Эта литература отражает сложнейшее переплетение проблем, возникших в Азии и Африке в результате колониализма, пытается разобраться в духовной структуре личности, стоящей между традицией и современностью, между Востоком и Западом. Противоборство старого и нового, противостояние самобытного и заимствованного—проблема вечная, существовавшая во все времена и перед всеми народами. Но в нынешних Азии и Африке, где традиционное отождествляется с национальным, а современность ассоциирована с эпохой колониальных захватов, конфликт между ними, воспринимаемый как столкновение Востока с Западом, отличается невероятной напряженностью. Писатели Азии и Африки снова и снова возвращаются к анализу этой ситуации, потому что сильнее и осознаннее всего столкновение разных цивилизаций происходит в них самих. Отсюда острота необходимости ответить на вопрос: кто я? От ответа зависит путь, избираемый художником.

Может быть, Филиппины смешали в себе Восток и Запад больше, чем другие страны, но в этом случае филиппинской интеллигенции трудней понять себя, чем другим. Католическая страна в сердце Азии, название свое получившая от имени испанского короля Филиппа, вырвавшаяся из-под испанского владычества и ставшая колонией Америки... Филиппинский ученый Хорасио де ла Коста пишет: «...в обширном регионе живет народ малайского происхождения, традиционное социальное устройство которого в целом напоминает индонезийское; народ с сильной примесью китайской крови, испытавший воздействие китайского миропонимания, но живущий культурной традицией отчасти испанской, отчасти англосаксонской. Вот этот народ и есть мы».

Ф. С. Хосе являет собой типичный пример художника, творческая индивидуальность которого сформирована этим культурным плюрализмом. «Цельность — вот единственное спасение для человека»,— писал он несколько лет назад в одной из своих статей. Жажда цельности требует от писателя исследовать прошлое, когда складывалась та композитная культура, плодом которой стал сегодняшний образ мышления его страны. Несколько лет назад Ф. С. Хосе требовал от филиппинской интеллигенции осознания несовместимости Востока с Западом, «необходимого условия для преодоления отчужденности от собственного народа».

В повести же взаимодействие между прошлым и настоящим предстает в куда более сложном виде. Молодой филиппинец, получивший образование в Америке и вернувшийся на родину с искренним, хотя и смутным стремлением служить своему народу, трудиться, сеять разумное, доброе, вечное... Выстраивая обстоятельства жизни своего героя, Хосе сознательно подчеркивает конфликт между идеалом, сформулированным западной системой представлений, и его осуществлением в обществе, живущем по иному образцу. Нам рассказывают историю невероятной, почти кинематографической удачи: крестьянский сын, выучившийся на медные деньги, встречается в Америке с красавицей Кармен, дочерью промышленного магната Мануэля Вильи. Нет, никто не препятствует браку, аристократический клан Вильи принимает Антонио в свое лоно; и друзья не осуждают, напротив, они счастливы за друга и чуточку ему завидуют. Начинается новая жизнь, красивая, как в кино: Антонио — самый молодой из директоров могущественной корпорации, которая вершит судьбами десятков тысяч людей, ворочает миллионами и, конечно, закладывает фундамент индустриального будущего Филиппин. Все сбывается: прелестная жена, машины, виллы, и разве не своему народу служит при этом Антонио? Антонио не слеп и не наивен, он видит, какими методами действует корпорация, с каким цинизмом употребляются лозунги национализма и патриотизма для набивания собственного кармана, как ничтожны и покорны власти денег все и всяческие «демократические институты», но, может быть, так нужно? Антонио записывает в дневник: «Я попал в такое положение, что уже не знаю, свободен ли я в своих суждениях... Сталь — основа индустриализации. А индустриализация — это как раз то, что так нужно нашей стране...»

Деда Антонио звали Эустахио Сальвадор. Он первым в роду причастился испанской учености, написал книгу по-латыни, в которой сто лет спустя его внук прочитает: «Mundus viro no sperat. Eo tempus non habet» — «Мир не ждет человека. У него нет времени для него». Сальвадор увел свой клан на новые земли в поисках лучшей жизни, а позднее погиб в стычке с испанцами.

Логос и эргос, знание и действие, вытекали одно из другого.

Отец Антонио убивает богатого землевладельца — асендеро, который теснит крестьян на дедовских землях. Его приговаривают к пожизненному заключению. Но пепел Клааса не стучит в сердце Антонио. Он понимает, что отец совершил отважный поступок, что отец оказался способным на действие, но единственным его результатом была унизительная нищета детства Тони. «Я не обманываю себя,— говорит Тони,— я знаю, что не хочу быть бедным. И никто не хочет. Бедных не уважают».

Когда-то, скрываясь от полиции, дед Антонио сменил фамилию Сальвадор (спаситель) на Самсон. Писатель откровенно обыгрывает библейские ассоциации, связанные с именем его героя. Однако Далила, остригшая Самсону волосы и лишившая его сил, это отнюдь не прекрасная Кармен Вилья, нет. Далила живет в самом Самсоне — это трагическая раздвоенность Антонио, которая лишает его способности действовать.

Речь по сути идет не о классической интеллигентской рефлексии и не о метаниях крестьянского сына, выбившегося в люди,— хотя и то и другое наличествует здесь. Речь идет о двух системах ценностей, примирить которые Антонио не в силах. Он сталкивается с этой проблемой буквально на всех уровнях своего бытия. Либерально-демократические идеи Запада гротескнейше искажаются от соприкосновения с полуфеодальным. клановым бытом Филиппин. Образованность Антонио стоит стеной на пути его эгалитарных устремлений. Страстный патриотизм наталкивается на родовую замкнутость и отсутствие общенациональных чувств.

Спасаясь от раздвоенности, Антонио, историк по профессии, хочет уйти из индивидуализма, привитого Западом, в коллективное «я» своего народа. Он начинает понимать, что «...личность — это нечто большее, чем лицо, чем сеть нервов, чем сгусток крови... Человек — это также часть рода, расы. Поняв это, начинаешь проявлять интерес к своим предкам, к тем, кто был до тебя, спрашивать себя, силен ли ты так же, как — ты это точно знаешь — сильны были они, и постепенно осознаешь, что с ними, жившими до тебя, ты связан прочными связями и не ты создал их в своем воображении, а наоборот, они создали тебя во плоти и крови...» Но и в потребности уяснить себе прошлое Тони — одиночка. Семье, в которой вырос, не до прошлого — у нее и настоящего нет, есть только повседневность, откуда и будущее видится лоскутным одеялом небольших забот. Клан Вилья убежден, что прошлое способно только путаться в ногах у будущего, а будущее за теми, кто современен, кто верует в КПД и понимает излишность всего остального. «Подлец по убеждению и патриот из выгоды»,— скажет Антонио о своем тесте, относя это и к его сподвижникам, таким как сенатор Рейес.

В эпиграф к «Притворщикам» писатель вынес цитату из исторического исследования, над которым работал его герой,— книги об иллюстрадос, первых филиппинцах, получивших европейское образование и по возвращении на родину начавших реформаторское движение: «Они были энергичными молодыми людьми и знали силу денег. Но хотя они были богаты и учились в лучших университетах Европы, кругозор их был узок. Они знали, что никогда не будут принадлежать к высокомерной испанской аристократии, которая определяла судьбы Филиппин. Это угнетало их больше всего. Поэтому они требовали реформ, более широких возможностей и равенства с испанцами. Но требовали ли они свободы для всех? Уважения к достоинству каждого филиппинца? Или они требовали этого только для себя? Слишком многим они были обязаны чужеродной испанской аристократии: и своим положением, и состоянием. Могло быть и так, что они требовали свободы и равенства только для того, чтобы самим войти в состав избранных, которые управляли страной». Иллюстрадос первыми получили некогда возможность взглянуть на свою страну остраненно, начали движение, в конечном счете приведшее страну к освобождению от испанской и к началу американской колонизации. Но повесть рассказывает нам о Филиппинах, свободных и суверенных. И кто же потомки свободолюбивых иллюстрадос сегодня? Мануэль Вилья, сенатор Рейес, Бен де Хесус...

Образ сенатора Рейеса заслуживает того, чтобы остановиться на нем чуть подробней. Хосе сумел дать в Рейесе собирательный портрет политикана развивающейся страны — это типичное порождение колониальной системы администрации, человек, полностью денационализированный, но именующий себя националистом и патриотом, потому что национальная независимость дает ему возможность полнее имитировать поведение вчерашних колониальных господ, а суть их его не занимает. Используя естественное стремление народа к восстановлению национального достоинства, попиравшегося на протяжении веков, рейесы шумят о национализме, являясь на практике прямыми пособниками иноземных властителей. Рейес в повести выступает за создание национальной индустрии — и помогает клану Вилья построить сталеплавильный завод, финансируемый американским, японским и китайским капиталом; Рейес требует создать филиппинскую демократию —

и делает все для укрепления автократической власти. Да и вся верхушка филиппинского общества, изображенная Ф. С. Хосе,— это сборище жадных и циничных временщиков, совершенно неспособных выйти за пределы своих узкоэгоистических интересов. Рейес — вот в кого выродились иллюстрадос сегодня.

«У него нет сил — в этом все дело. Вот и сейчас руки его бессильны. Он слабее отца и даже слабее покойника, которого сейчас похоронят. Это знание сделало его слабым. Он калека. урод, таким его видят люди, все люди, которые ходят по земле». Этими словами заканчивается новелла «Обреченные» — один из эскизов к «Притворщикам». Ф. С. Хосе дает в ней портрет деревенского мальчишки, смышленость которого понравилась испанскому священнику и тот обучил его испанскому и латыни. Мальчика зовут Эустахио Сальвадор — мы и в новелле встречаемся с дедом Антонио, но здесь писатель выносит однозначное суждение о чуждом филиппинскому мироощущению знании: оно губительно, оно отчуждает человека от ему подобных, не приближая его к иноземцам. Меченый, ничей, слабый.

Но ведь Антонио — внук этого человека — уже несет в себе гены двух культур и от этой наследственности ему не уйти. Только ли в том причина его слабости, неспособности к действию, что он культурный метис, человек между Востоком и Западом? Писатель очень настойчиво, чересчур настойчиво, подчеркивает именно этот раздор в душе Антонио. Ф. С. Хосе идет даже на абсолютное противопоставление двух основных женских образов повести — схематизируя их для этой цели. Кармен воплощает в себе все дурное, что внес Запад в патриархальные нравы страны, а Эми — бывшая возлюбленная Антонио и мать его сына — подлинная филиппинка, верная, терпеливая, всепрощающая.

Однако по мере развертывания повествования все отчетливее вырисовывается и другая причина того рака воли, который разъедает главного героя,— он хочет остаться честным человеком, сохранить самоуважение. не поступаясь ничем из того, что принесла ему женитьба на Кармен. Антонио напуган бедностью, и этот страх ведет его от компромисса к компромиссу и потом — к гибели.

Вот еще один эскиз к «Притворщикам», еще одна новелла, включенная в сборник: «Два интервью». Простая и по многим книгам знакомая история падения журналиста. Рамирес тоже стремится к порядочности, он усвоил все, чему его учили,— роль свободной печати, журналистская этика и т. д. Но у него была семья. Чувство долга по отношению к ней вынудило его капитулировать и раз, и два... А потом все тот же Мануэль Вилья предложил Рамиресу большие деньги за то, что «у него есть воображение». И все. Выйдя из кабинета Вильи, Рамирес думает: «...вырастить детей, дать скромный достаток семье, заботиться о жене, пока мы живы, и любить ее после смерти, если есть такая вещь, как загробная жизнь, быть честным по отношению к самому себе. Я отчетливо сознавал всю ограниченность и бескрылость таких мечтаний. И вот мне представилась возможность, и я не упустил ее. Не надо судить за это слишком строго».

Рамирес — это вариант судьбы и Антонио, и двух его близких друзей, журналистов Чарли и Годо. И их тоже перемалывает необходимость борьбы за выживание; и они, мечтавшие в молодости уйти в горы, к хукам и воевать за справедливость с оружием в руках, становятся пассивными пособниками существующего порядка, жестокость которого они испытывают на себе. У них больше нет надежд на осмысленную, полезную жизнь, но жить они остаются. Погибает Антонио, и его последние слова: «Меня разнесет в клочья».

Антонио губит разорванность между умозрительным либерализмом и страхом перед филиппинской действительностью, между грязными деньгами и грязной нищетой, между стыдом комфортабельного конформизма и бессмысленностью бунта.

И что же? Значит, Франсиско Сионель Хосе, писатель-реалист, не увидел на своей родине никого, кто стал бы прототипом героя-борца, воплощения будущего этой прекрасной страны? Самые большие симпатии автора — на стороне простых людей, однако, как раз потому, что Хосе — реалист, он не может не писать о задавленности этих людей, все жизненные силы которых уходят на то, чтобы лишь просуществовать. Хосе — человек городского сознания, он не идеализирует пасторальность деревенской жизни, но все же видит ее через романтическую призму воспоминаний своего героя, сплетенных с его тоской по чистоте и ясности человеческих отношений.

Безапелляционный приговор, выносимый художником потомкам иллюстрадос, унаследовавших и предельно развивших худшие из их характеристик — небрежение народом и страх перед ним, равно как и узость кругозора,— это приговор и первопричине их возникновения: империализму с его колониальными захватами и капиталистическому пути развития, ибо он ведет в тупик.

Горестная же судьба Антонио — призыв к патриотической интеллигенции вернуться полностью к своему народу и повести его другим путем.

В статье «Меморандум писателю нашего времени» Хосе писал: «В условиях Филиппин у писателя нет выбора: он не может не быть революционером. От него требуется быть зеркалом для своего времени и осмыслять обстоятельства филиппинской жизни. Поэтому он становится врагом порядка вещей, который столетиями создавал культуру зомби и увековечивал несправедливость».

М. САЛГАНИК

БЕЛЬГИЙСКИЕ КЛАССИКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Эмиль Верхарн. Стихотворения. Зори. Морис Метерлинк. Пьесы. Перевод с французского. Вступительная статья Л. Андреева. Москва, «Художественная литература», БВЛ, 1972.

Хотя книга эта вышла несколько лет назад, отклики на нее до сих пор продолжают появляться в бельгийской прессе. Вниманию читателей мы предлагаем статью профессора Брюссельского университета, критика Жана Бланкоффа, опубликованную в журнале «Маржиналь».

Пятнадцать лет назад советское издательство «Художественная литература» взялось за осуществление задачи, титанической даже для такой огромной страны, как СССР: опубликовать двухсоттомную «Библиотеку всемирной литературы», включающую переводы на русский язык литературных шедевров всего мира — от античности до наших дней. В настоящий момент издание этой библиотеки, выходившей тиражом триста тысяч экземпляров, закончено. Почти вся она целиком разошлась по подписке, и только разрозненные тома, да и то как большую редкость, можно найти в книжных магазинах.

Том 142-й, появившийся в серии «Литература XX века», полностью посвящен Эмилю Верхарну и Морису Метерлинку. В нем 607 страниц, и его предваряет вступление профессора Л. Андреева, труды которого по бельгийской литературе не раз упоминались в журнале «Маржиналь».

В книге представлены как переводы, созданные в начале века, особенно в 20-е годы, и ставшие уже классическими (Г. Шенгели, С. Шервинского, М. Волошина, В. Брюсова, Ф. Мендельсона, Б. Томашевского и других), так и недавние или даже впервые опубликованные переводы (М. Донского, Ю. Александрова). Советскому читателю предложен большой выбор наиболее характерных произведений Верхарна: здесь напечатаны не только его многочисленные стихи, но и пьеса «Зори». Что же касается Метерлинка, перед нами семь его пьес: «Непрошеная», «Слепые», «Там, внутри», «Смерть Тентажиля» (поставленная в 1905 году в Москве Мейерхольдом), «Монна Ванна», «Чудо святого Антония» и, конечно, «Синяя птица», премьера которой, как известно, состоялась в Московском Художественном театре 30 сентября 1908 года. В 1958 году было показано... двухтысячное представление этой пьесы, и мы знаем, что она не сходит со сцен советских театров и по сей день. Кстати, Верхарн во время своего пребывания в России в 1913 году присутствовал на спектакле «Синей птицы» — поистине символический факт!

К сожалению, все это лишний раз подтверждает, что зачастую наших великих писателей за рубежом ценят гораздо больше, чем на их родине. И вспомним, разве не Верхарну принадлежат эти слова: «Дистанция, отделяющая в Бельгии художника или ученого от подлинной публики, что бы ни говорили, больше чем где бы то ни было... Между бельгийской толпой и писателем стоит не только непонимание, но и презрение».

ЖАН БЛАНКОФФ

Издано за рубежом

СТРАНСТВИЯ ЯРОСЛАВА ИВАШКЕВИЧА

Jarosław Iwaszkiewicz. «Podróże do Polski». Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.

Jarosław Iwaszkiewicz. «Peterburg», Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.

Jarosław Iwaszkiewicz. «Podróże do Włoch». Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.

Ярослав Ивашкевич. Путешествие по Польше. 1977.

Ярослав Ивашкевич. Петербург. 1976.

Ярослав Ивашкевич. Путешествие по Италии. 1977.

Польские критики единодушно утверждают, что нынешний период творчества Ярослава Ивашкевича, отмечающего свое восьмидесятипятилетие, стал как бы второй молодостью писателя. В последних стихах и новеллах, вышедших из-под пера, зазвучали новые тона, использованы такие средства, каких Ивашкевич не применял прежде, достигнута глубина психологического изображения, позволяющая отнести эти произведения к числу подлинных творений мировой литературы. Есть и еще одна характерная особенность у второй молодости Ярослава Ивашкевича: он возвращается на те пути, по которым бродил всю жизнь с ранней юности, в те места, впечатления от которых впоследствии послужили материальной основой для создания художественных полотен. Три книги: путешествия по Польше, путешествия по Италии (размышления, навеянные пейзажами и памятниками итальянской архитектуры и культуры) и, наконец, странствия по России и обращение к ее прошлому — представляют собой своего рода экстракт жизненного опыта заме-

чательного мастера, никогда не оставававшегося равнодушным к людям и к окружавшей его действительности. Однако три образа действительности — родной польской, русской и украинской, итальянской — глубже всего запали ему в душу. Во всяком случае оттуда он почерпнул наибольшее количество тем и мотивов, там находил источники вдохновения.

Книга о Польше, собственно, является ключом к пониманию многих произведений Ивашкевича — и тех, фоном для которых служат окрестности Варшавы, луга по берегам Утраты, рощи и леса, окружающие Лесную Подкову и Коморув, и других, например, одного из лучших его романов «Красные щиты», где действие происходит в Сандомежской области. Впрочем, в книгу вошли описания путешествий чуть ли не по всем районам Польши, однако, прочитав ее, легко понять, какие именно уголки страны особенно поразили творческое воображение писателя.

То же самое можно сказать и о «Петербурге». Это не только прелестная зарисовка быта, культуры, традиций, господствовавших на российских землях во времена молодости писателя, это своеобразный синтез его многочисленных контактов с русской литературой и культурой, с друзьями-писателями, анализ художественных образцов, которым следовал Ивашкевич в годы своей писательской юности и которые на протяжении всей жизни служили ему мерилом для оценки собственной работы. Писатель постоянно помнит, что по соседству с ним есть такая система отсчета, как лучшие достижения русской и советской прозы, начиная от Толстого и кончая Паустовским, Леоновым и Марковым. Гостеприимство русских, красота русской земли для Ивашкевича не общие слова, не продиктованная обычаем формула вежливости, а устойчивое ощущение братской близости с друзьями, чья природа и культурный климат не только знакомы и до тонкостей понятны, но и особенно созвучны сердцу. И это отнюдь не означает потери индивидуальности, отрыва от корней польских литературных традиций, атмосферы отечества. Ярослав Ивашкевич является, пожалуй, олицетворением писателя, в своих книгах воплощающего и доводящего до полного расцвета традиции национальной литературы и сохраняющего при этом живую связь с литературой соседей, с которой наша литература многократно сталкивалась на путях общих поисков и при решении общих проблем. И не случайно Ивашкевич в какой-то мере ощущает себя продолжателем украинской школы в польской литературе, не случайно пейзаж детства — украинский пейзаж — является для него не менее родным, чем луга и рощи вблизи Варшавы.

Из «Путешествия по Италии» мы узнаем, что Италия — это целый комплекс тех культурных ценностей, традиций, символов, архетипов средиземноморской культуры, которые легли в основу духовного сознания писателя и стали строительным материалом — из него он возводил психологическую и интеллектуальную надстройку, опираясь на реальную материю, добытую путем опыта и наблюдений, из жизни, прожитой в родной атмосфере и в атмосфере близкой европейской страны.

Опять же, описание итальянских странствий Ивашкевича воспринимаешь не только как великолепное средство познания самой сути итальянских культурных традиций, помогающее оценить вклад культуры средиземноморского бассейна в европейскую культуру, но и как пример истолкования духа взаимовлияния и взаимообогащения. Ивашкевич — как в свое время Горький — очарованный и завороженный итальянскими традициями, итальянскими памятниками старины, итальянскими пейзажами и климатом, ни на минуту не становится пассивным, безвольным, потерявшим собственное «я» пришельцем, ни тем более беглецом. Он — путешественник, человек, который хочет как можно больше узнать, понять и пережить, чтобы обогатить собственное сознание и мироощущение и сопоставить неповторимую, уникальную культуру своей страны с неповторимой уникальностью культуры итальянской. Таким же способом он стремится обогатить и отечественную культуру, отечественную литературу — в столкновении с другими культурными традициями, с литературой других народов и стран.

Потому-то все три книги дают в сочетании прекрасный урок универсализма, являющегося свойством личности самого писателя, его собственной культуры, традиции, художественного сознания и восприимчивости. Появились эти книги одна за другой, разделенные небольшими промежутками времени, как единое звено длинной цепи. И появились в момент, когда творческие и жизненные силы Ивашкевича подверглись серьезному испытанию, которым явилась для него болезнь. Однако на недавнем съезде Союза польских писателей он был вновь избран на пост председателя. Практически Ивашкевич не отказался ни от одной из своих прежних обязанностей. Он продолжает вести столь же активный образ жизни, как и раньше. Но следует сказать прямо: эти три книги Ивашкевича — своего рода прощание с вольными странствиями по разным уголкам земного шара, странствиями, в которых прошла вся жизнь автора. Сегодня возможности для путешествий у Ярослава Ивашкевича неизмеримо более ограничены. Однако он не складывает оружия, интенсивно углубляя и заново переживая увиденное ранее. И это не столько завершение большого этапа, не столько подведение итогов, сколько новое освещение писательских странствий по жизни, столь важных для такого единственного в своем роде явления, как творчество Ивашкевича — глубоко польское и в то же время благородно открытое навстречу внешнему миру, созвучное самым ценным творческим достижениям тех стран, которые ему особенно близки.

г. Варшава

ВАЦЛАВ САДКОВСКИЙ

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ЗРЕЛОСТИ

Обзор произведений молодых венгерских писателей

Минуло около десяти лет с тех пор, как в литературу народной Венгрии, словно прорвав незримую плотину, стремительно и шумно вошла целая армия молодых, жаждущих писать и печататься литераторов. Не то чтобы литература и прежде не пополнялась молодыми дарованиями — однако этот новый наплыв был настолько массовым, дружным, бросающимся в глаза, что литературоведы, критики, издатели не могли не отнестись к нему как к некоему более или менее целостному феномену, назвав его «молодой литературой», «новой волной» и т. п.

По мере того как «молодая литература» становилась привычным, признанным явлением, избавляясь от налета сенсационности, а вместе с тем и от случайных элементов, прояснялся ее облик, ее подлинное место в современной венгерской литературе. В настоящее время картина достаточно определилась, чтобы сделать некоторые общие выводы, касающиеся характера и значения этой литературы.

Прежде всего, конечно, бросается в глаза то чисто внешнее обстоятельство, что многие из писателей, по инерции причисляемых к «молодым», давно уже приблизились к солидному возрасту, приобрели имя и литературный стаж. Вероятно, уже по этой причине само понятие «молодая литература» в последние годы употребляется все реже, и если употребляется, то с оговорками, ссылками на традицию и т. д.

Но суть дела, разумеется, не только в возрастном цензе. В конце концов, если бы молодые писатели продолжали существовать как группа, они нашли бы для себя и другое, более соответствующее их возрасту название. Суть дела в том, как отмечалось и в венгерской прессе, что появились серьезные сомнения: а есть ли основания говорить в данном случае о группе, тем более о направлении — вообще о чем-то целостном, имеющем качественно иные, чем вся остальная литература, признаки?

Хотя молодые писатели дали литературе целый ряд действительно талантливых имен, много интересных, ценных и с художественной точки зрения, и в отношении изображаемого материала произведений, тем не менее вклад их в современную литературу означал не перешагивание через опыт старших поколений, а в лучшем случае пополнение и развитие этого опыта.

Если вспомнить бурный период литературной истории начала века, школы и направления, которые наотрез отказывались признавать традиции, опыт и предлагали кардинально изменить самое природу искусства, то, при самом различном отношении к программам этих школ и к достигнутым ими результатам, закономерность их появления сомнений не вызывает. Они, конечно, были порождены общим кризисом капиталистического мира, когда художники, стихийно отрицая буржуазный уклад, вместе с ним отрицали и свойственные ему эстетические вкусы, нормы и ценности. В дальнейшем творческая судьба художника или целой группы, их вклад в искусство определялись их умением подчинять эстетические поиски интересам социальной революции и способностью находить конструктивное сочетание традиционного и новаторского начал.

Ситуация в Венгрии второй половины 60-х годов, когда как раз и возникла группа молодых писателей, характеризовалась дальнейшим упрочением социалистического строя, началом наиболее интенсивного этапа строительства развитого социализма. Этап этот, как и связанные с ним перестройка хозяйственного механизма и ряд других важных реформ, не обошелся без трудностей и противоречий, которые партийное руководство видело и последовательно преодолевало. Но в этот период не было речи о каком-либо кризисе, который мог бы вызвать раскол в общественном сознании и, скажем, противопоставить молодежь старшему поколению. Более того, сам массовый прорыв молодежи в литературу можно рассматривать как одно из следствий — следствий отрадных — социалистических преобразований общественного уклада и, в частности, успешного развертывания культурной революции, приобщившей к культуре практически все слои населения, пробудившей в молодежи тягу к творчеству. Литературу молодых характеризуют те же черты, что и венгерскую литературу в целом; и первая, главная из этих черт — то обстоятельство, что литература эта развивается в условиях строительства зрелого социализма, в условиях укрепления позиций передового общественного сознания, марксистской идеологии. В свете этого факта творческая судьба, направление развития любого из молодых художников зависит прежде всего от того, насколько серьезно и конструктивно воспринимает он те перспективы развития, которыми живет, за которые борется весь народ, все слои общества — и социальные, и возрастные.

Литературная практика показывает, что эстетическая весомость стихотворения, рассказа, повести, романа зависит не оттого, следует молодой писатель существующим традициям или пытается их обойти, а от степени присутствия в произведении главных явлений нашего времени, от степени желания художника найти ответ на вопросы, выдвинутые эпохой. В этом отношении литература молодых дает немало положительных примеров. Примеры эти показывают, что и жанрово-стилистический подход в этом вопросе играет не главную роль: даже ирония и гротеск, к которым питают пристрастие молодые ли-

тераторы, могут стать способом выражения позитивных, глубоких мыслей (как и у многих вполне «взрослых» писателей: Лайоша Мештерхази, Иштвана Эркеня и других).

Но очевидно и то, что едва ли не каждая попытка осмыслить важные процессы эпохи заставляет писателя двигаться в сторону реализма. Такое реалистическое обогащение литературы можно наблюдать на примере творчества прозаика Дёрдя Ашперьяна выпустившего недавно новый роман «Разденемся догола!»[1], посвященный, как и его первая книга «Вход — запасный выход»[2], судьбе рабочего. Однако приземленное, ползуче-натуралистическое изображение жизни и взросления рабочего подростка в более раннем произведении лишь с трудом может быть сопоставлено с куда более масштабным, проблемным подходом, свойственным второй книге.

Конструктивный, достаточно глубокий аналитический подход характеризует романы на историческую тему, такие, как «Галерея» Дёрдя Шпиро[3], «Венгры» и «Как Балинт Фабиан с богом повстречался» Йожефа Балажа[4]. Романы эти — явление частое в современной литературе — лишь с известной долей условности могут быть названы историческими: история, прошлое в них — не самоцельный объект, а средство, способ «со стороны» взглянуть на настоящее, чтобы глубже и полнее понять его, понять в конечном счете самих себя.

Эта жизненно важная цель отличает произведения многих молодых писателей, особенно в самое последнее время. Толчком для подобного процесса может послужить обращение к истории своей страны (Янош Уйхей. «Тяготение»[5]), к собственной истории и личным переживаниям (например, в романе Петера Лендьела «Чур, не считается»[6], герой которого, стремясь к самопознанию, ищет корни своего «я» в жизни и характере родителей, в своем детстве) или путешествие за рубеж (Маргит Ач. «Посвящение»)[7]. Главное, что эти экскурсы становятся средством познания действительности, «посвящения» в жизнь.

Плодотворность таких попыток тем очевиднее, чем лучше умеет писатель отделять существенное от несущественного, то есть чем свободнее владеет научным, классовым подходом. У Балажа и Шпиро в этом смысле есть хорошая основа, хотя есть еще и много непроясненных, смутных моментов.

В чем-то легче, а в чем-то труднее положение тех, кто обращается непосредственно к современной действительности. Повести и рассказы молодых прозаиков часто радуют острым и свежим взглядом на мир, настойчивым стремлением освободиться от власти книжных впечатлений, сформулировать и художественно обосновать собственные мнения и наблюдения, найти равновесие между личным опытом и теоретическими знаниями, полученными в «готовом» виде. Такое зрелое равновесие отличает многие произведения Ференца Можи (например, сборник рассказов «В слепящем свете солнца»[1]), Андраша Шимонфи (роман «В чужом городе»[2]), Сильвестера Эрдега (сборник «Жеребенок»[3]) и т. д. Надо отметить, что даже некоторая образная абстрактность, порой свойственная этим вещам, не снижает их эстетического эффекта: она воспринимается скорее как признак интеллектуально-эссеистской струи, такой сильной в современной прозе. И эту естественную интеллектуальность легко можно отличить от интеллектуальности книжной, искусственной, не обусловленной объектом изображения и позицией писателя. В этом отношении показательна антология рассказов «молодых» прозаиков «Дождь на листьях вязов»[4], где очень резко выделяется на общем фоне рассказ Ференца Можи «День рождения». Герой рассказа как будто бы лишен и биографии, и окружения, и даже имени («body builder», культурист — так называет его автор); и тем не менее Можи с помощью этого черно-белого силуэтного образа дает такую точную и исчерпывающую картину самоцельной жизни, жизни, ведущей в соответствии с логикой вещей, к самоуничтожению, что рассказ этот может служить художественной моделью целого определенного типа человеческого поведения, не столь редкого в наши дни.

В молодой поэзии также можно назвать немало авторов, которые выделяются своим конструктивным осмыслением жизни, человека, общества и кажутся весьма перспективными: это Миклош Вереш, Анна Киш, Бенедек Киш, Эндре Рожа, Йожеф Уташи и другие; стихи их богато представлены, например, в антологии «Видящий море»[5]. Нельзя сказать, что лирика этих поэтов проста, легка для понимания, но в них ощущаешь живые, горячие человеческие чувства, а часто и гражданский пафос...

---

[1] Asperján György. Vetközzünk mezтelenre! 1977.

[2] Asperján György. Vészkijáratbejárat. 1975.

[3] Spiró György. Kerengö. 1974.

[4] Balázs József. Magyarok. 1975; Balázs József, Fábián Bálint találkozása Istennel. 1976.

[5] Ujhelyi János. Vágyódás. 1977.

[6] Lengyel Péter. Cseréptorés. 1978.

[7] Acs Margit. Beavatás, Kortárs, № 8, 1978.

[1] Mózsi Ferenc. Vakitó napsütésben, 1977.

[2] Simonffy András. Ibegen városban, 1976.

[3] Ördögh Szilveszter. A siokó. 1973.

[4] Esö a szilfák levelén (fiatal prózaírók antológiája). 1975.

[5] Tengerláto. 1977.

Современная венгерская литература очень богата яркими творческими индивидуальностями. И писатели молодого поколения — и уже освоившиеся в литературе, и только входящие в нее — оставят в ней свой, заметный след, если, стремясь к оригинальности, к новизне взгляда, будут в то же время открыты для лучших традиций национальной и мировой литературы и для передовых общественных тенденций своей эпохи.

Ю. ГУСЕВ

СОВРЕМЕННОСТЬ ИСТОРИИ

Robert Merle. Fortune de France. Paris, «Plon», 1977.
Робер Мерль. Судьба Франции. 1977.

В связи с выходом во Франции нового романа Робера Мерля «Судьба Франции» редакция обратилась к писателю с просьбой ответить на ряд вопросов.

— В нашей стране вы один из самых популярных писателей Франции. Ваши романы, переведенные на русский язык, пользуются большим успехом у советских читателей. Как вы знаете, у нас изданы многие из ваших произведений, в том числе «Уик-энд на берегу океана», «Смерть — мое ремесло», «Остров», «Разумное животное», «За стеклом», «Мельвиль». До сих пор вы, как правило, отражали в своих книгах наше время или стремились заглянуть в будущее, что заставило вас обратиться в новом романе к далекой истории?

— Обычно я не люблю говорить ни о себе, ни о своем творчестве, поэтому не обижайтесь, что буду краток. Сама по себе история — не такой уж новый для меня предмет. Правда, меня больше интересовала история недавняя. Вспомните «Уик-энд на берегу океана» — это поражение при Дюнкерке в 1940 году. Во время этой битвы я попал в плен и три года провел в концентрационном лагере. Пережитое там заставило меня написать роман «Смерть — мое ремесло» — о геноциде, осуществлявшемся в Освенциме. «Остров» — это антиколониальная борьба. «За стеклом» — бунт студентов в Нантере. Ну а название документальной книги «Монкада, первое сражение Фиделя Кастро» говорит само за себя. Новое для меня то, что я углубился на четыре века — захотелось вспомнить прошлое, которое помогает иной раз не только лучше понять настоящее, но и бросить взгляд в будущее. Хотелось также дать работу воображению, обратиться к новой для меня обстановке и языку. Писатель, на мой взгляд, должен в каждом своем произведении представать в новом, непривычном для него самого и для читателей свете.

— О чем же ваш роман?

— Действие его происходит во второй половине XVI столетия в южной французской провинции, которую я хорошо знаю,— это Перигор, расположенный неподалеку от Сарла, города, почти не тронутого временем. Я описал историю одной богатой семьи, которой было пожаловано дворянство. И вот эти дворяне поселяются в краях, о которых я только что сказал, приобретают здесь земельные угодья и замок. Сами они гугеноты, а в ту эпоху во Франции шла жестокая гражданская война между протестантами (гугенотами) и католиками. Я постарался подробнейшим образом описать повседневную жизнь, протекавшую в замке, и взаимоотношения между сеньором и его «людьми». Моя хроника охватывает три круга: первый — это семья, второй — провинция, третий — королевство.

— Тема религиозных распрей представляется вам сегодня актуальной?

— Да, но главное здесь не только религиозная терпимость, важна и актуальна сама проблема мирного сосуществования, в том числе и стран с разным общественным устройством. А ведь она еще полностью не решена. Мне казалось своевременным напомнить об уроках прошлого, которые не следует забывать.

— Как встретили вашу книгу французские читатели?

— Откровенно говоря, поставив в конце ее точку, я не собирался писать продолжения. Однако читатели сочли, что это моя лучшая книга после «Мельвиля», и потребовали продолжения, над которым я сейчас и работаю. Есть у меня уже идея и следующего романа, но не будем забегать слишком далеко вперед.

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

МОРЕ ЖИЗНИ

Герой нового романа Айрис Мердок «Море, море», от лица которого ведется повествование, — некий Чарльз Эрроуби, в прошлом актер и режиссер. Он покинул театр и поселился в одиночестве в отдаленном безлюдном местечке, на северном побережье Англии.

«Первые девяносто страниц,— пишет рецензент «Таймс литерари саплмент» Майкл Ирвин,— несколько затянувшаяся экспозиция. Но почитатели таланта Мердок будут вознаграждены за свое долготерпение». Экспозиция романа представляет собой смесь дневников, которые Чарльз ведет каждый день, убежав от «бренного мира», и мемуаров, воспоминаний о былых перипетиях — любовных и деловых, о друзьях, театре и прочем. В подавляющем большинстве мемуары посвящены описанию той или иной любовной истории, но воспоминание о самой главной, самой страстной привязанности, той, что приходится на годы его юности,— неотступно преследует его: ее звали Хартли, она внезапно покинула его, предпочтя другому.

Но вот, наконец, бесчисленные друзья, деловые знакомые и любовницы, разузнав место добровольного изгнания Чарльза, приезжают к нему и пытаются уговорить восстановить непонятно почему прерванные отношения.

Неожиданно Чарльз обнаруживает, что в деревне по соседству живет возлюбленная его юности, теперь уже шестидесятилетняя Хартли, почтенная мать семейства, примерная супруга. Чарльз призывает на помощь всю свою хитрость, чтобы заманить к себе Хартли, попытаться убедить ее, что ее удел — прожить остатки дней с ним. Он опускается до обмана, угроз, шантажа... И побеждает...

Символ, вынесенный в название романа, весьма прозрачен: он означает море жизни, в котором Чарльз Эрроуби, по определению Майкла Ирвина,— «пловец, чувствующий себя в этой опасной стихии как дома...».

Ирвин отмечает высокий профессионализм писательницы в построении захватывающего сюжета, в обрисовке судеб героев романа. Однако излишняя аффектация в поведении некоторых героев, нагромождение цитат из буддистских текстов и шекспировских пьес несколько ослабляют достоинства романа. «Но книги Айрис Мердок легко подвергаются критике хотя бы потому, что писательница всегда стремится добиться слишком многого»,— заключает Ирвин.

В издательстве «Джорнимен пресс» вышла поэма Оскара Уайльда «Баллада Редингской тюрьмы», написанная более восьмидесяти лет назад, но, как пишет рецензент газеты «Морнинг стар», звучащая и ныне очень современно. Книга иллюстрирована ксилографиями Франца Мазереля. На снимке: одна из иллюстраций Мазереля к «Балладе Редингской тюрьмы».

(Газета «Морнинг стар»)

БОЛГАРИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

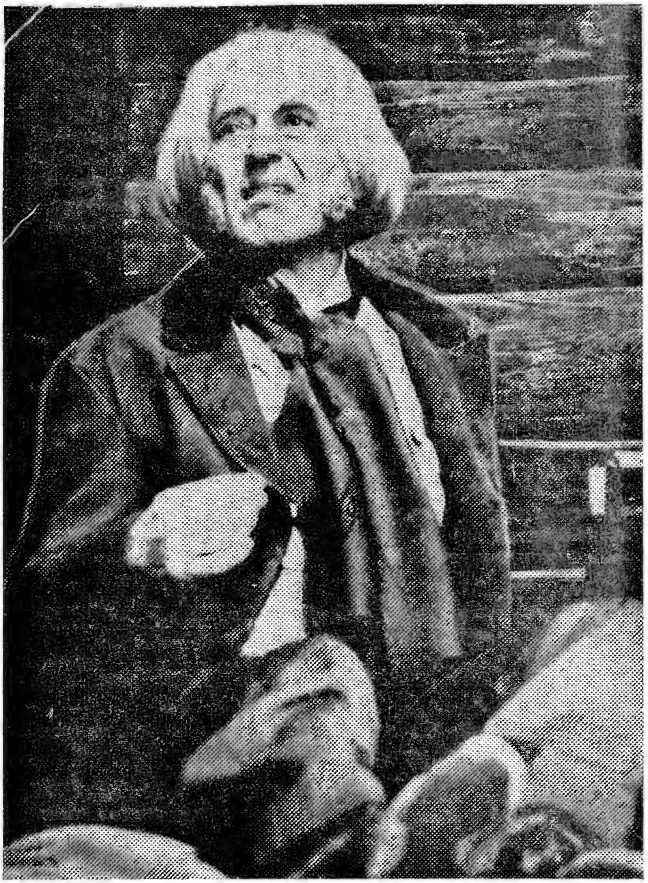
Высшая награда — Димитровская премия — присуждена в прошлом году

видной поэтессе Доре Габе, о праздновании 90-летия которой уже писала «Иностранная литература» (№ 1, 1978 г.), за сборники стихов «Помедли, солнце» и «Густая тишина» и за все ее поэтическое творчество в целом. Премии удостоены и создатели фильма «По следам «без вести пропавших» («ИЛ» № 1, 1978 г.)— режиссер Маргарет Николов и автор одноименной повести Николай Христозов. С этой повестью советских читателей также познакомил журнал «Иностранная литература» (№ 9, 1974 г.).

Стало традиционным и ежегодное присуждение премии Союза болгарских писателей. В прошлом году этой премией были отмечены поэтические сборники «Внезапные паузы» широко переводившегося у нас поэта Павла Матева, «Молитва о долоте и камне» И. Давидкова, «Зона взрыва» Андрея Германова, сборник стихов «Рубашка для ближнего» Калины Донкова.

В области прозы премии удостоены Васил Попов за роман «Низина» и Дико Фучеджиев за роман «Зеленая трава пустыни».

В области драматургии премия СБП присуждена пьесе Николы Русева «От земли до неба».



На снимке: актер Эмиль Кереш в роли Макара Девушкина в одноактном спектакле «Бедные люди» по роману Ф. М. Достоевского. Автор инсценировки — Янош Гастона, режиссер — Жужс Бенце.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ВЕНГРИЯ

РЕЖИССЕР ОБ ИСТОРИИ ТЕАТРА

В третье десятилетие своего существования вступил театр «Литературная сцена», который носит сейчас имя известного венгерского поэта-антифашиста Миклоша Радноти (1909—1944). Театр ставит инсценировки романов, музыкально-поэтические спектакли-монтажи, монодрамы и одноактные пьесы. В нем постоянно играют известные венгерские актеры. Возглавляет театр «Литературная сцена» лауреат Государственной премии Кошута, дважды лауреат премии Марии Ясаи, актер и чтец-декламатор Эмиль Кереш.

Театр пользуется огромной популярностью в Венгрии, он шел путем больших и напряженных исканий, о которых рассказал на страницах журнала «Театр» организатор «Литературной сцены», ее многолетний директор и режиссер Ференц Сендрё.

Большое идейно-воспитательное значение придается тематическим вечерам, связанным с важнейшими общественно-политическими событиями.

В поисках жанрового разнообразия рождаются все новые виды спектаклей: в программе театра появились вечера сатиры, народной буффонады, пантомимы, одноактной пьесы, вечера одного актера.

Сегодня театр имени Миклоша Радноти, храня традиции прошлого, продолжает развивать их, находя все новые и новые сценическо-художественные формы.

ПАМЯТИ ЭНДРЕ АДИ

Венгерская газета «Мадьяр немзет» поместила на своих страницах заметку о награждении советских поэтов, переводчиков и литературоведов медалью «Памяти Эндре Ади» (которая была учреждена Министерством культуры ВНР в связи со 100-летним юбилеем

крупнейшего венгерского революционного поэта): Льва Ошанина, Михаила Квливидзе, Юрия Левитанского, Дмитрия Павлычко, Арамаиса Саакяна, Сиявуша Мамед-заде, Сергея Фадеева, Леонида Мартынова, Евгения Винокурова, Геннадия Айги, Бориса Дубина, литературоведов Олега Россиянова, Елену Малыхину, Андрея Туркова, Юрия Гусева, а также коллектив актеров МХАТа.

ВЬЕТНАМ

СБОРНИК ПЬЕС СОВЕТСКИХ ДРАМАТУРГОВ

«Протокол одного заседания» — под таким названием в ханойском издательстве «Так фам мой» вышущен сборник пьес ведущих советских драматургов. Кроме пьесы А. Гельмана «Протокол одного заседания» в книгу вошли: «Шестое июля» М. Шатрова, «Дневник женщины» К. Финна, «Мой бедный Марат» А. Арбузова. Почти все эти произведения были поставлены на сценах вьетнамских театров.

ГДР

«РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ЛЮБВИ»

Так назвал свою книгу рассказов, выпущенную издательством «Миттельдойчер ферлаг», писатель Иоахим Новотный. Пресса Германской Демократической Республики широко откликнулась на этот сборник.

«Истории, рассказанные писателем, еще раз показали мастерство Новотного-прозаика,— пишет рецензент еженедельника «Зонтаг».— Как и в прежних его произведениях, он создает образы простых людей, рассказывает об их нравах и обычаях. В повседневной действительности он умеет увидеть истинную поэзию».

«Новотный хорошо знает жизнь людей, о которых пишет,— отмечает рецензент газеты «Берлинер цайтунг». — Он показывает нам жизнь деревни, показывает те преобразования, которые произошли в этой жизни».

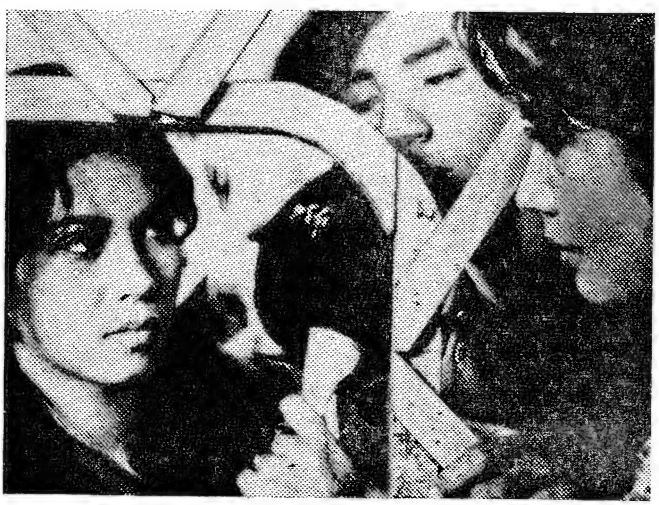
О новой книге Иоахима Новотного пишет Клаус Ярмац в журнале «Нойе дойче литератур», называя эту книгу «достижением современной прозы ГДР».

Статью о сборнике рассказов Новотного поместил в газете «Нойес Дойчланд» Гейнц Плавиус. Как и другие рецензенты, Плавиус особенно выделяет два рассказа: «Мелочи» и «Редкий случай любви», давший название книге. В первом рассказе—очень прозаическая, повседневная история старика Бруно, который никак не может починить свою кофемолку, служит своеобразным фоном для целой галереи людей, с которыми встречается герой рассказа. Как и в романе «Некто Робель» (см. «ИЛ» № 2, 1977), Новотный с веселой иронией показывает различные жизненные ситуации. В основе «Редкого случая любви» — рассказ хозяина маленького ресторанчика о судьбе человека, погибающего по неизвестной причине. «Это — рассказ, где прошлое тесно переплетено с настоящим,— пишет Гейнц Плавиус. — Здесь многое остается неясным. Новотный как бы призывает читателя вместе подумать над тем, что он прочел. Я считаю, что этот прием, так же как и другие приемы, к которым писатель прибегает в своей новой книге: насмешка, сарказм, иногда добрая, а иногда и злая ирония—вместе с прекрасным знанием материала делают книгу ценным вкладом в нашу литературу».

Много лет основной темой вьетнамской кинематографии была военная тема. С переходом к мирной жизни перед вьетнамскими кинематографистами встали новые проблемы — организационные, идейные и художественные. После воссоединения Вьетнама возникла новая задача — показать столкновение различных человеческих характеров, мировоззрений, представлений о жизни. Фильм режиссера Чан Ву «Долгое путешествие» посвящается именно этой проблеме. Сюжет фильма несложен. В нем рассказывается об автобусе, который отправляется из Хо Ши Мина (бывший Сайгон) в Ханой, и об его пассажирах. Здесь и девушка-активистка в военной форме, крестьянин, везущий в столицу на продажу кур, чиновник, спекулянты — люди самых разных судеб, самых разных мировоззрений. Фильм показывает своекорыстие одних и самоотверженность других и то, какая еще предстоит большая работа по приобщению людей к новой жизни.

На снимке: кадр из фильма «Долгое путешествие».

(Журнал «Фильм»)



ФИЛЬМ ОБ «АНТОНЕ-ЧАРОДЕЕ»

Новый фильм ДЕФА называется «Антон-чародей, или Странные пути автослесаря Грубске». Антон Грубске — главный герой фильма — возвращается после второй мировой войны домой, полный сил и энергии. Все, за что он берется, он делает настолько хорошо, что его начинают называть чародеем. Из никому уже не нужных обломков машин он возрождает к жизни автомобили и тракторы. Работает он с удовольствием, но очень любит вышить, погулять, любит шальные деньги. Зритель узнает в этой фигуре знакомые черты Уленшпигеля, Швейка, Симплициссимуса, Феликса Круля. «Странные» или, вернее, кривые пути Антона приводят его в тюрьму. Это становится для Антона серьезным жизненным уроком. Впервые он задумывается о своей жизни и, заслужив досрочное освобождение, выходит на свободу другим человеком. Сумев завоевать дружбу и уважение окружающих его людей, найдя новых друзей, Антон начинает работать уже по-другому. Ему поручают ответственную должность, где он может показать максимум своих способностей, проявить инициативу, дать волю своей фантазии.

«Это — трагикомическая история о ловком, бойком парне с золотыми руками и полезными идеями»,— пишет рецензент газеты «Берлинер цайтунг».

«Режиссеру Гюнтеру Райшу и сценаристу Карлу Георгу Эгелю удалось создать очень веселый, остроумный фильм, который сумел поставить и серьезные вопросы,— отмечает газета «Нойес Дойчланд».— В сущности, в фильме рассказывается глава из истории Германской Демократической Республики. Фильм смотрится с большим удовольствием и заставляет о многом задуматься».

Рецензенты отмечают удачное исполнение главной роли Ульрихом Тайном, а также прекрасную игру Эрвина Гешоннека и других актеров.

На снимке: кадр из фильма «Антон-чародей». В роли Антона — актер Ульрих Тайн, в роли его жены — Анна Дымна.

(Газета «Нойес Дойчланд»).

ДАНИЯ

РАССКАЗЫ А. ЧЕХОВА НА ДАТСКОМ ЯЗЫКЕ

В издательстве «Богенс форлаг» вышел сборник рассказов А. Чехова. «Датский читатель получил возможность полнее ознакомиться с прозаическим наследием Чехова,— пишет литературный обозреватель газеты «Ланд ог фольк».— Изящные, блистательно отточенные, пронизанные тонким юмором рассказы Чехова, хотя и повествующие в основном о камерных человеческих драмах, создают панорамный портрет России начала века с ее тревожной атмосферой ожидания грядущих социальных и нравственных перемен. Творчество Чехова, отмеченное болью и состраданием, безграничной верой в человека и его будущее,— одна из самых ярких страниц в истории русской классической литературы».

Публикация рассказов, по свидетельству рецензента, является значительным событием в литературной жизни Дании. В заключение он высоко оценивает работу составителя и переводчика Георга Саро.

ИНДИЯ

«КОРАБЛЬ В БУРЮ»

Среди богатства и многообразия индийской поэзии значительное место всегда занимало песенное творчество и в фольклоре, и в письменно - литературной традиции. Особую роль песня играла в годы подъема национально - освободительного движения: в условиях почти поголовной неграмотности песня несла массам то, чем жила страна, вдохновляла их на борьбу за свободу отчизны.

Не умерла песня и в настоящее время, хотя со страниц солидных академических изданий нередко еще звучат голоса о «кризисе», который якобы переживает этот жанр. Вопреки всяким прогнозам и предсказаниям, песня живет и продолжает процветать. Подтверждением этому может служить

На снимке: Зарина Вахаб и Амоль Палекар — исполнители главных ролей в фильме «Домики из песка».

(Газета «Джан юг»)

только что вышедший из печати сборник «Корабль в бурю» молодого поэта-песенника Ашвагхоша. Свободные от сентиментальности и лозунговости — черт, свойственных «иногда этому жанру,— говорится в рецензии газеты «Джан юг»,— песни Ашвагхоша продолжают демократическую песенную традицию поэзии хинди».

«ДОМИКИ ИЗ ПЕСКА»

На экранах индийской столицы демонстрируется фильм «Домики из песка», (режиссер Бхимасен, автор сценария Гульзар), в основу которого положен одноименный рассказ молодого писателя хинди Шанкара Шеша. Это фильм об утраченных иллюзиях и несбывшихся надеждах простых людей, которые, живя в условиях капиталистического города с его волчьими законами и моралью джунглей, пытаются сохранить порядочность и осуществить свою мечту о счастье, рассчитывая при этом только на собственные силы. Действие фильма происходит в Бомбее. Герои картины — молодые люди Садип и Чхая — любят друг друга, однако вынуждены расстаться, поскольку все их мечты и надежды — это воздушные замки, «домики из песка», рушащиеся от первого же соприкосновения с действительностью.

«Образы героев картины выписаны рельефно и психологически убедительно,— пишет рецензент газеты «Джан юг».— Одновременно в фильме показана бездушная жизнь большого города, в котором ничего не значат ни мечты человека, ни сам он и где на каждом шагу обстоятельства вынуждают его идти на сделки с совестью».

Рецензент отмечает отличную игру исполнителей главных ролей: Зарины Вахаб и Амоля Палекара.

Музыку к фильму написал композитор Джаядэв. Сразу же приобрела популярность и зазвучала на улицах индийской столицы пришедшая с экрана песня «Одинок я в этом городе» на слова Гульзара.

ИНДОНЕЗИЯ

ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ

В конце 1978 года в Джакарте торжественно отмечалось семидесятилетие со дня рождения патриарха современной индонезийской литературы Сутана Такдира Алишахбаны, в честь которого был выпущен юбилейный сборник под названием «Спектр», где были опубликованы статьи около сорока индонезийских и зарубежных ученых.

Заявив о себе в конце 20-х годов как автор романа, критикующего пережитки общинно-племенного уклада, Сутан Такдир Алишахбана в 1933 году становится главным редактором литературно - критического журнала «Пуджанга бару», игравшего ведущую роль в культурной жизни 30-х годов и объединившего лучшие литературные силы Индонезии периода колониальной зависимости.

Идеи служения формирующейся индонезийской нации и усвоения всего лучшего, что было создано западной цивилизацией, пропагандировавшиеся на страницах «Пуджанга бару», нашли выражение и в наиболее популярном романе писателя «На всех парусах» (1936 г.), герои которого борются за просвещение своего народа.

Просветительская деятельность является основной целью всей жизни и творчества Сутана Такдира Алишахбаны. Он является автором ряда учебников, антологий и многочисленных статей, читает лекции в университете, в то же время оставаясь верным своему литературному призванию: в 1970 году в Индонезии был опубликован его последний роман «Grota Azzurra».

ИРАК

НОВЫЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ

Журнал «Аль-Джадид» (г. Хайфа) сообщает о выходе новых сборников стихов иракских поэтов.

Молодой поэт Джалиль Хайдар выпустил в Багдаде книгу стихов под названием «Особый свисток». Это второй сборник поэта: в 1974 году им была опубли-

кована книга «Поэмы завтрашнего дня».

В лирике Дж. Хайдара преобладают патриотические, вольнолюбивые мотивы.

В Бейруте вышел сборник стихов иракского поэта и художника Муайида ар-Рави «Вероятность очевидного». Как сообщает журнал «Аль-Джадид», сборник содержит восемнадцать стихотворений, написанных поэтом в период с 1970-го по 1973 год и посвященных борьбе палестинского народа. Опубликован сборник в серии «Филястын ас-саура» («Революционная Палестина»), издаваемой Объединенной информационной службой Организации освобождения Палестины.

ИРЛАНДИЯ

СБОРНИК РАССКАЗОВ ЭДНЫ О'БРАЙЕН

«Место действия, манера изложения, герои в каждом рассказе меняются. Неизменной остается тема — женщина и ее мучительные страдания»,— так начинает Фрэнк Туохи свою рецензию в «Таймс литерари саплмент» на новый сборник Эдны О'Брайен «Мисс Рейнхард и другие рассказы».

Пять из них посвящено Ирландии. Зеленые холмы, крытые черепицей, красные кирпичные дома, маленькие приморские городки, где в каждой лавке столь любимые местными девушками платки ручной вязки,— все дышит безошибочным знанием и любовью писательницы к родным краям. Рассказы «Влюбленные из маленького городка» и «Роза в сердце» можно отнести к числу лучших. Взаимоотношениям героини с ее матерью посвящена «Роза в сердце». История эта началась в день рождения героини, а оборвалась в день смерти ее матери. Другие участники этой печальной истории — пьянчужка отец и муж, такой же «никудышный, как два башмака на левую ногу». Все тщетно пытаются примириться друг с другом, но невидимые стены безнадежно разделяют людей. После внезапной кончины матери героиня находит конверт с деньгами, предназначенными для нее, но не находит ни одного прощального слова. «Новая, еще более крепкая и непроницаемая стена разделяла теперь их»,— заключает писательница...

Другие рассказы, по мнению рецензента, менее удачны, хотя нигде Эдне О'Брайен не изменяет чувство меры и правдивости в изображении характеров.

ИТАЛИЯ

«ФЛОРЕНЦИЯ ПРИ ФАШИСТСКОМ РЕЖИМЕ»

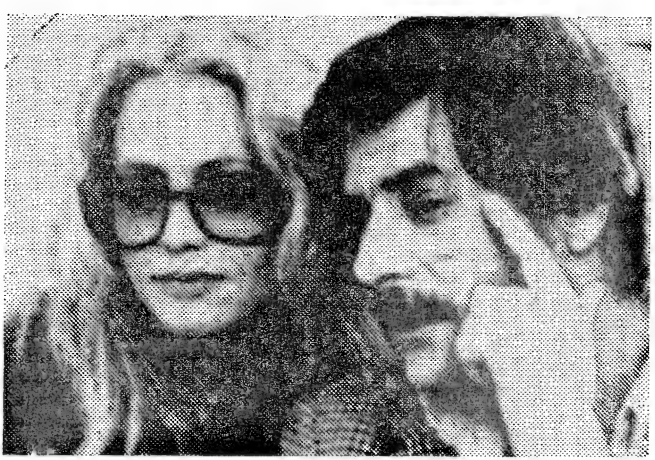
Флорентийское издательство Лео С. Ольшки выпускает в свет книги по искусству, археологии, книговедению, библиографическую и музыкальную литературу. Постоянно в поле зрения издательства эпоха Возрождения с ее богатейшими памятниками литературы и искусства. Вот уже почти восемь десятков лет поколения любителей книжных редкостей состоят подписчиками журнала «Библиофилия», выпускаемого издательством Ольшки.

Недавно среди новинок издательства появилась книга «Флоренция при фашистском режиме (1929—1934)». Автор ее — Марко Палла. На первый взгляд, это название не очень гармонирует с другими рекламируемыми и анонсируемыми здесь книгами. Однако есть закономерность в том, что издательство, которое со дня основания в 1886 году поставило своей задачей охрану культурного наследия страны, занялось исследованием страшнейшего врага культуры — фашизма. В период диктатуры Муссолини это, казалось бы, безобидное издательство подверглось гонениям, основатель его, видный историк и книговед Лео Самуэле Ольшки, имя которого носит издательство, вынужден был эмигри-

---

Марио Моничелли, знакомый советским зрителям по таким фильмам, как «Полицейские и воры», «Дорогой Микеле», «Очень мелкий буржуа», снял фильм «Путешествие с Анитой». Этот фильм, сказал режиссер корреспонденту газеты «Унита», о разложении семьи в современном капиталистическом обществе.
В создании сценария фильма кроме самого Моничелли принимали участие Лео Бенвенути, Пьеро де Бернарди, Тулио Пинелли, а также американский сценарист Поль Зиммерман. Главные роли исполняют итальянский актер Джанкарло Джанино и американская актриса Голда Хон.
На снимке: кадр из фильма «Путешествие с Анитой».

(Газета «Унита»)



ровать в Швейцарию, а издательство — сменить вывеску (оно стало называться «Библиополис»).

Марко Палла, опираясь, по свидетельству ежеквартальника «Леттере итальяне», на обширный документальный материал и используя многочисленные изданные и неизданные, известные и неизвестные, до сего дня неисследованные источники, создает яркую картину истории города и провинции Флоренции в период фашизма, основное внимание уделяя 1929—1934 годам. В итальянской историографии, замечает «Леттере итальяне», существовала традиция исследовать возникновение и последний этап фашистского двадцатилетия. Изображенные в книге Марко Палла годы укрепления реакционного фашистского режима открывают новые возможности для исторического освещения этого страшного времени. Судьба старейшего и крупнейшего центра итальянской культуры — Флоренции — при фашизме дается во всей остроте экономических, социальных, политических характеристик.

Сейчас, когда Италия переживает сложный политический момент, с новой силой развертываются дискуссии о фашизме, о его формах и психологическом воздействии на массы. И издательство искусствоведов и библиофилов Ольшки активно включилось в эту дискуссию.

КНР

О СТИХАХ ПЭН БАЯ

Один из героев китайской революции, погибший от рук гоминьдановских палачей, коммунист Пэн Бай долгие годы при Мао Цзэдуне был предан в КНР забвению. Его родственники во время «культурной революции» подвергались преследованиям. И вот 31 августа 1978 года в «Жэньминь жибао» была впервые помещена статья памяти Пэн Бая. В качестве заглавия статьи ее автор Цзи Цинь-шань взял строку из стихотворения Ду Фу: «Не остановить вечного теченья Янцзы и Хуанхэ» и дал подзаголовок — «Мысли при чтении стихов героя революции Пэн Бая».

Статья признает, что память Пэн Бая оскорблялась, а его родные подвергались гонениям. Автор цитирует стихи Пэн Бая, в свое время опубликованные в сборнике стихов героев китайской революции. Пэн Бай не был эпигоном классической поэзии, подобно Мао Цзэдуну. Он писал агитационные стихи и народные песни, призывая крестьян к восстанию и дележу помещичьей земли.

В статье сказано, что Пэн Бай был родом из помещичьей семьи и стал революционным интеллигентом, перешедшим на пролетарские позиции, «одним из руководителей раннего этапа крестьянского движения». Здесь впервые подробно говорится о гонениях на все, связанное с Пэн Баем при Мао Цзэ-дуне. Его имя было запрещено упоминать в печати. Родственники Пэн Бая пострадали; даже его мать, которой было свыше девяноста лет от роду, попала за решетку! Кто-то из родных погиб, потому что в статье глухо упомянут некий «кровавый долг»... Однако вся вина за то, что в КНР погибший от рук гоминьдановских палачей Пэн Бай был объявлен «предателем», возлагается в статье «Жэньминь жибао» на «четверку» и Линь Бяо. «Какая разница между ними и гоминьданом?» — риторически восклицает автор статьи.

Почему же, по какой причине «четверка» стремилась искоренить саму память о коммунисте, герое революции, который был расстрелян 31 августа 1929 года? Чего ради старалась «четверка»? «Жэньминь жибао» всячески уходит от ответа. Недаром статья посвящена литературному творчеству, стихам, а не революционной деятельности Пэн Бая. И все же в ней содержится скрытый намек на действительное положение вещей. Тогда, в 20-х, Пэн Бай был первым организатором революционного движения китайского крестьянства, и лишь позднее эту историческую заслугу перед китайской революцией «великий кормчий» приписал себе. Не «четверка» и не Линь Бяо, а лично Мао Цзэ-дун был заинтересован в том, чтобы стереть всякую память о своем предшественнике и приписать себе его заслуги. Вот почему «четверка» и Линь Бяо, послушные воле Мао Дзэ-дуна, запретили упоминать имя Пэн Бая в КНР, а его родных подвергли преследованиям.

Сейчас китайская печать еще не называет подлинного виновника запретов, клеветы и гонений на Пэн Бая. Статья Цзи Цин-шаня — компромиссная, с реверансами в адрес Мао Цзэ-дуна в попытке выгородить главного вдохновителя «культурной революции».

ЛИВАН

«КОГДА МЫ ПОКИНУЛИ МОСТ»

Недавно бейрутское издательство «Дар аль-ауда» опубликовало роман писателя Абу ар-Рахмана Мунифа «Когда мы покинули мост».

На литературном поприще д-р Муниф выступил в начале семидесятых годов, выпустив имевший большой успех роман «Деревья и убийство Марзука». Вслед за тем им были опубликованы романы «В восточной части Средиземноморья» и «Любовная история Маджуси».

Два первых романа Мунифа отличает ярко выраженная социально-критическая направленность. В них автор иногда в прямой, иногда в иносказательной форме бичует пороки современного общества. Третий роман — «Любовная история Маджуси» — это, как отмечают араб-

ские критики, своего рода поэмы в прозе о романтической любви араба и европейской девушки.

По поводу последнего романа Мунифа — «Когда мы покинули мост» — критики высказывают разноречивые суждения. Одни видят в нем чисто символистское произведение, другие — «символико - реалистическое». Иракский критик Муайид ат-Талаль пишет в газете «Ас-Саура», что «этот роман можно охарактеризовать как символистский, но в то же время он ставит вполне реальные социально-политические проблемы». Роман, по мнению критика, «принадлежит, прямо или косвенно, к арабской литературе протеста, которая возникла как реакция на поражение 5 июня 1967 года. Роман Мунифа — это гневный крик, осуждающий реакционные режимы, приведшие к поражению, но в то же время он вселяет надежду на переход от этапа отступления к этапу победы, от индивидуалистической замкнутости к вере в людей».

Другой иракский критик, Саад Фадыль, отмечает в газете «Багдад обсервер», что роман «Когда мы покинули мост» имеет два плана — реальный и символический. С внешней стороны это рассказ об охотнике-неудачнике по имени Зеки Неддави, мечтающем подстрелить необыкновенную утку, которую он называет Королева. Ему помогает верный пес Вардан. Но этот рассказ об охоте служит лишь обрамлением для повествования, связанного с войной,— о том, как был сооружен мост для наступления на врага, и о том, как этот мост, так ни разу и не использованный, попал во вражеские руки. Сдача моста врагу явилась причиной постоянных душевных терзаний и самобичеваний Неддави, свидетеля событий.

В конце романа охотнику удается подстрелить Утку-Королеву, что, по мнению критика, символизирует надежду на будущую победу.

МЕКСИКА

На протяжении целого месяца мексиканские телезрители следили за сложными драматическими судьбами героев романа Ф. М. Достоевского «Идиот». Многосерийный спектакль был поставлен режиссером Маноло Гарсия. Подлинным подарком зрителям назвала эту постановку мексиканская пресса. Несомненной удачей спектакля, отмечает пресса, явилось исполнение роли князя Мышкина молодым актером Серхио Кляйнером.

На снимке: Серхио Кляйнер в роли князя Мышкина и Мариkрус Оливьер в роли Настасьи Филипповны.

(Газета «Эксельсиор»)

НИДЕРЛАНДЫ

И СНОВА КНИГИ О ВОЙНЕ

Газета «Де ваархейд» опубликовала обзор недавно вышедших в стране книг, посвященных различным аспектам второй мировой войны. «Было и остается примечательным фактом,— пишет рецензент газеты,— что еще и теперь, спустя 33 года по окончании войны, все не иссякает поток литературы о войне и крахе гитлеровского рейха». Заинтересованность в сочетании с органической потребностью читателей узнать как можно больше об этой страшной эпохе находит свое выражение не только в том, что по определенным знаменательным датам люди чтят память тех, кто во время грандиозной февральской стачки 1941 г. погиб на улицах Амстердама и других городов страны, что они возлагают венки и цветы к подножью памятников погибшим на войне в скорбный день 4 мая,— нет, эта заинтересованность находит свое отражение также и в бесконечном потоке романов, эссе, очерков, документов, стихов, посвященных битве народов с нацистскими захватчиками, битвам на полях сражений Европы и Азии, героическому Сопротивлению, подпольному движению в оккупированных странах.

В первую очередь рецензент называет книгу «Английская игра», ее автор — Йелфе Реп. Автор собрал ценнейшие материалы, документы, проливающие свет на затеянную британской разведывательной службой авантюру. Не соблюдая, по существу, никаких мер предосторожности, британская разведка забросила в Нидерланды 59 агентов, людей малоопытных, доверчивых, поручив им собрать материалы о военной мощи вер-

махта. Из этого числа уцелело только пять, остальные сразу же попали в лапы гестапо, которое, как оказалось, давно уже знало их позывные, их коды, способы связи со штабом, помещавшимся в Лондоне. Погибло 54 агента, но их арест повлек за собой арест тех, кто содержал явочные квартиры, и, таким образом, жертвы были неисчислимы. Вину за гибель храбрецов и тех, кто внутри оккупированной страны оказывал им содействие, автор книги с полным правом возлагает не только на британскую разведывательную службу, но и на политические и военные группировки высших слоев нидерландского общества, которые вместе с королевой бежали в Лондон и здесь надежно укрывались во время войны. Не имея никакой связи с населением своей страны, не зная реальной обстановки, они делали промах за промахом и посылали людей на явную смерть, «превращая борцов в жертвы этой мерзкой игры». Такими словами заканчивает Йелфе Реп свою обличительную книгу.

В ином жанре написаны книги «Защитная дамба, 1940» и «Осиное гнездо» Е. Н. Бронгерса.

Первая книга повествует об одном мало известном, но исторически подлинном эпизоде: в одном месте обороны возле защитной дамбы нидерландским солдатам удалось в мае 1940 года ценою героических усилий приостановить интенсивное наступление врага. Победа была временной, и нашествие захватчиков, конечно, продолжалось, но все же сам по себе этот эпизод, рисующий отчаянную храбрость защитников родины, имеет право на то, чтобы его описали.

Книга «Осиное гнездо» посвящена событиям в Лейвардене, где борцы Сопротивления оказывали существенную помощь воздушному флоту союзников, бомбившему немецкие воздушные базы подле Лейвардена. Эта книга как бы подытоживает результаты деятельности Сопротивления.

Книга «По следам доктора Менгеля» Стана Лауриссенса описывает бесчеловечную, палаческую «работу» фашистского изувера в Освенциме, одного из нацистских партийных бонз. Ему, несмотря на все энергичные меры, предпринятые для его поимки, удалось скрыться в джунглях Латинской Америки.

Книга Лауриссенса проливает свет на активность немецких фашистов, которые нашли убежище в странах Латинской Америки и пользующихся покровительством пронацистских режимов.

ПОЛЬША

«РАЗГОВОР С ОТЦОМ»

Так называется новая книга Рышарда Войны, вышедшая в издательстве ПИВ, отрывки из которой до выхода отдельным изданием публиковались в газете «Трибуна люду».

Книга, охватывающая последние 60 лет польской истории, вызвала большой интерес польской критики. В газете «Трибуна люду» помещена рецензия Мариана Войцеховского, который дает ей высокую оценку: «Это очень нужная книга, она посвящена насущным проблемам современности, которая рассматривается через призму прошлого, так как прошлое является частью нашей современности. Р. Война показывает связь между поколениями и в то же время различие условий, в которых пришлось жить отцу и сыну... Мне книга нравится тем, что в ней писатель говорит о двух проблемах, неразрывно связанных между собой: любовь к Отчизне, уважение к ее прошлому и критика многих национальных мифов. Эти проблемы для поколения, активно входящего в жизнь Народной Польши, являются просто самыми насущными, потому что гипертрофированная любовь к Родине, к провинциальной ограниченности приводит к интеллектуальному оскудению, отдает старошляхетской манией величия; с другой стороны — ослабление патриотических чувств приводит к нигилизму, цинизму в лучшем случае, к заботам только о собственном доме, когда жизненным принципом становится стремление лишь к материальному благополучию».

По мнению рецензента, заслуга Рышарда Войны в том, «что он не уходит от острых вопросов польской действительности, открыто говорит о сложных проблемах, разрешение которых будет способствовать созданию той атмосферы, при которой можно работать с пользой и для общества в целом, а следовательно, и для себя».

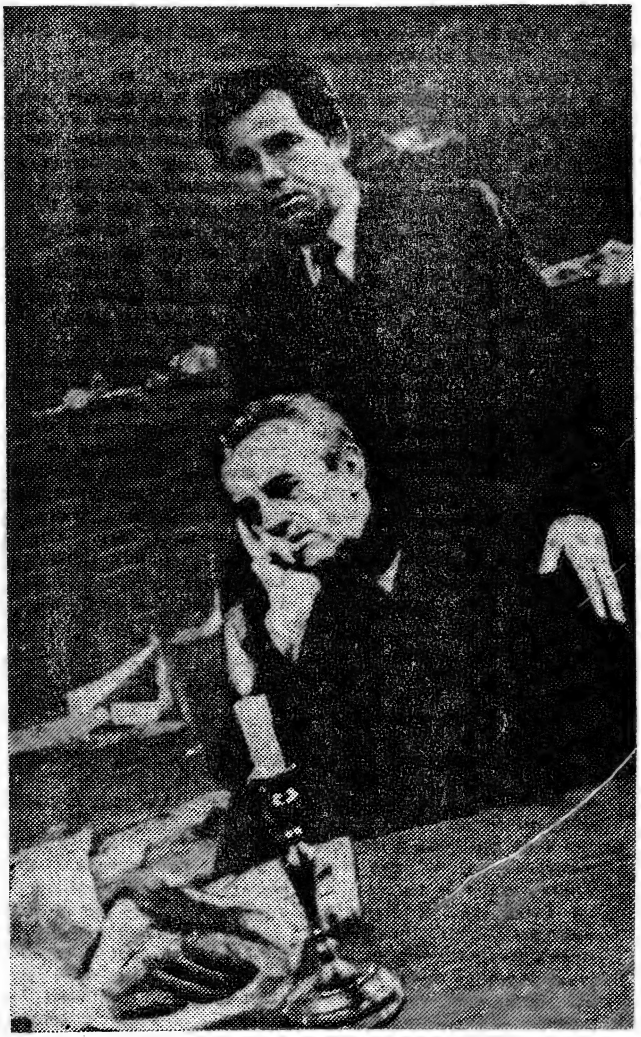
А. Будзинский в еженедельнике «Культура» оценивает книгу Рышарда Войны как значительное событие в польской публицистике, которая всегда отмечалась смелостью в постановке насущных вопросов современности.

ЮБИЛЕЙ ЯНИНЫ ДЗЕРНОВСКОЙ

Свое семидесятилетие отметила польская писательница, переводчица советской литературы и общественная деятельница Янина Дзерновская. На литературном поприще Я. Дзерновская дебютировала в 1934 году.

Связав свою жизнь с Партией польских коммунистов, в которую вступила в 1936 году, Дзерновская в течение всей своей жизни выступала на страницах печати как острый публицист, стараясь отразить общественные перемены, происходящие в жизни страны. Ее репортажи и очерки вошли в книги: «Встреча на площади Конституций», «Дорогой дружбы», «Путем подземной реки». Широко известны ее художественные произведения: «Повесть об Анне», «Город новых людей» и другие.

Важное место в ее творчестве занимают переводы произведений советских писателей: Аркадия Гайдара, Веры Пановой, Константина Симонова, Владимира Тендрякова, Василия Аксенова,



«Два театра» — это не только самое интересное произведение нашей послевоенной драматургии: уже само его заглавие знаменательно для идейных и эстетических перемен, какие переживала в послевоенный период наша культурная политика»,— так пишет о спектакле по пьесе Ежи Шанявского «Два театра» рецензент журнала «Театр» Зофья Серадзка. Впервые спектакль был поставлен в феврале 1946 года в Кракове, шла пьеса и на сценах других городов. Потом она надолго исчезла из репертуара. Сейчас спектакль возродился на Малой сцене варшавского Национального театра, поставил его хорошо известный советскому зрителю актер и режиссер Анджей Лапицкий, он же — исполнитель главной роли. Как пишет рецензент, в спектакле так поставлены вопросы о роли искусства и о смысле человеческой жизни, что они не утратили значения и в наше время.

На снимке: Анджей Лапицкий и Тадеуш Янчар в спектакле «Два театра».

(Журнал «Театр»)

Ивана Шамякина, Юрия Трифонова.

По случаю юбилея писательницы и старейшей общественной деятельницы Первый секретарь ЦК ПОРП Эдвард Герек прислал ей письмо с пожеланиями дальнейшей плодотворной работы.

ПОРТУГАЛИЯ

РОМАН-РЕПОРТАЖ

В Лиссабоне издано новое произведение классика португальской литературы Фернандо Наморы Гонсалвиша, известного советским читателям по переводу его романа «Огонь в темной ночи» (1977) и сборника «Рассказы врача» (1969).

Новую книгу — «Осеннюю прогулку» — критик газеты «Диариу де нотисиаш» характеризует как роман-репортаж, вобравший впечатления писателя от путешествия по Соединенным Штатам Америки. Книга благодаря документальной основе близка к своеобразному социологическому исследованию: Ф. Намора приводит точные статистические данные — например, о количестве грабежей, насилий, убийств, совершаемых в столице и ее окрестностях, об увеличении налогов, взимаемых с некоторых и так не высоко оплачиваемых категорий служащих, и т. п.

Автор чувствует многоликость Нью-Йорка, воспринимая его не только как «город разнузданной агрессивности, страха и эгоизма», но и как сокровищницу уникальных культурных ценностей, к которым американцы относятся с уважением и интересом (подсчитано, например, что суммы, затрачиваемые в среднем каждым жителем Нью-Йорка на посещение выставок и картинных галерей, очень значительны).

Тематически книга разделена на главы: например, «Об иммигрантах» или «Какой же он, американец?». Хотя, естественно, «Осенняя прогулка» явилась плодом эмоционального восприятия Ф. Наморой Америки, ее образа жизни (от первого лица и ведется повествование), но автор старается, как отмечает рецензент, сохранить полную объективность, стремясь не столько к передаче состояния собственной души при созерцании того или иного явления, сколько к наиболее точному отражению фактов, со-

бытий американской действительности. Поэтому вставные новеллы, раскрывающие читателю мысли, впечатления разных людей, с которыми Фернандо Наморе удалось познакомиться во время этой поездки, так органично вплетаются в основное повествование. Часто автор приводит несхожие мнения, даже противоположные точки зрения, касающиеся, например, американского образа жизни или сущности характера американца. Писатель воссоздает истории эмигрантов-итальянцев, ведя рассказ уже от лица этих людей, объясняющих, какие причины заставили их обосноваться в Америке и что они здесь встретили. Несмотря на использование Ф. Наморой множества статистических данных, критик считает «Осеннюю прогулку» истинно художественным произведением, где преломилось и уважение португальского писателя к культурным ценностям этой страны, и неприятие им многих законов и обычаев, считающихся привычными в мире капиталистического бизнеса.

США

«МИР ГЛАЗАМИ ГАРПА»

Так называется новый роман Джона Ирвинга, вышедший в издательстве «Даттон». Джон Ирвинг (род. в 1942 г.), пишет обозреватель «Нью-Йорк таймс бук ревью», пришел в литературу в 60-е годы, которые стали «десятилетием ужасов» в американской истории. Строго говоря, это десятилетие не 1960—1969 гг.— оно началось в 1963 г., когда был убит президент Кеннеди, и завершилось уже в начале 70-х годов бесславным поражением во Вьетнаме и «уотергейтской катастрофой». Именно тот факт, что формирование Дж. Ирвинга как писателя происходило в течение «десятилетия ужасов», объясняет, почему он написал роман «Мир глазами Гарпа».

В четвертой по счету книге молодого романиста, отмечает обозреватель «Нью-Йорк таймс бук ревью», Ирвинг сосредоточил свое внимание на проблеме насилия: небывало высокий уровень преступности, уже прочно вошедшей в американскую повседневность,— главная тема романа. «Ирвинг никак не может согласиться с тем, что убийство— это единственный способ решения социально-политических проблем американской действительности, — пишет обозреватель еженедельника.— Однако роман Ирвинга,— продолжает он,—оставляет впечатление, что его писал растерявшийся человек. Писатель осознает: то, что происходит сегодня в США,— ненормально, гротескно-ужасно, но не знает, где искать выход».

Новый роман Дж. Ирвинга — это вымышленная биография молодого романиста Т. С. Гарпа, по мнению критиков, являющегося почти двойником самого Ирвинга: ему тоже 36 лет, он тоже автор трех романов и пишет четвертый —«Мир глазами Бенсенхэвера». В своем романе Гарп, как и Ирвинг, пытается найти причины безумия, охватившего современное американское общество. «Впрочем,— замечает рецензент,— для Гарпа его роман — не просто «исследование» стороннего наблюдателя: он сам оказывается вовлеченным в ужасные события». До какого-то момента жизнь Гарпа была спокойной и счастливой. Он —преуспевающий писатель, его жена — преподавательница университета, у него два сына — все они были «типичной средней американской семьей». Но его мать, активистку феминистского движения, убивает на улице неизвестный, его старший сын тоже погибает от пули, а младший сын зверски избит и искалечен. Что-то произошло, именно что-то, ибо все события, начиная с убийства матери Гарпа и кончая его собственной гибелью (его тоже убивают из-за угла),— разворачиваются как вереница случайностей.

«Кажутся ли все эти убийства и кровавые побоища невероятными, иадуманными?»—спрашивает рецензент, и сам отвечает: нет, «достаточно вспомнить, как были убиты братья Кеннеди, как было совершено покушение на сенатора Дж. Уоллеса, как в южных штатах расисты зверски убивали негритянских детей, сжигая их заживо».

«Джон Ирвинг,— пишет в заключение рецензент,— несомненно испытал на себе влияние писателей-абсурдистов, но, в отличие от этих писателей, он не отрывается от конкретно-исторической реальности жизни, что и позволило ему создать горькую, порой жестокую, но весьма правдивую книгу о сегодняшней Америке».

ЧИЛИ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ

«ЧИЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ИЗГНАНИИ»

Так называется ежеквартальный журнал, издаваемый прогрессивными деятелями культуры, вынужденными после фашистского переворота в сентябре 1973 г. покинуть Чили. Возглавил журнал известный публицист Фернандо Алегриа. В состав редколлегии вошли известные чилийские литераторы: Хайме Конча, Нельсон Осорио, Гильермо Арайа, Хуан Армандо Эпле. В редакционной статье, опубликованной в первом номере журнала, намечаются его цели и задачи, раскрывается роль, которую он призван сыграть в единении патриотических сил и дальнейшем развитии подлинно национальной культуры. Как отмечает выходящий в Гаване журнал «Каса де лас Американас», в статье, в частности, говорится:

«В условиях военного правления в Чили больше не существует свободы мысли и ее выражения. Учебные заведения страны

перестали быть центрами культуры и превратились в органы, занимающиеся муштрой и политической дрессировкой, с тем чтобы, как признаются сами представители хунты, подготовить поколение, отвечающее интересам нынешнего правительства и подчиняющееся его железной дисциплине.

Вследствие антидемократических мер, предпринимаемых диктатурой, начался массовый отъезд из Чили писателей, деятелей культуры, ученых в страны, которые могут предоставить им гарантии свободы и условия для творческой деятельности.

Своей неотложной задачей мы считаем установление тесных связей между представителями чилийской интеллигенции в изгнании, распространение и пропаганду их творчества.

Наш журнал возлагает на себя осуществление этой задачи в области литературы и литературоведения. Вместе с тем мы будем стремиться к всемерному укреплению связей прогрессивных писателей всего мира.

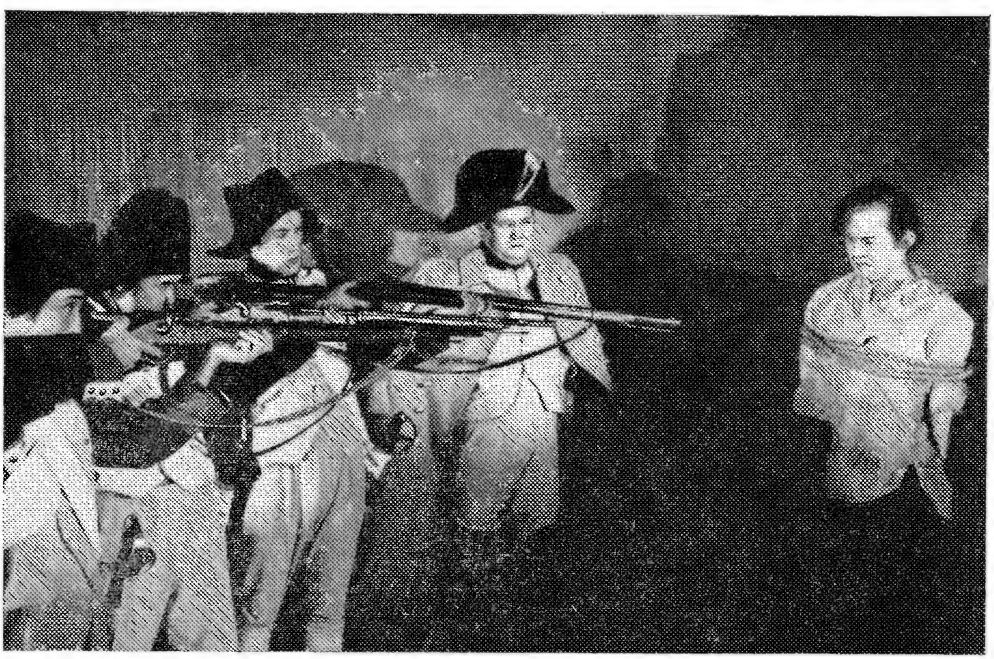
Мы выражаем свою твердую решимость продолжать выпуск этого журнала в эмиграции до тех пор, пока на нашей родине не будут восстановлены демократические свободы и не начнут осуществляться права человека, всегда являвшиеся характерными элементами жизни чилийского народа».

В журнале будут печататься новые стихи, рассказы, очерки, эссе, главы из романов и повестей как уже известных поэтов и писателей Чили, так и тех, кто еще только вступает в большую литературу, находясь вдали от родины, но всем сердцем разделяя ее тревоги и боль.

По инициативе прогрессивных деятелей латиноамериканской культуры создан Международный комитет содействия, возглавляемый известным колумбийским писателем Габриэлем Гарсиа Маркесом. Согласие принять участие в работе комитета дали виднейшие литераторы Латинской Америки: Марио Бенедетти, Эрнесто Сабато, Хулио Кортасар, Эдуардо Галеано, Педро Оргамбиде, Мигель Отеро Сильва, Хуан Рульфо и другие.

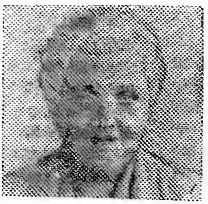
ЯПОНИЯ

В Японии широко отмечалось 150-летие со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Популярность Толстого в стране огромна. К настоящему времени на японский язык переведено и издано около 4 500 наименований его произведений. Помимо этого вышло в свет большое количество книг японских литературоведов и критиков, посвященных творчеству великого русского писателя, а токийский театр Хаюдза по роману «Война и мир» поставил спектакль, который прошел с большим успехом не только в столице, но и в разных городах страны, куда театр выезжал на гастроли.
На снимке: сцена из спектакля «Война и мир» в театре Хаюдза (получено в оригинале).



◆

Авторы этого номера



ИВАНОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА

Советский переводчик с французского. Переводила произведения многих французских классиков и современных писателей. «Иностранная литература» опубликовала в ее переводе роман Эльзы Триоле «Розы в кредит» (№ 12, 1959), рассказ Ж. Канапа «Солдаты, солдаты» (№ 8, 1963), повесть Жоржа Перека «Вещи» (№ 2, 1967), фрагменты из книги Мадлен Рифо «Больница как она есть» (№ 3, 1977).

ЯРОМИРА КОЛАРОВА — JAROMÍRA KOLÁROVÁ (род. в 1919 г.).

Чешская писательница. Начинала литературную деятельность в довоенные годы как критик и публицист. Ее первый роман «Я писала для тебя» («Psala jsem pro tebě») вышел в 1946 году. Затем появились повесть «Только о делах семейных» («Jen o rodinných zaležitostech», 1963), сборник рассказов «Прощай, разум» («Dobrou noc rozume», 1967), роман «Наш маленький, маленький мир» («Náš malý, maličký svět», 1977).

В русском переводе вышла ее книга для детей «Дома на зеленом лугу». В «Иностранной литературе» напечатаны главы из книги «Мой мальчик и я» (№ 1, 1975).

Мы предлагаем вниманию читателей повесть Яромиры Коларовой «О чем молчала Гедвика» («Co Hedvika neřekla»), которая была напечатана в сборнике повестей «Чужие дети» («Cizí děti», Ostrava, Profil, 1975).

ЭРИХ КОШ — ERIH KOŠ (род. в 1913 г.)

Югославский сербский писатель — романист, новеллист, эссеист. Окончил юридический факультет Белградского университета. В годы войны сражался в рядах Народной партизанской армии. Печататься начал в 1945 г. Автор многих произведений, в том числе сборников рассказов «В огне» («U vatri», 1947), «Время: военное» («Vreme: ratno», 1952), романов «Снег и лед» («Sneg i led», 1961), «В поисках мессии» («У потрази за Месијом», 1978) и др.

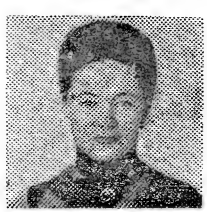
В русском переводе выходили: повесть «Большой Мак», роман «Сети», рассказы, в серии «Мастера современной прозы». «Избранное» (М., «Прогресс», 1974). «Иностранная литература» публиковала его рассказы из книг разных лет (№ 7, 1966, № 6, 1973).

Рассказ Эриха Коша «Персики» («Бресквe») был напечатан в сборнике «На автобусной станции» («На аутобускоj станици». Београд, «Просвета», 1974), рассказ «Бездетная чета» («Bračni par bez dece») в альманахе «Летопис Матице српске», 1978.

ЖАН КАРРЬЕР — JEAN CARRIÈRE (род. в 1928 г.).

Французский писатель. Начал печататься в 1956 году. Автор многих работ для радио и телевидения. Его первый роман «Возвращение в Юзес» («Retour à Uzes»), посвященный Севеннам — горному краю на юге Франции, в 1968 году был отмечен премией Французской Академии.

Мы публикуем в этом номере второй роман Жана Каррьера «Ястреб из Маё» («L'épervier de Maheux». Paris, Jean-Jaques Pouvert, 1972), за который он был удостоен в 1972 году Гонкуровской премии.



ВИРТА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Советский переводчик, занимается литературой Югославии. В ее переводе выходили книги сербских и хорватских писателей — романы «Мост на Дрине» Иво Андрича, «На грани рассудка» Мирослава Крлежи,

«Свадьба» и «Лелейская гора» черногорского писателя Михайло Лалича, рассказы Бранко Чопича, роман «Сети» и повесть «Большой Мак» Э. Коша.

■

КАРЛ ФРЕДЕРИК ПРИТЦ — CARL FREDERIK PRYTZ (род. в 1922 г.).

Норвежский поэт и переводчик. Автор нескольких поэтических сборников, в том числе «Я бросаю оружие» («Da senker jeg mine våpen», 1945), «Морские часы и другие стихи» («Klokken i havet og andre dikt», 1960), «Избранные» («De privilegerte», 1966).

Публикуемые стихи К. Ф. Притца взяты из книги «Стихи днем — и, возможно, ранним утром» («Dikt for i dag — og kanskje for i morgen tidlig». Oslo, J. W. Cappelens Forlag a.s., 1975).

■

МАРТИН НАГ — MARTIN NAG (род. в 1927 г.).

Норвежский поэт, критик, литературовед, переводчик. В последние годы выпустил сборники стихов «Красная суббота» («Rød lørdag», 1976), «Блюзы Ставангера» («Stavanger blues», 1976), «Верность» («Troskap», 1978).

Перу Мартина Нага принадлежит также ряд литературоведческих исследований, переводы со славянских языков, в том числе с русского — стихов В. Маяковского, Е. Евтушенко, А. Вознесенского и др.

Публикуемые стихи взяты из сборника «Люди в городе» («Mennesker i byen». Oslo, H. Aschehoug, 1974).

■

ГЕЙНЦ ПЛАВИУС — HEINZ PLAVIUS (род. в 1929 г.).

Немецкий критик, литературовед (ГДР). Автор книг «Между протестом и приспособлением» («Zwischen Protest und Anpassung», 1971), «Критерии и критика» («Kriterien und Kritik», 1977), статей, публиковавшихся в литературных и философских журналах, и ряда предисловий к книгам немецких писателей. В «Иностранной литературе» (№ 4, 1977) напечатана его статья о прозе ГДР семидесятых годов.

Эссе «Слово Анны Зегерс» получено от автора в рукописи.

■

ШНЕЙДЕР МАРК ЕВСЕЕВИЧ (род. в 1921 г.).

Советский литературовед и переводчик, доктор филологических наук. Автор монографий «Творческий путь Цюй Цю-бо» (1964), «Русская классика в Китае» (1977), а также статей по истории и современному состоянию китайской литературы. В его переводах вышли в свет две книги Цюй Цю-бо, романы У Цяна и Цюй Бо, рассказы Лао Шэ, Дин Лин, Ли Чжуня, пьесы и киносценарии китайских драматургов.

■

ДЕЛЮСИН ЛЕВ ПЕТРОВИЧ (род. в 1923 г.).

Советский историк-китаист, доктор исторических наук. Автор книг «Спор о социализме» (1970), «Аграрно-крестьянский вопрос в политике КПК» (1972) и ряда работ по новейшей истории и общественно-политической мысли Китая.

■

КАРАГАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1915 г.).

Советский литературовед, киновед, доктор искусствоведения, профессор. Автор книг: «Чернышевский и Добролюбов о реализме» (1955), «Характеры и обстоятельства» (1959), «Жизнь драматурга. Творческий путь Александра Афиногенова» (1964), «Огни Смольного» (1966), «Кинематографические встречи» (1966), «Всеволод Пудовкин» (1973), «Киноискусство в борьбе идей» (1975), «Советское кино: проблемы и поиски» (1977) и многих статей о современной литературе, театре и кино.

■

ЛАРС ЮЛЛЕНСТЕН — LARS GYLLENSTEN (род. в 1921 г.).

Шведский романист и эссеист, автор романов «Смерть Сократа» («Sokrates död», 1960), «Лотос в Аиде» («Lotus i Hades», 1966), «В тени Дон Жуана» («I skuggan av Don-Juan», 1975).

■

ТАГЕ ДАНИЭЛЬССОН — TAGE DANIELSSON (род. в 1928 г.).

Шведский писатель-юморист, радиодраматург и сценарист. Автор сборников сатирической прозы и поэзии («Tage Danielssons samlade dikter, 1967—1967», 1971) и др.

■

ПЕККА ЛАНГЕР — PEKKA LANGER.

Шведский писатель-юморист и сатирик, автор сборников «Ночные бдения» («Nattuppen», 1954), «Большая умная книга» («Stora klokboken», 1956).

Публикации отобраны из сборника «Шведский юмор от Хассе З. до Ханса Альфредсона под редакцией Эрика Лундегора» («Svensk humor från Hasse Z. till Hans Alfredson i urval av Erik Lundegård». Stockholm, Bokförlaget Prisma, 1968).

■

ДЖЕЙМС ГРОВЕР ТЭРБЕР — JAMES GROVER THURBER (1894—1961).

Американский писатель-юморист и карикатурист. Автор многочисленных сборников сатирических и юмористических рассказов, часто иллюстрированных им самим. Рассказы Дж. Тэрбера неоднократно печатались в советских журналах и газетах, в том числе в «Иностранной литературе» (№ 8, 1968, № 10, 1976 и др.).

Публикуемый рассказ взят из сборника «Тэрберовский карнавал» («The Thurber Carnival», 1945).

■

ЛАСЛО ТАБИ — TABI LASZLÓ (род. в в 1910 г.).

Венгерский писатель-юморист. В течение двадцати лет был главным редактором юмористического и сатирического журнала «Лудаш Мати». Автор повестей и пьес, некоторые из них переведены на иностранные языки, в том числе на русский.

Рассказ «Об одном критике» был напечатан в журнале «Лудаш Мати».

■

АЛЕКСАНДРУ МОХИ — ALEXANDRU MOHI (род. в 1902 г.).

Румынский живописец. Профессор. Работы А. Мохи представлены во многих музеях Румынии и за рубежом.

На обложке «Иностранной литературы» (№ 4, 1978 г.) репродуцирована картина А. Мохи «Библиотекарь».

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 4/XII 1978 г. А 03011. Подписано в печать 12/I 1979 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л = 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,80.

Тираж 690.000 экз. (1-й завод: 1 — 400.000 экз.) Зак. 4023.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Электрификация

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394